ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

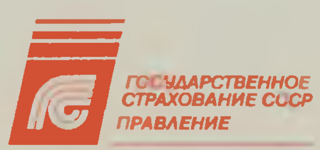
«Заботы о судьбе жены и детей служат предметом беспокойных дум и серьезных размышлений каждого семейного человека» — говорилось в рекламном проспекте дореволюционного страхового общества «Россия». Смешанное страхование жизни позволит Вам и сегодня позаботиться о себе, о своих близких.

Заключить договор страхования Вы можете на различный срок — 3, 5, 10, 15 и 20 лет, но окончание срока его действия не должно быть позднее Вашего 80-летия. Чем больше срок страхования, тем менее обременительным для Вашего семейного бюджета будет ежемесячный взнос.

Страховые организации обязуются выплачивать определенные суммы за факт травмы в течение всего срока страхования. С заявлением о выплате страховой суммы Вы можете обратиться не позднее трех лет со дня травмы.

Отбросьте суеверный страх, задумайтесь о будущем. Застраховав свою жизнь, Вы ничего не теряете, в любом случае уплаченные взносы вернутся в семью либо в виде накопленных денег, либо в виде материальной помощи Вашим близким.

Предлагая свои услуги, Госстрах желает Вам доброго здоровья и долголетия!





ISSN 0130-1616



ЗНАМЯ

1990

Февраль



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

2

ФЕВРАЛЬ 1990

Содержание

Москва
Издательство «Правда»

УРОКИ А. Д. САХАРОВА

Такова судьба не великих людей, не grand-homme, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.

Л. Н. Толстой

Д. С. Лихачев

Речь на гражданской панихиде

...Мы собрались здесь для того, чтобы почтить память величайшего человека человечества, гражданина не только нашей страны, но и всего мира. Человека, в общем-то, двадцать первого века. Такого, каким должен быть человек в будущем. Потому и не поняли его в этом веке. Многие.

Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению ради будущего. И, как всякий пророк, он не был понят и был изгнан из своего города.

Перед Андреем Дмитриевичем виновата и Академия наук. Правда, не вся Академия. Я помню, как Мстислав Всеволодович Келдыш отстаивал Андрея Дмитриевича, доказывая, что перед нами величайший ученый. Когда было то письмо, зловещее письмо со многими подписями, все-таки многие академики, члены-корреспонденты, которым было предложено подписать это письмо, его не подписали. Не подписали и, в общем, нам этого не простили. И все-таки мы были пассивны в защите Андрея Дмитриевича.

Сейчас мы говорим Андрею Дмитриевичу: прости и прощай. В старом и в новом значении этого слова... *

В. Л. Гинзбург

Письмо А. Д. Сахарова Президенту АН СССР

Андрей Дмитриевич Сахаров был личностью исключительной. Его огромное общественное значение и основные черты характера и деятельности ясны уже сегодня. Однако с достаточной полнотой понять «феномен Сахарова» можно будет только в будущем, после опубликования всего им написанного, а также воспоминаний друзей, близких, современников. Быть может, и я попробую написать такие воспоминания. Сейчас пишу по предложению редакции «Знамени», в моем распоряжении только воскресный день 17 декабря 1989 года, ибо пропускать заседания Съезда не могу и не хочу. Разумеется, сегодня я не стал бы даже предпринимать попытки написать статью, если бы не имел возможности поместить в центре изложения имеющееся у меня письмо

* Речь печатается по фонограмме.

Андрея Дмитриевича, никогда, насколько знаю, не публиковавшееся, по крайней мере в нашей стране.

Чтобы последующее изложение было понятно, представляется целесообразным остановиться на работе Андрея Дмитриевича в Отделе теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН). Этот отдел был основан в 1934 году, при переезде АН СССР из Ленинграда в Москву, известным физиком-теоретиком Игорем Евгеньевичем Таммом. Андрей Дмитриевич пришел в отдел в 1945 году в качестве аспиранта И. Е. Тамма. В отделе занимались различными, но, во всех случаях, вполне мирными делами, и Андрей Дмитриевич тоже начал работать в разных направлениях, итоги его исследоваиий были опубликованы, насколько помню, в трех статьях, вышедших из печати в 1947—1948 годах. Но в 1947 году наша судьба круто изменилась. И. В. Курчатов привлек И. Е. Тамма к «атомной проблеме» и, конкретно, просил исследовать возможность создания водородной бомбы. Была образована небольшая группа из числа тех, кого хотел привлечь к этой работе И. Е. Тамм, и, одновременно, получивших на это разрешение «от кого следует». В числе привлеченных были А. Д. и я, тогда заместитель заведующего отделом. Вначале наша деятельность носила довольно абстрактный характер, но затем мы выдвинули некоторые идеи, писать о которых, думаю, здесь неуместно, надеюсь, вскоре история создания советской водородной бомбы будет наконец опубликована (просто смешно утаивать это уже более сорока лет). Важно то, что А. Д. вместе с И. Е. Таммом в 1948 году уехал из Москвы на соответствующий «объект». Я же с небольшой «группой поддержки» остался в Москве. Причина та, что моя жена в это время (и вообще с 1945 по 1953 год) находилась в ссылке в Горьковской области, и до реальной работы над оружием я допущен не был. С тех пор А. Д. и И. Е. наведывались к нам, но жили вдали от Москвы. И. Е. вернулся в ФИАН в 50-е годы, а Андрей Дмитриевич—только в 1969-м. Дело в том, что к этому временн, несмотря на все свои заслуги и регалии, он уже был отстранен от «закрытых» работ за известную теперь всем критику советской политики, проводившейся в «период застоя» и ранее. Нужно сказать, что сотрудники отдела во главе с И. Е. Таммом тогда сами предложили А. Д. вернуться в отдел, чему он был рад. И вот с 1969 года до своей кончины А. Д. был сотрудником отдела, продолжал им быть и в период ссылки в Горький. Последняя произошла в начале 1980 года, это была репрессивная мера за протест А. Д. против введения советских войск в Афганистан. Как известно, еще до этого против А. Д. велась шумная кампания в прессе, но ннкто из ведущих сотруднnков нашего отдела не принимал в ней участия и не подписал каких-либо заявлений с критикой Сахарова. Должен сказать, что было нам нелегко, в частиости это относится ко мне (с 1971 года, когда скончался И. Е. Тамм, я стал заведующим отделом). Насколько знаю, А. Д. всегда ценил теплое отношение к нему в отделе. Достаточно сказать, что когда в конце 1986 года он наконец вернулся в Москву, то приехал в отдел в первый же день. Но я забежал вперед почти на семь лет.

Когда А. Д. был выслан, встал вопрос, как ему помочь, да и вообще — что же ему делать в Горьком? К счастью, мы догадались внести такое предложение: А. Д. остается сотрудником отдела, а мы будем ездить в Горькнй для информации, обсуждения и т. д. Это предложенне было принято. Первая поездка состоялась, если память не изменяет, 11 апреля 1980 года (поехали я и еще два сотрудника ФИАН). С тех пор сотрудники отдела ездили к А. Д. много раз, вплоть до 1986 года, обычно по двое, на целый день. Но это особая нстория. Замечу лишь, что сам я ездил лишь еще один раз — 22 декабря 1983 года. За день или два до этого я услышал «по чужому голосу», что А. Д. Сахаров при смерти, и сел было ночью писать письмо «наверх», но потом решил, что не могу посылать это письмо, не увидев сам, в каком А. Д. состоянии. К счастью, я застал его не больным и даже бодрым, но очень обеспокоенным. На его письмо Ю. В. Андропову с просьбой о поездке жены на лечение за границу не было ответа. В дальнейшем именно вопрос об этой поездке и оказался в центре внимания.

Только теперь наконец перехожу к тому письму, опубликовать которое и является основной целью настоящей статьи. В ноябре 1984 года один из сотрудников отдела, ездивший в Горький, привез мне пакет от А. Д. В нем содержалось письмо, адресованное тогдашнему президенту АН СССР А. П. Александрову. Было там и письмо, адресованное мне, конечно, далеко не столь важное. Но для ясности приведу вначале и это сопроводительное письмо.

Дорогой Виталий Лазаревич!

Я написал прилагаемое письмо Анатолию Петровичу, в котором прошу помочь в вопросе о поездке жены, рассказываю про наше положение, ставшее еще более трагическим и непереносимым с тех пор, как Вы посетили нас в прошлом году, и сообщаю о своем решении выйти из Академии, если ходатайства Академии и ее Президента (или другие усилия) не приведут к решению проблемы поездки.

Я прошу Вас ознакомиться с прилагаемым письмом и передать его лично в руки Президента. Я думаю, что передача кому-либо другому была бы нежелательна, при этом возникает опасность, что письмо не дойдет до Александрова (если А. П., например, болен гриппом, или чем-либо в этом роде, лучше, вероятно, подождать). В целом же я полагаюсь тут на Вас и на знание Вами общей ситуации, и на Вашу инициативу.

Я надеюсь, что, ознакомившись с письмом, Вы согласитесь со мной в необходимости и внутренней обязательности принятого решения о выходе из АН при неуспехе попыток добиться поездки.

В связи со сложностью ситуации, я прошу Вас пока не сообщать кому-либо о моем решении. О фактическом же положении наших дел (о причинах, вынуждающих добиваться поездки, о суде над женой и его беззаконности, о варварском принудительном кормлении и четырехмесячной изоляции, о состоянии здоровья жены и моего), наоборот, вполне можно рассказывать, и чем шире, тем лучше — это какой-то минимальный противовес тому потоку дезинформации и клеветы, который распространяется в прессе, при контактах с иностранными учеными и другими путями.

Я посылаю Вам также копию письма Александрову. Оставьте, пожалуйста, ее у себя на случай возникновения каких-либо неожиданных ситуаций.

Я буду глубоко благодарен Вам за передачу письма.

Моя жена передает Вам и (так же, как я) Вашей жене наилучшие пожелания.

10 ноября 1984
Горький

С глубоким уважением
Ваш А. Сахаров

P. S. Вероятно, Вам следует отдать письмо А. П. дней через 8—10 после приезда ф-ков от меня, чтобы не было слишком явно, кто Вам его передал. А. П., конечно, можно (и желательно) этого не говорить.

Президенту АН СССР
акад. А. П. Александрову
Членам Президиума АН СССР

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей жизни. Я прошу Вас поддержать просьбу о поездке жены, Елены Георгиевны Боннэр, за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезни глаз и сердца. Ниже постараюсь объяснить, почему поездка жены стала для нас абсолютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего положения, созданная вокруг меня и вокруг моей

жены обстановка изоляции, лжи и клеветы вынуждают писать подробно; письмо получилось длинным, прошу извинить меня за это.

Мои общественные выступления — защита узников совести, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира, открытости общества и прав человека (основные из них: «Размышления о прогрессе...» — 1968 г., «О стране и мире» —1975 г., «Опасность термоядерной войны» — 1983 г.) вызывают большое раздражение властей. Я не собираюсь защищать или объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только, что должен нести единоличную ответственность за все свои действия, продиктованные сложившимися на протяжении целой жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 1971 году Елена Боннэр стала моей женой, КГБ осуществляет коварный и жестокий план решения «проблемы Сахарова» — переложить ответственность за мои действия на нее, устранить ее морально и физически, сломить тем самым и подавить меня, представить в то же время невинной жертвой происков жены (агента ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и т. д.). Если раньше еще можно было сомневаться в сказанном, то массированная кампания клеветы против жены в 1983—84 годах, и особенно действия КГБ против нее и меня в 1984 году, о которых я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнения.

Моя жена Елена Георгиевна Боннэр родилась в 1923 г. Ее родители, активные участники революции и гражданской войны, репрессированы в 1937 году. Отец (Первый секретарь ЦК партии большевиков Армении, член Исполкома Коминтерна) погиб, мать многие годы провела в лагере и ссылке, как ЧСИР (член семьи изменника родины). С первых дней Великой Отечественной войны и до августа 1945 года жена в армии — сначала санинструктор, после ранения и контузии — старшая медсестра санпоезда. Результат контузии — тяжелая болезнь глаз. Жена — инвалид Великой Отечественной войны 2-ой группы (по зрению). Всю дальнейшую жизнь она тяжело больна — но это напряженная трудовая жизнь — ученье, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь тем, кто в этом нуждается, уважение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути слились, судьба ее круто меняется. В 1977—78 годах вынуждены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей (я считаю их и своими детьми) и наши внуки — после 5 лет притеснений, многократных угроз убийства, ставшие фактически заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормальной почтовой, телефонной и телеграфной связи. С 1980 г. в США находится мать жены — сейчас ей 84 года.

Увидеть своих близких — неотъемлемое право каждого человека, в том числе и моей жены.

Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невозможно, более того — опасно, так как оно неизбежно проходит в условиях непрерывного вмешательства КГБ, а теперь также — всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опасения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже.

В 1975 году, при поддержке мировой общественности, моей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз (как я предполагаю — по указанию Л. И. Брежнева). Жена ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дважды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы в Сиене у проф. Фрезотти. Естественно, она должна продолжать лечиться и оперироваться у него же. В 1982 году возникла настоятельная необходимость новой поездки.

В сентябре 1982 г. жена подала заявление о поездке в Италию для лечения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений — несколько недель, не более 5 месяцев. Жена не получила никакого ответа до сих пор, прошло уже 2 года.

В апреле 1983 года у моей жены Е. Г. Боннэр произошел обширный крупноочаговый инфаркт (подтвержден справкой лечебного отдела Академии по запросу следственных органов). Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели место многочисленные повторные приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны (некоторые из них подтверждены обследованиями врачей Академии, в том числе в марте 1984 года). Последний очень тяжелый приступ имел место в августе 1984 г.

В ноябре 1983 года я подал заявление на имя тов. Ю. В. Андропова, а в феврале 1984 года аналогичное заявление на имя тов. К. У. Черненко. В этих заявлениях я просил дать указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка для встречи с матерью, детьми и внуками и ... лечения стала для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких других целей, кроме указанных выше. Я заверяю Вас в этом».

В сентябре 1983 года я пришел к выводу, что решение вопроса о поездке невозможно без голодовки (так же, как ранее решение вопроса о выезде к сыну невестки Лизы Алексеевой). Жена понимала, что бездействие для меня тяжелей всего. Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия властей.

30 марта 1984 года меня вызвали в ОВИР Горьковской области. Представитель ОВИРа заявила: «По поручению ОВИР СССР я сообщаю Вам, что Ваше заявление рассматривается. Однако ответ будет сообщен Вам после первого мая».

2 мая моя жена улетала в Москву. Из окна аэропорта я увидел, что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. Приехав в квартиру, я выпил слабительное, начав тем самым голодовку с требованием поездки жены. Через 2 часа приехала жена, одновременно с ней начальник Обл. КГБ, произнесший устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом ЦРУ. Жене в аэропорте был сделан личный обыск и предъявлено обвинение по статье 190-1 Уголовного Кодекса РСФСР, взята подписка о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление о поездке. В течение последующих месяцев жену регулярно вызывали на допросы. 9—10 августа состоялся суд, приговоривший ее к 5 годам ссылки. 7 сентября выездная сессия Верховного суда РСФСР (Верховный суд — спецгруппа — специально приехал в Горький) на кассационном заседании оставила приговор в силе. Местом отбывания ссылки назначен г. Горький, т. е. вместе со мной, что создает видимость гуманности. На самом же деле это замаскированное убийство!

Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы максимально затруднить единственно правильное решение о поездке жены. Дело жены, представленное в обвинительном заключении и приговоре, является типичным для судимых по этой статье примером судебного произвола и несправедливости, при этом в особенно обнаженной форме. Статья 190-1 УК РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй (по смыслу статьи — утверждений, ложность которых ясна обвиняемому, однако, в известной мне судебной практике, в том числе в деле жены, речь идет об утверждениях, истинность которых несомненна для обвиняемых, т. е. об их убежде-

ниях). В большинстве из 8 пунктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирование моих высказываний (даваемых обвинением в отрыве от контекста высказываний жены и моего реального текста). Все эти высказывания касаются второстепенных вопросов, гораздо менее существенных, чем основная тема обсуждения у меня или у жены. Например, по ходу изложения в книге «О стране и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что в СССР существует два рода денег. Это (вполне бесспорное) высказывание было упомянуто женой на одной из пресс-конференций в Италии и инкриминировано жене как клеветническое. На самом деле все принадлежащие мне высказывания следовало бы инкриминировать, во всяком случае, не жене, а мне. Жена, действуя в соответствии со своими убеждениями, выступала моим представителем.

Один из пунктов обвинения использует эмоциональное восклицание жены во время неожиданного для нее интервью приехавшему к ней французскому корреспонденту 18 мая 1983 года, через три дня после того, как у жены был диагностирован инфаркт. Как Вам известно, в мае—июне 1983 года мы безуспешно добивались совместной госпитализации в больницу АН. Корреспондент спросил: «Что же будет с вами?» Жена воскликнула: «Не знаю, по-моему, нас убивают». Эти слова обвинение и суд объявили заведомой клеветой. Ясно, что речь не шла об убийстве пистолетом или ножом, а оснований для слов о косвенном убийстве (жены, во всяком случае) было более чем достаточно.

Другой (важный в системе обвинения) пункт — об якобы осуществленном женой в 1977 году изготовлении и распространении одного из документов Хельсинкской группы. Пункт основан на явном лжесвидетельстве и полностью опровергнут в ходе суда адвокатом на основании рассмотрения хронологии событий. Свидетель заявил, что ему сказал о вывозе женой документа один из членов группы. Но свидетель был арестован до отъезда жены в Италию 7 сентября и поэтому никак не мог после отъезда жены встречаться с кем-либо «с воли». В ходе перекрестного допроса свидетель ответил, что он «узнал» о вывозе документа в июле или начале августа, т. е. заведомо до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинение не привели доказательств того, что документ был составлен до отъезда жены (на документе не проставлена дата), и вообще не привели каких-либо подтверждений истинности голословного утверждения свидетеля, к тому же ссылающегося на слова другого человека. Этот эпизод вопреки логике оставлен в приговоре и определении кассационного суда. Отказавшись от этого пункта обвинения, кассационный суд был бы вынужден отменить весь приговор и, в частности, отменить за давностью и отсутствием непрерывности все обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важней всего, что все пункты обвинения не имеют никакого юридического отношения к содержанию статьи 190-1 (предполагающей, как я сказал, заведомую клевету).

Ссылка жены фактически привела для нее к гораздо более тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом,— к прекращению всех возможностей связи с матерью и детьми, к полной изоляции от друзей, к фактической конфискации нашего имущества в московской квартире, ставшего для нас недоступным, к потере московской квартиры (замечу, что эта квартира была предоставлена матери жены в 1956 г. при ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа).

В приговоре жены совершенно отсутствуют те обвинения, которые выставляются против нее в прессе,— ее мнимые преступления в прошлом, ее «моральный облик», ее «связи» с иностранными спецслужбами; эти обвинения не упоминались на суде вообще. Ясно, что

это просто клевета для публики, для презираемого дирижерами от КГБ «быдла». Последняя статья этого рода — в «Известиях» от 21 мая 1984 г. В ней настойчиво проводится мысль, что жена все время стремится к выезду из СССР — «хоть через труп мужа», уже в 1979 году хотела остаться в США, но ей «отсоветовали» (по контексту — спецслужбы США). Вся героическая и трагическая жизнь жены со мной, принесшая ей столько потерь и страданий, опровергает эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной моя жена много раз бывала за рубежом — в Ираке (год работы по оспопрививанию), в Польше, во Франции — и никогда не помышляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ больше всего хотел бы, чтобы жена бросила меня — это было бы наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли они на это надеются, они «психологи». Статью от 21 мая от меня тщательно скрывали — я думаю, чтобы не укрепить в мысли в необходимости добиться победы до встречи с женой, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку.

4 месяца — с 7 мая по 8 сентября — жена и я были полностью изолированы друг от друга и от внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под усиленной «охраной». Кроме обычного милиционера у входной двери, круглосуточно действовали несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого «невинного» контакта с кем-либо на улице. Ее не подпускали к зданию областной больницы, где находился я.

7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили переодетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали и мучили 4 месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега. С 11-го по 27 мая включительно я подвергался мучительному и унизительному принудительному кормлению. Лицемерно все это называлось спасением моей жизни, фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жены! Способы принудительного кормления менялись — отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11—15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали ноги и руки. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем, я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне странно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохранились черновики записок жене, написанных в больнице (почти все эти записки, кроме совершенно неинформативных, не были ей переданы, так же как ее записки мне и посланные ею книги). В моей записке от 20 мая (первой после начала принудительного кормления), так же как в еще одном черновике того же времени, бросается в глаза дрожащее изломанное написание букв, а также двукратное и трехкратное повторение букв во многих словах (в основном гласных — «рууука» и т. п.). Это тоже очень характерный признак инсульта или

спазма мозговых сосудов (носящий объективный и документальный характер). В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала принудительного кормления, 9-й день голодовки) — совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления (в отличие от периода 2—10 мая). В записке от 20 мая написано: «Хожу еле-еле. Учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм (или инсульт) от 11 мая не был случайным — это прямой результат примененных ко мне медиками (по приказу КГБ) мер!

16—24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая, якобы из-за образования язвочек и пролежней по пути введения зонда, на самом же деле, как я думаю, из-за того, что этот способ был для меня слишком легким, переносимым (хотя и болезненным). В лагерях этот способ кормления применяют месяцами, даже годами.

25—27 мая применялся наиболее мучительный и унизительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым мясом. Иногда рот открывался принудительно — рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что усугублялось положением тела и головы). Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся. 27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки (чего я тогда не понимал). Я предполагал потом через некоторое время — в июле или в августе — возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную — бессрочную — пытку удушья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять.

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные «дискуссии» с соседями по палате. Я был помещен в двухместную палату, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи сменялись, но все они всячески старались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек, и какой профан в политике (в обрамлении лести, какой я ученый). Жестоко мучила почти полная бессонница — от перевозбуждения после разговоров, и еще больше — от ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене (фактически полупостельной и зачастую просто постельной больной по меркам обычной жизни), оставшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущенные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма (инсульта?).

Я не решался возобновить голодовку, в частности, опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой (что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить).

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона (клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, кото-

рую мне дал «для ознакомления» главный врач; это тоже был способ психологического давления на меня). В беседе со мной главный врач О. А. Обухов сказал: «Умереть мы Вам не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом. Есть у нас в запасе и кое-что еще. Но Вы станете беспомощным инвалидом». (Кто-то из врачей пояснил — не сможете даже сами одеть брюки.) Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить («болезнь Паркинсона привить нельзя»).

То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению названной им «1984» год. В книге и в жизни мучители добивались предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона.

Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8-го сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор — прекратить голодовку, чтобы увидеть жену после 4-х месяцев разлуки и изоляции, или продолжить голодовку, насколько хватит сил — при этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжатся на неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся, и его подробности, она же — что я подвергался мучительному принудительному кормлению.

Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я думаю, что единственная возможность спасения жены — скорая поездка за рубеж. Гибель ее была бы и моей гибелью.

Сегодня моя надежда — на Вашу помощь, на Ваше обращение в самые высокие инстанции для получения разрешения на поездку жены.

Я прошу о помощи Президиум АН СССР и лично Вас, как Президента Академии, и как человека, знавшего меня многие годы.

Так как жена осуждена на ссылку, то ее поездка вероятно возможна только в том случае, если Президиум Верховного Совета СССР своим Указом приостановит на время поездки действие приговора (подобный прецедент имел место в Польше, и в самое последнее время — в СССР), или Президиум Верховного Совета или другая инстанция вообще отменят приговор с учетом того, что жена — инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, ранее не судима, имеет 32-летний стаж безупречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно быть достаточно для Президиума Верховного Совета, для Вас же добавлю, что жена осуждена несправедливо и беззаконно даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что она моя жена и ее не хотят пустить за рубеж.

Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего положения. Жена может со своей стороны дать соответствующие обязательства. Она может также дать обязательство не разглашать подробностей моего пребывания в больнице (если это условие будет нам поставлено).

Я предполагаю и надеюсь прекратить свои общественные выступления, сосредоточившись на науке и семейной жизни. Разрешить поездку жены — моя единственная личная просьба к властям нашей страны, которой я в прошлом оказал важные, возможно, решающие услуги.

Я — единственный академик в истории Академии наук СССР и

России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массированной и подлой, провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я — единственный академик, ответственность за действия и убеждения которого перелагается на жену. Это мое положение — ложное, оно абсолютно непереносимо для меня. Я надеюсь на Вашу помощь.

Если же Вы и Президиум АН не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня, трагическом деле о поездке жены, или если ваши ходатайства и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года, я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР.

Я отказываюсь от звания действительного члена АН СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений.

Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии.

Повторяю, я надеюсь на вашу помощь.

С уважением
Андрей Сахаров

15 октября 1984 г.
г. Горький

P. S. Если это письмо будет перехвачено КГБ, я тем не менее выйду из Академии наук СССР. Ответственность за это ляжет на КГБ. Ранее (во время голодовки) я посылал Вам 4 телеграммы и письмо.

P. S. S. Письмо написано от руки, т. к. пишущие машинки (так же как многое другое — книги, дневники, рукописи, фотоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник) отобраны при обыске.

---

14 ноября 1984 г. (впрочем, на день-другой могу ошибиться) я лично передал это письмо А. П. Александрову, он прочел его при мне и обещал «передать на соответствующем уровне» (кому конкретно — сказано не было). Не сомневаюсь в том, что А. П. Александров письмо передал, но какой-либо видимой реакции на это не было

26 февраля 1985 г. вернувшиеся из очередной поездки в Горький сотрудники Отдела привезли мне для передачи А. П. Александрову второе письмо, датированное 12 января 1985 г. К сожалению, у меня нет его копии. Я лишь записал на сохранившемся у меня листке, что в этом письме А. Д. отодвигает дату своего выхода из Академии на 10 мая в связи с болезнью Черненко. Записал я и, видимо, последнюю фразу письма: «Как я Вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои общественные выступления. Я готов к пожизненной ссылке. Но гибель моей жены (неизбежная, если ей не разрешат поездку) будет и моей гибелью».

Сохранилось, однако, сопроводительное письмо Андрея Дмитриевича:

Дорогой Виталий Лазаревич!

Я опять обращаюсь к Вам с большой просьбой. Пожалуйста, передайте Анатолию Петровичу прилагаемые документы, дополняющие мое первое письмо ему, переданное, как я понял, 20-го ноября. Я посылаю: 1) Второе письмо А. П. Александрову, 2) Копию моей надзорной жалобы прокурору РСФСР, 3) Копию прошения Елены Георгиевны о помиловании, 4) Копию повестки из РОВД, 5) Копию ответа прокуратуры.

Я прошу Вас предварительно ознакомиться с этими документами. Было бы очень хорошо, если бы Вы узнали от А. П. об его отношении к моей просьбе и затем сообщили через кого-либо мне (даже если это будет нескоро). Телеграфом же можно только сообщить, что моя просьба выполнена (это будет означать, что документы переданы), если же А. П. активно действует, то вместо «выполнено» прошу написать слово «выполняется». Об исполнении других просьб, не имеющих отношения к А. П., в телеграмме, во избежание путаницы, Вы не пишите.

Прошу извинить меня, что я использую приезды физиков для целей, не имеющих отношения к науке. Но сейчас речь идет о вопросе жизни и смерти, перед которым все остальное отступает на задний план. Вы понимаете, в частности, что других путей довести что-либо до сведения А. П. у меня нет. Мы находимся в состоянии чудовищной изоляции. Друзей и знакомых к нам не пускают. Письма от нас (и к нам), содержащие хоть какую-либо информацию, не доходят. В этих обстоятельствах самое главное, что могут сделать для нас друзья,— это помочь нашей связи с внешним миром.

Мне кажется, что очень полезными были бы активные коллективные действия группы академиков и членов-корреспондентов в поддержку моей просьбы о поездке жены. Это могло бы быть совместное обращение к Президенту. Какие дальнейшие шаги возможны — не мое дело подсказывать, такие вопросы каждый решает сам за себя.

Я и Елена Георгиевна желаем всего наилучшего Вам и Вашей жене. Будьте здоровы.

С уважением
Ваш А. С.

16 января 1985

P. S. Я понимаю все негативные последствия выхода из АН. Но все это второстепенно для меня по сравнению с тем абсолютным долгом, который я чувствую на себе,— дать моей жене перед смертью увидеть близких, а может, и продлить ее жизнь. Лечение в СССР абсолютно исключено. Угроза выхода из АН — аргумент для ходатайств Александрова, я в этом уверен. Другой аргумент — прошение о помиловании, которое я посылаю. Третий аргумент — голодовка.

А. С.

Разумеется, я немедленно передал все присланные А. Д. документы А. П. Александрову. Кажется, на этот раз он при мне ничего не читал и заведомо ничего не обещал.

Быть может, стоит также пояснить, что мы (имею в виду как себя, так и некоторых других старших сотрудников отдела; мы все эти вопросы обсуждали и решали сообща) как могли отговаривали А. Д. от голодовок, опасаясь за его здоровье. Считали мы, что он не прав также, заявляя о выходе из Академии. Мы опасались, что кое-кого это только обрадует, а позиции А. Д. не укрепит. Я, как это называется в Академии наук СССР, «рядовой академик», то есть не член Президиума и вообще «руководства». Поэтому мои возможности были очень ограничены. Правда, А. П. Александров в обоих

упомянутых случаях принял меня сразу, поскольку речь шла о Сахарове. Вопрос о выходе А. Д. из Академии со мной никто не обсуждал, но мне сообщили, что исключен из Академии А. Д. не будет, поскольку в Уставе АН СССР нет пункта, допускающего выход из Академии ее членов. Итак, А. Д. таким способом ничего не добился, но в то же время и исключен не был, что, на мой взгляд, было очень хорошо со всех точек зрения. Возникает вопрос, не могли ли мы, помимо уговоров А. Д. не голодать, передачи его писем, посылки лекарств и т. п., сделать что-либо еще? Думаю, что добиться позитивного результата мы никак не могли. О причинах же, мешавших нам хотя бы более бурно протестовать, мне не хотелось бы сейчас писать.

Андрей Дмитриевич был человеком, который в определенных вопросах не отступал ни при каких обстоятельствах. Думаю, что это достаточно ясно уже из приведенных его писем. Поэтому я убежден в том, что он так и погиб бы во время очередной голодовки или без нее в изоляции. Но, к великому счастью, сменилось наконец-то руководство страны, и вначале Е. Г. Боннэр было разрешено уехать за границу, а затем А. Д. Сахаров был в конце 1986 г. возвращен в Москву (копия письма А. Д. Сахарова М. С. Горбачеву от 22 октября 1986 г. у меня имеется, но оно, кажется, хорошо известно).

Как мне говорили, патологоанатомическое исследование показало, что сердце Андрея Дмитриевича было совершенно изношено. Преследования и голодовки сделали свое дело, и еще счастье, что он три года прожил полноценной жизнью.

17 декабря 1989 г.

А. Д. Сахаров

О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза»

Солженицын направил свое письмо советским руководителям 5 сентября 1973 года. Вскоре после его высылки из СССР оно было опубликовано за рубежом * и в отрывках читалось по радио. Я считаю очень важным, чтобы выступление обладающего таким неоспоримым всемирным авторитетом автора, несомненно тщательно им продуманное и отражающее существенную часть его взглядов по принципиальным общественным вопросам, подверглось серьезному обсуждению, в особенности со стороны представителей независимой общественной мысли нашей страны. Лично для меня необходимость выступить с обсуждением письма Солженицына дополнительно усугубляется наличием ряда параллелей и скрытой дискуссии в письме с некоторыми из моих прежних общественных выступлений, частично пересмотренных мною впоследствии, а в основном по-прежнему представляющихся мне правильными. Но больше всего вынуждает меня выступить мое несогласие с некоторыми существенными концепциями письма Солженицына.

Солженицын несомненно является одним из самых выдающихся писателей и публицистов современности. В драматических коллизиях, в ярких образах и самобытном языке его произведений выражена

* Письмо Солженицына опубл. издательством YMCA-PRESS в Париже. На английском: London, Sunday Times, March 3, 1974.

глубоко выстраданная авторская позиция по важнейшим социальным, нравственным и философским проблемам. Особенная, исключительная роль Солженицына в духовной истории страны связана с бескомпромиссным, точным и глубоким освещением страданий людей и преступлений режима, неслыханных по своей массовой жестокости и сокрытости. Эта роль Солженицына очень ярко проявилась уже в его повести «Один день Ивана Денисовича» и теперь в великой книге «Архипелаг ГУЛаг», перед которой я преклоняюсь. Как бы ни относиться к позиции Солженицына по тем или иным вопросам, самая высокая оценка его творчества должна остаться незыблемой, и еще далеко не все им сказано. В своем письме Солженицын вновь говорит о страданиях и жертвах, выпавших на долю нашего народа за последние 60 лет. С особой убедительностью и болью он пишет об участи женщины, которой у нас из-за недостаточности семейного бюджета так часто приходится сочетать домашний труд и воспитание детей с самой тяжелой работой для заработка, о вытекающем отсюда упадке воспитания и распаде семьи, о всеобщем пьянстве, ставшем национальным бедствием, о неизбежном в наших условиях воровстве, бесхозяйственности и бездельничании на государственной работе, о гибели городов, сел, рек, лесов и почв. Так же, как Солженицын, я считаю ничтожными те достижения, которыми наша пропаганда так любит хвастать, по сравнению с последствиями перенапряжения, разочарования, упадка человеческого духа, с потерями во взаимоотношениях людей, в их душах.

Однако уже в этой критически-констатационной части письма проявляются некоторые особенности позиции автора, которые вызывают у меня беспокойство и чувство неудовлетворенности, усиливающиеся при дальнейшем чтении. В частности, бросается в глаза, что Солженицын особо выделяет страдания и жертвы именно русского народа. Конечно, право каждого писать и заботиться о том, что он лучше знает, что волнует его более лично, более конкретно, но ведь все мы знаем, что ужасы гражданской войны, раскулачивания, голода, террора, Отечественной войны, неслыханных в истории антинародных жестоких репрессий миллионов вернувшихся из плена, преследования верующих, что все это в совершенно равной мере коснулось и русских и нерусских подданных Советской державы. А такие акции, как насильственная депортация — геноцид, как борьба с национальными освободительными движениями, подавление национальной культуры — это даже в основном привилегия именно нерусских. А сегодня мы узнаем, что все школьники Узбекистана, прогрессом которого так любят удивлять зарубежных гостей, многие месяцы вынуждены проводить ежегодно вместо учебы на хлопковых плантациях и почти поголовно больны от вдыхания гербицидов. По моему мнению, при обсуждении вопросов такого масштаба, как поднимаемые в письме Солженицына, обо всем этом нельзя забывать. Нельзя также забывать, что своя доля исторической вины, своя доля участия в позитивной работе есть у каждого народа нашей страны и что в независимости от чьего-либо желания при любых обстоятельствах их судьбы еще долго будут тесно связаны.

Главными опасностями, стоящими перед страной, Солженицын провозглашает опасность войны с Китаем и опасность загрязнения среды обитания, истощение природных ресурсов, вызванное неумеренной индустриализацией и урбанизацией. Обе эти опасности он считает порожденными слепым следованием пришедшим с Запада идеям: догме неограниченного научно-технического прогресса, который он фактически отождествляет с неограниченным количественным расширением крупного промышленного производства, и, в особенности,

марксистской догме, являющейся, по его мнению, воплощением антирелигиозной бездуховности Запада. Солженицын пишет, что именно марксистская догма создала экономическую бессмыслицу колхозов, которая лежит в основе трагедии крестьянства в 30-х годах и в основе экономических трудностей страны сейчас. Эта догма привела к бюрократизации народного хозяйства и к тому тупику, который сегодня вынуждает распродавать природные богатства страны. Эта же догма заставляет платить из народного кармана латиноамериканским революционерам, арабским националистам, вьетнамским партизанам. Эта же догма заставляет нас угрожать всему миру термоядерным оружием и тем самым ставить в положение крайней опасности и разорять не только остальной мир, но и самих себя. Эта же догма больше, чем территориальные споры, ссорит нас с Китаем и обезоруживает нас перед ним.

Я изложил тут рассуждения Солженицына несколько свободно, по-своему, так, как я их понял. Значительная часть этих мыслей представляется мне важной и справедливой, и я с большой радостью вижу новую талантливую их защиту. Но все же я должен заявить, что в некоторых важнейших отношениях рассуждения Солженицына кажутся мне неверными, причем как раз в наименее тривиальных вопросах. Я начну с вопроса, который, быть может, менее важен по своим конкретным последствиям, но тем не менее имеет принципиальное значение. Солженицын очень верно, с болью за страну и со справедливым возмущением описывает многие несуразности, дорогостоящие бессмыслицы нашей внутренней жизни и внешней политики, но его точка зрения на их внутренний механизм, как порожденных непосредственно идеологическими причинами, представляется мне несколько схематичной. Скорее, если говорить именно о современном состоянии общества, то для него характерны идеологическая индифферентность и прагматическое использование идеологии как удобного «фасада», при этом прагматизм и гибкость в смене лозунгов сочетаются с традиционной нетерпимостью к инакомыслию «снизу». Так же, как Сталин совершал свои преступления не непосредственно из идеологических мотивов, а в борьбе за власть в процессе формирования общества нового, «казарменного», по определению Маркса, типа, так и современное руководство страны главным критерием при любых трудных решениях имеет сохранение своей власти и основных черт строя.

Мне далека также точка зрения Солженицына на роль марксизма как якобы «западного» и антирелигиозного учения, которое исказило здоровую русскую линию развития. Для меня вообще само разделение идей на западные и русские непонятно. По-моему, при научном, рационалистическом подходе к общественным и природным явлениям существует только разделение идей и концепций на верные и ошибочные. И где эта здоровая русская линия развития? Неужели был хоть один момент в истории России, как и любой страны, когда она была способна развиваться без противоречий и катаклизмов.

То, что Солженицын пишет об идеологической ритуальности, о вредной затрате времени и сил миллионов людей на эту болтовню, приучающую их к пустословию и лицемерию — бесспорно и производит сильное впечатление, но все дело в том, что эта лицемерная болтовня заменяет в наших теперешних условиях «присягу на верность», скрепляет людей круговой порукой общего греха лицемерия. Она тоже есть пример порожденной системой целесообразной несуразицы.

Особенно неточным представляется мне изложение в письме Солженицына проблемы прогресса. Прогресс — общемировой процесс, который ни в коем случае не тождественен во всяком случае в перспективе, количественному росту крупного и промышленного производства. В условиях научного и демократического общемирового регулирования экономики и всей общественной жизни, включая динамику народонаселения, это не утопия, по моему глубокому убеждению, а настоятельная необходимость. Прогресс должен непрерывно и целесообразно менять свои конкретные формы, обеспечивая потребности человеческого общества, обязательно сохраняя природу и землю для наших потомков. Замедление научных исследований, международных научных связей, технологических поисков, новых систем земледелия может только отдалить решение этих проблем и создать критические ситуации для мира в целом.

Самый драматичный из тезисов Солженицына относится к проблеме Китая. Солженицын считает, что нашей стране из-за борьбы за идеологическое первенство и из-за демографического давления угрожает, причем очень скоро, тотальная война с Китаем за территорию Азиатской части СССР. Эта война рисуется им как самая длительная и кровопролитная в истории человечества, как война, в которой не будет победителей, а лишь общая гибель и одичание. Солженицын призывает противопоставить этой угрозе отказ от идеологического соперничества, русский патриотизм, освоение Северо-Востока страны. Я в свое время отдал дань аналогичным опасениям в «Памятной записке». Сейчас я думаю, что такая точка зрения излишне драматизирует ситуацию, которая, конечно, не является простой и безоблачной. Большинство экспертов по Китаю, как мне кажется, разделяют ту оценку, что еще сравнительно долгое время Китай не будет иметь военных возможностей для большой агрессивной войны против СССР. Трудно представить себе, чтобы нашлись авантюристы, которые толкнули бы его сейчас на такой самоубийственный шаг. Но и агрессия СССР тоже обречена была бы на провал. Можно даже высказать предположение, что раздувание китайской угрозы — это один из элементов политической игры советского руководства. Переоценка китайской угрозы — плохая услуга делу демократизации и демилитаризации нашей страны, в которых она так нуждается и нуждается весь мир. Другое дело, что судьба китайского народа, как и многих других народов в нашем мире, трагична и должна быть предметом заботы всего человечества, в том числе ООН. Но это особая тема. В проблеме конфликта с Китаем, носящем, по-моему, геополитический характер борьбы за гегемонию, Солженицын, как и в других местах своего письма, излишне переоценивает роль идеологии. Китайские руководители, по-видимому,— не меньшие прагматики, чем советские.

Перейду к разбору позитивной программы Солженицына, направленной, по его словам, на предотвращение войны с Китаем и предотвращение гибели русской природы, земли и нации. Я суммирую эти предложения в виде нижеследующих пунктов; конечно, опять я несу ответственность за формулировки, за порядок пунктов и тому подобное.

1. Отказ от официальной поддержки марксизма, как государственной общеобязательной идеологии («отделение марксизма от государства»).

2. Отказ от поддержки революционеров, националистов, партизан во всем мире, сосредоточение усилий на внутренних проблемах.

3. Прекращение опеки восточной Европы, отказ от насильственного удержания национальных республик в составе СССР.

4. Аграрная реформа по образцу ПНР (моя формулировка).

5. Развитие Северо-Востока страны на основе не прогрессирующей, но совершенной технологии без гигантских заводов с сохранением среды, тишины, почвы и тому подобное. Очевидно, имеется в виду

заселение Северо-Востока общинами добровольцев-энтузиастов. Солженицын, как мне кажется, рассматривает этих людей как патриотов, воодушевленных национальной и религиозной идеями. Именно им он предлагает отдать освободившиеся ресурсы государства, отдать результаты научных исследований, создать для них возможность высоких личных доходов от хозяйственной деятельности, но зато это будет форпост против Китая и заповедник («отстойник», как он пишет) для русской нации, это будет основной источник богатства для всей страны.

6. Прекращение распродажи национальных богатств, природного газа, леса и тому подобное, экономический изоляционизм, как дополнение изоляционизма военного, политического и идеологического.

7. Разоружение в пределах, допустимых китайской угрозой.

8. Демократические свободы, терпимость, освобождение политзаключенных.

9. Укрепление семьи, воспитания, свобода религиозного воспитания.

10. Сохранение партии, но с усилением роли Советов; допустимо сохранение основных авторитарных сторон строя, но с усилением законов и правопорядка при наличии свободы совести.

Несомненно, программа Солженицына есть плод серьезных размышлений ее автора, выражение системы мнений, в которых он искренне убежден. И все же я вынужден сказать, что эта программа вызывает у меня серьезные возражения. Нельзя не согласиться с целесообразностью предложений, содержащихся в пунктах 2, 3, 4. Впрочем, я в своем изложении невольно усилил акцент на представляющемся мне исключительно важном и с нравственной, и с политической точек зрения пункте 3. У Солженицына этот тезис дан только в сноске. Пункт 1, требующий отмены официальной государственной поддержки марксизма,— бесспорен. Но я уже писал, что, по моему мнению, не надо переоценивать роль идеологического фактора в сегодняшней жизни советского общества.

Бесспорны, хотя и не первый раз встречаются в демократических документах, пункты 7, 8, 9. Повторение их авторитетным автором не может быть излишним, и они хорошо аргументированы в письме.

Аргументируя 10-й пункт своей программы, Солженицын пишет, что, может быть, наша страна не дозрела до демократического строя и что авторитарный строй в условиях законности и православия был не так уж плох, раз Россия сохранила при этом строе свое национальное здоровье вплоть до XX века. Эти высказывания Солженицына чужды мне. Я считаю единственным благоприятным для любой страны демократический путь развития. Существующий в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не национальным здоровьем. Лишь в демократических условиях может выработаться народный характер, способный к разумному существованию во все усложняющемся мире. Конечно, тут существует нечто вроде порочного круга, который не может быть преодолен за короткое время, но я не вижу, почему в нашей стране это невозможно в принципе. В прошлом России было немало прекрасных демократических свершений, начиная с реформ Александра II. Я не признаю поэтому также аргументацию тех людей с Запада, которые считают неудачу социализма в России результатом ее специфики, отсутствием демократических традиций.

Главными, центральными в программе Солженицына являются пункты 5 и 6, и здесь необходим более подробный разбор. Я в первую очередь возражаю против стремления отгородить нашу страну от

якобы тлетворного влияния Запада, от торговли, от того, что называется «обменом людьми и идеями». Единственная форма изоляционизма, которая разумна,— это нам не лезть с нашим социалистическим мессианством в другие страны, прекратить тайную и явную поддержку смуты на других континентах, прекратить экспорт смертоносного оружия.

Возможно ли сейчас интенсивное и высокопродуктивное освоение обширных северных пространств в условиях теперешней малонаселенности, сурового климата, бездорожья, если его проводить экономическими и техническими силами одной нашей страны, в которой так напряжены все ее резервы и долго еще будут напряжены? Я уверен, что невозможно. Поэтому отказ от международного сотрудничества с США, ФРГ, Японией, Францией, Италией, Англией, Индией, Китаем и другими странами в этом освоении, от импорта оборудования, капитала, технических идей, от иммиграции рабочих означал бы недопустимую с точки зрения общечеловеческих проблем задержку в освоении этих пространств (политику «собаки на сене»). И более широко: я глубоко убежден, в отличие от Солженицына, что нет ни одной важной ключевой проблемы, которая имеет решение в национальном масштабе. В частности, разоружение, которое так существенно для устранения опасности войны, очевидным образом возможно только параллельно во всех крупных державах на основе договоренности и доверия. То же самое относится к переходу на безвредную для сохранения среды технологию, которая неизбежно будет дороже, к вопросам ограничения рождаемости и промышленного роста. Все эти проблемы упираются в межгосударственное соперничество и национальный эгоизм.

Только в глобальном масштабе возможно решение основных научно-технических задач современности, например, таких, как создание ядерной и термоядерной энергетики, новой сельскохозяйственной технологии, производство синтетических заменителей белка, проблемы градостроительства, разработка безвредной для природы промышленной технологии, освоение космоса, борьба с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, разработка кибернетической техники и другие. Эти задачи требуют многомиллиардных затрат, непосильных для отдельного государства.

Обобщая сказанное, только в глобальном масштабе возможны разработка и осуществление стратегии развития человеческого общества на Земле, совместимые с продолжением существования человечества.

Наша страна не может жить в экономической и научно-технической изоляции, без мировой торговли, в том числе и без торговли природными богатствами страны, в отрыве от мирового научно-технического прогресса, который представляет собой не только опасность, но и одновременно и единственный реальный шанс спасения человечества. Это сближение с Западом должно носить именно характер первого этапа конвергенции (вопреки тому, что считает Солженицын) и сопровождаться демократическими сдвигами в СССР, частью добровольными, а частью вынужденными экономическим и политическим давлением извне. В частности, очень важно демократическое решение проблемы свободы выезда из СССР и возвращения русских, немцев, евреев, украинцев, литовцев, турок, армян и всех других, поскольку при наличии такого решения станет невозможным сохранение и других антидемократических институтов в стране, возникнет необходимость приближения жизненных стандартов к западным, возникнут условия для свободного обмена людьми и идеями.

Более сложен вопрос о разукрупнении производства и об общин-

ной его организации. Роль промышленного гигантизма в возникновении трудностей современного мира, с моей точки зрения, сильно переоценивается Солженицыным и родственными ему по духу публицистами. Оптимальная структура производства зависит от стольких конкретных технических, социальных, демографических, даже климатических причин, что навязывать что-либо определенное было бы неразумно. А община, в частности, тоже не представляется мне панацеей от всех бед, хотя я не отрицаю ее привлекательности в определенных условиях. Мечта Солженицына о возможности обойтись простейшей техникой, почти что ручным трудом, выглядит вообще непрактичной, а в трудных условиях Северо-Востока заранее обреченной на провал. Программа Солженицына — это скорее мифотворчество, чем реальный проект, но создание мифов не всегда безобидно, особенно в XX веке, жаждущем их. Миф об «отстойнике» для русской нации может обернуться трагедией.

Кратко резюмирую некоторые из моих возражений против письма Солженицына в целом. Солженицын, как я считаю, переоценивает роль идеологического фактора в современном советском обществе. Отсюда его вера в то, что замена марксизма на здоровую идеологию, в качестве которой ему рисуется, по-видимому, православие, спасет русский народ. Эта уверенность лежит в основе всей его концепции. Но я убежден, что в действительности националистическая и изоляционистская направленность мыслей Солженицына, свойственный ему религиозно-патриархальный романтизм приводят его к очень существенным ошибкам, делают его предложения утопичными и потенциально опасными.

Солженицын не только риторически, но и реально обращается в своем письме к руководителям страны, рассчитывая найти у них хотя бы частичное понимание. Против такого желания трудно спорить. Но есть ли в его предложениях что-либо, что одновременно является новым для руководителей страны и в то же время приемлемым для них? Великорусский национализм, энтузиазм в освоении целины — ведь все это уже использовалось и используется. Призыв к патриотизму — это уж совсем из арсенала официозной пропаганды. Он невольно сопоставляется и с пресловутым военно-патриотическим воспитанием и с борьбой против «низкопоклонства» в недавнем прошлом. Сталин во время войны и до самой смерти широко допускал «прирученное» православие. Все эти параллели с предложениями Солженицына не только поразительны, они должны настораживать.

Могут сказать, что национализм Солженицына не агрессивен, что он носит мягкий оборонительный характер и преследует цели спасения и восстановления одной из наиболее многострадальных наций. Из истории, однако, известно, что «идеологи» всегда были мягче идущих за ними практических политиков. В значительной части русского народа и части руководителей страны существуют настроения великорусского национализма, сочетающиеся с боязнью попасть в зависимость от Запада и с боязнью демократических преобразований. Попав на подобную благодатную почву, ошибки Солженицына могут стать опасными.

Я счел необходимым выступить с этой статьей главным образом из-за несогласия со многими положениями Солженицына. Но с другой стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в целом опубликование письма Солженицына — важное общественное явление, еще один факт свободной дискуссии по принципиальным проблемам.

Солженицын, несмотря на то, что некоторые черты его мировоззрения представляются мне ошибочными, является гигантом борьбы за человеческое достоинство в современном трагическом мире.

Андрей Сахаров

3 апреля 1974 года

ОТ РЕДАКЦИИ

Печатая работу А. Д. Сахарова «О письме Александра Солженицына "Вождям Советского Союза"», редакция считала необходимым одновременно напечатать само письмо Александра Исаевича Солженицына, чтобы читатели могли сопоставить точки зрения двух выдающихся мыслителей нашего времени. Однако нас известили, что в ближайшие два года А. И. Солженицын не будет издавать свои публицистические работы.

Памятная записка

Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. Л. И. Брежневу

Прошу об обсуждении общих вопросов, частично ранее обсуждавшихся в письме Р. А. Медведева, В. Ф. Турчина и в моем письме 1968 года. Прошу также о рассмотрении ряда частных злободневных вопросов, которые глубоко волнуют меня.

Ниже в двух общих списках перечислены вопросы разного масштаба, разной степени бесспорности. Но между ними есть определенная внутренняя связь. Дискуссия и частичная аргументация по поднятым вопросам содержится в упомянутых письмах и в приложении к этой записке.

Я хочу также информировать Вас, что в ноябре 1970 года я вместе с В. Н. Чалидзе и А. Н. Твердохлебовым принял участие в учреждении Комитета прав человека в целях изучения проблемы обеспечения прав человека и содействия правовому просвещению. Некоторые документы комитета я прилагаю. Мы надеемся быть полезными обществу, стремимся к диалогу с руководством, к откровенному, гласному обсуждению проблемы прав человека.

А. Некоторые неотложные вопросы

Перечисленные ниже вопросы представляются мне неотложными. Для краткости они сформулированы в виде предложений. Отдавая себе отчет в том, что некоторые из вопросов нуждаются в дополнительном изучении, и сознавая, что список по необходимости является неполным и поэтому в какой-то мере субъективным (некоторые не менее важные вопросы я пытался отметить во второй части Записки, а некоторые вообще не могли быть упомянуты), я все же считаю необходимым просить об обсуждении компетентными инстанциями нижеследующих предложений.

1. О политических преследованиях:

а) Я считаю давно назревшей проблемой проведение общей амнистии политических заключенных, включая лиц, осужденных по статьям 70, 72, 190-1, 2, 3 УК РСФСР и аналогичным статьям УК союзных республик, включая осужденных по религиозным мотивам, включая содержащихся в психиатрических учреждениях, включая лиц, осужденных за попытку перехода границы, включая политических заключенных, дополнительно осужденных за попытку побега из лагеря или пропаганду в лагере.

б) Принять меры по обеспечению широкой фактической гласности рассмотрения всех судебных дел, особенно политического характера. Считаю важным пересмотр всех судебных приговоров, постановленных с нарушением принципа гласности.

в) Я считаю недопустимым психиатрические репрессии по политическим, идеологическим и религиозным мотивам. По моему мнению, необходимо принять закон о защите прав лиц, подвергаемых принудительной психиатрической госпитализации; принять решения и необходимые законодательные уточнения для защиты прав лиц, предполагаемых психическими больными при судебном преследовании по политическим обвинениям. В частности, в обоих случаях допустить практику частных психиатрических обследований комиссиями, не зависящими от властей.

г) Независимо от решения этих вопросов в общем порядке, я прошу о рассмотрении компетентными органами ряда конкретных срочных дел; некоторые из них перечислены в прилагаемой Записке.

2. О гласности, о свободе информационного обмена и убеждений:

а) Вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и средствах массовой информации.

б) Принять решение о более свободной публикации статистических и социологических данных.

3. О национальных проблемах, о проблеме выезда из нашей страны:

а) Принять решения и законы о полном восстановлении прав выселенных при Сталине народов.

б) Принять законы, обеспечивающие простое и беспрепятственное осуществление гражданами их права на выезд за пределы страны и на свободное возвращение. Отменить инструкции, содержащие ограничения этого права, противоречащие закону.

4. О международных проблемах:

а) Проявить инициативу и объявить (или подтвердить — сначала в одностороннем порядке) об отказе от применения первыми оружия массового уничтожения (ядерного оружия, химического, бактериологического и обжигающего). Допустить на свою территорию инспекционные группы для эффективного контроля за разоружением (в случае заключения соглашения о разоружении или частичном ограничении тех или иных типов вооружения).

б) Для укрепления результатов изменения отношений с ФРГ выработать более новую гибкую и реалистическую позицию по проблеме Западного Берлина.

в) Изменить свою политическую позицию на Ближнем Востоке и во Вьетнаме, активно добиваясь через ООН и по дипломатическим каналам скорейшего мирного урегулирования на условиях компромисса с отказом от одностороннего военного и политического прямого или косвенного вмешательства со стороны США или СССР, с выдвижением программы широкой экономической помощи на международной аполитичной основе (через ООН?) с предложением широкого использования войск ООН для обеспечения политической и военной стабильности в этих районах.

Б. Тезисы и предложения по общим проблемам

В порядке подготовки к обсуждению основных проблем развития и международной политики нашей страны я попытался сформулировать ряд тезисов. Некоторые из них носят дискуссионный характер. Я стремился к наиболее полному изложению своих мыслей, хотя и отдавал себе отчет в том, что некоторые из тезисов представятся неприемлемыми, а некоторые представятся неинтересными, малозначительными.

1. Начиная с 1956 года в нашей стране осуществлен ряд важных мероприятий, устраняющих наиболее опасные и уродливые черты предыдущего этапа развития советского общества и нашей государственной политики. Однако одновременно имеют место определенные негативные явления — отступления, непоследовательность и медлительность в осуществлении новой линии. Необходима выработка четкой и последовательной программы дальнейшей демократизации и либерализации и осуществление ряда неотложных первоочередных шагов. Этого требуют интересы технико-экономического прогресса, постепенного преодоления отставания и изоляции от передовых капиталистических стран, благосостояния широких слоев населения, внутренней стабильности и внешней безопасности нашей страны. Развитие нашей страны идет в условиях существенных трудностей отношений с Китаем. Налицо серьезные внутренние трудности в области экономики и благосостояния населения, технико-экономического прогресса, культуры и идеологии.

Следует отметить обострение национальной проблемы, сложности взаимоотношений партийно-государственного аппарата и интеллигенции, взаимоотношений основной массы трудящихся, находящихся в относительно худшем положении в бытовом и экономическом отношениях, в отношении продвижения по работе и культурного роста, испытывающих в ряде случаев чувство разочарования в «громких словах», и привилегированной группы и «начальства», к которому более отсталые слои трудящихся нередко относят в силу традиционных предрассудков главным образом интеллигенцию. Внешняя политика нашей страны не всегда является достаточно реалистичной. Необходимы кардинальные решения для предупреждения возможных осложнений.

2. Я высказываю мнение, что было бы правильным следующим образом охарактеризовать общество, к осуществлению которого должны быть направлены неотложные государственные реформы и усилия граждан по развитию общественного сознания:

а) Основной своей целью государство ставит охрану и обеспечение основных прав своих граждан. Защита прав человека выше других целей.

б) Все действия государственных учреждений целиком основаны на законах (стабильных и известных гражданам). Соблюдение законов обязательно для всех граждан, учреждений и организаций.

в) Счастье людей, в частности, обеспечено их свободой в труде, в потреблении, в личной жизни, в образовании, в культурных и обще-

ственных проявлениях, свободой убеждений и совести, свободой информационного обмена и передвижения.

г) Гласность содействует контролю общественности за законностью, справедливостью, целесообразностью всех принимаемых решений, способствует эффективности всей системы, обусловливает научно-демократический характер системы управления, способствует прогрессу, благосостоянию и безопасности страны.

д) Соревновательность, гласность, отсутствие привилегий обеспечивают целесообразное и справедливое поощрение труда, способностей и инициативы всех граждан.

е) Имеется определенное расслоение общества по роду занятий, характеру способностей и отношений, но должно быть и...

ж) Основная энергия страны направлена на гармоничное внутреннее развитие с целесообразным использованием трудовых и природных ресурсов. В этом основа ее силы и благосостояния. Страна и ее народ всегда готовы к дружескому, обусловленному общечеловеческим братством международному сотрудничеству и помощи, но общество не нуждается во внешней политике как средстве внутренней политической стабилизации или для расширения зоны влияния или экспорта своих идей; обществу чужды мессианство, заблуждения о единственности и исключительных достоинствах своего пути и отрицание пути других, органически чужды догматизм, авантюризм и агрессивность. В частности, в конкретных условиях нашей страны только концентрация ресурсов на внутренних проблемах позволит преодолеть трудности в области экономики и благосостояния населения, при ряде дополнительных условий (демократизация, ликвидация информационной изоляции нашего народа от остального мира, экономические мероприятия) обеспечит надежду на постепенное преодоление отставания от передовых капиталистических стран, обеспечит безопасность страны от возможных обострений с Китаем, обеспечит большую возможность для помощи нуждающимся странам.

3. Внешняя политика:

а) Основная внешнеполитическая проблема — взаимоотношения с Китаем. Предлагая китайскому народу альтернативу экономической, технической и культурной помощи, братского сотрудничества и совместного движения по демократическому пути, всегда оставляя возможность этого пути развития отношений, проявить одновременно особую заботу для обеспечения безопасности нашей страны, избегать всех других возможных внешних и внутренних осложнений, осуществлять свои планы освоения Сибири с учетом указанного фактора.

б) Стремиться к невмешательству во внутренние дела других социалистических стран и к экономической взаимопомощи.

в) Выступить с инициативой создания (в рамках ООН?) нового международного консультативного органа «Международного совета экспертов по вопросам мира, разоружения, экономической помощи нуждающимся странам, по защите прав человека, по охране природной среды» из авторитетных и беспристрастных лиц. Статут совета и процедура, определяющая его состав, должны обеспечивать максимальную независимость от интересов отдельных государств и групп государств. Вероятно, при определении состава совета и его статута необходимо учитывать пожелания основных международных организаций заключить международный пакт, обязывающий к рассмотрению законодательными и правительственными органами рекомендаций «Совета экспертов», которые должны носить гласный и обоснованный характер. Решения национальных органов по этим рекомендациям тоже должны быть гласными, вне зависимости от того, приняты или отвергнуты рекомендации.

4. Экономические проблемы, управление, кадры:

а) Углубление экономической реформы 1965 года, увеличение хозяйственной самостоятельности всех производственных единиц, пересмотр ряда ограничительных положений в отношении подбора кадров, зарплаты и поощрения, системы материального снабжения и фондов, планирования, кооперирования, выбора профиля продукции, финансирования.

б) В области кадров и управления. Принять решения по расширению гласности в работе государственных учреждений всех ступеней в пределах, допускаемых интересами государства. В особенности существенен пересмотр традиции «кабинетности» в вопросах кадровой политики, расширение гласного общественного делового контроля над подбором кадров, выборности и фактической сменяемости при непригодности руководителей всех уровней. Я подразумеваю также обычное требование демократических программ о ликвидации системы выборов без избыточного числа кандидатов, то есть о ликвидации «выборов без выбора». Одновременно необходимы улучшение информированности, самостоятельность, право на эксперимент, перенос центра ответственности в сторону руководимого предприятия и его служащих. Улучшение методов специальной подготовки и делового обучения руководителей всех уровней. Ликвидация специальных привилегий, связанных со служебным и партийным положением, как очень вредных в социальном и деловом смысле. Публикация величины должностных окладов. Реорганизация отделов кадров, ликвидация номенклатурных списков и тому подобных пережитков предыдущей эпохи. Создание при руководящих органах научно-консультационных советов, включающих ученых разных специальностей и обладающих необходимой самостоятельностью.

в) Мероприятия, способствующие расширению сельскохозяйственного производства на приусадебных участках колхозников, рабочих совхозов и единоличников — изменение налоговой политики, расширение земельных угодий этого сектора, изменение системы снабжения этого сектора сельскохозяйственной современной и специально разработанной техникой, удобрениями и др. Мероприятия, улучшающие снабжение села строительными материалами, топливом, расширение всех форм кооперативного хозяйствования на селе, с изменением налоговой политики, разрешение найма рабочих и их оплаты в соответствии с интересами дела, с изменением системы материального снабжения села.

г) Расширение возможностей и выгодности частной инициативы в среде обслуживания, в медицинском обслуживании, мелкой торговле, образовании и т. п.

5. Рассмотреть вопрос о постепенной отмене паспортного режима как серьезного тормоза в развитии производительных сил страны и как нарушения прав граждан, в особенности сельских жителей.

6. В области информационного обмена, культуры, науки и свободы убеждений:

а) Поощрять свободу убеждений, дух изучения, делового беспокойства.

б) Прекратить глушение иностранных радиопередач, расширить ввоз иностранной литературы, войти в международную систему охраны авторских прав, облегчить международный туризм — для преодоления пагубной для нашего развития изоляции.

в) Принять решения, обеспечивающие фактическое отделение церкви от государства, фактическую (то есть обеспеченную юридически, материально и административно) свободу совести и вероисповедания.

г) Пересмотреть те стороны взаимоотношений государственно-партийного аппарата и искусства, литературы, театра, органов образования и т. п., которые наносят ущерб развитию культуры в нашей стране, снижают смелость и разносторонность творческого поиска, приводят к казенщине, серости и ритуальности. В общественных и гуманитарных науках, роль которых в современной жизни непрерывно возрастает (в философии, истории, социологии, юриспруденции и т. п.),— обеспечить ликвидацию застоя, расширение направлений творческого поиска, независимость от предвзятых точек зрения, использование всей гаммы зарубежного опыта.

7. В социальной области:

а) Рассмотреть вопрос о возможности отмены смертной казни. Отменить особый строгий режим лишения свободы, как противоречащий гуманности. Принять меры по совершенствованию пенитенциарной системы, с использованием зарубежного опыта и рекомендаций ООН.

б) Рассмотреть возможность учреждения общественного наблюдательного органа, имеющего целью исключить возможность применения физических мер воздействия (избиения, голод и холод и т. п.) к задержанным, арестованным и осужденным.

в) Резкое улучшение качества образования. Повышение оплаты и самостоятельности учителей школ и преподавателей вузов. Уменьшить формальную роль дипломов и ученых степеней. Уменьшение унифицированности системы образования, более широкое профилирование в школах. Увеличение гарантии права на убеждения.

г) Расширение мер борьбы с алкоголизмом с привлечением возможностей общественного контроля над всеми аспектами проблемы.

д) Усилить мероприятия по борьбе с шумом, с отравлением воздуха и воды, борьбе с эрозией, засолонением почвы и отравлением ее химикатами. Улучшить защиту лесов, диких и домашних животных, защиту животных от жестокостей.

е) Реформа системы медицинского обслуживания. Расширение сети поликлиник и больниц, увеличение роли частнопрактикующего врача, медсестры, сиделки. Увеличение зарплаты медработникам всех уровней. Реформа медицинской промышленности. Повсеместная доступность современных лекарств и средств. Внедрение рентгено-телевизионных установок.

8. В правовой области:

а) Ликвидация явных и скрытых форм дискриминации — по убеждениям, по национальному признаку и т. п.

б) Фактическая гласность судопроизводства во всех случаях, где она не противоречит основным правам граждан.

в) Рассмотреть вопрос о ратификации Верховным Советом СССР Пактов о правах человека, принятых 21 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и о присоединении к Факультативному протоколу к этим пактам.

9. В области взаимоотношений с национальными республиками:

Наша страна провозгласила право нации на самоопределение вплоть до отделения. Реализация права на отделение в случае Финляндии была санкционирована Советским правительством. Право на отделение союзных республик провозглашено Конституцией СССР. Имеется, однако, неясность в отношении гарантий права и процедуры, обеспечивающей подготовку, необходимое обсуждение и фактическую реализацию права. Фактически даже обсуждение подобных вопросов нередко преследуется. По моему мнению, юридическая разработка проблемы и принятие закона о гарантиях права на отделение имели бы важное внутреннее и международное значение как подтверждение антиимпериалистического и антишовинистического характера нашей политики. По всей видимости, тенденции к выходу какой-либо республики из СССР не носят массового характера, и они, несомненно, еще более ослабнут со временем в результате дальнейшей демократизации в СССР. С другой стороны, не подлежит сомнению, что республика, вышедшая по тем или иным причинам из СССР мирным конституционным путем, полностью сохранит свои связи с социалистическим содружеством наций. Экономические интересы и обороноспособность социалистического лагеря в этом случае не пострадают, поскольку сотрудничество социалистических стран носит весьма совершенный и всеобъемлющий характер и, несомненно, будет еще более углубляться в условиях взаимного невмешательства социалистических стран во внутренние дела друг друга. По этим причинам обсуждение поставленного вопроса не представляется мне опасным.

Если изложение данной Записки носило кое-где излишне безапелляционный характер, это следует отнести за счет конспективности. Проблемы, стоящие перед нашей страной, находятся в глубокой взаимной связи с некоторыми сторонами общемирового кризиса XX века — кризиса международной безопасности, потери стабильности общественного развития, идеологического тупика и разочарованности в идеалах недавнего прошлого, национализма, опасности дегуманизации. Конструктивное разрешение наших проблем, осторожное, гибкое и одновременно решительное, в силу особого положения нашей страны в мире будет иметь важное значение для всего человечества.

5 марта 1971 года

А. Сахаров
июнь 1972 года

Послесловие к «Памятной записке»

«Памятная записка» была направлена на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 5 марта 1971 года. Она осталась без ответа. Я не считаю себя вправе далее откладывать ее опубликование. «Послесловие» написано в июне 1972 г. Оно содержит некоторые дополнения и частично заменяет упомянутое в тексте записки приложение «О преследованиях по политическим мотивам».

Я начал общественную деятельность около 10—12 лет назад, осознав преступный характер возможной термоядерной войны и воздушных испытаний термоядерного оружия. С тех пор я пересмотрел многое в своих взглядах, в особенности начиная с 1968 года (для меня

лично начало этого года ознаменовалось работой над «Размышлениями о прогрессе», а конец, как и для всех, грохотом танков на улицах непокорившейся Праги).

Но основа моих взглядов все же осталась прежней.

Я по-прежнему не могу не ценить большие благотворные изменения (социальные, культурные, экономические), которые произошли в нашей стране за последние 50 лет, отдавая, однако, себе отчет в том, что аналогичные изменения имели место во многих странах и что они являются проявлением общемирового прогресса.

Я по-прежнему считаю, что преодоление трагических противоречий и опасностей нашей эпохи возможно только на пути сближения и встречной деформации капитализма и социалистического строя.

В капиталистических странах этот процесс должен сопровождаться дальнейшим усилением элементов социальной защиты прав трудящихся, ослаблением милитаризма и его влияния на политическую жизнь. В социалистических странах также необходимо ослабление милитаризации экономики и мессианской идеологии, жизненно необходимо ослабление крайних проявлений централизма и партийно-государственной бюрократической монополии как в экономической области производства и потребления, так и в области идеологии и культуры.

Я по-прежнему придаю решающее значение демократизации общества, развитию гласности, законности, обеспечению основных прав человека.

Я по-прежнему надеюсь на эволюцию общества в этих направлениях под воздействием технико-экономического прогресса, хотя мои прогнозы стали более сдержанными.

Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единственной истинной гарантией сохранения человеческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобода убеждений человека, его нравственная устремленность к добру.

Наше общество заражено апатией, лицемерием, мещанским эгоизмом, скрытой жестокостью. Большинство представителей его высшего слоя — партийно-государственного аппарата управления, высших преуспевающих слоев интеллигенции — цепко держатся за свои явные и тайные привилегии и глубоко безразличны к нарушениям прав человека, к интересам прогресса, к безопасности и будущему человечества. Другие, будучи в глубине души озабочены, не могут позволить себе никакого «свободомыслия» и обречены на мучительный разлад самих с собой. Размеры национального бедствия приобрело пьянство. Оно является одним из симптомов нравственной деградации общества, которое все больше погружается в состояние хронического алкогольного отравления.

Для духовного оздоровления страны необходима ликвидация условий, толкающих людей на лицемерие и приспособленчество, создающих у них чувство бессилия, неудовлетворенности и разочарования. Необходимо обеспечение для всех на деле, а не на словах равных возможностей в продвижении на работе, в образовании и культурном росте, необходима ликвидация системы привилегий во всех областях потребления. Необходима большая идеологическая свобода, полное прекращение всех форм преследования за убеждения. Необходима коренная реформа образования. Эти мысли лежат в основе многих предложений «Памятной записки».

В «Записке» упомянута, в частности, проблема улучшения материального положения и самостоятельности двух наиболее многочисленных и социально весомых групп интеллигенции — учителей и медицинских работников. Плачевное состояние народного образования и здравоохранения тщательно скрывается от зарубежного глаза, но для всех желающих видеть не может являться секретом. Бесплатный характер здравоохранения и образования — не более, чем экономическая иллюзия в обществе, где вся прибавочная стоимость экспроприируется и распределяется государством. В здравоохранении и образовании особенно пагубно отразилась иерархическая классовая структура нашего общества с его системой привилегий. Состояние образования и здравоохранения для народа — это нищета общедоступных больниц, бедность сельских школ, переполненные классы, бедность и придавленность народного учителя, казенное лицемерие в преподавании, распространяющее на подрастающее поколение дух равнодушия к нравственным, художественным и научным ценностям.

Особое место в числе условий оздоровления общества занимает прекращение преследований по политическим мотивам как в судебных и психиатрических формах, так и в любых других, на которые способна наша бюрократическая и косная система с ее тоталитарным вмешательством государства в жизнь граждан (увольнение с работы, исключение из вузов, отказ в прописке, ограничение в продвижении по работе и т. п.).

Ростки нравственного возрождения народа и интеллигенции, которые возникли после ограничения крайних проявлений слепой террористической системы сталинизма, не встретили должного понимания у правящих кругов. Основные классово-социальные и идеологические черты строя не претерпели существенных изменений. С болью и тревогой я вынужден отметить, что вслед за иллюзорным в значительной мере либерализмом вновь усиливаются ограничения идеологической свободы, стремление к пресечению не контролируемой государством информации, преследования по политическим и идеологическим мотивам, намеренное обострение национальных проблем. Пятнадцать месяцев, прошедших с момента подачи «Записки», принесли новые тревожные свидетельства развития этих тенденций.

Особенно волнует волна политических арестов в первые месяцы 1972 года. Многочисленные аресты имели место на Украине. Аресты имели место также в Москве, в Ленинграде и в других районах страны.

Внимание общественности в эти же месяцы привлекли суды над Буковским в Москве, над Строкатой в Одессе и другие. Необычайно опасным по своим последствиям для общества и совершенно недопустимым нарушением прав человека является использование в политических целях психиатрии; известны многочисленные протесты и высказывания по этому вопросу, сейчас по-прежнему в тюремных психиатрических больницах находятся Григоренко, Гершуни и многие другие; неизвестна судьба Файнберга и Борисова; есть и новые факты психиатрической репрессии (например, дело поэта Лупыноса на Украине).

Преследование и разрушение религии, с упорством и жестокостью проводящиеся на протяжении десятилетий,— несомненно, одно из самых серьезных по своим последствиям нарушений прав человека в нашей стране. Свобода религиозных убеждений и религиозной деятельности — неотъемлемая часть интеллектуальной свободы вообще. К сожалению, последние месяцы ознаменовались новыми фактами религиозных преследований, в частности, в Прибалтике и в других местах.

Я не останавливаюсь в этом послесловии на ряде важных проблем, получивших отражение в «Памятной записке» и в других документах, опубликованных мною,— в открытых письмах членам Прези-

диума Верховного Совета СССР «О свободе выезда из страны» и министру МВД «О дискриминации в отношении крымских татар».

Не останавливаюсь также на большинстве получивших отражение в «Записке» международных проблем, выделю из их числа вопрос об ограничении гонки вооружений. Милитаризация экономики накладывает глубокий отпечаток на международную и внутреннюю политику, приводит к нарушениям демократии, гласности и законности, создает угрозу миру. Хорошо изучена роль военно-промышленного комплекса в политике США. Аналогичная роль тех же факторов в СССР и других социалистических странах менее изучена. Однако необходимо отметить, что ни в одной стране доля военных расходов, отнесенная к национальному доходу, не достигает таких размеров, как в СССР (более 40 процентов). В обстановке взаимного недоверия особую роль играет проблема контроля, отмеченная в «Записке».

Я пишу это послесловие вскоре после подписания важных соглашений об ограничении ПРО и стратегических ракет. Хочется верить в чувство ответственности перед человечеством политических руководителей и деятелей военно-промышленных комплексов в США и СССР.

Хочется верить, что эти соглашения имеют не только символический смысл, но и приведут к реальному сокращению гонки вооружений и к дальнейшим шагам, смягчающим политический климат в нашем исстрадавшемся мире.

В заключение я считаю необходимым подчеркнуть то значение, которое я придаю предложению об организации международного консультативного органа «Международного совета экспертов», обладающего правом рекомендаций с обязательным рассмотрением их национальными правительствами — пункт Б.3. в «Записке». Я считаю это предложение реальным — при условии широкой международной поддержки, о которой я прошу, я обращаюсь не только к советским, но и к зарубежным читателям. Надеюсь также, что мой голос «изнутри» социалистического мира в какой-то мере поможет осмыслению исторического опыта последних десятилетий.

А. Сахаров

Июнь 1972 года

Юрий Ряшенцев

В ПРОХОДНЫХ ДВОРАХ

●

«А мы, на печке сидючи, приедем во дворец».

О. Чухонцев

Отлетало свое сырое белье на ветрах Усачевки.
Я иду: надо мной через двор — ни одной дрожащей бечевки.
А жесть на старой котельной гремит, гремит.
Стая диких ангелов тихо играет с державным шпилем...
Сентябрь... Вот чего мы в себе уже не осилим —
бесстрашья: на страх израсходован весь лимит.

Уже не страшны ни измена жены, ни лукавство друга,
ни подсказка лжеца, ни обида отца, ни позор испуга —
это, может, отвага, но скорее — халтура души.
Кто полвека живет в предназначенном к сносу доме,
тот — спасибо, что гвоздик забил, чего же вам кроме?
Эту правду легко доказать, да не хочется лжи.

Зачем я, как встарь, ледяной монастырь обошел за апрелем?
У таможних вод только щукам везет, а не Емелям,
куда на печной батарее — да в заветный дворец?..
А все же бесстрашная баба — память людская:
живет, ничему в человеке не потакая,
и то, что ей надобно, в нем достает наконец.

●

А потом — во двор проходной:
во дворе проходном — былое.
Там —
в кирпичной стене на раскрытом окне
горшок.
Вот уж век грозится расцвесть
столетник в горшке, алоэ:
и заколотому — на порез,
и сожженному — на ожог...
Но заколотому давно не больна ножевая рана.
И сожженный, — дым во Христе, — ни огня не поймет, ни льда.
Это рукописи не горят, от Кумрана и до Корана,
а пророков худая плоть развеяна без следа.
Но постой: в проходных дворах нет пророков, как в Назарете,
их там нет потому, что не может быть ни за что!..
О, прохожий, ты слово «нет» не забыл написать в анкете?
Там, где пункт второй? Там, где третий пункт?
Там, где пятый пункт? А не то,

а не то, кто надо решит, что ты — женщина. Или — мужчина.
Что и впрямь в таком-то году осчастливил рожденьем свет.
И что праотцев дикая кровь с бледной влагой твоей едина.
О, у нас, в проходных дворах, не прощают лживых анкет!..

Вон вороний Атилла ждет на сарае, покрытом толем,
чтобы кинуть свою чуму на песочницы и скамьи,
хочет знать, чего мы стóим и чего мы такие, стóим —
так чужая глядит семья на упадок чужой семьи...
Проходному двору — каюк: возникает каркас бетонный...
Так хочется невозможного: воскресения из среды!..
Бездумной юность была. А зрелость была бездомной.
А старость помнит все лестницы,
все черные их ходы.

На рынке

И в рыночном воскресном изобилье
заметны продавцы из-за реки.
Поделки их — проделки ли дебильи? —
всё бомбочки, скелетики, силки.

— Откуда эти дикие товары?
— Из царства, где лелеют неумех,
где слов не понимают без гитары
и где давно обожествили смех.

— Но почему купец не прогорает?
Кому из нас от этой чуши прок?
— Вон дочь твоя скелетик выбирает.
Вон бомбочку торгует мой сынок...

Почем творог? Почем теперь клубника?
Почем пшено на рынке мировом?
...Заречный гость глядит спокойно, дико
и минометик драит рукавом.

●

Разве город такой был до этого января?..
Ветер звезды согнал на самый восток небес.
Только круглый осколок дешевого янтаря —
никуда от костельной башенки, наотрез!

Этих улиц не знают нынешние фонари:
освещают не то, зажигаются не тогда.
Я любовь ненавижу за молодость — посмотри:
все, чем жил до нее, — все ей семечки, ерунда.

А тракайский коралл над зеленым огнем озер?
А месхетский хорал сквозь кровавый мятеж листвы?
Что отдать на разор, что выставить на позор —
их предать этой дикой всаднице из Москвы.

За ее двадцать пять и слова, что все — позади,
я ее не убью потому только, что — люблю.
Я любви все прощаю за молодость — погляди:
этот город стал нашей родиной к февралю...

Ветер влажен настолько, что кажется: у виска
проскользнула во тьме холодная плоть угря...
Ожидание счастья да после о нем тоска —
уж не в них ли и счастье, собственно говоря?

Песенка

А погляди-ка ты, голубушка, на вытертую шаль.
Жаль мне ту, что в ней певала, а самой ее не жаль.
Жаль зашедшего на песню молодца —
ему не дали дослушать до конца.

Ему не дали дослушать — он шагнул с крыльца в сугроб,
да у жизни сто разлучниц: разных тюрем да хвороб.
А хоть песенка не больно-то длинна —
вся-то сласть ее — с малинового дна.

Оттого, моя голубушка, поплачь да погрусти,
вспомни девку, вспомни песню — шаль возьми да распусти.
Для кого она летала, тот зачах.
Как ей нынче на чужих лежать плечах?

Как ей нынче слышать песню, и ночную да не ту,
что певал несчастный узник часовому на посту.
А что конца нет — не ругался часовой:
ему прерванная песня — не впервой.

●

Ну, айда, слобода, неизвестно куда: может, в город, а может, и зá город.
Воровать — у кого? А читать — невдомек. А мечтать — недосуг.
Да и в городе — вечный на нас наговóр, а за городом — попросту заговор:
жалит жижа лесная сквозь рваный сапог, метит в голову сук.

Здесь, в родных проходных, и начало начал, и разгон, и полет, и падение.
Здесь и вопли котов, здесь и грабли ментов, и гитарная сыпь.
А холодная близость столичных дворцов — просто фарт дармовой,
совпадение
материнской дороги с державной нуждой в послецарскую зыбь.

Ну, айда, слобода, неизвестно куда: на Девичку, а может, — в Хамовники.
Шмыгнет в тихий подъезд пионерский вожак, бонна в сквере вздохнет:
— Продувная шпана, золотая орда, басурманы, тевтоны, храмовники!..
Но семь красок закатных пройдут в небесах. Но прольются семь нот.

А ордынцев средь нас — лишь Шакир да Валей. А тевтонов — Карлушка
Клейнмихелев,
да и тот через год в ссыльном товарняке скажет смертный свой бред.
Но уж нынче, — как тетерев, глухи к судьбе, — сопли с кровью кулачною
вытерев,
мы — айда, слобода! — вдоль раскатного льда и — туда, где нас нет!

Хорошо только там, хорошо, где нас нет — так талдычит родная пословица.
Но ведь тем, кто мы есть, да туда, где нас нет, не попасть никогда.
Разве звонница храма поклонится нам — кто же кроме пропащим
поклонится? —
На счастливого детства простуженный мат — эй, айда, слобода!..

●

*«Красную розочку, красную розочку
я тебе дарю»*

(Шлягер шестидесятых годов)

А слышна ль вам в раю
и тайнинского лета огласка:
децибел комариного писка, машинного лязга
на пяток децибелов принесшего отдых дождя
и шуршанье лучей во внезапной лазури иконной,
и законный заряд матерщины, глухой, заоконной,
в адрес Господа Бога, поскольку он ближе Вождя?

Если ж ты не в раю,
то, и в пламень не веруя адский,
я пишу тебе в некий астрал,— если верить Блаватской,—
а слыхать ли в астрале тайнинских кудахтанье птиц?
Так пестры плимутроки, так важны леггорнов манеры,
словно бог их куриный посредством простой сальмонеллы
уравнял нас: носителей дум и несушек яиц...

Мы тогда так любили
бросать утомленных любимых
ради стогн городских, ради свар площадных голубиных.
«Голубь грязен,— твердил ты,— зато уж не будет войны!
Все задумано верно,— твердил ты,— лишь сделано плохо...»
Стал быть, «Красную розочку» если и пела эпоха,
ты на прежней эпохе за это не видел вины.

Двадцать лет
эти тайны Мытищ, омутища Тайнинки —
мой побег от живых и по вам, по ушедшим, поминки.
Разрешенье всех споров застало меня одного.
«Птицы мира» снуют, как сновали: а — грязи! а — гама!
Красных розочек нет. Время черных тюльпанов Афгана.
Пир во время чумы. Мир во время войны. Шельмовство

Мы держава, где крайности схожи.
У нас отчего-то
умный циник похож на того дурака-патриота,
для которого мил во Отечестве даже палач.
Да ведь это все было. А новости слышим с окраин.
И ферганскому злыдню столичный завидует Каин:
ах, зачем не на мне эта кровь, этот дым, этот плач?!

Здесь, в Тайнинке, чуть ветер —
береза кидает листовку...
Мне все кажется, что умереть — как прийти в Щебетовку:
так я в отпуск туда приезжал, а уж ты там давно.
Все покажешь: вот спуск для купанья, вон холм для беседы,
там красавица песни поет да готовит обеды.
Мне все кажется: там, после жизни,— не так уж темно.

Юрий Козлов

ОШИБКА В РАСЧЕТЕ

РАССКАЗ

I

В дальнем конце военного аэродрома почти сливался с травой транспортник защитного цвета. Утром на нем прилетел с проверкой генерал из Москвы. Самолеты заходили на посадку со стороны моря. Сначала под выпущенными шасси бежали синие волны, потом раскаленная белая взлетно-посадочная полоса. В правительственном санатории, где отдыхало множество знакомых генерала, имелись отменные теннисные корты.

Главную стоянку занимал красивый шестиместный реактивный «Барритрон». «Наверное, какой-нибудь военный араб с гаремом,— уязвленно подумал генерал.— Не могут научиться пользоваться оружием, навести порядок на Ближнем Востоке!» Когда генерал усаживался в присланную из округа черную «Волгу», из окна кабины «Барритрона» ударила песня. «Марш-марш левой! — разнеслось над аэродромом.— Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки! Марш-марш правой!» Генерал придерживался на этот счет иного мнения. «Должно быть, одна из жен — советская»,— решил он. Такой песне не полагалось звучать на военном аэродроме. Даже из иностранного самолета.

Трава напоминала выгоревший брезент. Осенний крымский ветер был горяч, словно нажрался бензина. В траве возились скворцы. Они летели в Северную Африку. На них нацелился специальный распугивающий локатор. То ли потому, что не было полетов, то ли по какой другой причине локатор бездействовал, не вселял в скворцов ужас.

Солнце садилось. Воздух был красным. Предметы отбрасывали длинные тени.

Зала ожидания при военном аэродроме не предусматривалось. Для улетающих и провожающих прямо на траву был поставлен стеклянный куб со скамейками вдоль стен. Пол застелили синтетическим ковром. Сейчас куб светился.

Там находились двое: молодой человек и девушка. У молодого человека было довольно невыразительное лицо. Он был одет в пятнистые, псевдодесантные брюки с многочисленными карманами, мятую тенниску, стоптанные резиновые тапочки отечественного производства. Девушка была вызывающе красива, изысканно одета. По идее ее никак не мог интересовать непримечательный молодой человек в пионерских тапочках, не иначе как обманом пробравшийся на военный аэродром. Место девушки было среди богатых людей, там, где не встретишь ничего отечественного, за исключением разве лишь черной и красной икры. Однако девушка стояла рядом с подозрительным молодым человеком, и на лице ее не было досады или скуки.

— Сколько тебе лет, Митя? — вдруг спросила девушка.

— Двадцать девять.— Молодой человек отворил стеклянную дверцу. В куб ворвался ветер.

— Неплохо,— сказала девушка,— иметь в двадцать девять лет свой самолет в такой стране, как наша.— Она хотела уточнить: самолет и пятерых лакеев, но сдержалась, так как не была окончательно уверена, что все эти люди лакеи. Некоторые так точно не лакеи. В подобных случаях, когда не было ясности, девушка предпочитала помалкивать.

— Да-да,— рассеянно подтвердил молодой человек,— только самолет у меня был уже шесть лет назад.

...Он тогда оканчивал аспирантуру мехмата. Ему сообщили, что военное ведомство интересуется его темой. Он пожал плечами. Это было ему в высшей степени безразлично. Он как раз завершал теоретическое обоснование Закона единого и неделимого пространства, собирался опубликовать основные тезисы в математическом журнале.

Бородатый генерал (это был первый и последний бородатый генерал из всех им виденных) отыскал его в Хлебникове — в бабушкином доме на берегу водохранилища. Вместе с ним приехал полковник с железными бесцветными глазами. Был июль, стояла чудовищная жара. Митя увидел из окна двух военных у калитки, длинную черную машину, едва втиснувшуюся в узенькую дачную улицу. «Хорошо, бабушка уехала в Москву,— подумал он,— черная машина, военные — это бы ей не понравилось...»

Полковник стал задавать нелепые вопросы: что за машинистка, в скольких экземплярах перепечатывала работу? Генерал изъявил желание искупаться. Они пошли к воде. Оставшись в широченных сатиновых трусах, генерал произнес: «Поздравляю вас с защитой кандидатской диссертации,— потом добавил: — а если хотите, докторской, как вам будет угодно». Митя молчал. Это интересовало его, но не в первую очередь. «Вы уполномочены единолично присуждать ученые степени? Вдруг я захочу стать академиком?» — «Не придирайтесь к словам,— неожиданно добродушно засмеялся генерал,— я хоть и ученый, но военный, привык, понимаете, решать вопросы по-быстрому. Особенно вопросы второстепенные.— Он поплыл на спине. Борода то исчезала, то вылезала из воды. Позже генерал расскажет Мите, каких трудов стоило ему отстоять бороду. Вопрос решался на уровне заместителя министра.— Есть вещи более серьезные. Вы, конечно, знаете цену своей идее. Вы стоите на пороге открытия, которое может изменить жизнь человечества. Расщепление атомного ядра в сравнении с ним игрушка. Атом — это энергия, Земля, сегодняшний день. Ваше открытие — время, Вселенная, будущее. Сейчас вы теоретизируете. Это прекрасно. Но все должно проверяться, испытываться на практике. Нужна база, причем база могучая. Я здесь затем, чтобы предоставить в ваше распоряжение ресурсы... не лаборатории, нет, не какого-нибудь опытного производства, даже не института. Государства, слышите, государства! А если речь идет о таком государстве, как наше, значит, ресурсы почти что всего мира!»

Тогда-то и появился у него самолет.

...Прощание затягивалось. «Барритрон» уже подрулил к кубу. Молчание, бесцельно уходящее время, казалось, не тяготили молодого человека. Не тяготили они и девушку, хоть было очевидно: она не из тех, кто теряет попусту время.

— Чего ты ждешь, Митя? — спросила девушка.

— Ровно в восемь мне откроют коридор на высоте семь тысяч двести.

— Тебе... коридор?

— Я сам поведу самолет.

— Ты умеешь?

— Это не очень трудно. Хочешь, когда вернусь, слетаем в Батуми?

— Почему именно в Батуми?

— Не знаю. Просто пришло в голову.

— А сейчас ты...

— В Калининград, на побережье Балтийского моря.

— А потом?

— Во Владивосток, на Тихий океан. Если потребуется.

— Этот... как его... Фомин взял с меня расписку, что я не буду выспрашивать тебя о работе, но ты объясни: в чем суть эксперимента?

— Однажды я восстал против Фомина,— словно не расслышал ее Митя,— мне тут же принесли секретную американскую режимную инструкцию по группе доктора Камерона. Этот тип занимается там примерно тем же, чем я здесь. Не знаю, настоящую или поддельную. Там сказано, что, как только возникнет реальная опасность захвата Камерона или любого другого члена группы агентами иностранных разведок, гангстерами, террористами, ученого следует немедленно пристрелить.

— Стало быть, Фомин твой добрый гений? Ты должен благодарить его, что до сих пор жив?

— Фомин, к сожалению, неизбежен, как физические отправления,— сказал Митя.— Суть эксперимента вот в чем: я придумал штуку, она определенным образом воздействует на пространство, как бы скручивает его в спираль. Мы берем предмет в Калининграде, и в это же самое мгновение, а в идеале еще и раньше он оказывается во Владивостоке. Ты поняла? Вроде невидимой искры в зажигании. Мотор начинает работать раньше, чем поворачивается ключ.

— И этот таинственный предмет,— усмехнулась девушка,— конечно же, ракета, неуловимая для обороны противника?

— Это интересует их. Меня — Закон.

— Ну и что за предмет... выбрали?

— Еще не выбрали. Что-нибудь небольшое. Живое — мышь, крысу — рано. Железное — неинтересно. Надо среднее. Вот думаю.

— Хочешь, подскажу? — спросила девушка.— Только это уже передано из Калининграда во Владивосток и обратно в Калининград. Да и во все другие города. Даже если эксперимент не удастся, это пребудет везде.

— Интересно.

— Банка икры минтая. Как раз — среднее. Жрать нельзя, а считается едой.

— А что? Это идея,— серьезно ответил Митя.— С меня причитается.

— Что причитается? — с тоской и даже каким-то отчаянием взглянула на него девушка.— Что причитается, Митя?

— А чего бы тебе хотелось? — спросил Митя.— Может быть, мы вам надоели?

— Это решать тебе,— ответила девушка,— где ракеты, там я, как Шахерезада, прекращаю дозволенные речи.

Митя подумал, должно быть, она проклинает день, когда он приблизился к ней в фойе интуристовской гостиницы. С ним был Серов. Серов был молод, знал языки, заграничную жизнь. В совершенстве владел наукой нападения на людей и обороны от людей же, ловил пальцами муху, кулаком вышибал замки из дверей, стрелял быстро и без промаха. Был почти что приятель. Если, конечно, бывают приятели, которых не выбирают. Мите частенько вспоминалась свирепая американская режимная инструкция.

Отплавав в бассейне, они спускались по застланной ковром лестнице. Девушка стояла у газетного киоска — невозможно красивая, свободная, недоступная. У Мити дух захватило. «Иностранка?» — спросил у Серова. «Наша,— ухмыльнулся Серов.— Знаешь, сколько тут таких иностранок?» Митя что-то спросил у нее. Она брезгливо скосилась на его мятые брюки. «Могу одолжить сто долларов,— громко сказал Серов,— но лучше решить этот вопрос по-другому. Валюту надо экономить!» — злобно подмигнул девушке. Митя тогда не понял. Понял позже, когда вдруг увидел ее в зале приемов дома отдыха Академии наук. Только что прошли выборы, чествовали новоизбранных. «Митя, поздравляю, ты член-кор! — бросился к нему кто-то из знакомых.— Не поверишь, Митенька, этот козел Глуздо голосовал против!» Тут он увидел ее. Она была одна за столиком с бутылкой минеральной воды. И почему-то вся в черном. «Справляете траур по нашей науке?» — подсел к ней. «Вот медицинское освидетельствование,— она выложила на стол справку.— СПИДа и вензаболеваний не обнаружено. Я справляю траур по самой себе».— «По-моему, тут надо радоваться»,— заметил Митя. «Я бы радовалась,— вздохнула девушка,— если бы не вы».— «Прямолинейность хороша в математике,— растерялся Митя,— в жизни это выглядит не так изящно».— «Может быть, я и прямолинейна,— согласилась девушка,— но не вам меня укорять. Вы действуете, как бандит. Хотя, что бандит? Он хоть рискует. Вы — хуже!» — «Я?..» — смутился Митя, но вспомнил про Серова. «Вот-вот,— подтвердила девушка,— альтернативный, в случае моего отказа, вариант с выездом на постоянное место жительства в Вологду был совершенно неприемлем. Ваш дружок взял меня за горло. Так что вы хуже бандита. Бандит рассчитывает на себя. А вы?»

— Смотри, Митя, полно звезд,— тронула его за руку девушка,— уже пятнадцать минут девятого. Лети, а то закроют персональный коридор.

Митя подумал, что их близость, поначалу вынужденная для девушки, постепенно обрела хоть и смутное, но человеческое содержание. Они теперь были интересны друг другу, и, похоже, оба не знали, как с этим быть. Знал Митя, что и девушку мучает неопределенность. Пока она с ним — это одно. Ну а что потом? Митя сам не знал: что потом? Он подумал: даже если он больше никогда не вспомнит о девушке, ей все равно не вырваться. Она причастна. Таких не отпускают. Они в неравном положении, и он цинично этим пользуется. «Может, жениться на ней? — подумал Митя. — Только... женятся ли на таких?»

Девушка нравилась ему. В ней было столько недостатков, что количество их переводило девушку в иное качество, где недостатки в их прежнем понимании уже значения не имели. Но в жизни, в шахматах, в науке качеством сплошь и рядом приходилось жертвовать. В математике — особенно. Какое-либо из ничего возникшее уравнение вбирало в себя вселенскую энергию, казалось самим совершенством, откровением, хотелось отвлечься от главного, работать только с ним. Но избранное направление неумолимо выводило яркое уравнение за границы расчета, делало некорректным. Мите казалось, он видит, как гаснут краски и торжествует серый цвет. Красота приносилась в жертву итогу. Митя думал: точно так же и в симфонической музыке бесконечное множество блистательных вариаций приносится в жертву тяжелому финалу. У него закрадывались сомнения в полноценности научных и прочих способов познания действительности без красоты. Сейчас он сомневался в полноценности жизни, если при любом раскладе такая девушка должна была страдать. Но в жизни, как и в математике, Митя мог позволить себе больше, нежели простой смертный. Поэтому и не торопился решать.

— Я вернусь через две недели, — ласково сказал он, — слетаем с тобой в Батуми. Не волнуйся, тебя никто здесь не обидит. Хочешь, живи в моем номере в академической гостинице, хочешь — в домике на объекте. Если эксперимент удастся, за банку минтая включу тебя в состав научной группы. Получишь награду. Хочешь стать орденоносцем?

— Митя, — тихо произнесла девушка, — зачем ты надо мною издеваешься?

— Вероятно, потому, что не знаю, что тебе сказать.

— Неужели власть — это так сладко?

— Над человеком — не очень. Это для маньяков. Над вырываемым из пустоты Законом — да. Тебя как бы избирает Бог, чтобы первому сказать. Через тебя его тайна начинает править миром.

— Бог — это здорово, Митя. Но что будет со мной?

— О, вариантов бесконечное множество. Эксперимент должен подтвердить обратимость времени. Мы с тобой выберем минутку где-нибудь в подходящем местечке, скажем, в саду Семирамиды, на острове Корфу и превратим ее в вечность. Прошлое, люди, сплетни, фомины, серовы — в нашей новой жизни это не будет иметь никакого значения... Адама и Еву Бог изгнал из рая. Нас примет обратно.

Это выговорилось легко, так как едва ли было исполнимо. Так возник в их — блудницы и атеиста — разговоре Бог. «Во всяком случае, — подумал Митя, — если ему не нравится, он может поразить самолет молнией. До Калининграда путь неблизкий».

Поднимаясь по трапу, Митя оглянулся. Девушка стояла на выгоревшей траве, русые волосы метались на ветру. Что-то хищное и одновременно беспомощное было в лице девушки. «Она просчитала все возможные варианты, — подумал Митя, — но нынешний — со мной — даже не мог прийти ей в голову. Такую программу ей пока не осилить. Но она пытается».

Митя не видел ничего противоестественного в сравнении человека с компьютером, ибо не существовало на свете ничего более похожего.

Выруливая на взлетную, он еще подумал, что вряд ли после знакомства с ним девушка сделалась счастливее. Однако в сравнении с чем? С детством, которое навсегда кануло? Или с прежней жизнью, где едва ли могла идти речь о счастье? Точно так же Митя не представлял, станет ли счастливее от его Закона человечество? Опять-таки какое? Идеальное, то есть несуществующее? Или какое есть: жертвующее красотой во имя... чего? Над этим следовало подумать.

«Барритрон» легко оторвался от бетона и через несколько секунд

оказался над морем. Еще раньше оказался там истребитель, которому предстояло вести «Барритрон» первую половину пути, а в небе над Львовом передать другому истребителю.

II

Некоторое время было относительно светло. Самолет летел на запад. Но чтобы догнать падающее солнце, надо было лететь гораздо быстрее. Такой скоростью «Барритрон» не обладал. Вскоре он отстал от света. Накатили звезды. Внизу ненормально и мощно горели газовые факелы.

Заданная высота была набрана, делать за штурвалом стало нечего. Митя решил пойти в салон, посмотреть новейшую компьютерную подсистему.

Пока Митя в Крыму на объекте «С» делал последние расчеты, Серов смотался на «Барритроне» в Стамбул, где одна турецкая компания продала не подлежащую продаже подсистему. Она разместилась в четырнадцати коробках. «Теперь они будут доставать нам все, что попросим, — уверенно сказал Серов, — и не за такие бешеные деньги. По турецким законам, если всплывет — им пожизненное, а то и расстрел. Они на крючке!» — «Мне нужна «Яшида», — ответил Митя, — одна-единственная «Яшида». У доктора Камерона день и ночь работают четыре. Я его обогнал, но технология способна сама рождать идеи. Д. К. может получить все на блюдечке. Тогда нам останется только повыгоднее продать лицензию. Без технологии будущего нет. У нас нет технологии». — «Люди работают, — помрачнел Серов, — нашли что-то в Иокогаме. Да что толку в чертежах, если все равно сделать не сможем? Просись, Митя, в Японию, я с тобой, на месте пошарим, может, чего и подберем...»

Подсистему следовало соединить с главным компьютером, но и без подсоединения можно было начать предварительную прикидку на икру минтая. «У нас есть в холодильнике икра минтая?» — поинтересовался Митя. «Такого дерьма не держим, — с отвращением отозвался Серов, — крабы, нормальная икра, печень трески — пожалуйста». — «Сообщи в Калининград на главный, будем передавать банку минтая. Это то, что нужно».

Внизу поблескивал Днепр. Судоходный фарватер был размечен огнями бакенов. Большой туристический теплоход стоял на черной воде, как подсвечник. На палубе, должно быть, играла музыка, в баре выпивали и заводили знакомства, в каютах... Страшно представить, что творилось в каютах. Митя подумал, что шесть лет назад бородатый генерал несколько преувеличил насчет ресурсов всего мира. Мир с тех пор еще дальше убежал вперед, схватив под мышку ресурсы.

Его позвали в салон к радиотелефону. Звонила мать. Через коммутаторы, высоко- и низкочастотную связь она отыскала его, летящего над Днепром в коридоре на высоте семь тысяч двести. Мать не вполне представляла себе, чем он занимается. Почему-то считала генералом, хоть он не имел никакого воинского звания. «Ах, Митя, почему ты не носишь форму? — спросила в одну из редких встреч. — Мне так хочется пройтись с тобой по двору. Чтобы все увидели!»

Голос матери звучал напористо, звонко. «Хоть бы помехи», — подумал он. Но эта связь действовала без помех.

Митя не сразу понял, зачем понадобился матери, а когда понял, бросать трубку было поздно. «Митя, это безобразие, до сих пор не привезли!» — «Не привезли?» — «Ты что, забыл? Панели в спальню! Я заказала в этой мастерской, неделю назад должны были привезти, где они, Митя?» — «Где... что?» — «Митя, я понимаю, ты занятой человек, но умоляю: прими меры! Скажи адъютантам. Мы с папой неделю сидим на жаре, как привязанные, а они не чешутся! И последнее, Митя, они сказали, что на складе только наши унитазы. Это убожество, Митя, каменный век. Не говоря о том, какое это неуважение к тебе. Для какого-то ничтожества из горкома у них нашлось все, абсолютно все! Я сама видела. Черт с ним, с финским, но чешский-то, чешский! они могут достать? Как ты думаешь?» — «Да-да, мама, больше нельзя занимать линию, чешский они могут». Он положил трубку, попросил радиста соединять только в случае крайней необходимости. Единственным человеком, с которым он всегда

был рад говорить, была бабушка. Но она не научилась ему звонить, сколько он ни объяснял. Сейчас бабушка лежала в больнице.

Каждый раз, когда Митя вспоминал ее голову в пластмассовом коконе под проводами, смуглое острое личико, усыхающее с каждым месяцем, настроение портилось. Даже работа, единственное, что интересовало, казалась постылой.

Полгода назад у бабушки начались дикие головные боли. Она ничего не говорила, но когда однажды прямо на его глазах потеряла сознание, он настоял на обследовании.

Виной всему оказалась давняя черепно-мозговая травма. Много лет она не давала о себе знать. «В старости в головном мозге идут весьма активные процессы. Мозг перестраивает свою энергетическую основу, готовится к загробной жизни,—объяснил французский нейрохирург, приглашенный для консультации.—Процесс обнажил давнее поражение, необходима сложнейшая операция. Смешно говорить о гарантиях, когда речь идет об операции на открытом мозге. Гарантий нет».

После консилиума француз поинтересовался, верует ли пациентка в Бога? Лечащие врачи пожали плечами. «Верует»,—ответил Митя. «Для подобной операции,—сказал француз,—необходимо письменное, нотариально заверенное согласие больного. Мой опыт свидетельствует, что верующие люди соглашаются на эти операции менее охотно, нежели убежденные атеисты. Впрочем, все зависит от человека, твердых правил тут нет».

Пока что он сумел как бы отключить пораженный участок. Бабушка спала и, по утверждению француза, не чувствовала во сне боли.

Какая-такая давняя травма? Бабушка прожила суровую жизнь. В тридцать восьмом была взята как германская шпионка. После заключения с Гитлером пакта о ненападении получила замену лагеря на ссылку там же, в Карелии. С началом финской войны местом жительства ей был определен Красноярский край, а потом Магаданская область. В Москве, точнее под Москвой, в Хлебникове бабушка оказалась в пятьдесят седьмом. Таким образом, возможностей за эти годы получить черепно-мозговую травму у нее было более чем достаточно.

Француз сказал, что необходимо установить время и характер травмы. Это позволит подобрать наиболее эффективные препараты в предоперационный период. Еще сказал, что у него операция в Аргентине. Он вернется через две недели, и у него будут два свободных дня. К этому времени следует окончательно решить. Так что сразу после эксперимента Мите предстояло лететь в Москву, испрашивать у бабушки согласие на операцию.

Как только Митя задумывался о семейных делах, сразу словно оказывался в темном лесу. Он проблуждал в нем все детство и совершенно не имел охоты блуждать сейчас. Ему хотелось и одновременно не хотелось разобраться. Словно кто-то дикий, безграмотный изуродовал, обессмыслил семейное уравнение, внес в него чуждые—из других разделов—элементы. Мать и бабушка не ладили. Бабушка родила мать в ссылке. От кого—неизвестно.

Помнится, у него был на эту тему разговор с Фоминым. «Я знаю, что ваша бабушка была необоснованно репрессирована,—сказал Фомин,—и, поверьте, искренне об этом сожалею». Установить подробности, по словам Фомина, не представлялось возможным. Вместе с лагерями уничтожались архивы. А какие не уничтожались, пришли от времени в негодность. Бумага была дрянь, да и чернил не хватало, разбавляли водой. «Хранить вечно» — это кто-то пошутил. Фомин сказал, что даже весьма высокопоставленные люди не могут ничего доподлинно узнать о судьбе репрессированных родственников. «У меня самого отец расстрелян,—вздохнул Фомин,— а я понятия не имею, где его могила».

Митя не дослушал, пошел к себе работать. Странное дело, математический мир был более познаваем. Единственно возможным в нем движением было движение внутри законов: от познанных к непознанным. Математический мир был тоже противоречив, но не трагедийно. Вопрос: быть или не быть законам, правде, в нем не стоял. Стоило забыть, утратить, сознательно пренебречь единственной формулой, все обращалось в абсурд, бессмысленную кабалистику. Человеческий мир как бы цинично игнорировал эту очевидность. Со времени Сократа и Платона мир мучился вопро-

сом: быть или не быть правде, справедливости на Земле? И каждый раз как-то так оказывалось, что не быть. Это «не быть» изувечило жизнь бабушки, двадцать лет за воду и баланду валившую лес, добывавшую уголь в Сибири. Матери—сознательно выбравшей путь безмыслия, растительно-бытового существования. Его самого—охраняемого, засекреченного, летающего на персональном—со всеми удобствами—иностранном самолете, в то время как подавляющее большинство сограждан стояло в суточных очередях за авиабилетами, коротало ночи на застеленных газетами полах аэровокзалов. «Не быть» признавало единственный путь: от трагедии через фарс снова к трагедии. Это вело к тому, что чистый математический Закон, материализуясь, ускользал из его рук, превращался в тяжелый груз для все тех же вечных весов—быть или не быть правде на земле. И вовсе не Мите, оказывается, решать, на какую чашу класть.

Было время, он ненавидел действительность за ее тупое противостояние правде. Человек, поднявшийся до правды, был обречен. Что оставалось не желающему погибать человеку? Ему оставалось искать крупицы правды в обыденном, то есть в понятном, привычном большинству. А что более всего понятно, привычно большинству? А то, что есть, ну разве с исправлением совсем уж вопиющего зла. Таким образом, приверженцу правды, не желающему погибать, оставался единственный путь: не соглашаясь в мелочах, в целом принимать и даже защищать то, что есть. Довольствуясь тем, что есть, опасаться, как бы не стало хуже. Скучный, а главное, старый, как мир, путь. Так живут миллионы.

Странный этот расклад открылся Мите в юности. Тогда ему было четырнадцать. Он был первым учеником по математике и физике. То вдруг увлекался теорией пределов, штудировал труд Валлиса, пугал учительницу невероятными мыслями, то напрочь забывал про математику, играл днями напролет в футбол, лепил ошибки в элементарных задачках. Но и когда штудировал Валлиса и когда играл в футбол—в комсомол ему не хотелось.

Всю жизнь единственным его другом была бабушка. С матерью серьезно говорить о чем-то было невозможно. Она или действительно ничего не понимала, или делала вид. Наверное, поначалу делала вид, потом и в самом деле перестала понимать. Отец считался историком, специализировался по новейшей истории Вьетнама. К юбилейным датам в газетах появлялись его статьи о Хо Ши Мине, о крепнущем вьетнамском социализме. Во время заседаний Общества советско-вьетнамской дружбы отец, случалось, сиживал в президиуме. «Видите? Вон я — слева от трибуны! — кричал, если сборище мимолетно показывали в конце программы «Время».— На мне дольше всех держали камеру!» Отец был воинственно чужд Митиным представлениям. Глубокомысленно вчитывался в информационные бюллетени «для служебного пользования». Делал вид, что причастен. Когда объявили о вводе войск в Афганистан, он раз десять повторил за завтраком: «Гениальное решение!» По молодости лет Митя задирался с отцом. Тот не принимал его всерьез, снисходительно ухмылялся: «Хорошо бы тебе, дружок, в армию, там бы вправили мозги! Да боюсь, объедешь службу с этой своей математикой...»

Все свободное время Митя проводил в Хлебникове. Водохранилище, небольшие домики, сады, палисадники, узкие улицы, заборы стали милее каменной Москвы. Митя переехал бы жить к бабушке, если бы не школа. Иногда бабушка приезжала в Москву. Домой к ним не заходила. Они встречались возле церкви на набережной Яузы. Митя стоял в церкви в сторонке, пока шла служба. Потом провожал бабушку до метро или автобуса.

Бабушка была немногословна. Митя ценил ее немногословие. Мать топила в словах смысл. Отец говорил о вещах, не существующих в действительности, слова его как бы умножались на ноль и, следовательно, цены не имели. Бабушка молчала.

Митя извелся с этим комсомолом. Вступать не хотелось, но и отказаться было страшновато. Он носил в портфеле чистую анкету. Она уже истрепалась, а Митя не решался ни заполнить ее, ни выбросить.

Как сейчас помнил: они вышли с бабушкой из церкви на набережную. Митя поделился сомнениями. Некоторое время бабушка молчала. Сухая, легкая, она ходила очень быстро. В тот день она была в белом

платье и казалась летящим вдоль чугунной ограды пером. «Вот думаю,— сказал Митя,— а что делать, не знаю».— «О чем думаешь?» — спросила бабушка. «Да я же сказал о чем!» — «Сам-то как? Хочешь или нет?» — «Нет, конечно!» — «Тогда чего думать?— пожала плечами бабушка,— нет, так и нет. Тут вредно думать».— «А когда не вредно?» — «А когда чего-нибудь сильно хочешь. Вот тут думать и думать».

На следующий день Митя вернул анкету комсомольскому секретарю. «Не буду».— «Почему?» — «Не хочу». К нему подходили еще, и каждый раз он твердо отвечал: «Не хочу!» Митина непреклонность произвела впечатление. К тому же сами уговаривальщики, вероятно, были не вполне искренни, убеждая Митю. В столкновении с непреклонностью это обнажилось. Уговаривальщики давно забыли, что в жизни можно по-другому. Митя им напомнил. Возникла неловкость. Его оставили в покое.

Но вопрос — как жить? — по-прежнему занимал Митю. Он в общем-то знал, как не надо. Но как надо?

В церкви он всегда стоял в сторонке. Пока шла служба, в голове у него роились математические формулы и символы. Теперь он старался понять, что происходит вокруг. Но церковного полумрака, колеблющихся свечечных язычков, золотых икон, коленопреклоненного шепота, жалобного пения было явно недостаточно для «как надо». Мнимое это неприятие было густо замешено на смирении. Глядя на скорбно поджатые бабушкины губы, сурово нахмуренный лоб, Митя подумал, что бабушка сильный человек и ходит сюда не за утешением. Но и она, и все, кто здесь, смирились, что правде на земле не быть. Митя вдруг понял, что и сам почти смирился, что дальше отказа от комсомола не пойдет. Он капелька, ничтожная частичка в неведомо куда стремящемся потоке. Митя успел только подумать, что имя потоку — смирение, и что тем, кто смирился, не дано знать — зачем и куда поток? — как наваждение кончилось. Перед глазами вновь запрыгали формулы и символы. Но на сей раз отнюдь не хаотично. Пунктирно они оконтурили идею, от которой у Мити дух захватило. Чем пристальнее всматривался Митя в иконы, тем яснее становилась идея. «Неужели Бог хочет, чтобы я — неверующий — открыл Закон единого и неделимого пространства? — растерялся Митя.— Но тогда при чем здесь смирение? Разве поиск Закона — смирение? Стало быть, он выбирает меня, а вместе со мной русский народ, чтобы мы шагнули вперед! Да как шагнули!»

Митя ни к селу ни к городу вспомнил, как однажды, проходя мимо церкви, увидел спускающегося по ступенькам багрового милицейского полковника. На асфальте его дожидалась черная «Волга». За полковником угодливо поспешал батюшка. Оба были навеселе. Перед тем как погрузиться в «Волгу», полковник одобрительно похлопал батюшку по плечу. Тот заливисто засмеялся. «Волга» рванула, а батюшка, икая, все топтался на тротуаре, улыбаясь холуйски и в то же время как-то хитренько. А между тем было время поста. «Как же Бог терпит это издевательство?» — подумал Митя тогда. «Может, потому и терпит, что вместе с ним терпит бедная Россия? — подумал сейчас.— Да только можно ли вознаграждать за... терпение, пусть и безмерное? Что это за добродетель?»

На набережной Яузы он рассказал бабушке о том, что случилось. «Что за Закон такой?» — спросила бабушка. Митя как мог объяснил. Бабушка поняла. «Знать, изверился Господь, хочет вывести нас в иные светлые времена. Тебе, стало быть, Моисеев посох...» — «Да есть ли они где, светлые-то времена?» — усмехнулся Митя. «На что воля божья, то светло,— ответила бабушка.— Благодать, Митенька, как тюремный приговор, надо принимать ликуя. Не нам, Митенька, Его судить».— «А вот я бы посудил»,— вдруг сказал Митя. «Ты уж, Митенька, сам решай, от кого на тебя эта благодать»,— словно не расслышала его бабушка.

Митя совсем забыл, что сегодня у него городская математическая олимпиада. Посмотрел на часы: уже на полчаса опоздал. «Черт с ней, не пойду».— «Да нет, Митенька,— бабушка достала из кошелька деньги,— нехорошо лениться. Давай-ка на такси!» Митя без особой охоты поехал, его не хотели пускать, потом все-таки пустили. Задачи показались интересными, он решил их по-своему, в теоретической части поразмышлял о формуле Бернулли.

Через неделю Митя забыл о церкви, мифическом Законе единого пространства, олимпиаде. Вскоре его вызвали к директору. Директор недоуменно вручил Мите диплом победителя олимпиады, сказал, что его приглашают на собеседование в математическую школу. Митя перешел учиться в эту школу и с тех пор занимался только математикой.

III

Митя сам точно не знал, когда ему явился план. Может быть, под Калининградом на песчаной косе, где они заканчивали последние приготовления к эксперименту. Они планировали начать в двенадцать дня.

В десять пришел телекс, что доктор Камерон вчера в восемнадцать ноль-ноль вылетел на своем «Боинге» из Сан-Франциско в Рим. Вся касающаяся доктора Камерона и его группы информация немедленно передавалась Мите. «К бабе намылился»,— ухмыльнулся Серов. Все знали: в Риме проживает любовница д. К. Лаура Постум, к которой он гоняет тяжелый «Боинг» каждые две недели.

Доктор Камерон был лысоват, носил коротенькую бородку, чуть затемненные очки. Он был похож на того, кем и являлся в действительности: шестидесятилетнего американца мексиканского происхождения. Митя так долго изучал снятые скрытой и открытой камерой видеоматериалы, что ему казалось: между ним и д. К. установился мысленный контакт. Митя очень опасался, как бы этот контакт не привел к насильственному обмену научными идеями. Пока что д. К. серьезно отставал. Но у него четыре «Яшиды». Они сами способны думать. У Мити — ни одной. Ситуация складывалась тревожная.

Была на пленке и Лаура Постум, полноватая итальянка тридцати с небольшим лет. Серов бесстрастно сообщил, что она бывшая проститутка. Еще и это, помимо конечной цели — Закона — странно сближало Митю и д. К. «Наверное, Бог избрал не только меня и Россию, но и д. К. с американским народом,— подумал Митя,— только зачем так примитивно дублировать ситуацию?»

Через некоторое время пришел телекс, что «Боинг» д. К., по всей вероятности, приземлился не на базе итальянских ВВС под Римом, а где-то в другом месте. «Чего они темнят? — возмутился Серов.— В другом месте! Не могут запросить данные со спутника?» Перед самым началом эксперимента поступил третий телекс: д. К. и Лауру видели в клубном римском ресторане. «Козлы,— сказал Серов,— они потеряли его почти на полсуток! Гнать из Италии!» Митя похолодел. Он понял то, чего не мог понять Серов. «Боинг» вообще не приземлялся — спутник это подтвердит! — доктор Камерон попал к Лауре иным путем: сквозь пространство!

Митя отдал должное романтическому мужеству старого мексиканца. «Воздушный путь» сам Митя всесторонне проработал полтора года назад. Разреженный, почти стратосферный воздух обещал хорошее свертывание пространства. Но этим все и ограничивалось. Коэффициент соединения со временем был ничтожно низок, а если говорить точнее, попросту отсутствовал. Д. К. с неземной скоростью пронесся по воздуху, но... не сквозь время! Митя, помнится, даже не стал экспериментировать, настолько это было очевидно. Хотя, конечно, забавно было бы полетать демоном! Коэффициент времени следовало искать не в воздухе, а на земле. Американцы не могли пройти спокойно мимо скорости. Митя подумал: пока они увлечены скоростью, «Яшиды» автоматом просчитывают бесчисленное множество возможных коэффициентов соединения со временем, ловят в темной комнате черную кошку, ищут иголку в стоге сена. При круглосуточной работе «Яшиды» выдадут единственно правильный ответ не раньше, чем через полгода. Доктор Камерон на блюдечке получит Закон, который Митя выстрадал, на который положил жизнь. Это было не очень справедливо. Еще полгода уйдет у них на создание установки. «Год,— подумал Митя,— у меня всего год, чтобы покончить с этим делом». Ему захотелось отменить эксперимент, чтобы потом поставить его по-другому, но слишком много людей и техники было задействовано от Калининграда до Владивостока. «Начинаем!» — скомандовал Митя. И в ту же секунду ему явился план.

Тогда это еще был не весь план. Весь план в технических и прочих подробностях явился после разговора с бабушкой.

Француз, как и обещал, прилетел в Москву в назначенный день. Кроме него и Мити, в палату вошли лечащие врачи, медсестра, Серов, вызвавшийся быть переводчиком. Медсестра сделала в почти прозрачную бабушкину руку укол, отключила электроды, сняла с бабушкиной головы пластмассовый колпак. Под колпаком бабушка была в белом платочке. Митя чуть не расплакался, такая родная и одновременно беспомощная она была. «Сейчас придет в сознание. Не злоупотребляйте разговорами, у нее сразу же начнутся сильные головные боли. Мы вас оставляем. Войдем через пять минут. Она должна подписать согласие на операцию добровольно, в присутствии свидетелей, то есть нас. У вас пять минут», — француз приглашающе повел рукой в сторону двери. Все вышли. Серов замешкался. Ему не хотелось. Француз угрюмо посмотрел на Серова. Серов вышел, пропустив француза вперед.

Бабушка открыла глаза, улыбнулась, увидев Митю. Улыбка вышла мученическая. Митя почувствовал, как чудовищно болит у нее голова. Заговорил сбивчиво, быстро: необходима операция, хирург считает, что всему виной давняя черепно-мозговая травма, была ли такая, когда, как ее лечили, он берется сделать операцию, необходимо ее согласие, надо соглашаться, вот форма — надо подписать, единственное, что может случиться: она кое-что забудет, какие-нибудь второстепенные события из жизни, станет немного другой, но только на короткое время, это обычное дело при нейрохирургических операциях, потом образуется, это ведь несущественно в сравнении с тем, что болей не будет, она практически выздоровеет.

«Но ведь это буду уже не я», — чуть слышно произнесла бабушка. Она всегда верно схватывала суть. Даже когда Митя объяснял сложные научные вещи. И он, в свою очередь, как бы проверял: что понимала бабушка, то было истинно. «Не надо, Митя, обойдемся. Как ты живешь?» — «Да не обо мне сейчас речь! Надо делать операцию!» — «Зачем? Что я буду? Ты вырос, у тебя своя жизнь. А... что я? Жениться не надумал? Показал бы невесту?» — Она говорила спокойно, словно у нее не раскалывалась от боли голова. Митя понял: если ее не убеждает боль, он тем более не сумеет.

Они вдруг заговорили о чем-то несущественном. Что в саду в Хлебникове пропадают яблоки. «Ты бы съездил, Митя, сказал соседям, чтобы брали». Мите казалось, стены рушатся, надо куда-то бежать, спасаться, а он тупо и старательно шнурует ботинки. Какие яблоки? «Так что пожалей меня, Митенька, — сказала бабушка, — не хочу, чтобы голову распиливали, копались в мозгах. Докторам-то нашим я не сильно верю, ты уж заступись... Чтобы без обмана...» — закрыла глаза, видимо, боль сделалась нестерпимой. — «Не отказывайся, прошу тебя!» — «Нет, Митя. Хватит об этом». Митя понял, что не уговорит. «Что хоть за травма-то была? И когда?» — «Да кому это сейчас интересно, Митенька? В конце тридцать восьмого... Под Новый год как раз. Дубиной по башке, а сказали потом, сама, мол, под падающую сосну сунулась. Пять часов валялась в снегу, думали, замерзла, а вот выжила как-то...» — «Кто ударил?» — «Уголовная одна, здоровая, бритвой всех полосовала. Велели ей...» — «Кто велел? Как фамилия начальника лагеря? Он жив? Я добьюсь, у меня есть возможности, его привлекут!» — «Нет, Митенька, ушел тот поезд... Осталась же живая. И ребеночка родила... А ты хочешь, чтобы опять череп ломали. Хватит, пожила всласть. Домой бы, а, Митя?»

За спиной кашлянули. Медсестра снова сделала бабушке укол, приладила к голове колпак. «Она не соглашается», — глухо произнес Митя. «Я думаю, в таком деле не надо слушать больную, — выразительно посмотрел на него Серов, — надо все взвесить, всесторонне обсудить...»

«У нее действительно была черепно-мозговая травма пятьдесят лет назад, когда она находилась в заключении, — повернулся Митя к французу. — Никто ее там, конечно, не лечил. Можно обойтись без операции?» Француз ответил: операция — единственный шанс. Ну а лечение... Что лечение? Чередование сильных — вплоть до наркотических — снимающих боль препаратов, постоянное наблюдение. «Да-да, санаторий, уход, покой», — закивали лечащие врачи. «Мне кажется, месье, вы бросаете больную на произвол судьбы», — заметил Серов. «Я зарабатываю на жизнь операциями, — задумчиво ответил хирург, — но не скрою: каждый раз испытываю

облегчение, если операцию делать не надо...» «Еще бы, консультация у него ненамного дешевле!» — шепнул Мите Серов. «Мне все же непонятно, месье, — Серов уже не считал нужным скрывать свое презрение, — что нам делать? Ждать, когда она умрет?» — «Молиться, — серьезно ответил француз, — молиться за нее и за всех остальных». Серов поморщился, словно у него вдруг заболели зубы.

«Митя, не мое, конечно, дело, — сказал он в больничном коридоре, — но ты совершаешь ошибку. Французишка — спец. Сделал бы по-быстрому операцию, она бы очнулась и знать не знала: делали, не делали? Не делали! Зато была бы здоровая, Митя! — помолчав, добавил: — А так ты сам обрек ее на страдания».

Митя не ответил. В Серове, безусловно, было что-то человеческое. Но куда больше было в нем от машины, работающей в заданном режиме. Серова беспокоило, что, отвлекаясь на бабушку, Митя теряет время. А надо спешить. Таков режим. Фраза: «А так ты сам обрек ее на страдания» — изрядно позабавила Митю.

Он вспомнил, как однажды крепко выпил с Серовым в Крыму на объекте «С». Разговор зашел о «Яшиде». Серов сказал, что почти ухватил ее в Японии, но его засветили — даже не японцы, а американцы. Раскрут был суровый, у него не было дипломатической неприкосновенности, пришлось все бросать, сматываться через Южную Корею по чужому паспорту. А все три его японца попались. Это был провал, настоящий провал. Какой-то козел в центре решил выслужиться, дал приказ форсировать «Яшиду». Дофорсировались. Теперь ее стерегут в три глаза. «А кем были эти японцы?» — спросил Митя. Серов на мгновение замкнулся, протрезвел, остро взглянул на Митю ясными глазами: «Бизнесмены, Митя, это были бизнесмены». — «То есть богатые люди? Сколько же ты им платил?» — Митя не верил, что Серов располагал большими суммами. «Конечно, в сравнении с тем, что они имели, крохи, — ответил Серов, — ну там еще кое-какие выгодные контракты в соцстранишках через подставных лиц. Вообще-то ты прав, тут какая-то загадка. Работаешь — не задумываешься, а вот на досуге... Митя, ты даже представить себе не можешь, как дешев человек! Ну совсем как песок!» — Взял горсть, сыпанул из ладони в ладонь. Последнюю бутылку они пили на пляже.

«Человек дешев, — напомнил Митя Серову в коридоре, — неужели забыл?» — «Дешев-то дешев, — согласился Серов, — но иногда лучше вовремя заплатить много, чтобы потом не платить совсем уж непомерно». Митя хотел возразить, что дешевизна и человек — понятия несовместные, как гений и злодейство. Все, основанное на «человек дешев», кончается крахом. Но промолчал. Это был бессмысленный разговор, из тех, что если и вести, то не с Серовым.

«Боюсь, придется платить непомерно, — вздохнул Митя. — Без «Яшиды» мне никак».

...Без «Яшиды» его план был неосуществим.

IV

Когда Митя вновь появился в Крыму, бархатный сезон заканчивался. Но еще можно было купаться, и генеральский транспортник с зачехленным носом опять маячил в дальнем конце военного аэродрома. Перед самым отлетом из Москвы Митя вспомнил, что девушка просила привезти последние записи советских рок-групп. Разъярившийся Серов приволок целую сумку кассет. «Тут все, какие есть! Самолично конфисковал у спекулянтов!» Когда набрали высоту, легли на курс, Митя сунул одну в магнитофон. «Товарищ, верь, взойдет она — звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья взойдет над миром русский рок!» Серов выругался. Митя подумал, что доктор Камерон дарит Лауре Постум более ценные подарки. «Ишь, зачастил с проверками! — недовольно покосился на транспортник Серов. — Из Афганистана не на чем военное имущество вывозить, а он жирует... Шугануть?» — «Шугани, — пожал плечами Митя, — будет летать в Сочи».

Эксперимент прошел хоть и с неожиданностями, но в целом успешно. Попутно сделали крупное открытие в области физики. Это усложнило работу. Опять Бог испытывал Митю. На «воздушный путь» Митя не купил-

ся. Теперь — «невидимый путь». Почти по Герберту Уэллсу. А от Мити ждали результата. От результата зависела политика государства. Государство блефовало, как бы имея в кармане результат. Но результата не было. В кармане у государства был пока что кукиш. Да и тот невидимый.

После эксперимента Митя, как от него и требовали, составил список отличившихся, включил девушку, включил Серова. Награды получили все, кроме Серова. Девушке дали даже более почетный орден, чем предполагалось. Напротив фамилии Серова обнаружилась стертая ластиком карандашная приписка: «Где «Яшида»... мать?»

Серов рассвирепел, расценил это как вызов. «Опять форсируют!» По последним сведениям, американцы самостоятельно склепали-скопировали две или три «Яшиды». Отступать было некуда. Все чаще Серов заводил речь об Афганистане. Там горела земля, гибли люди, а, по Серову, самый верный путь к «Яшиде» лежал через Афганистан. «Можно еще через Ливан, — угрюмо добавлял Серов, — но сионисты настороже».

Чем ближе был конец, тем призрачнее становилась Митина связь с действительностью. Ему казалось, он летит, связанный по рукам и ногам, в аэродинамической трубе, не в силах ничего изменить. Митя забыл о Боге. Забыл о людях. Он сознавал, что сделался маньяком, но это мало беспокоило его. Митя требовал от Серова «Яшиды» любой ценой, то есть проводил в жизнь ненавистную идею дешевизны человека. Он сам, его помощники едва ли спали больше четырех часов в сутки. Работы на объекте «С» велись безостановочно. Даже девушка-орденоносец стала раздражать Митю.

Она раздражала тем, что безропотно примирилась со своей участью. Лаура Постум, случалось, захлопывала дверь перед носом доктора Камерона, спускала его с лестницы. Ей было плевать, что он ученый с мировым именем, да к тому же миллионер. Девушка слишком уж терпеливо несла службу. Митин самолет, мнимая его власть приводили ее в трепет. Лаура Постум никогда не говорила с д. К. о правах человека, проблемах выезда за рубеж, социальной несправедливости, государственном и политическом устройстве Соединенных Штатов или Италии. Она говорила д. К., что любила в жизни только одного человека — уругвайского богослова, пятнадцать лет назад стажировавшегося в Ватикане. Девушка, напротив, все время заводила речь о том, о чем Митя во время работы предпочитал не думать. Он, как и все, смирялся, внутренне не соглашаясь. Эта язва разъедала все вокруг, превращала страну в хлев, людей — в говорящих животных. Митя убеждал себя, что он выше этого, но девушка заронила сомнение.

— Сверли лацкан для ордена, — сказал Митя, когда вернулся.

— Славный минтай оправдал надежды? — Девушка за время его отсутствия еще больше загорела и в сумерках напоминала негритянку, если только возможны светлоглазые, русоволосые негритянки.

— Еще как!

Митя вспомнил, что поначалу эксперимент казался блистательно проваленным. Икра минтая, исчезнув с песчаной косы под Калининградом, не возникла в указанном квадрате неподалеку от Владивостока. Ни раньше, ни позже. Время шло. Над косой кричали чайки. Связь с Владивостоком была непрерывной. С Москвой тоже. Не было только банки минтая. Это обстоятельство делало связь с Москвой несколько тягостной. «Пусть ищут, — распорядился Митя, — должна быть. Надо разбить квадрат на сантиметры, вызвать солдат, желательно первого года службы. Пусть пообещают: кто найдет — немедленно на дембель!» Где-то в тех краях служил младший брат девушки. Он присылал ей на главпочтамт до востребования полные тоски и ужаса письма. «Может, повезет малому», — подумал Митя.

По мере того, как во Владивостоке ничего не происходило, в Калининграде — через Москву — атмосфера сгущалась. Помощники попрятались. Серов мрачно ходил из угла в угол, мускулы под белой рубашкой шевелились. Наверное, ему хотелось выявить виновного и убить на месте.

Вошел еще более спокойный чем обычно Фомин, посмотрел на Митю, как на пустое место, велел представить копии всех компьютерных программ, вполголоса распорядился, чтобы никто никуда не отлучался до выяснения. Митя обозвал его бериевцем, заорал, чтобы убирался. «Зачем горячитесь? — равнодушно спросил Фомин. — Вы делаете свое дело, я — свое». От бессонницы, напряжения Мите в голосе Фомина почудился грузинский акцент. Он расхохотался. Смех его в придавленной трусливой тишине звучал странно.

По белому с золотым гербом на диске телефону позвонил из Москвы помощник руководителя, курирующего их работу. Если к самому руководителю Митя относился нормально, во всяком случае, между ними была ясность, то с помощником ясности не было. Митя старался его избегать, но это было невозможно — все дела шли через него. Помощник сказал, что Сергей Андреевич (так звали руководителя) просит доложить ему результат. Как только это случится. В любое время дня и ночи. Почему-то Митя был уверен, что Сергей Андреевич ничего не просит, во всяком случае, в данный момент не просит, помощник давит по собственной инициативе. Но разобраться, дойти до истины был бессилен. Бессилие угнетало. «Вам доложат», — бросил трубку Митя.

Мысли стали путаться. Банка могла быть где угодно: на Марсе, в походном шатре князя Игоря, в Бермудском треугольнике.

Когда Митя под бдительным взглядом Фомина, якобы ожидающего звонка министра обороны по правительственному телефону, наливал в фужер коньяк, из Владивостока растерянно сообщили, что банка вроде бы найдена, но она... невидима. То есть они чувствуют руками, внутри булькает, но она... невидима, потому не могли столько времени найти. А лежит, видать, давно, вся в росе. «Немедленно подключите датчики истечения энергии! — заорал Митя, забыв про коньяк. — Диктую формулу. Вводите в программу, начинайте рассчитывать временной коэффициент!»

Забегали помощники. Фомин и Серов встали навытяжку, ожидая приказаний. Митя давно заметил: когда получалось, он был всемогущий Бог, когда нет — сомнительный подозреваемый смертный. «Я думаю, — перевел дух Митя, — скоро она станет видимой».

И действительно, минут через десять ошеломленные владивостокцы сообщили, что банка стала «как из студня», а еще через минуту, что она «совершенно нормальная, только какая-то бледная».

Так было экспериментально установлено, что, пройдя через единое пространство, предмет некоторое время остается невидимым. Оптическое изображение движется через единое пространство медленнее, чем материя. Но потом нагоняет, налепляется, как этикетка на коробок.

— Эксперимент прошел блистательно, — повторил Митя. — Банку долго не могли найти, она вдруг стала невидимой.

— Как невидимой? В самом деле? — удивилась девушка.

— Правда, ненадолго. Но достаточно, чтобы все там взбесились.

— Теперь тебя упрячут под землю, — вздохнула девушка.

Все это время она жила в его домике на объекте «С». Митя обнаружил кое-какую перестановку мебели в комнатах. На кухне был сделан ремонт. Везде стояли цветы. Терпкий степной запах был удушающ. Как и то, что теперь Митя не мог быть в домике один, рядом все время была девушка.

Он допоздна работал на объекте. Вернувшись к себе, посидел еще за персональным компьютером. Это была детская в сравнении с «Яшидой» машинка, но и она кое на что годилась.

В общих чертах план представлялся хоть и рискованным, но вполне выполнимым. Кратковременная невидимость давала дополнительные преимущества.

Митя вдруг подумал, что, если его действиями движет Бог, он должен в ближайшие же дни позаботиться о «Яшиде», чтобы Митя смог рассчитать так называемый «коэффициент судьбы» — понятие в математике абсолютно новое, можно сказать, революционное. Богу было нелегко открыть Мите свою, быть может, последнюю тайну. Потому он и не торопился с «Яшидой».

Почему-то Митя был уверен, что коэффициент судьбы — величина ничтожно малая, близкая к абсолютному нулю, но весьма склонная к обратной прогрессии. То есть что бы ни произошло с человеком ли, с отдельной страной или целым миром, Бог уже как бы это предусмотрел и решил. Неужто Бог — недобросовестный прокурор, задним числом утверждающий любой приговор, эдакий Вышинский? Мите не хотелось так ду-

мать. Но он не мог отделаться от мысли, что коэффициент судьбы — величина не только бесконечно малая, но еще и постоянная, неизменная. Как отношение окружности к диаметру, как ускорение, с каким падает в пространстве по отношению к своему весу предмет. Поэтому: что бы ни было предпринято во изменение судьбы человека ли, общества ли, результат будет ничтожен. Мите хотелось вычислить коэффициент судьбы и тем самым математически это доказать. Налицо была явная странность: Митя желал научного подтверждения того, что его план, хоть и осуществим теоретически, но... бесполезен, как попытка привести в чувство скончавшегося с помощью нашатыря. Зачем? Митя не знал. Шевелилась смутная надежда, что Бог не оставит, выручит. Так было до сего дня. «Выполнить в виде исключения» — такую резолюцию накладывали на Митины рапорты высокие руководители. Может, и Бог выполнит «в виде исключения»?

Компьютер между тем начал выдавать галиматью. Митя забылся, поставил ему непосильные задачи. Выключил, подошел к окну, увидел кусок доцветающей степи, узкую полоску белого песка, гладкое, как экран, море. Над морем стояла луна. Море фосфоресцировало, словно Бог на огромном дисплее решал какую-то свою задачу.

Услышав то ли всхлип, то ли вздох, Митя обернулся. В глубине комнаты на белых простынях тело девушки казалось темным. Глаза блестели. Блеск не обещал ничего хорошего.

— Я все думала... — сказала девушка, подтянув колени к подбородку.

— О чем? — Митя подумал, вероятно, она будет делиться с ним какими-то иными мыслями. Не теми, какими делилась с многочисленными иностранными клиентами, а в дождливое межсезонье — с седыми золотозубыми южанами, отваливающими по пятьсот рублей за сутки. «Но разве от этого ее мысли менее интересны? — усмехнулся про себя Митя. — Может, она расскажет мне про своего уругвайского богослова?»

Но он ошибся.

— Я думала, как они ухватятся за эту невидимость, — продолжила девушка. — Столько дополнительных возможностей.

— Вероятно, — ответил Митя, — но этим будут заниматься другие люди. Меня интересует единое пространство.

— Но ты хоть представляешь, что ты им даешь? Как они распорядятся? Ведь это попадет в руки Фомину!

— Фомину? — удивился Митя. — Ну даже если и Фомину, что дальше?

— А то, — шепотом произнесла девушка, — что ты своими открытиями усиливаешь царющее зло, делаешь его неуязвимым. Разве мы свободные люди, Митя? Неужели наша жизнь кажется тебе столь привлекательной, что ты хочешь, чтобы она длилась... всегда? Чтобы твои дети, внуки тоже так жили? Ты, Митя, ты собираешься дать им все для того, чтобы они... законсервировали нас... как банку минтая от Калининграда до Владивостока! Если они сделаются самыми сильными, мы — самыми несчастными. Зачем им тогда что-то менять?

«Царющее зло, — подумал Митя, — это... Добролюбов? Или Чернышевский? Не хватает нам устроить диспут о свободе».

— Не понимаю, тебе-то нужна какая свобода? — усмехнулся Митя. — Доллары, что ли, легально менять?

Глаза девушки наполнились слезами. Как-то очень быстро она утратила профессиональные навыки: острый язык, настороженность, готовность к отпору. Стала обидчивой и изнеженной. Своим поведением она опровергала пословицу: «Сколько волка ни корми...» Девушка явно не смотрела в сторону леса.

— Говоришь прямо как Фомин, — вздохнула она. — Мне нужна такая свобода, чтобы как твою бабушку не сажали неизвестно за что, не били в лагере дубиной по черепу. Слишком многого хочу?

Митя подумал, что, в сущности, свободен во всем, что касается работы. На остальное времени нет. «В виде исключения, — вспомнил резолюцию на рапортах. — Я существую в этом мире в виде исключения...»

— В том, что ты говоришь, безусловно, есть резон, — ответил Митя, — но ты как-то слишком уж непримиримо разграничиваешь: «они» и «мы». А это части единого целого. «Они» такие, потому что такие «мы», потому что позволяем им быть такими. Меняться нам можно только вместе, порознь не получится...

...Митя вспомнил белые стены в огромном кабинете Сергея Андреевича, чистые окна, вид на собор, золотые купола. Купола в тот день сверкали нестерпимо. По блестящей, как начищенное голенище, брусчатке ползли желтые и красные осенние листья. Все здесь дышало покоем, казалось незыблемым и вечным. Митя подумал: начнись завтра война, взлети все на воздух, и на то окажется воля божья, столь ничтожен в мире коэффициент судьбы. «А как, интересно, — усмехнулся Митя, — соотносится коэффициент судьбы с коэффициентом власти?»

Сергей Андреевич был бодрым человеком лет шестидесяти с небольшим. Митя застал его посреди кабинета делающим подобие зарядки. Сергей Андреевич был в белой рубашке. У него было утомленное, несколько капризное выражение лица человека, сжившегося с властью и в то же время постоянно помнящего, как легко эту власть потерять. Однако терять отнюдь не собирающегося. Поэтому в его лице была еще и твердость. На большом письменном столе стоял всего один телефон. Прочие находились в приемной.

Митя коротко рассказал об эксперименте, охарактеризовал общее положение на сегодняшний день.

Сергей Андреевич слушал внимательно. С ним было легко говорить. Он разбирался в математике и физике примерно на уровне студента-третьекурсника, скажем, энергетического института. Этого было достаточно.

«Эффект невидимости в сочетании с единым пространством, — задумчиво произнес Сергей Андреевич, — все равно что эликсир вечной юности в придачу к философскому камню. Даже Фаусту так не везло. Не страшно?» — «Хотите посадить меня как американского шпиона?» — Митя подумал, в случае необходимости Фомин и Серов вполне могли бы дать нужные показания. «Неужели наша обновляющаяся действительность дает основания для столь мрачных предположений?» — засмеялся Сергей Андреевич, но как-то не победительно. «Она неопределенна, — пожал плечами Митя, — а всякая неопределенность, согласитесь, чревата...» — «Чревата, — согласился Сергей Андреевич, — конечно, чревата, я даже знаю, чем именно чревата, — и помолчав, добавил: — Но в наших с вами силах покончить с неопределенностью, сделать жизнь более человечной». — «Сделаться всем невидимыми и уйти за границу?» — «Боюсь, такой вариант никак не устроит заграницу, — вздохнул Сергей Андреевич. — Я сейчас объясню, что имею в виду. Но сначала два неизбежных вопроса: всем ли вы обеспечены, когда можно ждать результата?» Митя ответил, что обеспечен в общем-то всем. За исключением новейшего суперкомпьютера «Яшида». «Мы делаем все от нас зависящее, — пометил что-то в блокноте Сергей Андреевич, — в ближайшее время должно решиться. Но это не моей линии. Со своей стороны могу предложить такой вариант. Мы собираемся заключить соглашение с одной японской электронной фирмой. Они согласны принять делегацию наших экспертов. Поезжайте, может, удастся собрать по частям? Возьмите с собой двух или трех помощников, остальные члены делегации, — развел руками, — охрана». Митя объяснил, что «Яшида» — принципиально новый компьютер, японцы никого к нему не подпускают. Только американцы сумели вырвать четыре штуки, да вот еще, говорят, несколько штук сами склепали. Вряд ли от такой поездки будет толк, хотя, конечно, ему бы хотелось побывать в Японии. Митя сделал значительную паузу. «Вы молоды, у вас все впереди», — неопределенно отозвался Сергей Андреевич. Митя понял, что этот вопрос волнует его не в первую очередь. «Я надеюсь, результат будет к первому марта, — сказал Митя, — в феврале закончим последнюю серию испытаний». — «К первому марта, — повторил Сергей Андреевич, — к первому марта... Теперь попробую объяснить: каким образом мы могли бы покончить со столь надоевшей всем нам неопределенностью? Вам известно, каким тяжким бременем ложатся на наш бюджет военные расходы. Я полагаю, ни для кого не секрет, что экономическая реформа, которую мы начали проводить, означает в действительности демонтаж прежней модели развития — экстенсивного, экологически самоубийственного. Начальная стадия реформы неизбежно вызовет спад, ухудшение общего и без того не блестящего положения. Начальная стадия — самая опасная. Мы как бы попадаем в замкнутый круг. Останав-

ливаем ряд предприятий. Чтобы быстро их модернизировать, резко повысить производительность, выкарабкаться из спада, нужны колоссальные средства. Где взять? На нефть и газ цены упали. Еще за трубы не расплатились. Древесины самим не хватает. Торговать нечем. Значит, необходимо снять средства с военной промышленности. Поставить об этом вопрос можно будет только в случае достижения соглашения, в результате которого противная сторона откажется от своего космического варианта, мы — от альтернативной программы. Не будет соглашения — не будет дополнительных миллиардов для реформы. Не будет миллиардов — не будет модернизации промышленности, самой экономической реформы. Не будет экономической реформы — не будет демократии. Какая при крепостничестве демократия? Не будет демократии — настанет экологическая катастрофа. При безгласии-то кто будет думать о природе? Затопчут даже те робкие ростки, которые мы с таким трудом сейчас оберегаем. Нас сметут. Придут другие. И тогда вы действительно можете оказаться американским шпионом. О себе я уж не говорю,— мрачно посмотрел на Митю Сергей Андреевич. И продолжил: — Как мы можем убедить противную сторону отказаться от космического варианта? Только если докажем: у нас есть возможность доставлять боевые заряды на околоземные платформы вопреки самой совершенной противоракетной обороне. Каким образом? Благодаря использованию открытого нашим ученым Закона единого пространства. Наш ученый опередил группу доктора Камерона. Мы первые создали установку, позволяющую ракетам преодолевать единое пространство. Платформы будут уничтожены раньше, чем сигнал поступит на локаторы! От единого пространства защиты нет! Только это сможет их остановить. Таким образом, Митя, в ваших руках в некотором роде судьба социализма. Не того, безрадостного, какой был, а будущего — светлого, счастливого, свободного, который мы мечтаем построить. И что самое на сегодняшний день великое научное открытие сделал молодой русский ученый, родившийся после пятьдесят шестого года, не изведавший ужасов сталинизма, это, Митя, уже довод в пользу того, будущего социализма. Такое открытие могло быть сделано только в стране, у которой великое будущее. Какие еще нужны доказательства, что свобода лучше крепостничества? Мы только начинаем! Мы еще скажем свое слово! Ваше открытие, Митя, — камень в фундамент, с которого мы начинаем строить новое демократическое общество. Единственно, Митя, — доверительно обнял его рукой за плечи Сергей Андреевич, — мы очень просим вас поторопиться. В январе возобновятся переговоры. Они будут продолжаться месяц. Результат должен быть к концу января! Мы не можем выйти на переговоры с пустыми руками. Потом, конечно, у вас еще будет время...»

Митя хотел поговорить с Сергеем Андреевичем об удушающем отставании в науке, о новоизбранных академиках, о бессмысленной, унижающей его достоинство опеке со стороны Фомина, о ненормальном количестве бумаг, которое ему приходится сочинять чуть ли не каждый день, наконец, о девушке, чтобы ее не замуровывали в стену секретности, о путешествиях — Мите давно хотелось побывать в других странах, познакомиться с их институтами, лабораториями, повстречаться с учеными. Но какими-то мелкими оказывались каждый раз эти проблемы в сравнении с тем, о чем говорил, на какие высоты взмывал Сергей Андреевич. Митя бы не молчал, возражал бы, если бы в чем-то был несогласен. Но Сергей Андреевич говорил так, как говорил бы на его месте сам Митя. Спорить, следовательно, было не о чем. Митя пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы результат был к концу января. «Если будет что-то важное, обращайтесь прямо ко мне, — протянул на прощание руку Сергей Андреевич, — со всеми другими вопросами к помощнику». Митя вспомнил, что давно хотел поговорить и об этом помощнике, но опять смолчал. Во-первых, они уже попрощались. Во-вторых, помощник был мелкой сошкой, а речь шла о том, быть или не быть новому социализму.

Помощник Сергея Андреевича выслушивал Митю с неизменной улыбкой. Поначалу Митя не обращал внимания на эту противную улыбку, считал помощника не более чем исполнителем воли начальника. Но быстро понял, что ошибается. Помощник был не исполнителем — толкователем воли Сергея Андреевича. Он толковал ее так, как находил нужным. Спорить с ним было бесполезно. У помощника было куда больше возможностей

доказать Сергею Андреевичу, что он толкует его волю правильно, нежели у Мити, кричащего что-то через тысячи километров в трубку телефона с золотым гербом.

Какой-то он был безликий, этот помощник. В толпе на улице Митя не узнал бы его. Худощавый, лысеющий, остролицый, в сером костюме, он, казалось, не владел в нужном объеме человеческой речью, изъяснялся коротко, казенно, убого. Он понятия не имел о новом социализме, общечеловеческом значении Митиного открытия. Когда Митя ссылался на Сергея Андреевича, помощник лукаво разводил руками: «Сергей Андреевич — это... идеализатор. Луну с неба пообещает. Надо смотреть на этот вопрос практически». Когда Митя звонил по телефону, помощник сам решал, соединять или нет. Это было утомительно. У Мити не было желания справляться о здоровье жены помощника, интересоваться, не нужно ли чего помощнику из Крыма? Каждый решенный на высоком уровне вопрос, как днище корабля ракушками, обрастал десятками дополнительных, мелких, унизительных. Сергей Андреевич тревожился о судьбах социализма, существовал в мире высоких, чистых идей. Идеи спускались в руки косноязычного помощника и странным образом утрачивали высокую чистоту, превращались в обычную текущую рутину. Над рутиной власть помощника была императорской. Он мог двинуть дело в минуту, мог придушить на месяцы. Причем во втором случае установить его вину было крайне затруднительно, так отлаженно действовала машина бессмысленных согласований, ссылок на объективные обстоятельства.

Как-то Митя спросил у Сергея Андреевича: зачем рядом с ним такой человек? Сергей Андреевич ответил: «Нам бы с вами, Митя, разобраться со своими проблемами. Если мы начнем еще обсуждать кадровые...» Митя был готов поклясться, что Сергей Андреевич после этого стал относиться к нему прохладнее. И помощнику каким-то образом сделались известными его слова. Он смотрел на Митю с нескрываемой иронией, чуть было не отобрал у него самолет.

Митя навел справки, узнал, что Сергей Андреевич — четвертый по счету шеф помощника. Первый умер. Второго тихо сняли. Третьего отправили на пенсию за развал работы. А помощник переходил от одного к другому, как оклад, как черная могучая машина, как госдача за зеленым забором. В чем незаменимость этого человека? Почему он ни за что не отвечает? Встречаясь с Сергеем Андреевичем, затем с помощником или сначала с помощником, затем с Сергеем Андреевичем, Митя не мог отделаться от впечатления, что стоит перед двуликим Янусом и, если хочет чего-нибудь добиться, должен ладить с обоими ликами божества.

Но не получалось.

Митя вспомнил, как однажды прямо из Кремля ему надо было попасть в Крым на объект «С». Оттуда позвонили: метеопрогноз на ближайшие четыре часа идеально соответствует условиям эксперимента. У них все готово, надо начинать. Но Митя был в Москве. Тут была совсем другая погода. Бушевала летняя гроза. В окне — серая стена падающей воды. Только когда вспыхивали молнии, из серого небытия возникали купола, редкие, вставленные в брусчатку, деревья. Сергей Андреевич позвонил министру гражданской авиации. Тот доложил: грозовой фронт невиданного насыщения протянулся над Европой. От Украины до Норвегии в небе сейчас нет ни одного самолета. В таких условиях взлет невозможен. Как только будет просвет, он даст знать. Сергей Андреевич связался с командующим ВВС. Истребитель отпадает, сказал командующий, там нет места для пассажира. Можно, конечно, поднять стратегический бомбардировщик. Но... Во-первых, взлетная под Москвой заливается водой, взлет небезопасен. Во-вторых, специальная посадочная в Крыму сейчас ремонтируется, бомбардировщик сможет доставить пассажира только на Черноморское побережье Кавказа. В-третьих, в этом случае придется давать оповещение, иначе ВВС НАТО в Турции будут приведены в боевую готовность. Оповещение передается по каналам МИДа. У него нет полномочий единолично решать этот вопрос, необходимо согласовать. «Не имеет смысла, — сказал Митя, — не успею за четыре часа. Ладно, пусть проводят без меня». Сергей Андреевич развел руками: «К сожалению, бессилен помочь. Стихия не в моей власти».

Митя вышел в приемную. «Соедините с объектом «С», — попросил

помощника. Гроза усиливалась. Молнии сверкали ежесекундно. Меньше всего Митя думал в эти минуты о помощнике: крысистом, перекладывающем на столе бумажки. «Очень надо в Крым?» — вдруг услышал его голос. Помощник смотрел ему в глаза, но не снисходительно-иронично, как раньше, а испытующе-серьезно. Митя всегда знал, что помощник — непростой человек. «Очень, — вздохнул Митя, — но не судьба». — «Подожди, не суетись, — в одностороннем порядке перешел на «ты» помощник». Снял трубку, набрал номер: «Федорыч? На хозяйстве? Что там у тебя с самолетами? Есть это... в боевой готовности? Да вижу, что дождь. Надо. Дело государственной важности. Министр с командующим не сумели, а мы отправим товарища. Да уж пригодится, пригодится... — подмигнул Мите. — Что ты заладил: дождь-дождь! Это тут дождь. А взлетит, там сухо и светло! Да. Выезжает. Будет через полчаса. Он скажет куда лететь. Ничего-ничего, риск — благородное дело. И это... чтобы побыстрее. Кто не рискует, тот в тюрьме не сидит, — положил трубку, повернулся к Мите: — Через два с половиной часа будешь на месте. Я позвоню на объект, что вылетаешь». Казалось бы, Митя должен был испытывать благодарность, он же почувствовал тревогу. Внутри одной — видимой — власти скрывалась иная — невидимая. Невидимая была сильнее. И не особенно это скрывала. Он бы отказался лететь, если бы не так нужно было на объект.

Другой случай произошел, когда Митя составлял наряд на японскую компьютерную технику. Он должен был встретиться с Сергеем Андреевичем, но того вызвали на срочное совещание. Митя оказался в кабинете у помощника. Его, помнится, удивило, с какой оперативностью помощник решал все вопросы. Бабушку в клинику? Пожалуйста. Нужна консультация зарубежного специалиста? Как фамилия? Ага, француз. Уже приезжал к нам. Много берет, пес. Будет консультация. Изыщем средствá. Девушка просит однокомнатную квартиру в Ялте? Позвоним в горисполком, решим. Как-то незаметно в руках у помощника оказался перечень заказанной Митей аппаратуры. «Сегодня же завизируем, оформим в международном банке платежное поручение, вечером уйдет дипломатической почтой в Токио, в посольство». Помощник выдержал значительную паузу. Митя понял, что это не просто так. «Ну да, — подумал он, — французский специалист, квартира для девушки... Специалиста можно пригласить на следующей неделе, а можно и через полгода. Квартиру можно дать сразу, а можно в очередной пятилетке, в доме на окраине, на первом этаже».

— Я понимаю, — сказал Митя, — будут брать оптом, выйдет экономия. Пожалуйста, я впишу. Что вам нужно: видеомагнитофон, телевизор, камера, персональный компьютер? — достал ручку, чтобы внести в список.

— Вы это... не вполне понимаете... — недоуменно посмотрел на ручку помощник, рассчитанным ударом ноги подкатил Мите кресло на колесиках: — Садись! Слушай сюда! — заговорил азартно, быстро, опять в одностороннем порядке перейдя на «ты»: — В Сингапуре торговым атташе сидит мой кореш. Вместе начинали в комсомоле. Я его и пихнул в посольство, когда он погорел на девочках. Я тут говорил с ним по телефону: он берется все, что там у тебя в списке, даже с перехватом, взять у местных китайцев в два раза дешевле! Документы, номера, бирки будут японские, как из Токио. Это не бойся, верняк. Ты вот мне от щедрот персональный компьютер предлагаешь, а у меня на даче пять штук лежат, распечатать некогда. Сам могу тебе подарить. Мы с ним прикинули: экономия триста тысяч! Врубился?

— Чего... триста тысяч?

— Зеленых! Долларов! Немного возьмем, остальные кинем в банк, пусть нарастут проценты. Годика через два поделим. Ты сейчас засекреченный, я тебя рассекречу. После Женевы поедешь в Европу. Хочешь с этой... бабой ялтинской, хотя там этого добра навалом. Копейки считать не будешь. Ну? Меняем адрес: Токио на Сингапур? Только быстро, быстро, у меня дела!

Пока он говорил, в голове у Мити гремело, как в погремушке. Вопрос провалиться ли миру, или ему пить чай, помощник решал в пользу чая. «Какой, к черту, новый социализм, — подумал Митя, — когда... тут такие люди?» Он и раньше замечал в речи помощника блатные словечки. Мите захотелось плюнуть ему в морду, только имел ли право он, требующий «Яшиду» любой ценой, плевать кому бы то ни было в морду?

— Сингапурское вакуумное производство не идет в сравнение с японским, — сказал Митя помощнику, — это халтура, они штампуют схемы. Оборудование выйдет из строя, назначат комиссию, хлопот не оберешься, — и, не прощаясь, вышел.

...Митя не стал рассказывать об этом девушке. Он вдруг подумал, что напрасно она тревожится, что открытие попадет не в те руки. «Они, — подумал Митя, — не приобретатели, а растратчики. Руки у них устроены не так, чтобы удержать случайно доставшееся. Только чтобы украсть, промотать, загубить, отдать за бесценок...»

Несколько дней на объекте «С» все шло своим чередом. Нарушил покой Серов, среди ночи доставивший на конфискованном генеральском транспортнике «Яшиду». Часть проводов была обрезана, на дисплеях запеклась кровь. «Не сошлись, понимаешь, в цене», — усмехнулся Серов. Это было поправимо. Провода заменили. Кровь оттерли. Теперь Мите ничто не могло помешать.

V

...Асфальта в подмосковном городе Булине пятьдесят лет назад почти не было. Мите показалось, лица у женщин в ту пору были проще и добрее. Мысли читались без труда. Среди мужчин было много бородатых. Одеты почти все были убого. Но пьяных не было заметно, хотя в бревенчатом сарае под вывеской «Магазин» продавались водка, вино, пиво. Даже импортный германский «доппель-кюммель» в красивой — черного стекла — квадратной бутылке.

Мите все время приходилось осторожничать, хотя в принципе он мог этого не делать. Те, с кем он соприкасался, ощущали что-то похожее на порыв ветра. Они, конечно, могли удивиться: откуда ветер при полном безветрии? Но увидеть Митю никак не могли. Полностью физические параметры вернутся к нему через четыре часа. Он станет абсолютно видимым. А еще через час подключенная к установке «Яшида» вернет его обратно. Мите, честно говоря, хотелось, чтобы это случилось раньше. Что ему — видимому — целый час делать в жутком тридцать восьмом году? Но коэффициент времени превращал пять минут, которые Митя отсутствовал в настоящем, в пять часов в прошлом. Только начиная с этого — пять минут — пять часов — уровня в работе с единым пространством начинала наблюдаться относительная стабильность. Сократи Митя время, он вполне мог бы угодить в другой век и не в Подмосковье, а куда-нибудь в Прованс. Митя бы и рад не сидеть в прошлом лишний час, да не получалось.

Первое, что сделал Митя, заполучив «Яшиду», заменив обрезанные провода, оттерев дисплеи от крови, рассчитал так называемый «коэффициент судьбы». Результат превзошел ожидания. Коэффициент оказался величиной не просто бесконечно малой, но отрицательной, то есть почти что иррациональной. Все было предопределено и одновременно непредсказуемо. Митя не рисковал изменить прошлое, пытаясь уберечь бабушку от чудовищного ареста и как следствие — удара дубиной по голове. Он рисковал лишь поверить в Бога, если путешествие окажется удачным.

Улица, где жила бабушка, называлась Воздвиженской. Но сколько Митя ни ходил по городу, такой улицы не было. У него закралось сомнение: тридцать восьмой ли это год? Но городская газета «Сталинский путь» свидетельствовала: 30 июня 1938 года.

Митя оказался на окраине. Тут стояли черные заколоченные дома. На огородах, небольших полях перед домами росли сорняки.

Возвращаясь в центр по пыльной главной улице, Митя внимательно вглядывался в лица прохожих. Прежде он как-то не задумывался, что он русский. Сейчас вдруг чуть не заплакал от жалости к этим людям, таким непохожим на тех, которые окружали его в его время. Эти люди с малолетства жили трудом, а не словами. Среди них не было белолицых, гладкоруких. Митя читал на лицах страх, складкой засевшее меж бровей сомнение. И — покорность. Она главенствовала надо всем. Завоевателей вроде не было видно, но городок казался оккупированным. Митя подумал, что присутствует при генетическом перерождении людей. Возможно, то были ощущения, навеянные знанием истории. В действительности же люди были обычными. Им хотелось жить, а их понуждали умирать. Умом этого не постигнуть. Это хуже, чем вражеская оккупация.

На одном из угловых домов Митя разглядел свежую табличку: улица Гусева. Прежнее название было густо закрашено. Но Митя разобрал: Воздвиженская. «Ну да,— вспомнил он,— я же смотрел архивы. Гусев—тогдашний секретарь горкома, его расстреляют в следующем году. Улица станет Четвертой Пролетарской». Митя пошел по улице, заглядывая в окна. Наконец отыскал дом по почтовому ящику, на котором было выведено: Ярцевы. Это была бабушкина фамилия.

Дома никого не было. Бабушка училась в техникуме, ее родители, должно быть, косили сено. Им оставалось жить чуть более трех лет. Осенью сорок первого немецкий снаряд похоронит их под обломками дома.

Неожиданно Митя понял, почему ему удался план, почему он первым среди смертных преодолел единое пространство, почему он сейчас стоит перед домом своей двадцатилетней бабушки. Это Бог снова выбрал его, но на сей раз, чтобы не тайну открыть, а горько посетовать: каково вот так смотреть на людей, зная не только их судьбу, но и то, что как ее ни изменяй, она не изменится. Коэффициент судьбы—величина иррациональная! Митя вдруг ощутил порыв ветра, невозможный при полном безветрии. Кто-то куда более могущественный и невидимый, чем он сам, дружески прикоснулся к нему. Митя похолодел: это мог быть только Бог—властелин единого пространства. Да, между ними определенно установились доверительные, «в виде исключения» отношения. Митя подумал, они всегда худо заканчиваются не для того, кто снизошел, а кто осмелился. Но, может, и тут Мите—«в виде исключения»?

Будет о чем поговорить с девушкой по возвращении. Митя словно очнулся, посмотрел на часы. Все было бы прекрасно, если б не одно обстоятельство: сегодня бабушку возьмут, а он еще ничего не предпринял.

Митя решительно зашагал к центру, к одному из немногих в Булине каменных зданий. Там помещался горотдел НКВД. Проходя мимо инвалида, скучавшего возле бочки с квасом, Митя снова почувствовал встречный, как бы предостерегающий его ветер, но не придал этому значения.

Каким-то суетливым, бестолковым показалось ему учреждение. Ходили точно такие же, как на улице, люди, только сплошь с красными глазами. В кабинетах шла будничная работа. Допрашивали перепуганного свящённика. Обсуждали: остановится или нет выпечка, если возьмут все руководство хлебозавода. Решили: пока не брать главного инженера. Какого-то туповатого малого убеждали перейти из конвоиров в следователи. Собственно, тут была надводная часть айсберга. Имелся еще огромный подвал, куда вела железная дверь. Там шла черновая работа. Туда Митя не рекшился. Слишком часто ходили через дверь заключенные и конвоиры. Каждый раз, когда дверь открывалась, из подвала доносилось зловоние.

Митя проник в приемную начальника. Два кожаных дивана показались ему продавленными до пола. Много, видать, пересидело на них людей в бессмысленном ожидании. Секретарша отвечала на все звонки, что Ивана Петровича нет, вызвали в Москву. «Иван Петрович... Косицын... Или Косичкин?—с трудом припомнил Митя.—Начальник горотдела. Зимой, что ли, расстреляют? Почему мне стоило таких трудов получить эту тощую папку из архива? Фомин прав: чернила разбавляли водой и бумага—гнилы! Так Косицын или Косичкин?»

Секретарша обманывала. Иван Петрович был у себя. Из кабинета доносилось покашливание. Пока Митя размышлял, как туда пробраться, дверь распахнулась. Иван Петрович был в штатском. Серый костюм, хоть и сидел мешковато, не мог скрыть молодой спортивной фигуры. Должно быть, тренировался в бытность комсомольцем, подумал Митя. Осоавиахимовец, ворошиловский стрелок! Вот только рубашка была на Иване Петровиче несвежая, да обострившимся обонянием уловил Митя сладковатый запашок разложения, какой сопровождает людей, выпивающих на жаре, подолгу не моющихся, спящих в одежде, одним словом, махнувших на себя рукой, опустившихся людей. Глаза у него были такие же красные, как у остальных в этом учреждении. «Маша, они там взбесились в Москве? Кто такой Ширяев? Кто Хлоплянников? Меня не поставили в известность о назначении этих людей, а теперь идут от них приказы — упрекают в бездействии. Каком, к черту, бездействии? Полгорода пересажал! Мало им?»

В коридоре послышались громкие голоса. В приемную вошли двое. Один—щеголеватый, в ремнях и в фуражке. Во втором Митя узнал конвоира, которого судя по всему убедили перейти в следователи. «Ваня!—обрадовался щеголеватый.—Хорошо, что застал тебя, тут вот какое дело, Ваня. Дьяконову из финотдела мы позавчера взяли. Муж дал показания. Тут их бывшая домработница притащилась с мальчишкой, куда, спрашивает, девать шпионского выблядка, орет, говорит, кормить нечем, и еще говорит, они ей за два месяца не заплатили...»—«Сколько?»—хмуро перебил Иван Петрович. «Не заплатили сколько?»—удивился щеголеватый. «Да нет, ему сколько?»—«Кому?—опять не понял щеголеватый.—Дьяконову? Ваня, ты же сам подписывал—расстрел».—«Мальчишке, спрашиваю, сколько лет?»—«А черт его знает! В пеленках, сосунок. Да не об нем речь, Ваня».—«О чем?»—«А вот слушай, Ваня. Вчера четырех в пересылку отправил. Сегодня у нас всего двое на пополнение. Два места остаются. А завтра из Москвы комиссия. Там же все новые люди, Ваня. Вонь поднимут: врагов жалеете, камеры пустуют! Давай я эту сучонку как пособницу оформлю. Сама же притащилась! Ишь ты, за два месяца не заплатили. А что люди пропали, ей дела нет... Вот...»—щеголеватый выругался. «Гы...»—хмыкнул конвоир-следователь. Иван Петрович зевнул, пожаловался неизвестно кому: «Глаза слипаются, не высыпаюсь. А лягу—ну хоть убей не могу заснуть! Может, снотворное попробовать?» Щеголеватый ткнул в бок конвоира-следователя: «Задержи эту, а то уйдет еще!»

Они вышли. Иван Петрович запер дверь на ключ, поманил к себе пальчиком секретаршу. «Хочешь, чтобы и меня вот так же, с сосунком?—усмехнулась она.—Вслед за тобой?» Иван Петрович вздохнул. У него было красивое, мужественное, но какое-то нехорошее лицо. На нем лежала печать обреченности. Запах тления усилился. «Ты бы в баню сходил»,—пожалела его секретарша. «В баню? В баню это хорошо...»—Иван Петрович заглянул в шкафчик у окна. Руки его дрожали. «Вчера, Ваня, допил»,—отвернулась, чтобы он на нее не дышал, секретарша. «Возьми две штуки,—Иван Петрович положил на стол синие с пропеллерами деньги,—если магазин закрыт, заскочи к Хорькову, скажи, я просил».—«Ваня,—словно не расслышала его секретарша,—уеду-ка я на Дальний Восток, а? Кто там найдет? Мне в этой квартире... ну до того погано! Хоть бы вещи, что ли, увезли? Там же их фотографии еще висят! Девчонка какая-то с косой!»—«Ты сними фотографии-то,—посоветовал Иван Петрович,—а вещами пользуйся, не стесняйся».—«Я боюсь,—прошептала секретарша,—вдруг вернутся?»—«Вот этого можешь не бояться,—уверенно ответил Иван Петрович.—Эти точно не вернутся».

Пока они разговаривали, Мите удалось войти в зашторенный кабинет. Тут, однако, ничего интересного не было. Разве что снятый с предохранителя пистолет, почему-то лежавший прямо на столе.

Вернулся в кабинет и Иван Петрович. Он все время морщился, потирал пальцами виски. С какой-то странной задумчивостью смотрел из окна, как Маша прошла мимо закрытого магазина, свернула в переулок.

Неподалеку протекала река. К вечеру сделалось прохладнее. Митя тоже взглянул в окно. Над городом, над заброшенными полями сгорал закат. Неземное спокойствие было разлито над землей. но не было жизни на этой земле. По площади, по улицам — с ведрами и мешками — ходили, покуривали, посмеивались люди, делающие вид, что живут.

Происходило что-то неладное. Митя и раньше догадывался, что коэффициент судьбы—своего рода защитная система. Теперь ему открылось, что это система замкнутая, то есть существующая сама по себе, для себя, внутри себя, охраняющая лишь самое себя. «Зачем Бог терпит этот кошмар? — подумал Митя. — Какой смысл в массовом насилии? Ужели это и есть мир Божий?»

Тем временем Иван Петрович извлек из сейфа пачку чистых—с печатями—ордеров на арест и обыск, уселся за стол, положил их перед собой. Взял ручку и тяжело задумался. Он вставал, ходил по кабинету, снова садился за стол. Смотрел в окно, но Маша задерживалась. Иван Петрович и стакан приготовил, и огурец разрезал и посолил, а ее все не было.

Вздохнув, принялся за работу. Первые десять ордеров заполнил, сверяясь с записями в блокноте. Потом дело застопорилось. Иван Петрович позвонил в сельхозотдел райкома, уточнил фамилию какого-то бригадира. Затем поинтересовался, с кем разговаривает. «Рерб進», — вписал прямо в ордер фамилию незадачливого райкомовца. Еще два ордера.

Стало совсем невмоготу. Глаза у Ивана Петровича налились, на лбу вспухли синие жилы. Он стоял у открытой форточки, крестьянский сын, комсомолец, хватал воздух, но прохладный вечерний воздух не приносил облегчения. Где-то далеко отбивали косу. Тонкий железный и жалобный звук был явственно слышен в кабинете. Тут тоже шел сенокос.

Наконец вернулась Маша, угрюмо поставила на стол бутылки. «Выпьешь со мной?» Секретарша вышла, не удостоив ответом. Иван Петрович осушил в один присест стакан, заел огурцом. Взгляд прояснился, неуверенность, сомнения ушли с лица. Он даже улыбнулся. Достал из стола папку: «г. Булин. Список жителей. Адреса». (Секретно.) И пошел заполнять ордера один за другим.

Он был уже на букве «П», когда до Мити дошло, что до «Я» осталось совсем немного, что единственная возможность спасти бабушку — украсть страницу, где ее фамилия — Ярцева. Митя тихонько приоткрыл дверь кабинета. «Маша? Еще не ушла?» — оторвался от писания Иван Петрович. В приемной надсаживались все три телефона. Митя громко хлопнул дверью, выходящей в коридор. Потом еще раз. «Да кто там... вашу мать!» — заорал Иван Петрович. Митя опрокинул стул. Иван Петрович поднялся из-за стола, вышел в приемную. Пока он смотрел в коридор, где не было ни души, Митя на цыпочках пробежал в кабинет, быстро нашел нужную страницу, вырвал, скомкал, забросил за сейф. После чего отошел в угол. Ему хотелось убедиться, что Иван Петрович заполнит все ордера.

Может быть, Мите показалось, но Иван Петрович как-то уж очень пристально вдруг уставился в угол, где он стоял. Даже сделал несколько шагов в ту сторону. Но остановился, провел рукой по воздуху, как бы прогоняя наваждение. Налил водки, выпил. Опять посмотрел в угол.

Митя понял, что пора сматываться. Он становился видимым. Митя осторожно двинулся к двери. Путь лежал мимо стола. Иван Петрович как раз изготовился заполнить последний ордер. «Я...» — вывел он, рука мелко задергалась, на лбу выступил пот. Он дико посмотрел по сторонам. Иван Петрович должен был написать — Ярцева. Но не мог. Такой фамилии не было. Иррациональный коэффициент судьбы тряс его, словно он ухватился за оголенный провод. Три раза Иван Петрович пробегал глазами по столбику фамилий на «Я». Ялуторовская — наконец вывел с неимоверным трудом, обессиленно ткнулся грудью в стол. Митя легонько приоткрыл дверь, выскользнул в коридор, а оттуда на улицу.

Его тоже пошатывало. Должно быть, он был сейчас «как из студня». А вскоре станет «совершенно нормальным, но каким-то бледным». Время истекало, а он еще не видел бабушку. Спасенную ли? Неужели из-за нее вскоре пострадает неведомая Ялуторовская? Митя преодолел единое пространство, чтобы спасти бабушку, но не такой ценой.

Думать над всем этим можно было бесконечно, а можно было вовсе не думать. Через полтора часа «Яшида» вернет Митю в его время — на объект «С». Тогда и будет ясен результат. Митя поспешил на улицу Гусева, бывшую Воздвиженскую, будущую Четвертую Пролетарскую.

Было на удивление тихо. Издали было не очень заметно, что церковь на горе изуродовали: сорвали кресты, исписали стены ругательствами. Церковь все еще была неотъемлемой частью пейзажа. В отличие от похожего на гигантскую летучую мышь репродуктора на столбе. Он вдруг похабнейшим образом нарушил тишину — заиграл, захрипел, потребовал смерти вредителям, подсыпавшим в борщ рабочим толченое стекло. Над рекой поднимался туман. Закат сгорел, но небо осталось светлым. С реки возвращались утки. Мир был так хорош, чист, промыт, что всякая человеческая деятельность в нем, в особенности слова, вызывали отвращение.

Дом напротив бабушкиного по бывшей Воздвиженской стоял заколоченный. Митя сел на лавочку. Калитка была как на ладони.

Он то ли заснул, то ли задумался. Очнулся, услышав тихий смех. Возле калитки стояли две девушки. Митя сразу узнал бабушку. Вот только лицо ее не мог рассмотреть в сумерках. Девушки шептались, смеялись, зажимая ладошками рты. «Как же можно... таких молодых?» — Митя подумал, что вполне возможно, вторая девушка, та самая Ялуторовская. Он чуть не закричал: бегите, спасайтесь!

Девушки наконец расстались. Митя побрел в сторону леса. Делать

в городе Булине больше было нечего. Кратчайший путь к лесу лежал через заросшее сорняками поле. Там была тропинка.

Митя в общем-то не удивился, когда на опушке к нему подошли двое: Иван Петрович и щеголеватый в ремнях. Дурных предчувствий не было. Как во время кошмарного сна, когда краешком сознания понимаешь, что это сон, что скоро проснешься.

— Оружие есть? — буднично поинтересовался щеголеватый.

— Каким образом вы проникли в мой кабинет? Кто вам помогал? — спросил Иван Петрович, в то время как щеголеватый быстро обшаривал Митины карманы.

«Значит, увидел, — подумал Митя, — пьяный-пьяный, а глаз — ватерпас!»

Потом они велели Мите раздеться.

— Германское производство, — обрадованно показал щеголеватый Ивану Петровичу Митину рубашку. — Руки за голову! — совсем другим голосом крикнул Мите. — Пошел вперед! Шаг в сторону — стреляю!

Мите показалось, комедия затянулась. К тому же нещадно жрали комары. Подключенные к «Яшиде», электронные часы показывали, что осталось сорок минут и двадцать секунд этого бреда. Скорей бы. Он шел, положив руки на голову, по опушке леса и не мог слышать, о чем говорили Иван Петрович и щеголеватый.

— Ясно, как божий день, Ваня, это связной, — горячился щеголеватый. — Раз связной, значит, здесь разведгруппа. Нельзя его в Москву, Ваня! Там же сразу: в городе столько времени орудовала вражеская разведгруппа, где были органы? Просмотрели? А почему? У нас тоже его нельзя оставлять. Завтра же комиссия. Не сносить, Ваня, нам головы!

— Что предлагаешь?

— При попытке к бегству, Ваня, единственный выход. Это же парашютист, тренированный бандит! С чего это ему сдаваться без сопротивления? А все, кого раньше взяли и еще возьмем, пойдут как разведгруппа. Всё! Группа ликвидирована, мы давно за ней следили. А если его в Москву, хрен знает, какие он даст показания... А так ордена получим, Ваня!

— Я за машиной, — сказал Иван Петрович.

— Медэксперта захвати, — попросил щеголеватый.

...Митя обернулся. Дальше идти было некуда. Стеной стояли деревья. Щеголеватый был на тропинке один.

— Можешь одеться. — Митя торопливо оделся.

— Опусти руки, — разрешил щеголеватый. Митя опустил.

— Отвернись и стой спокойно!

Митя отвернулся. Он и так был спокойнее некуда.

Щеголеватый достал из кармана пистолет, спустил предохранитель и выстрелил Мите в затылок.

Через пятнадцать минут приехал Иван Петрович с сотрудниками и медэкспертом.

Медэксперт констатировал смерть.

Машина уехала. Иван Петрович и щеголеватый пошли пешком. Пока шагали через поле, сапоги намокли от росы.

— Да, — зевнул Иван Петрович, — надо взять этих девиц, с которыми он выходил на связь. У нас на сегодня двое? Вот их и возьми. Но запиши арест и допрос вчерашним днем. Они сообщили место, время, пароль для встречи со связным. А он при задержании оказал сопротивление.

— Не волнуйся, Ваня, все будет в лучшем виде, — ответно зевнул щеголеватый и подумал, что выспаться сегодня опять не удастся.

VI

...Серов стучал, но Митя не отзывался. Серов подергал ручку двери. Дверь была заперта изнутри. Серов обошел вокруг, забрался в дом через открытое окно. Митя сидел в кресле, уткнувшись носом в дисплей «Яшиды». «Спит?» — подумал Серов, но тут же устыдился. Он был опытным человеком. Ему ли не отличить спящего от того, кто уже никогда не проснется?

Юрий Арабов

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Еще прогулка

Л. З.

Я Отчизне обязан по гроб,
но, когда я помру с тоски,
не найдется в Отчизне, чтоб
эту крышку забить, руки.

Этот маркий маринин стиль
безопасен,
как бритва,
когда в тебе — полный штиль
и позабыта молитва.

Тебя отпоет
экскаваторный ковш,
но ты затвердил как урок,
что задан,
пусть ты затвердел,
как вчерашний корж,
нам Запад поможет, Запад!

Я не знаю,
что такое Запад.
Помню, на карте был нацарапан
какой-то дырявый сапог.
Я б мог примерить,
да влезть не смог.
И эта даль порождала зависть
неосязаемую, как ток.
Ты пил, не рассчитывая на Запад,
Восток призывая, Восток!

Я сам стою за Восток,
когда путешествую
в Белосток,
хоть там для меня
нет места.
Как заметил однажды еврей-старик:
«Поезд идет
относительно леса,
но относительно звезд
стоит».

Вон он, гад, за Уралом свищет,
разжигая у Блока комплекс.
Только если сломался компас,
то кто ж его, гада, сыщет?

Восток, как икру, наметал
рудники.
Вороны, похожие на парики,

рассыпали в воздухе запятые
и над тобой поместили круг,
в котором ты подчинен стихии.
Но Юг нам поможет,
Юг!

Юг сильнее
Деникина,
и это как аксиома,
потому что от
менингита
помогает саркома.

Я когда-то бывал на югах:
морда — в инее и вьюга́х.
Чтоб привычный сломать бардак,
полагался на стремя.
Я, конечно, за Юг,
когда
уезжаю на Север.

Эсеры, децисты,
Народный фронт,
кто нас прокормит и что проймет,
кого в расход и в осадок?
Мы можем в пути поменять шесток,
нам Запад поможет, но этот Запад
сползает все дальше на Юго-Восток.

«Где же твое первородство
и первенство?» —
мыслит убийца, что пьет
за пастора.
Он сломан надвое, но еще держится,
словно очки
перевязаны пластырем.

1988

Мыши

Если гора порождает мышь,
то я хотел бы иметь низину.
Две ночи кряду они матчиш
в печи играют, прося бензину.

И, притаившись, как кот,
за дверцей,
я слышу их сатанинский свист,
но я не хочу
им устроить Освенцим,
потому что я —
гуманист.

Мышь ведь тоже — двунога,
особо когда
встает от растерянности на попа́,
а я, от размокшей устав дороги,
хочу быть на время четвероногим

Кыш не прогонит
шальную мышь,
поскольку у мыши — свой интерес.
Ей этот, в общем,
привычен кыш,
как выстрел в финале
чеховских пьес.

Она, словно Разин, взирает косо,
как будто близко лихое времечко.
Скрипит, как несмазанные колеса,
и жрет известку,
как баба семечки.

Товарищ! Побелка ведь дорога
и в ночь сглодать ее всю — не дело.
Такая б, наверно, одна могла
слюной перекрасить двоих Отелло.

Вот снова скрипнула,
но потише,
будто разнашивает сапоги.
Человек ведь, в сущности,
в подчиненьи у мыши,
если даже возьмет ее за грудки.

Мышь-полевка
носит всегда пилотку,
она — рядовой, как Мальчиш-Кибальчиш.
Но выбрать фельдмаршалом дачной сотки
могут, конечно,
лишь белую мышь.

За каждой мышью есть черный ход,
ведущий в подземное государство.
А с человеком — лишь черный кот,
которому связываться не в понт.
Он лишь оближет
свой белый галстук.

Говорят, от мышей
помогает мышьяк,
но жрут его брошенные мужья.

Есть заповедь «не убий»,
но сего
пониманья в нас нет, конечно.
Возлюбить же мышь,
как ближнего своего,
мне легче, чем выгнать ее из печки.

И пусть на Страшном суде,
растерян,
услышу я чей-то гудящий глас:
«Он — не какой-нибудь там
Иртеньев.
Он этой жертвой
сих малых спас!»

...Я сижу у печки, горбат и пуст,
шепча элегические слова.
Я — грешен и вряд ли уже спасусь,
потому и запаливаю дрова.

Иду во двор. Изо всех щелей
выходит дым, разбудив окрест.
Облака, как души моих мышей,
бегут пунктиром за дальний лес.

1989

Дом

Не стоит к мощам идти на поклон.
Ты возвратишься в родимый дом
тем более,
если твой дом разрушен,
и путь твой суетен да и скучен.

У дома, в который я возвращусь
и которого глубоководный щуп
не нащупает, будет цвести гречиха,
и беда не будет горчее лиха.

Стрижи затеют свой хоровод
у дома, коего вешних вод
язык не достанет ни свай, ни тына.
Лишь птицы помнят Отца и Сына.

Я вроде не грабил, не убивал
и по ночам не писал доносы.
Я просто слова свои выбивал,
как в деревнях выбивают косы.

И в доме, в который я возвращусь
исписаннее страницы Толстого,
дыбом вставшая, словно чумацкий чуб,
мне по-птичьи с крыши шепнет солома.

И в этом доме, в котором я,
если б был ребенком,
от страха умер,
к порогу выйдет моя семья,
чуть различимая,
словно зуммер.

И мне простят, что я
чуть тащусь,
уже, конечно, не человек,
к дому,
который построил Джек,
и к дому,
в который я возвращусь.

Но в доме,
в который я возвращусь,
не будет сплетен и слухов. Чуть
стемнеет, и тень отлетит на сажень.
Луна в созвездии Рыб и Устриц
застынет
ровной замочной скважиной,
ведущей в залу, где светят люстры.

А ночью к дому, в который Джек
не по своей возвратится воле,

где летчик путает низ и верх
и где сверчок отмеряет век,
приходит ангел,
рогат, как овен.

И в левой лапе его кривой
куски луча сплетены, как четки.
А в лапе правой, сторожевой, —
цикад несмолкающие трещотки.

И в доме, в который я возвращусь,
в котором лишь древоточец-жук
вслепую ищет назад дороги,
рогатый сторож, достав чубук,
клубясь, исчезнет,
как след в сугробе.

1989

Ветрено

А. Вознесенскому

Когда луна, в облаках дымя,
с воды вечерней сдувает пенку,
то все,
что может пугать меня, —
лишь ветер, уснувший между двумя
песчинками пепла.
Только ветер и зной. Мелководный рак
уходит вглубь, шевеля клешнями,
и червь твердеет от зноя,
как
полоска раствора
меж двумя кирпичами.

Ветрено. Жарко и ветрено.
Веткою тронешь,
мелеет зеркало.
Ветер живет
между лопастями пропеллера,
в ушке иголки
он сжат, как звезда.
Когда ж распрямится
в плевках репейника,
то ловит в авоську свою дрозда.

Если заденешь ведро на рассвете,
молоко прольется, но в форме вымени.
Между двух пустот
образуется ветер,
и эта связь придает им имя.

Над головою — худая сеть
созвездий,
где царствуют сквозняки.
И вышибается, как в городки.
пустота
«любовь» пустотою «смерть».
Дует от Рыбинска до Монголии.

Полоски ржи
горячи и ржавы.
Мозг приносится ветром (смотри у Гоголя)
из какой-нибудь мелкой
буржуазной державы.

Луна, что пола внутри,
как цель,
имеет блажь соблазнить наган.
Если выстроить бублики
в непрерывную цепь,
то внутри их завертится ураган.

Кто живет внутри ветра?
Мнимые величины,
тени дубов, чьи тела разрушены,
пустые тревоги,
следствия без причины
и не воплотившиеся
в пустомелю души.
Кто живет во вне ветра?
Все остальное.
Бог, избегающий
видимых подтверждений,
предпочитает, мне думается, иное,
то есть:
иные пейзажи, заводи и движенья.
Ветрено, други мои. Глубокие
дыры, как рыбы,
вдыхают ртами.
И твой же крик
возвратится в легкие,
едва поднявшись
к твоей гортани.

1989

Джон Стейнбек

РУССКИЙ ДНЕВНИК

Глава 5

Утром мы посмотрели на календарь — 9 августа. В Советском Союзе мы были уже девять дней. Но нам казалось, что мы находились здесь значительно дольше — столько у нас было впечатлений...

В этот день мы поехали в колхоз имени Шевченко. Потом мы стали называть его «Шевченко-1», потому что вскоре мы посетили другой колхоз Шевченко, названный в честь любимого украинского национального поэта.

На протяжении нескольких миль дорога была вымощена, потом мы свернули вправо и поехали по разбитой грунтовой дороге. Мы ехали через сосновые леса, по равнине, где шли ожесточенные бои. Повсюду остались их следы. Сосны были истреплены и разбиты пулеметным огнем. Здесь были траншеи и пулеметные гнезда, даже дороги были разбиты и искромсаны гусеницами танков и изрыты артиллерийскими снарядами. Повсюду лежали ржавые останки военной техники, сожженные танки и сломанные грузовики. За эту землю сражались, ее уступили, но постепенно, сантиметр за сантиметром, ее отвоевали у врага.

Колхоз «Шевченко-1» никогда не относился к числу лучших, потому что земли имел не самые хорошие, но до войны это была вполне зажиточная деревня с тремястами шестьюдесятью двумя домами, где жило 362 семьи. В общем, дела у них шли хорошо.

После немцев в деревне осталось восемь домов, и даже у этих были сожжены крыши. Людей разбросало, многие из них погибли, мужчины ушли партизанами в леса, и одному богу известно, как дети сами о себе заботились.

Но после войны народ возвратился в деревню. Вырастали новые дома, а поскольку была уборочная пора, дома строили до работы и после, даже ночами при свете фонарей. Чтобы построить свои маленькие домики, мужчины и женщины работали вместе. Все строили одинаково: сначала одну комнату и жили в ней, пока не построят другую. Зимой на Украине очень холодно, и дома строятся таким образом: стены складываются из обтесанных бревен, закрепленных по углам. К бревнам прибивается дранка, а на нее для защиты от морозов с внутренней и внешней стороны наносится толстый слой штукатурки.

В доме сени, которые служат кладовой и прихожей одновременно. Отсюда попадаешь на кухню, оштукатуренную и побеленную комнату с кирпичной печкой и подом для стряпни. Сам очаг отстоит на четыре фута от пола, и здесь пекут хлеб — гладкие темные буханки очень вкусного украинского хлеба.

За кухней расположена общая комната с обеденным столом и украшениями на стенах. Это гостиная с бумажными цветами, иконами и фотографиями убитых. А на стенах — медали солдат из этой семьи. Стены белые, а на окнах — ставни, которые, если закрыть, также защитят от зимнего мороза.

Из этой комнаты можно попасть в спальню — одну или две, в зависимости от размера семьи. Из-за трудностей с постельным бельем кровати чем только не покрыты: ковриками, овечьей шкурой — чем угодно, лишь

Окончание. Начало см. «Знамя» № 1 за 1990 год.

бы было тепло. Украинцы очень чистоплотны, и в домах у них идеальная чистота.

Нас всегда убеждали, что в колхозах люди живут в бараках. Это неправда. У каждой семьи есть свой дом, сад, цветник, большой огород и пасека. Площадь такого участка около акра. Поскольку немцы вырубили все фруктовые деревья, были посажены молодые яблони, груши и вишни.

Сначала мы пошли в новое здание сельсовета, где нас встретил председатель, потерявший на фронте руку, бухгалтер, который только что демобилизовался из армии, но носил еще военную форму, и трое пожилых мужчин. Мы сказали им, что знаем, насколько они заняты во время уборки урожая, но хотели бы сами посмотреть уборочные работы.

Они рассказали, как здесь было раньше и как стало теперь. Когда пришли немцы, в колхозе было семьсот голов крупного рогатого скота, а сейчас всего две сотни животных всех видов. До войны у них было два мощных бензиновых двигателя, два грузовика, три трактора и две молотилки. А сейчас — один маленький бензиновый двигатель и одна маленькая молотилка. Трактора нет. Во время пахоты они получили одну машину на близлежащей тракторной станции. Раньше они имели сорок лошадей, осталось только четыре.

Село потеряло на войне пятьдесят военнообязанных, пятьдесят человек разных возрастов, здесь было много калек и инвалидов. У некоторых детей не было ног, другие потеряли зрение. И село, которое так отчаянно нуждалось в рабочих руках, старалось каждому человеку найти посильную для него работу. Инвалиды, которые хоть что-то могли делать, получили работу и почувствовали себя нужными, участвуя в жизни колхоза, поэтому неврастеников среди них было не много.

Эти люди не были грустными. Они много смеялись, шутили, пели.

На полях колхоза выращивали пшеницу, просо и кукурузу. Почва была легкая и песчаная, поэтому здесь хорошо росли огурцы, картофель, помидоры, было также много меда и подсолнухов. Здесь очень широко используется подсолнечное масло.

Сначала мы пошли на огороды, где женщины и дети собирали огурцы. Людей поделили на две бригады, и они соревновались, кто больше соберет овощей. Женщины шли рядами по грядам, они смеялись, пели и перекликались. На них были длинные юбки, блузы и платки, и все были разуты, поскольку обувь пока еще слишком большая роскошь, чтобы работать в ней в поле. На детях были только штаны, и их маленькие тельца становились коричневыми под лучами летнего солнца. По краям поля в ожидании грузовиков лежали кучи собранных огурцов.

Паренек по имени Гриша в живописной шляпе из тростника подбежал к матери и закричал с удивлением:

— Эти американцы такие же люди, как и мы!

Фотокамеры Капы вызвали сенсацию. Женщины сначала кричали на него, потом стали поправлять платки и блузки, так, как это делают женщины во всем мире перед тем, как их начнут фотографировать.

Среди них была одна с обаятельным лицом и широкой улыбкой; ее-то Капа и выбрал для портрета. Она была очень остроумна. Она сказала:

— Я не только очень работящая, я уже дважды вдова, и многие мужчины теперь просто боятся меня. — И она потрясла огурцом перед объективом фотоаппарата Капы.

— Может, вы бы теперь вышли замуж за меня? — предложил Капа. Она откинула голову назад и зашлась от смеха.

— Глядите на него! — сказала она Капе. — Если бы прежде чем создать мужчину, господь бог посоветовался с огурцом, на свете было бы меньше несчастливых женщин. — Все поле взорвалось от смеха.

Это был веселый, доброжелательный народ, они заставили нас попробовать огурцы и помидоры. Огурцы — очень важный вид овощей. Их солят, и соленые огурцы едят всю зиму. Засаливают также и зеленые помидоры, из которых с приходом снега и морозов делают салаты. Эти овощи, а также капуста и репа — зимние овощи. И хотя женщины смеялись, болтали и заговаривали с нами, они не переставали работать, потому что урожай был хороший, — на семьдесят процентов выше, чем в прошлом

году. Первый по-настоящему хороший урожай с 1941 года, и они возлагают большие надежды на него.

Потом мы пошли на цветущий луг, на котором стояли сотни ульев и палатка, где жил пасечник. В воздухе слышалось приглушенное жужжанье пчел, работающих на клеверном лугу. К нам быстро зашагал старый бородатый пасечник, чтобы закрыть наши лица сетками от пчел. Мы надели сетки и спрятали руки в карманы. Пчелы сердито гудели вокруг нас.

Старик-пасечник открыл ульи и показал нам мед. Он сказал, что работает здесь уже тридцать лет и очень гордится этим. В течение многих лет он работал с пчелами, но знал, в общем, о них не много. Но сейчас он стал читать и учиться, и теперь он обладатель огромного сокровища: у него шесть молодых маток. Он сказал, что они из Калифорнии. Из его описания я понял, что это был некий калифорнийский вариант «итальянской черной» пчелы. Он сказал, что очень доволен новыми пчелами. И добавил, что они будут более устойчивыми к морозу, а рабочий сезон увеличится — начнется раньше, а закончится позже.

Потом он пригласил нас к себе в палатку, спустил полог, нарезал большие куски вкусного ржаного украинского хлеба, намазал медом и угостил нас. Снаружи доносилось пчелиное жужжанье. Позже старик снова открыл ульи и бесстрашно выгреб оттуда целые пригоршни пчел, как это делает большинство пчеловодов. Но предупредил нас, чтобы мы не раскрывались, потому что пчелы не любят незнакомых.

Оттуда мы пошли на поле, где молотили пшеницу. Оборудование было на удивление неподходящее: старый одноцилиндровый бензиновый двигатель, от которого работала старинная молотилка, и воздуходувка, которую надо было крутить вручную. Здесь также не хватало людей. Женщин было намного больше, чем мужчин, а среди мужчин было очень много инвалидов. У механика, который управлял бензиновым двигателем, на одной руке совсем не было пальцев.

Поскольку земля была не очень плодородной, урожай пшеницы получили невысокий. Зерно высыпалось из молотилки на широкое полотно брезента. По краям сидели дети, и они подбирали каждое зерно, которое, случалось, падало в грязь — ведь каждое зерно на счету. Тучи собирались все утро, и наконец стал капать дождь. Люди бросились закрывать пшеницу от дождя.

Мужчины заспорили о чем-то, и Полторацкий тихо переводил для нас. Похоже, они спорили, кто из них пригласит нас на обед. У кого-то в доме был большой стол, жена другого сегодня с утра пекла. Один говорил, что его дом только что отстроили, он совсем новый и что именно он должен принимать гостей. Все согласились. Но у этого человека было мало посуды. Остальные должны были собрать для него стаканы, тарелки и деревянные ложки. Когда было решено, что гостей будут принимать в его доме, женщины из этой семьи подхватили юбки и поспешили в деревню.

Когда мы возвратились из России, чаще всего мы слышали такие слова: «Они вам устроили показуху. Они все организовали специально для вас. Того, что есть на самом деле, вам не показали». И эти колхозники действительно кое-что устроили для нас. Они устроили то, что устроил бы для гостей любой фермер из Канзаса. Они вели себя так, как ведут себя люди у нас на родине..

Они действительно расстарались ради нас. Пришли с поля грязными, сразу вымылись и надели лучшую одежду, а женщины достали из сундуков чистые и свежие платки. Они помыли ноги и обулись, надели свежевыстиранные юбки и блузы. Девочки собрали цветы, поставили их в бутылки и принесли в светлую гостиную. А из других домов приходили делегации ребятишек со стаканами, тарелками и ложками. Одна женщина принесла банку огурцов особого засола, и со всей деревни присылали бутылки водки. А какой-то мужчина принес даже бутылку грузинского шампанского, которую он припас бог знает к какому грандиозному торжеству.

На кухне вовсю хлопотали женщины. В новой белой печи гудел огонь — там пеклись ровные караваи доброго ржаного хлеба, жарилась яичница, кипел борщ. За окном лил дождь, поэтому наша совесть была спокойна — ведь мы не отрывали людей от уборочных работ, во всяком случае, во время дождя работать с зерном невозможно.

В одном углу гостиной висела икона Богоматери с младенцем в красивом позолоченном окладе, под пологом из домотканых кружев. Эту икону, — а она была очень старой, — по всей вероятности, закопали, когда пришли немцы. На стене висела увеличенная и раскрашенная фотография прапрародителей. Двое сыновей из этой семьи погибли во время войны — их снимки находились на другой стене, — они были сфотографированы в форме и выглядели очень молодо, строго и провинциально.

В комнату вошли мужчины, опрятно одетые, чистые, помытые, побритые и обутые. На работах в поле ботинки не носят.

Спасаясь от дождя, в дом прибежали девочки с полными фартуками яблок и груш.

Хозяин — лет пятидесяти, с высокими скулами, светлыми волосами, широко посаженными голубыми глазами на обветренном лице. На нем была гимнастерка и широкий кожаный ремень, какие носили партизаны. Его лицо было искажено словно от ранения.

Наконец нас пригласили к столу. Украинский борщ, до того сытный, что им одним можно было наесться. Яичница с ветчиной, свежие помидоры и огурцы, нарезанный лук и горячие плоские ржаные лепешки с медом, фрукты, колбасы — все это поставили на стол сразу. Хозяин налил в стаканы водку с перцем — водка, которая настаивалась на горошках черного перца и переняла его аромат. Потом он позвал к столу жену и двух невесток — вдов его погибших сыновей. Каждой он протянул стакан водки.

Мать семейства произнесла тост первой. Она сказала:

— Пусть бог ниспошлет вам добро.

И мы все выпили за это. Мы наелись до отвала, и все было очень вкусно.

Теперь наш хозяин провозгласил тост, который мы уже слышали очень много раз, — это был тост за мир во всем мире. Странно, но нам редко удавалось слышать более интимные, частные тосты. Чаще звучали тосты за нечто более общее и грандиозное, чем за будущее какого-то отдельного человека. Мы предложили выпить за здоровье членов семьи и процветание колхоза. А крупный мужчина в конце стола встал и выпил за память Франклина Д. Рузвельта...

Когда мы кончили обед, настало то, к чему мы уже привыкли, — время вопросов. Но на этот раз нам было интереснее, потому что это были вопросы крестьян о наших фермерах и фермах. И снова нам стало ясно, что у людей очень сложное и любопытное представление друг о друге. На вопрос: «Как в Америке живут фермеры?», невозможно ответить. Что за ферма? Где? А американцам очень трудно представить Россию, где можно найти практически любой климат — от арктического до тропического, где живут разные народы, которые говорят на многих языках...

На следующее утро мы проснулись поздно и принялись обсуждать день, проведенный на ферме, и Капа отложил отснятые на ферме пленки. Нас пригласили к себе в гости Александр Корнейчук и его жена, известная в Америке польская поэтесса Ванда Василевская. Они жили в хорошем доме с большим садом. Обед был накрыт на веранде под тенью раскидистой виноградной лозы. Перед верандой росли цветы, розы и цветущие деревья, а чуть подальше расположился большой огород.

Обед приготовила Ванда Василевская. Он был вкусный и очень обильный. Еда состояла из баклажанной икры, днепровской рыбы, приготовленной в томатном соусе, странных на вкус фаршированных яиц и старки — желтоватой водки с тонким вкусом. Потом подали крепкий куриный бульон, жареных цыплят, наподобие тех, что готовят у нас на юге, с той лишь разницей, что этих сначала обваляли в сухарях. Затем был пирог, кофе, ликер, и, наконец, Корнейчук выложил упманновские сигары в алюминиевых футлярах.

Обед был превосходным. Пригревало солнце, в саду было очень приятно. Когда мы принялись за сигары и ликер, разговор повернулся на отношения с Соединенными Штатами. Корнейчук входил в состав делегации культурных деятелей, посетивших Соединенные Штаты. По прибытии в Нью-Йорк у всех членов делегации были взяты отпечатки пальцев

и всех зарегистрировали как представителей иностранной державы. Их возмутило то, что у них взяли отпечатки пальцев, и они вернулись домой, прервав визит. Корнейчук сказал:

— У нас в стране берут отпечатки пальцев только у преступников. У вас ведь не брали отпечатки пальцев. Вас не фотографировали и не заставляли регистрироваться.

Мы постарались объяснить, что, по нашим правилам, люди, приезжающие из коммунистического или социалистического государства, рассматриваются как государственные служащие, а всем иностранным государственным служащим необходимо регистрироваться.

Он ответил:

— В Англии тоже социалистическое правительство, однако вы не регистрируете англичан и не берете у них отпечатки пальцев.

Поскольку оба, и Корнейчук, и Полторацкий, воевали, мы спросили у них, какие бои проходили в этих местах. Полторацкий рассказал нам историю, которую трудно забыть. Однажды он был в составе русского подразделения, которое должно было атаковать немецкое сторожевое охранение. Шли так долго, снег был таким глубоким, а мороз таким сильным, что когда люди наконец дошли до цели, их руки и ноги одеревенели от холода.

— Нам оставалось драться только одним,— сказал он,— зубами. Потом мне это снилось по ночам. Это было ужасно.

После обеда мы пошли к реке, наняли маленькую моторку и стали курсировать вдоль плоских песчаных берегов, где купались и загорали сотни людей. Люди загорали целыми семьями, лежа на белом песке в разноцветных купальниках. По реке сновали небольшие яхты. Здесь были и экскурсионные катера, переполненные отдыхающими.

Мы скинули одежду и, оставшись в одних трусах, прыгнули из лодки прямо в реку. Вода была теплой и приятной. Было очень веселое воскресенье. Среди зелени на крутом берегу и на городской набережной толпились люди. На самом верху на музыкальных верандах играли оркестры. Молодые пары гуляли, рука об руку, вдоль реки.

Вечером мы снова пошли на «Ривьеру», танцевальную площадку над рекой, и смотрели сверху, как на равнинные просторы Украины надвигается ночь, как начинает серебриться река...

Обратно мы пошли через парк. Сотни людей все еще сидели и слушали музыку. Капа умолил меня, чтобы утром я не задавал ему никаких вопросов.

Здесь существует обычай, который как нельзя лучше подошел бы и нам. В гостиницах и ресторанах на видном месте выставлена книга жалоб и предложений, тут же рядом и карандашик, чтобы вы могли написать любую жалобу относительно обслуживания, управления или порядков, причем подпись ваша необязательна. Когда в ресторан или другое общественное заведение приезжает инспектор, он проверяет, есть ли жалобы на директора или на обслуживание, и, если такие жалобы есть, происходит реорганизация. Одна жалоба, конечно, не в счет, но если она повторяется несколько раз, то на нее обращают внимание.

В Советском Союзе существует также и другая книга, на которую мы взирали с неподдельным ужасом. Это — книга отзывов. Если вы посетили фабрику, музей, художественную галерею, пекарню или даже посмотрели проект строительства, вас всегда ожидает книга посетителей, куда вы должны записать, что думаете об увиденном. И обычно к тому времени, когда вы подходите к книге, вы уже не знаете, что видели. Книга эта явно предназначена для комплиментов. Поэтому было бы ужасно, если бы ваши замечания и впечатления оказались критическими. Что касается меня, по крайней мере, то впечатления должны созреть, а на это нужно какое-то время. Моментально они не выстраиваются.

Мы попросили, чтобы нас отвезли на другую ферму, на земле побогаче, чем та, где мы были, и не так сильно разоренную немцами. И на следующее утро мы отправились в направлении, противоположном тому, что в прошлый раз. Нас везли на довоенном «ЗИСе». Чем дальше мы ехали, тем больше он разваливался. Рессоры почти не пружинили, мотор ревел и стучал, а задний мост завывал, как подыхающий волк...

В колхоз и в деревню мы приехали около полудня. Колхоз этот тоже был имени Шевченко. Нам пришлось назвать его «Шевченко-2»! Он совсем не был похож на первую ферму, земля здесь была плодороднее и другой структуры, и саму деревню немцы не тронули. Немцев здесь окружили. Они перерезали весь скот, но им недостало времени, чтобы разрушить деревню. До войны на ферме разводили лошадей, и, прежде чем немцев наконец захватили, те перебили всех деревенских лошадей, коров, кур, уток и гусей. Трудно представить себе этих немцев. Трудно представить, что было у них на уме, каков был вообще мыслительный процесс этих унылых, ужасных детей-разрушителей.

Директор «Шевченко-2», бывший известный партизан, и теперь носил военную форму защитного цвета и ремень. У него были голубые глаза и жесткие складки у рта.

В колхозе жило около тысячи двухсот человек, большинство мужчин погибло. Председатель сказал нам:

— Мы можем восстановить поголовье лошадей, можем даже увеличить его, но наших мужчин не возвратить, а калекам не вернуть ноги и руки.

Мы почти не видели в Советском Союзе протезов, хотя их требовалось очень много. Эта отрасль промышленности скорее всего не была еще создана, но уже стала одной из самых необходимых: ведь тысячи людей остались без рук и ног.

Колхоз «Шевченко-2» был из числа преуспевающих. Земля здесь плодородная и ровная. Выращивают пшеницу, рожь и кукурузу. Прошлой весной ударили морозы, и часть озимой пшеницы погибла. Люди мгновенно стали готовить землю под кукурузу, чтобы земля не пустовала. А под кукурузу земля здесь очень хорошо подходит. Стебли вырастают до восьми-девяти футов, початки крупные и полные.

Мы пошли на пшеничное поле, где работала масса людей. Поле было очень большое, и повсюду мы видели, как люди жали пшеницу косами, ведь в колхозе была лишь одна маленькая жатвенная машина и трактор. Поэтому большую часть пшеницы жнут и вяжут вручную. Люди работали неистово. Они смеялись и перекликались, ни на секунду не переставая работать. И не только потому, что соревновались между собой, а и оттого, что впервые за долгое время получили прекрасный урожай и хотели собрать все зерно: ведь их доход целиком зависит от этого.

Мы отправились в зернохранилище — здесь мешки подсолнечника на масло, рожь и пшеница. Все распределено: это для государства, это отложено для будущего сева, остальное — колхозникам.

Сама деревня расположилась на берегу озера, в котором купаются, стирают, моют лошадей. Голые мальчишки заезжали в озеро верхом на лошадях, чтобы вычистить их. Вокруг озера сосредоточились и общественные заведения — клуб с маленькой сценой, залом и танцплощадкой; мельница и контора, где хранятся сбережения и выдаются письма. В этом же учреждении есть радиоприемник, репродуктор которого вынесен на крышу. А все домашние громкоговорители деревни подключены к этому основному. Эта деревня электрифицирована, здесь есть фонари и работают моторы.

Дома с садами и огородами стояли на склонах пологих холмов. Деревня была очень красива. Дома недавно побелили известью, зеленели и пышно цвели сады, краснели помидоры на кустах, около домов высилась кукуруза.

Дом, в котором нас должны были принять, находился на самом холме, под нами раскинулись равнина, поля и сады. Дом был, как и все другие, как большинство украинских сельских домиков: с прихожей, кухней, двумя спальнями и гостиной. Дом совсем недавно оштукатурен. Даже полы были отделаны заново. В доме сладко пахло глиной.

Нашим хозяином стал сильный, улыбчивый человек лет пятидесяти пяти — шестидесяти. Его жена, которую он звал «Мамочка», полностью соответствовала своему имени. Эта женщина была настоящей труженицей, в полном смысле слова.

Нас пригласили в гостиную и дали нам отдохнуть. Стены комнаты были побелены с синькой, а на столе стояли бутылки, обернутые в розовую бумагу с бумажными цветами всех оттенков.

Совершенно очевидно, что эта деревня была богаче, чем «Шевчен-

ко-1». Даже икона была больше по размеру и покрыта светло-голубым кружевом в тон стен. Семья была не очень многочисленная. Один сын — его сильно увеличенная раскрашенная фотография висела на стене гостиной; о нем они упомянули лишь раз.

Мать сказала:

— Окончил биохимический факультет в 1940 году, призван в армию в 1941-м, убит в 1941-м.

Когда Мамочка сказала это, лицо ее очень побледнело; она упомянула о нем лишь раз, а был это ее единственный сын.

Около стены стояла старая зингеровская швейная машинка, накрытая марлей, а у противоположной стены — узкая кровать с ковром вместо покрывала. В центре комнаты стоял длинный стол со скамейками с обеих сторон. В доме было очень жарко. Окна не открывались. Мы решили, что если сможем не показаться невежливыми, то попросимся переночевать в сарае. Ночи были прохладными, и поспать на улице было бы прекрасно; в доме мы бы задохнулись.

Мы пошли во двор и помылись. Вскоре был готов обед.

Мамочка — одна из самых лучших и известных по всей деревне поварих. Приготовленная ею еда была необыкновенной. Ужин в тот вечер начался со стакана водки, а на закуску были соленья и домашний черный хлеб, а также украинский шашлык, который Мамочка очень вкусно сделала. Здесь же стояла большая миска с помидорами, огурцами и луком; подавались маленькие жареные пирожки с кислой вишней, которые надо было поливать медом — национальное кушанье и очень вкусное. Мы пили парное молоко, чай и снова водку. Мы объелись. Мы ели маленькие пирожки с вишней и медом, пока глаза не полезли на лоб.

Темнело, и мы решили, что на сегодня это уже последнее застолье.

Вечером мы пошли в клуб. Когда мы проходили мимо озера, недалеко от берега проплыла лодка, и мы услышали любопытную музыку. Играли на балалайке, маленьком барабане с тарелками и гармошке, — это и была вся деревенская танцевальная музыка. Музыканты переплыли на лодке через озеро и высадились около клуба.

Клуб занимал довольно большое здание. Здесь была маленькая сцена, перед которой стояли столики с шахматными и шашечными досками, за ними — площадка для танцев, а дальше — скамейки для зрителей.

В клубе, когда мы пришли, было мало народа, лишь несколько шахматистов. Мы узнали, что, возвратившись с полевых работ домой, молодые люди ужинают, отдыхают часок, иногда даже спят и только потом собираются в клубе.

В тот вечер сцену приготовили для небольшой пьесы. На столе стояли горшки с цветами, у стола — два стула, а на стене висел большой портрет президента Украинской республики. Вошел оркестр из трех музыкантов, они наладили свои инструменты, и зазвучала музыка. Стали сходиться люди: крепкие девушки с сияющими, чисто вымытыми лицами. Молодых парней было совсем немного.

Девушки танцевали друг с другом. На них были яркие платья из набивных материй, на голове — цветные шелковые и шерстяные платки, но почти все были босоноги. Танцевали они лихо. Музыка играла быстро, барабан с тарелками отбивал ритм. По полу топали босые ноги. Вокруг стояли парни и наблюдали.

Мы спросили одну девушку, почему она не танцует с парнями. Она ответила:

— Они подходят для женитьбы, но танцевать с ними — нажить себе неприятности, ведь их так мало пришло с войны. И потом, они такие робкие, — она засмеялась и снова пошла танцевать.

Их было очень мало, молодых мужчин брачного возраста. Здесь были молоденькие мальчишки, а те, кто должен был танцевать с девушками, погибли на фронте.

У этих девушек была невероятная энергия. Весь день с самой зари они работали на полях, но стоило им лишь час после работы поспать, они готовы были танцевать всю ночь. Мужчины за шахматными досками продолжали играть, не двигаясь и не отвлекаясь на шум вокруг.

Тем временем актеры, которые должны были участвовать в пьесе, готовили сцену, а Капа устанавливал свет для съемки. Нам показалось,

что, когда кончилась музыка, девушки немного расстроились, они не хотели, чтобы из-за пьесы прекращались танцы.

Это была небольшая пропагандистская пьеска, наивная и очаровательная. Сюжет таков. На ферме живет девушка, но это ленивая девушка, она не хочет работать. Она хочет поехать в город, хочет красить ногти, мазать губы, быть деградированной декаденткой. По мере развития сюжета она вступает в конфликт с хорошей девушкой, девушкой-бригадиром, которая даже получила премию за свою работу в поле. Девушка, которая хочет красить ногти, слоняется по сцене, и видно, что она совсем не хорошая, в то время как девушка-бригадир стоит прямо, руки по швам и произносит свой текст. Третий актер — это героический тракторист, и, что интересно, он тракторист и в жизни. Из-за него пришлось на полтора часа задержать спектакль, пока он чинил свой трактор, на котором целый день работал. Герой-тракторист использовал один драматический прием: он произносил свой текст, ходя туда-сюда по сцене и куря сигареты.

И вот тракторист влюбляется в девушку, которая хочет красить ногти. Он действительно ее любит и может из-за нее поставить под удар свою судьбу. И правда, сюжет развивается, и вот парень уже почти готов бросить свой трактор и тем самым перестать помогать развитию народной экономики, и собирается переехать в город, получить квартиру и спокойно жить с красящей ногти девушкой. Но девушка-бригадир, стоя по струнке, прочитывает ему целую лекцию.

Это не помогает. Тракторист совсем обезумел, он по уши влюблен в эту никчемную, неопрятную девушку. Он не знает, что делать. Бросит ли он любимую девушку или поедет за ней в город и станет бездельником?

Затем испорченная девица уходит, оставляя девушку-бригадира с трактористом. И вот, бригадир, по-женски хитря, говорит трактористу, что та девушка его по-настоящему не любит. Просто она хочет выйти за него замуж, ведь он такой известный тракторист, а потом она его бросит. Тракторист этому не верит, и тогда девушка-бригадир говорит, озаренная идеей:

— Я придумала. Сделай вид, что ты любишь меня, а когда она нас вместе увидит, ты сразу поймешь, любит она тебя или нет.

Идея принята. Красильщица ногтей входит и застает бригадиршу в объятиях тракториста и — о чудо! — свершается то, что вам никогда бы не пришло в голову: эта неряха решает работать на благо социалистической экономики. Она остается на ферме. И она обрушивается с яростью на бригадиршу. Она говорит:

— Я организую свою бригаду, не только тебе быть в почете и получать награды. Я сама стану бригадиром и буду носить медали.

Так решается и любовная, и экономическая проблема тракториста, и пьеса заканчивается, оставив у всех приятные воспоминания.

Таков сюжет пьесы, но в действительности все было иначе. Тракторист успел всего четыре-пять раз прошагать по сцене, действие едва началось, как Капа разрядил свои фотовспышки, чтобы сделать первую фотографию. Это серьезно нарушило ход действия. Девушка, которая красила себе ногти, скрылась за связкой папоротника и так и не вышла оттуда до конца сцены. Тракторист забыл слова. Девушка-бригадир запнулась и попыталась спасти мизансцену, но ей это не удалось. Оставшаяся часть спектакля прошла как бы под эхо. Актеры повторяли слова, подсказанные суфлером, поэтому зрители слушали пьесу дважды. И каждый раз, когда актерам удавалось, наконец, вспомнить свои слова, Капа разряжал вспышку, и они снова терялись.

Публика была в восторге. Каждую вспышку зрители встречали бурными аплодисментами.

Легкомысленная сущность испорченной девушки подчеркивалась как красным лаком для ногтей, так и стеклянными бусами и другой блестящей бижутерией. Вспышки фотоаппарата так разволновали девушку, что она разорвала бусы, и бусины раскатились по всей сцене. Это окончательно расстроило пьесу.

Мы бы никогда не узнали, о чем эта пьеса, если бы нам потом не рассказал о ней суфлер, который работал в деревне учителем. Занавес опустили под бурные аплодисменты. У нас было чувство, что этот вариант

пьесы публика предпочитает всем другим, ранее виданным. Когда спектакль окончился, они спели две украинские песни.

Девушки захотели танцевать. Они были неугомонными, и, когда оркестр вновь занял свои места, быстрые пляски продолжились. Только директор клуба уговорил их пойти спать. На часах было уже четверть второго, а девушкам надо было вставать в пять тридцать утра, чтобы идти на работу. Но уходить они не хотели, и если бы им позволили, они протанцевали бы всю ночь.

К тому времени, как мы поднялись на холм, было уже полтретьего утра и мы готовы были отправиться спать. Но это не входило в планы Мамочки. По всей видимости, она стала готовить, как мы только ушли, съев то, что, как мы считали, было ужином. Длинный стол был заставлен едой. В два тридцать утра нам предложили следующее: опять водку в стаканах и соленые огурцы, жареную рыбу из деревенского озера, маленькие жареные пирожки, мед и превосходный картофельный суп.

Мы умирали от переедания и недосыпания. В доме было очень жарко, а комната неудобная. И когда мы выяснили, что нам с Капой предстояло спать на узкой Мамочкиной кровати, мы попросились переночевать в сарае.

Нам постелили свежее сено, сверху положили ковер, и мы легли спать. Мы оставили дверь открытой, но ее тихонько прикрыли. Видимо, здесь так же боятся ночного воздуха, как и в Европе. Мы переждали чуть-чуть, прежде чем встать и открыть дверь опять, но и на этот раз ее осторожно закрыли. Они не могли допустить, чтобы мы пострадали от ночного воздуха...

Ночь была так коротка, что ее практически не было. Мы закрыли глаза, раз повернулись на другой бок, и ночи как не бывало. Во дворе, у сарая, ходили люди, коров уже вывели, в ожидании завтрака визжали и чем-то грохотали свиньи. Я не знаю, когда Мамочка спала. Скорее всего, она вообще не спала, потому что несколько часов готовила завтрак.

С Капой пришлось повозиться, прежде чем он проснулся. Он просто не хотел вставать. В конце концов его вынесли из сарая. Он сел на бревно и долгое время смотрел в одну точку.

О завтраке нужно рассказать в подробностях, так как ничего похожего на свете я еще не видел. Для начала — стакан водки, затем каждому подали по яичнице из четырех яиц, две огромные жареные рыбы и по три стакана молока; после этого блюдо с соленьями, и стакан домашней вишневой наливки, и черный хлеб с маслом; потом полную чашку меда с двумя стаканами молока и, наконец, опять стакан водки. Звучит, конечно, невероятно, что все это мы съели на завтрак, но мы это действительно съели, все было очень вкусно, хотя потом желудки наши были переполнены и мы не очень хорошо себя чувствовали.

Мы считали, что встали рано, хотя вся деревня работала в поле с самого рассвета. Мы пошли в поле, где жали рожь. Мужчины, размахивая косами, шли в ряд, оставляя за собой широкие полосы скошенной ржи. За ними шли женщины, которые вязали снопы скрученными из соломы веревками, а за женщинами шли дети — они подбирали каждый колосок, каждое зернышко, чтобы ничего не пропало. Они работали на совесть: ведь время было самое горячее. Капа фотографировал, они смотрели в объектив, улыбались и продолжали работать. Перерывов не было. Этот народ работал так тысячелетиями, потом их труд был ненадолго механизирован, но теперь они опять вынуждены вернуться к ручному труду, пока не будут созданы новые машины.

Мы были на мельнице, где мелют зерно, и сходили в контору, где хранятся колхозные бухгалтерские книги.

На краю деревни они строили кирпичный заводик. Местные жители мечтают строить кирпичные дома с черепичной крышей: их беспокоит опасность пожара от возгорания соломы на крыше. Они рады, что у них есть торф и глина, чтобы делать кирпичи. А когда их деревню застроят, они будут продавать кирпич соседям. Заводик будет достроен к зиме, и когда закончатся полевые работы, они перейдут на завод. Под навесом уже заготовлены горы торфа.

В полдень мы навестили одну семью во время обеда; она состояла

из жены, мужа и двоих ребятишек. Посреди стола стояла огромная миска супа из овощей и мяса; у каждого члена семьи была деревянная ложка, которой он черпал суп из миски. И еще была миска с нарезанными помидорами, большая гладкая буханка хлеба и кувшин с молоком. Эти люди очень хорошо ели, и мы видели, к чему приводит обильная еда: за несколько лет на кожаных ремнях мужчин прибавилось отверстий, теперь пояса удлинились на два, три, даже четыре дюйма...

На обратном пути в Киев мы заснули от усталости и переедания. И мы не знаем, сколько раз водитель останавливал машину, чтобы залить воду или сколько раз она ломалась. В Киеве мы выскочили из машины, сразу бросились в постель и проспали около двенадцати часов...

Днем у меня брали интервью для украинского литературного журнала. Это было очень долгое и тяжкое испытание. Редактор, настороженный маленький человечек с треугольным лицом, задавал вопросы длиной в два абзаца. Их мне переводили, и к тому времени, как я понимал конец вопроса, я уже забывал начало. Я старался отвечать на вопросы, как только мог. Ответы переводились редактору и записывались. Вопросы были очень сложными и очень литературными, и, когда я отвечал на вопрос, я совершенно не был уверен, что перевод соответствует смыслу. Было два трудных момента. Во-первых, коренное различие между мной и человеком, который брал у меня интервью. И во-вторых, мой английский, по всей вероятности, слишком разговорный и довольно труднодоступный переводчику, который изучал литературный английский. И чтобы удостовериться, что меня правильно поняли, я просил переводить свои ответы с русского обратно на английский. Я оказался прав. Ответы, которые записали, совсем не соответствовали тому, что я сказал в действительности. Здесь не было злого умысла, и дело даже не в трудности перевода с одного языка на другой. К языковым проблемам это не имело прямого отношения. Это был перевод с одного образа мышления на другой. Наши собеседники были приятные и честные люди, но мы не могли найти с ними общего языка. Это интервью стало последним, больше я на них не соглашался. И когда в Москве меня попросили дать интервью, я предложил, чтобы вопросы представили мне в письменном виде, чтобы я смог их обдумать, ответить на них по-английски, а затем проверить перевод. А поскольку это сделано не было, интервью у меня больше не брали.

Где бы мы ни были, вопросы, которые нам задавали, имели много общего, и мы постепенно поняли, что все эти вопросы исходят из одного-единственного источника. Украинская интеллигенция брала свои вопросы, как политические, так и литературные, из статей газеты «Правда». И скоро мы уже могли предвосхищать вопросы до того, как их нам зададут, потому что почти наизусть знали статьи, на которых эти вопросы основывались.

Существовал один литературный вопрос, который задавался нам неизменно. Мы даже знали, когда ждать его, потому что в это время глаза нашего собеседника суживались, он немного подавался вперед и пристально нас изучал. Мы знали, что нас спросят, как нам понравилась пьеса Симонова «Русский вопрос».

В настоящее время Симонов, по всей вероятности, самый известный писатель в Советском Союзе. Недавно он на короткое время приезжал в Америку и, возвратившись в Россию, написал эту пьесу. Сейчас это, пожалуй, самая исполняемая пьеса. Премьеры шли одновременно в трехстах театрах Советского Союза. В пьесе господина Симонова речь идет об американском журнализме, и мне необходимо кратко изложить ее содержание. Действие происходит частично в Нью-Йорке, частично в месте, которое напоминает Лонг Айленд. В Нью-Йорке действие разворачивается в зале, похожем на ресторан Блика, около здания «Геральд Трибюн». Пьеса вкратце вот о чем.

Один американский корреспондент, много лет назад съездивший в Россию и написавший о ней доброжелательную книгу, работает на газетного воротилу, капиталиста, тяжелого, жестокого, властного газетного магната, беспринципного и бездуховного человека. Магнат, чтобы победить на выборах, хочет напечатать в своей газете, что русские собираются напасть на Америку. Он дает корреспонденту задание поехать в Россию и по возвращении в Америку написать о том, что русские хотят войны

с американцами. Шеф предлагает ему огромную сумму, — тридцать тысяч долларов, чтобы быть точным, и полную обеспеченность на будущее, если корреспондент исполнит указание. Корреспондент, который к тому же разорен, хочет жениться на девушке и купить маленький загородный домик на Лонг Айленде. Он соглашается на условия хозяина. Он едет в Россию и видит, что русские не хотят воевать с американцами. Он возвращается и тайно пишет свою книгу — совершенно противоположное тому, что хотел хозяин.

Тем временем корреспондент покупает на аванс загородный домик на Лонг Айленде, женится и уже рассчитывает на спокойную жизнь. Когда выходит его книга, магнат не только пускает ее под нож, но и делает невозможным для корреспондента напечатать ее в любом другом месте. Власть газетного магната такова, что журналист даже не может найти работу, не может напечатать свою книгу и будущие статьи. Он теряет дом за городом, жена, которая хочет жить обеспеченно, уходит от него. В это время по непонятным причинам в авиакатастрофе гибнет его лучший друг. И наш журналист остается один, разоренный и несчастный, но с чувством, что сказал людям правду, а это лучшее, что можно сделать.

Вот вкратце содержание пьесы «Русский вопрос», о которой нас так часто спрашивали. Обычно мы отвечали так: 1) это не *самая* хорошая пьеса, на каком бы языке она ни шла; 2) герои не говорят, как американцы, и насколько мы знаем, не ведут себя, как американцы; 3) пусть в Америке и есть некоторые плохие издатели, но у них и в помине нет той огромной власти, как это представлено в пьесе; 4) ни один книгоиздатель в Америке не подчиняется чьим бы то ни было наказам, доказательством чего является тот факт, что книги самого г-на Симонова печатаются в Америке; и последнее, нам бы очень хотелось, чтобы об американском журнализме была написана хорошая пьеса, а эта, к сожалению, таковой не является. Эта пьеса не только не способствует лучшему пониманию Америки и американцев, но и, по всей вероятности, будет иметь противоположный эффект.

Нам так часто задавали вопросы об этой пьесе, что мы решили набросать сюжет своей пьесы, которую назвали «Американский вопрос», и стали зачитывать его тем, кто задавал нам такие вопросы. В нашей пьесе господин Симонов едет от газеты «Правда» в Америку, чтобы написать ряд статей, показывающих, что Америка представляет собой пример загнивающей западной демократии. Господин Симонов приезжает в Америку и видит, что американская демократия не только не вырождается, но и не является западной, если только не смотреть на нее из Москвы. Симонов возвращается в Россию и тайно пишет о том, что Америка — не загнивающая демократия. Он передает свою рукопись в «Правду». Его моментально выводят из Союза писателей. Он теряет свой загородный дом. Его жена, честная коммунистка, бросает его, а он умирает от голода так же, как этим кончает и американец в пьесе Симонова.

Под конец чтения нашей маленькой пьесы раздавались смешки. Мы обычно говорили:

— Если вы находите это смешным, то это не смешнее, чем пьеса Симонова «Русский вопрос» об Америке. Обе пьесы по одинаковым причинам одинаково плохи.

Один или два раза наша пьеса разжигала бурные споры, но в большинстве случаев вызывала лишь смех, и тема разговора менялась...

Время нашего пребывания в Киеве подходило к концу, и мы готовились к отлету в Москву. Люди, с которыми мы здесь встретились, были очень гостеприимными, добрыми и великодушными и очень нам понравились. Это были умные, энергичные, веселые люди с чувством юмора. На месте руин они с упорством возводили новые дома, новые заводы, строили новую технику и новую жизнь. И неустанно повторяли:

— Приезжайте к нам через пару лет, и вы увидите, чего мы добьемся.

Глава 6

Вернувшись в Москву, мы вдоволь наговорились на нашем родном языке и пообщались с нашими соотечественниками: хоть украинцы относились к нам с добротой и великодушием, мы были для них иностранцами. Нам было приятно разговаривать с людьми, которые знали, кто такой Супермен и Луи Армстронг. Нас пригласили в милый дом Эда Гилмора, и мы послушали его записи в ритме свинга. Ему посылает эти записи кларнетист Пи Ви Рассел. Эд говорит, что не знает, как пережил бы зиму без новых популярных пластинок от Пи Ви.

У Суит Джо Ньюмена были знакомые русские девушки, и мы поехали на танцы в ночные московские бары. Суит-Джо замечательно танцует, а Капа прыгает длинными заячьими прыжками — это смешно, но довольно опасно.

Сотрудники посольства были очень добры к нам. Военный атташе генерал Макон снабдил нас маленькими баллончиками с ДДТ, которые предназначались для защиты от мух. Они особенно пригодились, когда мы уехали из Москвы, поскольку в разрушенных районах мухи действительно доставляют много неприятностей. А в одном или двух местах наших ночевок нам причиняли хлопоты и другие маленькие непрошеные гости. Некоторые сотрудники посольства долгое время не были дома и интересовались всякими мелочами, например, результатами встреч по бейсболу, прогнозами футбольного сезона и выборами в разных частях страны.

В воскресенье мы пошли посмотреть на военные трофеи, выставленные на набережной реки около парка Горького. Здесь были немецкие самолеты всех видов, немецкие танки, немецкие пушки, пулеметы, тягачи, противотанковые пушки и другие виды немецкого оружия, захваченного Советской Армией. Около экспонатов проходили военные с женами и детьми и профессионально все объясняли. Дети с удивлением смотрели на технику, которую помогли захватить их отцы.

На реке проходило соревнование лодок — маленьких скутеров с подвесным мотором, и мы заметили, что многие моторы были марки «Эвинруд», а также других американских марок. Соревнования проходили между клубами и группами рабочих. Некоторыми лодками управляли девушки. Мы болели за одну особенно красивую блондинку, просто потому что она была красивой, но она не выиграла. Во всяком случае, девушки были более сильными и способными гонщиками, чем мужчины. Они рискованно разворачивались и отважно управляли лодками. С нами была Сунт-Лана, на ней был костюм синего цвета, шляпка с маленькой вуалью, а на лацкане пиджака — серебряная звездочка.

Потом мы пошли на Красную площадь, где стояла очередь длиной по меньшей мере в четверть мили — эти люди хотели посетить Мавзолей Ленина. Перед входом в Мавзолей, как восковые фигуры, стояли два молодых солдата. Мы даже не заметили, как они моргают. Весь день и почти ежедневно толпа людей медленно проходит через Мавзолей, чтобы посмотреть на мертвое лицо Ленина через стеклянную крышку гроба; идут тысячи людей, они проходят мимо прозрачного гроба, мгновение смотря на выпуклый лоб, острый нос и бородку Ленина. Это похоже на религиозный обряд, хотя они это религией не назвали бы.

С другой стороны Красной площади находится круглое мраморное возвышение, где по приказу царей обычно казнили людей, а теперь на нем установлены гигантские букеты бумажных цветов и красные флаги.

Мы приехали в Москву только лишь для того, чтобы попасть отсюда в Сталинград. Капа договорился насчет проявки пленок. Конечно, он бы предпочел привезти их в Америку непроявленными, потому что оборудование там лучше. Но в нем вдруг заговорило шестое чувство, и в конце концов его интуиция очень нам помогла.

Мы, как обычно, уехали из Москвы не при лучших обстоятельствах, поскольку накануне опять устроили вечеринку, которая продолжалась допоздна, и мы совсем мало спали. И вновь мы сели в зале V.I.P.[1] под портретом Сталина и полтора часа пили чай, прежде чем наш самолет был готов к отлету. Самолет был таким же, как и те, в которых мы уже летали. Вентиляция на самолете не работала. Багаж разложили в проходе, и мы взлетели.

Злой гном господина Хмарского во время этой поездки проявил большую активность. Почти все, о чем Хмарский договаривался или планиро-

[1] V.I.P. — сокращение от: very important person (англ.) — очень важное лицо (имеется в виду депутатский зал).

вал, не получалось. В Сталинграде не было ни отделения, ни филиала ВОКСа, следовательно, когда мы прилетели на маленький, продуваемый ветром аэродром, нас никто не встретил, и г-ну Хмарскому пришлось звонить в Сталинград, чтобы прислали машину. Тем временем мы вышли из аэропорта и увидели, как женщины продают арбузы и дыни очень хорошего качества. И в течение полутора часов на наши рубашки капал арбузный сок, пока, наконец, не пришла машина...

Дорога в Сталинград была самой трудной из всех, что мы видели. От аэропорта до города было довольно далеко, и если бы мы поехали по целине, это было бы сравнительно легче и нас бы не так трясло. Эта так называемая дорога была не что иное, как чередование выбоин и широких и глубоких луж. Она не была вымощена, и недавние дожди превратили часть дороги в запруды. В открытой степи, которая простиралась вдаль насколько можно было окинуть взглядом, паслись стада коз и коров. Параллельно дороге шли железнодорожные пути, рядом с которыми лежали сожженные товарные вагоны и платформы, обстрелянные и уничтоженные во время войны. Вся земля на мили вокруг Сталинграда была завалена тем, что осталось от военных действий: сожженные танки, заржавленные части рельсовых путей, боевых машин пехоты, сломанных орудий. Группы по сбору военных трофеев работали на этих участках, выбирая из-под обломков части, которые можно было бы переплавить и использовать на тракторном заводе в Сталинграде.

Нам приходилось держаться обеими руками, пока наш автобус кидало из стороны в сторону и когда он подпрыгивал на ухабах.

Казалось, что конца этой дороге через степь не будет, но вот с небольшого пригорка мы увидели внизу Сталинград и Волгу.

По окраинам города строились сотни маленьких новых домов, но как только мы въехали в сам город, то не увидели почти ничего, кроме разрушений. Сталинград — город, вытянувшийся по берегу Волги почти на 20 километров и максимальной шириной всего в 2 километра. Нам и раньше приходилось видеть разрушенные города, но большинство из них было разбомблено. Это был совсем другой случай. В разбомбленном городе некоторые стены все-таки остаются целыми; а этот город был уничтожен ракетным и артиллерийским огнем. Сражение за него длилось месяцами: он несколько раз переходил из рук в руки, и стен здесь почти не осталось. А те, что остались стоять, были исколоты, изрешечены пулеметным огнем. Мы читали, конечно, о невероятной битве под Сталинградом, и когда смотрели на этот разрушенный город, нам в голову пришла мысль: если город подвергается нападению и разрушаются его дома, именно эти руины и служат хорошим укрытием для защищающей город армии, — превращаются в бункера, щели и гнезда, из которых практически невозможно выбить решившие стоять до конца войска. Здесь, в этих страшных руинах, и произошел один из основных поворотных пунктов войны. Это случилось, когда после месяцев осады, атак и контратак немцы в конце концов были окружены и захвачены; и даже самым невежественным из них чутье подсказывало, что война проиграна.

На центральной площади лежали развалины того, что раньше было большим универмагом — последний опорный пункт немцев после окружения. Фон Паулюса захватили именно на этом месте, здесь же и завершилась осада.

На другой стороне улицы находилась отремонтированная гостиница «Интурист», в которой мы должны были остановиться. Нам дали две большие комнаты. Из наших окон были видны груды обломков, битого кирпича, бетона, измельченной штукатурки; среди руин росли странные темные сорняки, которые обычно появляются в разрушенных местах. За то время, пока мы были в Сталинграде, мы все больше и больше поражались, какое огромное пространство занимают эти руины, и самое удивительное, что эти руины были обитаемыми. Под обломками находились подвалы и щели, в которых жило множество людей. Сталинград был большим городом с жилыми домами и квартирами, сейчас же ничего этого не стало, за исключением новых домов на окраинах, а ведь население города должно где-то жить. И люди живут в подвалах домов, в которых раньше были их квартиры. Мы могли увидеть из окон нашей комнаты, как из-за большой груды обломков появлялась девушка, поправляя прическу. Опрятно и чисто одетая, она пробиралась через сорняки, направляясь на работу.

Мы не могли себе представить, как им это удавалось. Как они, живя под землей, умели сохранять чистоту, гордость и женственность. Женщины выходили из своих укрытий и шли на рынок. На голове белая косынка, в руке — корзинка для продуктов. Все это было странной и героической пародией на современную жизнь.

Но мы столкнулись, однако, с одним ужасным исключением. Прямо перед гостиницей, на месте, куда непосредственно выходили наши окна, была небольшая помойка, куда выбрасывали корки от дынь, кости, картофельные очистки и другой подобный мусор. Чуть дальше за этой помойкой был небольшой холмик, похожий на вход в норку суслика. Каждое раннее утро из этой норы выползала девочка. У нее были длинные босые ноги, тонкие и жилистые руки, а волосы были спутанными и грязными. Она казалась черной от скопившейся за несколько лет грязи. Но когда она поднимала лицо, это было самое красивое лицо, которое мы когда-либо видели. У нее были глаза хитрые, как у лисы, но какие-то нечеловеческие. У нее было лицо вполне нормального человека. В кошмаре сражающегося города что-то произошло, и она нашла покой в забытьи. Она сидела на корточках и подъедала арбузные корки, обсасывала кости из чужих супов. Обычно она проводила на помойке часа два, прежде чем ей удавалось наесться. А затем она шла в сорняки, ложилась и засыпала на солнце. У нее было удивительно красивое лицо, а двигалась она на длинных ногах с грацией дикого животного. Обитатели близлежащих подвалов редко разговаривали с ней. Но однажды утром я увидел, как из другой норы вышла какая-то женщина и дала девочке полбуханки хлеба. Та схватила его почти рыча и прижала к груди. Она глядела на женщину, которая дала ей хлеб, глазами полубезумной собаки и следила за ней с подозрением, пока женщина не ушла к себе в подвал, а потом отвернулась, спрятала лицо в ломте черного хлеба и как зверь смотрела поверх этого куска, водя глазами туда-сюда. А когда она вгрызлась в хлеб, один конец ее рваного и грязного платка соскользнул с молодой немытой груди, и она совершенно автоматически прикрыла грудь, поправив платок и пригладив его удивительно женственным жестом.

Мы думали, сколько же еще таких созданий, которые не смогли больше выдержать жизнь в двадцатом веке, которые удалились не в потусторонний мир, и вернулись не в горы, а в глубь человеческого прошлого, в старинные дебри наслаждения, боли и самосохранения. У нее было лицо, о котором долго еще будешь вспоминать.

Ближе к вечеру к нам зашел полковник Денченко и спросил, не хотели бы мы посмотреть на район, где шла битва за Сталинград. Полковнику было около пятидесяти, это был человек приятной наружности с бритой головой. На нем была белая гимнастерка и ремень, на груди — много орденов. Он повозил нас по городу и показал, где удерживала позиции двадцать первая армия, где шестьдесят вторая армия прикрывала ее. Он привез с собой карты военных действий. Он показал нам точное место, где немцы были остановлены, черту, за которую они не могли уже продвинуться. Именно на этой черте стоит дом Павлова, который превратился в национальную святыню, и останется, вероятно, историческим местом и в будущем.

Дом Павлова был жилым домом, а сам Павлов был сержантом. Павлов с девятью другими людьми держали этот дом пятьдесят два дня, несмотря на все попытки немцев захватить его. Немцам так и не удалось взять ни дом Павлова, ни самого Павлова. Это была самая дальняя точка, до которой завоеватели смогли продвинуться.

Полковник Денченко привез нас к реке и показал, где под крутыми берегами стояли русские и откуда их не могли выбить немцы. Здесь повсюду лежали ржавые груды оружия.

Сам полковник из Киева, и у него светло-голубые глаза, как у большинства украинцев. Ему было пятьдесят, а его сына убили под Ленинградом.

Он показал нам холм, откуда начался «великий немецкий бросок», возвышенность, где шли боевые действия и где развернулись танки. У подножия холма в несколько рядов были расположены артиллерийские

позиции. Киногруппа документалистов из Москвы снимала фильм об истории Сталинградской битвы, пока город заново не отстроили. А у реки стояла на якоре баржа. Московская киногруппа, которая приехала на съемки, жила на барже.

Но вот гном Хмарского опять стал действовать. Мы сказали, что хотели бы сфотографировать, как работает эта съемочная группа.

Хмарский сказал:

— Очень хорошо, сегодня вечером я позвоню и выясню, сможем ли мы получить разрешение на съемку.

Итак, мы поехали в гостиницу и как только вернулись, услышали артиллерийские залпы. Утром, когда он позвонил, стрельба уже закончилась, и мы ее, конечно, пропустили. День за днем мы пытались фотографировать, как снимают фильм про Сталинградскую битву, и каждый день нам это не удавалось по той или иной причине. Злой гном Хмарского все время нам мешал.

Как-то мы пошли через площадь в маленький парк у реки, и здесь, у огромного каменного обелиска росло множество красных цветов, а под цветами были похоронены многие из тех, кто защищал Сталинград. В парке было совсем мало народа, одна женщина сидела на скамейке, и маленький мальчишка пяти-шести лет стоял у ограды обелиска и смотрел на цветы. Он стоял так долго, что мы попросили Хмарского поговорить с ним.

Хмарский обратился к нему по-русски:

— Что ты здесь делаешь?

И парнишка, безо всякой сентиментальности и совершенно спокойно сказал:

— Я пришел к папе. Я хожу к нему в гости каждый вечер.

Здесь не было ни пафоса, ни сентиментальности. Это была просто констатация факта; а женщина на скамейке взглянула на нас, кивнула и улыбнулась. И скоро женщина с мальчиком пошли через парк обратно в разрушенный город...

Мы хотели увидеть и сфотографировать знаменитый Сталинградский тракторный завод. Именно на этом заводе рабочие продолжали собирать танки под немецким обстрелом. А когда немцы подошли слишком близко, люди отложили свои инструменты и пошли защищать завод, а потом снова принялись за работу. Г-н Хмарский, мужественно сражавшийся со своими злыми гномами, сказал, что попытается организовать посещение этого завода. А утром нам с достаточной уверенностью было сказано, что мы сможем побывать на заводе.

Завод расположен на окраине города, и мы еще издалека увидели заводские трубы. Земля вокруг завода искорежена и истерзана, а половина его зданий лежала в руинах. Мы подъехали к воротам, оттуда вышли двое охранников, посмотрели на фотооборудование, которое осталось у Капы в автобусе, вернулись, позвонили куда-то по телефону, и через секунду вышли еще охранники. Они посмотрели на наши камеры и стали звонить опять. Решение их было бесповоротным. Нам не разрешили даже вынести камеры из автобуса. У ворот к нам присоединился директор завода, главный инженер и полдюжины других официальных лиц. И поскольку мы согласились с их решением, встретили нас исключительно дружелюбно. Мы могли все видеть, но нам нельзя было ничего фотографировать. Было очень обидно, потому что в каком-то смысле этот тракторный завод был таким же положительным явлением, как и маленькие украинские фермы. Здесь, на заводе, который обороняли его рабочие и где эти же рабочие собирали тракторы, ощущался дух русской обороны. И почему-то здесь, где дух проявился с такой силой и убедительностью, мы обнаружили, как страшатся они фотоаппарата.

Завод за большими воротами был примечательным местом: пока одна группа рабочих трудилась здесь на сборочной линии, в кузнечном цеху и на прессах, другие в это время восстанавливали заводские цеха, большинство из которых стояли без крыш, а некоторые были полностью разрушены. И восстановление завода шло одновременно с выпуском тракторов. Мы видели печи, где в переплавку шли останки немецких танков и орудий. И мы видели металл на прокатном стане. Мы наблюдали за отливкой, штамповкой, шлифовкой и отделкой деталей. И вот наконец с линии съезжали новые тракторы, — покрашенные и отполированные, они собирались на стоянке в ожидании вагонов, которые отвезут их на поля. А среди полуразрушенных зданий работали строители, слесари, каменщики и стекольщики, которые восстанавливали завод. Времени ждать, пока завод будет полностью восстановлен, не было.

Мы не поняли, почему нам запретили здесь фотографировать, потому что во время осмотра мы убедились, что практически все оборудование было сделано в Америке и что сборочная линия, метод сборки были разработаны американскими инженерами и техниками. И если рассуждать разумно, можно предположить, что если у американцев в отношении этого завода существовал какой-то злой умысел, скажем, бомбовый удар, то информацию о заводе можно было получить у американских специалистов, которые хорошо разбираются в технике и наверняка все помнят. И все-таки фотографировать этот завод было запрещено. На самом деле нам и не нужны были фотографии самого завода. Мы хотели снять работающих мужчин и женщин. Большую часть работы на заводе выполняют женщины. Но в этом запрете лазейки не было. Мы не могли сделать ни единой фотографии. Страх перед фотокамерой слепой и глубокий...

Когда Капа не может фотографировать, он в трауре, а здесь он стал особенно горевать, поскольку везде его глаза видели контрасты, интересные точки для съемки и сцены с подтекстом. Он сказал мне с горечью:

— Двумя фотографиями я бы выразил больше, чем можно вложить в тысячи и тысячи слов...

Нас пригласили к архитектору, который возглавлял работы по строительству нового Сталинграда. Было внесено предложение перенести город вниз или вверх по реке, не пытаясь даже восстановить его, поскольку расчистка территории потребовала бы огромного труда. Дешевле и легче было бы начать с нуля. Но против этого высказывалось два аргумента: во-первых, большая часть канализационной системы и проложенные под землей электрические кабели остались нетронутыми; во-вторых, существовало твердое мнение, что восстановить Сталинград надо на старом месте по причинам чисто сентиментальным. И это, скорее всего, и явилось основной причиной. Поэтому большой объем работы по расчистке города не шел в сравнение с этим чувством.

Существовало уже пять архитектурных планов восстановления города, но макета еще не было, потому что ни один план пока не утвердили. Все эти планы имели две общие черты: в центре Сталинграда предполагалось разместить в основном общественные здания, своей грандиозностью напоминающие киевские застройки — гигантские монументы, тяжелые мраморные набережные со ступенями, ведущими к самой Волге, парки и колоннады, пирамиды, обелиски и огромные статуи Сталина и Ленина. Все это было отражено в картинах, проектах и чертежах. Это снова напомнило нам, что американцев и русских объединяют две вещи: любовь к машинам и гигантомания. Поэтому русских в Америке восхищают в особенности две вещи — завод Форда и Эмпайр Стейт Билдинг...

Пока мы сидели у архитектора, в кабинет вошел служащий и спросил, не хотим ли мы посмотреть на подарки, которые прислали в Сталинград со всего мира. И мы, хотя и были уже сыты музеями по горло, решили, что на сей раз нам необходимо на это взглянуть. Мы вернулись в гостиницу, чтобы немножко отдохнуть, но как только добрались до своего номера, в дверь постучали. Мы открыли дверь, и в комнату вошла целая вереница мужчин, которые держали какие-то коробки, чемоданы, портфели. Это были подарки сталинградцам. Здесь был красный бархатный щит, украшенный филигранным золотым кружевом — подарок от короля Эфиопии. Здесь был пергаментный свиток с высокопарными словами от правительства Соединенных Штатов, подписанный Франклином Д. Рузвельтом. Нам показали металлическую тарелку от Шарля де Голля и меч, присланный английским королем городу Сталинграду. Здесь была скатерть, на которой вышиты имена тысячи пятисот женщин одного маленького британского города. Нам принесли все эти вещи в комнату, потому что в Сталинграде еще нет музея. Нам пришлось просмотреть гигантские папки, где на всевозможнейших языках были написаны приветствия гражданам Сталинграда от разных правительств, премьер-министров и президентов.

Нас вдруг охватило чувство печали, когда мы увидели все эти подношения от глав правительств, копию средневекового меча, копию старинного щита, несколько фраз, написанных на пергаменте, и множество напыщенных слов, и когда нас попросили записать что-то в книгу отзывов, нам просто нечего было сказать. В книге было много выражений, таких, как «всемирные герои» и «защитники цивилизации». Слова и подарки походили на гигантские, мускулистые, уродливые и идиотские скульптуры, которые обычно создавались, чтобы отметить какое-то скромное событие. А в эту минуту нам вспоминались только закрытые железными масками лица мужчин, стоящих у печей на тракторном заводе, девушки, выходящие из подземных нор и поправляющие волосы, да маленький мальчик, который каждый вечер приходит навестить своего отца на братскую могилу. И это были не пустые и аллегоричные фигуры. Это были маленькие люди, на которых напали и которые смогли себя защитить.

Средневековый меч и золотой щит казались абсурдными и подчеркивали некоторую скудность воображения тех, кто их подарил. Мир наградил Сталинград фальшивой медалью в то время, как город нуждался, скажем, всего лишь в полдюжине бульдозеров.

Нам показали новые и восстановленные жилые дома для рабочих сталинградских заводов. Нас интересовало, сколько они получают, сколько должны платить за квартиру и еду.

Квартиры маленькие и довольно удобные. Кухня, одна-две спальни и гостиная. Чернорабочие, то есть неквалифицированные рабочие, получают теперь пятьсот рублей в месяц. Рабочие средней квалификации — тысячу рублей в месяц, а квалифицированные рабочие — две тысячи рублей. Но квартплата по всему Советскому Союзу, если вам, конечно, вообще удастся получить квартиру, неправдоподобно мала. За такие квартиры, включая стоимость газа, электричества и воды, платят двадцать рублей в месяц, что составляет один процент дохода квалифицированного рабочего и два процента от дохода рабочего средней квалификации. Еда в магазинах стоит очень дешево. На простую еду, которая входит в обыкновенный рацион человека, то есть хлеб, капусту, мясо и рыбу, уходит совсем немного денег. Но деликатесы, консервы и импортные продукты обходятся очень дорого, а такие вещи, как шоколад, практически недоступны никому. И здесь опять появляется русская надежда, что, когда продуктов будет больше, цены понизятся. И когда предметов роскоши будет больше, их можно будет свободно купить. Например, когда наладится производство новой маленькой русской машины, напоминающей немецкий «Фольксваген», она будет стоить около десяти тысяч рублей. Цена меняться не будет, и машины станут продаваться по мере их изготовления. Если учесть, что корова сейчас стоит от семи до девяти тысяч рублей, то идея сравнительных цен становится вполне понятной.

В Сталинграде было много немецких пленных, и, как и в Киеве, люди не смотрели на них. Пленные были одеты в уже довольно потрепанную военную форму. Колонны военнопленных, охраняемые обычно одним солдатом, устало тащились по улицам с работы и на работу...

На следующий день нам предстояло лететь в Москву, и ночью Капа совсем не спал. Он переживал и беспокоился из-за того, что ему не удалось сфотографировать, что хотелось. А все хорошие фотографии, которые он сделал, стали казаться ему никчемными и отвратительными. Определенно Капа был недоволен. И поскольку нам обоим не спалось, мы написали сюжеты для двух кинокартин.

Утром мы сели в наш автобус модели «Форд» и очень рано отправились в аэропорт. Злой гном поработал и здесь, — из-за какой-то ошибки на этот рейс нам не заказали билеты. Правда, мы могли бы лететь более поздним рейсом из Астрахани.

Самолет из Астрахани не появлялся. Мы пили чай, грызли большие сухари и чувствовали себя ужасно в этом жарком аэропорту. В три часа дня кто-то сказал, что самолета не будет, а если и будет, то не полетит в Москву, поскольку до наступления темноты туда не доберется. Мы влезли в свой автобус и поехали обратно в Сталинград...

Наутро мы выехали очень рано, потому что нам надо было еще кое-что сфотографировать на окраинах Сталинграда, снять людей, которые из досок и глины строят себе маленькие домики, посмотреть и сфотографировать новые школы и детские сады. Мы остановились около крошечного домика, который строил себе заводской бухгалтер. Он сам поднимал наверх бревна, сам замешивал раствор, а около него в саду играли двое его детей. Это был покладистый человек. Пока мы его снимали, он продолжал строить дом. А потом он принес нам свой альбом с фотографиями, чтобы показать, что он не всегда так жил, что когда-то у него в Сталинграде была квартира. Его альбом был такой же, как и все альбомы в мире. Он был сфотографирован совсем ребенком, юношей, в военной форме, когда был призван в армию, и после демобилизации. Были фотографии его свадьбы, его жены в длинном белом свадебном платье, как они потом отдыхали и плавали в Черном море и снимки детей по мере того, как они росли. В альбом попали и почтовые открытки, которые ему прислали. Это была целая история его жизни и всего хорошего, что с ним происходило. Все остальное он потерял во время войны.

Мы спросили:

— А как же так случилось, что у вас сохранился фотоальбом?

Он закрыл обложку, погладил рукой летопись всей своей жизни и сказал:

— Мы очень берегли его. Это самая ценная вещь.

Мы сели в автобус и опять поехали на Сталинградский аэродром. Дорога стала нам уже очень знакомой. В аэропорту пассажиры, которые собрались лететь в Москву, помимо своего основного багажа, имели авоськи с двумя-тремя арбузами, потому что арбузы в Москве довольно трудно купить, а в Сталинграде они очень хорошие. Мы последовали их примеру — купили авоську и по два арбуза, чтобы угостить наших ребят в гостинице «Метрополь».

Начальник аэропорта очень долго извинялся перед нами за вчерашнюю ошибку. На этот раз он хотел нас осчастливить. Он следил, чтобы нас поили чаем и даже немножко приврал, чтобы сделать нам приятное, — сказал, что мы полетим на самолете, где будем единственными пассажирами, и что этот самолет скоро прилетит с Черного моря. Произошла цепная реакция — мы набрасывались на Хмарского, а Хмарский — на начальника порта. Все были на грани срыва, и в воздухе витала несправедливость. В аэропорту было душно, а со стороны степи дул жаркий, насыщенный пылью ветер. Это плохо действовало на людей, они нервничали, и мы были так же злы, как и все остальные.

Наконец прилетел наш самолет, и сиденья на нем были ковшеобразными. Мы не были единственными пассажирами, — самолет был переполнен. Здесь были в основном грузины, которые летели в Москву на празднование восьмисотлетия основания города. Они разложили свои пожитки в центре салона и заняли почти все места. Что касается еды, то в этом отношении они очень хорошо подготовились. Их сумки были заполнены продуктами.

Как только мы зашли в салон и двери закрыли, стало нечем дышать, потому что в самолете этой модели не было никакой теплоизоляции, и солнце, разогревая металлический корпус, раскаляло и воздух внутри самолета. Запах был ужасный — пахло людьми, усталыми людьми. Наши железные кресла были так же удобны для сиденья, как подносы в кафетерии.

Наконец самолет взлетел, и как только это произошло, мужчина рядом со мной открыл свою сумку, отрезал полфунта уже начавшей таять копченой свинины и стал жевать ее, не замечая, как по подбородку течет жир. Он был славным человеком с веселыми глазами и даже предложил мне кусочек, но в тот момент мне почему-то не захотелось есть.

Самолет раскалился, но как только мы набрали высоту, все изменилось. Только что самолет был в испарине — и вот на нем уже корка льда. Мы начали потихоньку замерзать. Этот полет обратно в Москву был ужасен, потому что одеты мы были очень легко, а несчастные грузины и вовсе сидели, прижавшись друг к другу, — ведь они жили в тропиках, где редко бывают морозы.

Хмарский съежился в уголочке. Нам казалось, он начал ненавидеть нас и мечтает только о том, чтобы добраться до Москвы и избавиться от нас. Замерзая, мы летели четыре жутких часа, пока, наконец, не приземлились в Москве...

Глава 7

Где бы мы ни были — в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде, магическое слово «Грузия» возникало постоянно. Люди, которые ни разу там не были и которые, возможно, и не смогли бы туда поехать, говорили о Грузии с восхищением и страстным желанием туда попасть. Они говорили о грузинах как о суперменах, как о знаменитых выпивохах, известных танцорах, прекрасных музыкантах, работниках и любовниках. И говорили они об этом месте на Кавказе у Черного моря просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеются, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию — с прекрасным климатом, богатой землей и маленьким собственным океанчиком. Заслуги перед государством иногда награждаются поездкой в Грузию. Сюда едут, чтобы восстановить силы после долгой болезни. И даже во время войны это было благословенным местом, — сюда не добрались немцы, не долетели их самолеты, не дошли их войска. Это был один из районов, совсем не тронутых войной.

Как всегда, рано утром, мы поехали в Московский аэропорт и просидели полтора часа в депутатской комнате, попивая чай под портретом Сталина. И как обычно, накануне отъезда у нас была вечеринка и мы практически не спали. Мы сели в самолет и спали, пока не приземлились в Ростове. Летное поле и аэродром были сильно разбиты, и теперь их восстанавливали военнопленные. Вдали был виден разрушенный город, принявший на себя во время войны такой удар.

А потом мы очень долго летели над бескрайней равниной, пока, наконец, не увидели горы. Это были великолепные горы. Мы набрали высоту и полетели над Кавказом. Мы видели пики гор и острые гребни, а между ними — реки и древние деревни. Некоторые вершины гор оставались снежными даже летом. Мы так уже насмотрелись на совершенно плоские долины, что снова взглянуть на горы было приятно.

Мы поднялись еще выше и вдали увидели Черное море. А потом самолет снизился и полетел над берегом. Земля была очень красивой. К самому морю спускались холмы, на которых росли прекрасные деревья — кипарисы, все было закрыто зеленью. Среди холмов виднелись деревни, большие дома и санатории. Это место можно было принять за Калифорнию, с той лишь разницей, что Черное море не такое бурное и неспокойное, как Тихий океан, а берег не такой каменистый. Море очень синее, очень ласковое, а пляжи очень белые.

Наш самолет долгое время летел вдоль берега. В конце концов он приземлился в Сухуми, на длинной полосе подстриженной травы у самого моря. Трава была ярко-зеленой. Вокруг аэропорта росли эвкалипты, — первые, которые мы увидели в России. Архитектура была восточной, и повсюду — цветы и цветущие деревья. Перед маленьким аэропортом в ряд сидели женщины и продавали фрукты: виноград, дыни, инжир, прекрасного цвета персики и арбузы. Мы купили виноград, персики и инжир. Пассажиры самолета набросились на фрукты, потому что прилетели они с Севера, где фруктов было недостаточно. Они переели, и позже многим стало нехорошо из-за того, что их желудки и организмы просто не были привычными к фруктам — вот к чему могло привести злоупотребление.

Мы должны были лететь в Тифлис через двадцать минут, но экипаж самолета решил иначе. Летчики взяли машину и поехали купаться в море; они отсутствовали два часа, пока мы бродили по садам аэропорта. Мы бы тоже с удовольствием искупались, но не могли этого сделать, потому что не знали, что самолет через двадцать минут не полетит. Воздух был теплым, влажным и солоноватым, а растительность густой, зеленой и пышной. Это был настоящий тропический сад.

Грузины совершенно не похожи на русских. Они смуглы, очень напоминают цыган, со сверкающими зубами, с длинными крупными носами и черными курчавыми волосами. Почти все мужчины усаты и внешне даже красивей женщин. Они худощавы и энергичны, у них черные горящие глаза. Мы читали, и нам говорили, что грузины — древний семитский народ, предки которых жили в долине Евфрата во времена, когда Вавилон еще не был городом; что они потомки шумеров и одно из древнейших ныне существующих племен в мире. Они пылкие, гордые, горячие и веселые, и все другие народы России восхищаются ими. Они всегда говорят о своей силе, жизнеспособности и мужских талантах — они прекрасные наездники и хорошие бойцы. И еще: грузинские мужчины пользуются большим успехом у русских женщин.

Это поэтический, музыкальный и танцующий народ и, по традиционному мнению, пылкие любовники. Без сомнения, они живут на земле благословенной природы, за которую они, совершенно очевидно, вынуждены были сражаться на протяжении двух тысячелетий.

Около двух часов дня возвратился экипаж самолета. Их волосы не обсохли после купания в Черном море. Как бы мы хотели искупаться с ними, смыть с себя пот! Было очень жарко, и многие пассажиры уже почувствовали последствия переедания фруктами. Некоторым детям было плохо.

Мы стартовали снова и полетели низко над морем, а потом стали набирать высоту и полетели над горами, такими же мрачными коричневыми горами, как в Калифорнии. Глубоко в ущельях видны были небольшие горные речки, а на их зеленых берегах можно было различить селения. Горы казались здесь суровыми и угрожающими, они ослепляюще отражали свет. Затем мы миновали перевал, горные вершины оказались почти рядом с нами, вышли, наконец, в долину Тифлиса.

Это огромная и сухая долина и похожа на Нью-Мехико. Когда мы приземлились, воздух был жарким и сухим, ведь мы находились уже далеко от моря, но жара была приятной, во всяком случае, никакого дискомфорта мы не почувствовали. Эта огромная плоская равнина, окруженная громадными горами, казалось, была попросту изолирована от влажного воздуха.

Мы совершили посадку на большом аэродроме. Здесь стояло много самолетов — в основном русские истребители. Как только два приземлились, два других самолета взмыли в воздух. Скорее всего, они патрулировали расположенную недалеко отсюда турецкую границу.

К западу на высоком горном гребне выступала древняя мощная крепость, чернея на фоне неба зубчатыми башнями.

Хмарский снова был с нами. Мы заключили перемирие: стали лучше к нему относиться, и он стал к нам добрее, чем в Сталинграде. Он тоже никогда не бывал в Грузии.

На аэродроме нас встретили представители тифлисского отделения ВОКСа, они приехали на отличной большой машине и вообще оказались очень приятными людьми. Мы поехали по плоской сухой долине по направлению к горному перевалу. В районе этого перевала и находится Тифлис, красивый город, на протяжении многих столетий расположенный на главном торговом пути с юга на север. На скалах по обе стороны дороги то и дело попадаются древние укрепления, и даже над самим городом на скале возвышается крепость. На другой стороне равнины также стоит крепость, ведь через этот узкий перевал в горах проходили персы и иракцы с юга, татары и другие захватчики с севера.

В этом узком месте часто возникали бои, поэтому и были построены защитные сооружения.

Часть города очень старая, и через ущелье течет река с крутым скалистым берегом по одну сторону. На высоких скалах теснятся древние дома. Это и на самом деле древний город, потому что если Москва в этом году отмечает свое восьмисотлетие, то Тифлису в следующем году исполнится тысяча пятьсот лет. Но это новая столица, а старая находится в тридцати километрах вниз по реке.

Улицы Тифлиса широкие и тенистые, и многие здания очень современны. Со всех сторон вверх на холм ведут улицы. А на вершине холма, к западу, расположены парк, игровые площадки и фуникулер, ведущий на самый верх холма. Гигантский парк с большим рестораном, из которого на много миль вдаль просматривается долина. А в центре города, на скале, стоит полуразвалившаяся и мрачная крепость с огромными круглыми башнями и высокими зубчатыми стенами.

В самом городе и на скалах находится много старинных церквей, ведь христианство пришло к грузинам еще в четвертом веке, и многие ныне действующие церкви были построены еще в те времена. Это город древних легенд и древних призраков. Существует предание о том, как

мусульманский царь Ирана приказал своим воинам загнать захваченных жителей Тифлиса на мост через реку, поставил там икону Богоматери и сказал, что отпустит только тех, кто плюнет на икону. А тем, кто откажется, отрубят голову. Согласно преданию, тысячи голов полетели в реку в тот день.

Жители Тифлиса лучше одеваются, лучше выглядят и кажутся более одухотворенными, чем люди, которых мы видели в России. Улицы кажутся веселыми и яркими. Люди красиво одеты, а женщины покрывают головы цветными платками.

Это невероятно чистый город. Первый чистый восточный город, который я видел. В реке, пересекающей центр города, купаются сотни мальчишек. Здесь нет следов разрушения, видны лишь только те, что произвело время...

Мы не чувствовали себя чужими в Тифлисе, поскольку Тифлис принимает многих посетителей и привык к иностранцам, поэтому здесь мы выделялись не так, как в Киеве, и чувствовали себя почти как дома. В Тифлисе много церквей, и это был, да остается и сейчас, город, где уживаются разные религии — здесь есть древние синагоги, и мусульманские мечети, и ничто из этого никогда не было разрушено.

Высоко на холме, над городом, стоит церковь Давида, простая и красивая, построенная, если мне не изменяет память, в седьмом веке. Шофер подвез нас на своем джипе насколько можно ближе к ней, а остальной путь мы карабкались в гору. Люди гуськом поднимались по извилистой тропинке, которая вела к церкви, многие шли молиться.

Грузинский народ очень почитает древнюю церковь, в церковном дворике похоронены великие грузинские писатели и композиторы. Здесь, под совсем простым камнем, покоится мать Сталина. Старик и три пожилые женщины сидели у надгробия одного композитора и пели древние литании, — тихую таинственную музыку.

В церкви шла служба, тоже сопровождаемая пением. Люди вереницей поднимались вверх, и, входя с тропинки в церковный дворик, каждый становился на колени и целовал угол церкви.

Это было уединенное и умиротворенное место, а далеко внизу виднелся город под черепичными крышами. Мы могли разглядеть ботанический сад, заложенный еще царицей Тамарой, легендарной царицей, жившей в двенадцатом веке, благодаря которой город был овеян героической славой. Царица Тамара была прекрасна, добра и сильна. Она умела управлять государством и строить. Она строила крепости, покровительствовала поэтам и способствовала объединению музыкантов — одна из таких сказочных королев мира, как Елизавета, Екатерина Арагонская или Элеонора Аквитанская.

Когда мы спустились от церкви Давида, гулко зазвонили соборные колокола, и мы вошли внутрь. Это была восточная богатая церковь с сильно почерневшими от ладана и времени росписями. Здесь толпился народ. Службу вел седовласый старик в золотом венце, он был так красив, что казался нереальным. Этот старый человек называется Католикосом, он глава грузинской церкви, и одеяние его пышно заткано золотом. Служба шла величественно, а звучание большого хора было несравненным. Дым от ладана поднимался к высокому потолку церкви, и сквозь него пробивалось солнце, подсвечивая купол.

Капа без конца снимал. Любопытно было наблюдать, как он бесшумно двигался и незаметно фотографировал. Потом он забрался на хоры и снимал уже оттуда.

Сейчас я не стану рассказывать обо всех музеях, которые мы посещали, а посещали мы их везде. Как сказал Капа, музей — это церковь современной России, и отказаться осмотреть музей по идее то же самое, что и отказаться сходить в церковь. Все музеи более или менее похожи друг на друга. В одном разделе музея рассказывалось о прошлом России до революции, от самого начала истории до 1917 года, а по меньшей мере половина музея посвящена послереволюционной России, со всеми ее достижениями, знатными людьми, гигантскими картинами и революционными сценами.

В Тифлисе два музея. Один — музей города, расположенный на хребте, в котором находятся прекрасные макеты древних домов и планы старого города. Но интересней всего в музее оказался его хранитель, человек, который должен бы быть актером — он кричал, принимал разные позы, произносил речи, был очень театрален, и рыдал, и в голос смеялся. Когда он кричал, ему очень удавался широкий взмах правой рукой назад, а кричал он, конечно же, на грузинском языке, о славе древнего города. Он говорил так быстро, что перевести его было невозможно, да это и в любом случае было немыслимо, потому что Хмарский не знал грузинского. Из музея мы вышли оглушенные, но счастливые.

У дороги, ведущей к этому музею, возвышается, вероятно, одна из самых больших и эффектных статуй Сталина в Советском Союзе. Это гигантская фигура высотой, наверное, в несколько сот футов, и ее контуры повторяются в неоне. И хотя эта система сейчас сломана, говорят, что когда она работала, портрет был виден за двадцать восемь миль.

Нам так много всего нужно было посмотреть, и оставалось так мало времени, чтобы все увидеть, что нам казалось, будто мы куда-то все время спешим.

Днем мы пошли на футбольный матч между командами Тифлиса и Киева. Это был прекрасный, быстрый и яростный футбол на огромном стадионе. Зрителей было по меньше мере тысяч сорок, и толпа реагировала очень эмоционально, потому что игры между клубами пользуются громадной популярностью. Хотя игра была жесткой и быстрой, а соперничество — яростным, ни стычек, ни драк не возникло. За весь матч произошел лишь один маленький спор. Матч завершился со счетом два-два, и как только игра окончилась, выпустили двух голубей. В Грузии, в старые времена, после любых состязаний, даже после драк, в случае победы выпускался белый голубь, в случае поражения — черный. Эти голуби несли весть в другие города Грузии. А в этот день, поскольку сыграли вничью, выпустили и черного, и белого голубя, и они полетели прочь от стадиона.

Футбол — самый популярный вид спорта в Советском Союзе, и футбольные встречи между клубами вызывают больше волнений и эмоций, чем любое другое спортивное событие. Во время нашего пребывания в России по-настоящему жаркие споры разгорались только в одном случае — когда дело касалось футбола.

Мы объездили тифлисские универмаги: в них было полно народа. С товарами на полках было относительно нормально, но цены, в особенности на одежду, были очень высоки: хлопчатобумажные рубашки — шестьдесят пять рублей; резиновые галоши — триста рублей, портативная пишущая машинка — три тысячи рублей.

Целый день мы бродили по городу. Любовались фонтанами, в которых можно было купаться, парками. В рабочем парке мы видели очаровательную детскую железную дорогу. Это был настоящий маленький поезд, повторяющий все детали, а машинист, стрелочник, начальник станции, кочегар — все были дети. Каждый получил свою должность, пройдя по конкурсу, и они управляли поездом, катая и детей, и взрослых. Мы поехали на нем вместе с детской делегацией из Узбекистана, приехавшей на каникулы. Маленький мальчик — машинист был очень горд. На станции было все необходимое для железной дороги, только меньшего размера. А дети очень серьезно относились к своим обязанностям...

В Тифлисе стояли прекрасные летние ночи: воздух мягкий, легкий и сухой. Молодые люди и девушки бродили по улицам, наслаждаясь погодой. И костюмы на молодых людях были вполне приличными: кители, иногда из тяжелого белого шелка, подпоясанные ремнем, узкие длинные брюки и мягкие черные ботинки. Грузинские мужчины очень красивое племя.

С высоких балконов старых домов слышалось в ночи тихое пение, странная музыка под аккомпанемент какого-то щипкового инструмента, который походил на мандолину, и иногда флейты, звучащей в темноте улицы...

Глава 8

Тифлисский союз писателей пригласил нас на небольшой прием. Надо сознаться, мы были немного напуганы, потому что подобные собрания обычно превращаются в нечто крайне литературное, а мы люди не совсем

того круга. Кроме того, мы знали, что грузины очень серьезно относятся к своей литературе: их поэзия и музыка значительно обогатили мировую культуру, и притом поэзия их очень древняя. Стихи читают все, а не только отдельные люди. В местах захоронения на холме мы видели, что их поэты погребены наравне с царями, но во многих случаях поэта помнят, а царя забывают. А один древний поэт, Руставели, написавший великую эпическую поэму под названием «Витязь в тигровой шкуре», почитается в Грузии как национальный герой, и его стихи читают и знают наизусть даже дети, а изображения его можно видеть повсюду.

Мы боялись, что встреча с писателями будет для нас довольно утомительной, но все же пошли. Нас принимали человек двадцать мужчин и три женщины. Мы сели на стулья, расставленные по кругу, и стали смотреть друг на друга. Сначала была приветственная речь в нашу честь, а потом, безо всякого перехода, говоривший сказал:

— А теперь господин Такой-то кратко расскажет вам о грузинской литературе.

Сидевший справа от меня человек достал стопку страниц, и я увидел, что текст отпечатан на машинке через один интервал. Он стал читать, а я ждал перевода. После того, как он прочитал абзац, я вдруг понял, что он говорит по-английски. Мне было очень интересно, потому что я понимал одно слово из десяти. У него было любопытное произношение, — хотя слова были совершенно английскими, но в его исполнении они звучали совсем не по-английски. Так он прочитал двадцать машинописных страниц.

Позже я взял рукопись и сам ее просмотрел, это было четкое, компактное изложение истории грузинской литературы с самых ранних времен до нашего времени.

Поскольку большинство людей в комнате по-английски не говорили совсем, они сидели и благостно улыбались, ведь им казалось, что их коллега читал на превосходном английском. Когда он закончил, мужчина, который первым произносил речь, спросил:

— Есть ли у вас теперь вопросы?

И поскольку я очень мало понял из того, что говорилось, мне пришлось признать, что никаких вопросов я не имею.

В комнате было довольно жарко, а у нас с Капой болели животы, поэтому мы чувствовали себя не в своей тарелке.

Вот поднялась женщина, которая тоже держала пачку бумаг и сказала:

— А сейчас я прочитаю вам переводы на английский язык некоторых грузинских стихов.

У нее был хороший английский, но поскольку у меня болел живот, я запротестовал. Я сказал ей, что, кстати, является правдой, что предпочитаю читать стихи сам, поскольку так лучше их воспринимаю, и стал умолять ее оставить мне стихи, чтобы потом я смог их прочитать и оценить по достоинству. Боюсь, это обидело ее, но надеюсь, что не очень. Это было правдой, и я чувствовал себя ужасно. Она была несколько резковата. Она сказала, что это единственный экземпляр и что она не желает с ним расставаться.

И снова, как и прежде, начались вопросы об американской литературе. И, как обычно, мы чувствовали себя ужасно неподготовленными. Если бы перед отъездом из Америки мы знали заранее, что нам будут задавать такие вопросы, то мы бы немножко подучились. Нас спросили о новых начинающих писателях, и мы пробурчали что-то о Джоне Хёрси и Джоне Хорн Берксе, написавшем «Галерею», о Билле Молдине, который вроде бы вырисовывается как романист. В этих вещах мы были абсолютными профанами — это объяснялось тем, что мы мало что читали из современной художественной литературы. Потом один из мужчин просил нас, кого из грузин знают в Америке. Единственные, кого мы могли вспомнить, кроме хореографа Джорджа Баланчина, были три брата, женившиеся на американках, состояние которых исчисляется миллионами. Фамилия Мдивани, казалось, не вызвала слишком большого энтузиазма среди современных грузинских писателей.

Они очень строги и возвышенны, эти грузинские писатели, и очень трудно сказать им, что хоть Сталин и может считать писателя инженером

человеческих душ, в Америке писатель не считается инженером чего бы то ни было, его вообще еле терпят, и даже после того, как он умирает, работы его тихонечко откладывают, чтобы они полежали еще лет двадцать пять.

Ни в чем другом так не проявляется разница между американцами и советскими людьми, как в их отношении — не только к писателям, но и писателей к своей системе. Ведь в Советском Союзе работа писателя заключается в том, чтобы поддерживать, прославлять, объяснять и способствовать продвижению вперед советской системы. А в Америке и в Англии хороший писатель является сторожевым псом общества. Его задача — высмеивать общественную глупость, вести наступление на несправедливость, клеймить ошибки общества. По этой причине в Америке ни общество, ни правительство не очень-то писателям благоволят. У них совершенно противоположный подход к литературе. Но следует сказать, что во времена великих русских писателей — Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова и раннего Горького — это относилось и к России. И только время способно показать, может ли политика «инженеров человеческих душ» в отношении писателей дать такую же великую литературу, как и политика «сторожевых псов общества». Пока что, надо признать, «инженерная школа» не дала большой литературы.

К тому времени, как закончилась наша встреча с писателями, в комнате было уже очень жарко, и мы пожимали всем руки, вытирая между рукопожатиями ладони о брюки, потому что с нас лил пот.

Один вопрос, который нам задавали и о котором мы хотели поразмыслить позже: «Любят ли американцы поэзию?»

Нам пришлось ответить, что единственным показателем отношения американцев к тому или иному виду литературы служит то, как расходятся книги. И что характерно, поэзию не очень раскупают. Поэтому мы должны были ответить, что, по всей вероятности, американцы не любят поэзию.

Тогда нас спросили:

— Это потому, что американские поэты далеки от народа?

Но это тоже неверно, поскольку американские поэты так же близки к народу, как и американские романисты. Уолт Уитмен и Карл Сендберг совсем недалеки от народа, просто народ не очень читает стихи. И мы не думаем, что имеет большое значение, любят американцы поэзию или нет. Но для грузин, чья любовь к поэзии традиционна, отсутствие ее является почти преступлением...

В Америке есть не одна сотня домов, где ночевал Джордж Вашингтон, а в России много мест, где работал Иосиф Сталин. На стене железнодорожных мастерских в Тифлисе висит украшенная цветами гигантская мемориальная доска, на которой написано, что здесь когда-то работал Иосиф Сталин. Сталин — грузин по рождению, и Гори, место, где он родился, в семидесяти километрах от Тифлиса, уже стало национальной святыней. Мы собрались туда.

Езда в джипе всегда создает ощущение большей скорости, чем на самом деле, но путь все равно показался довольно долгим. И снова мы проехали через продуваемый ветром перевал, через другие перевалы, и вот наконец прибыли в город Гори. Город расположен в горах. Над ним возвышается так называемая Столовая гора, высокая, уединенная, округлая гора в центре города, и наверху — большая крепость, которая однажды защитила город и стала укрытием для его жителей. Крепость сейчас в руинах. Это город, где Сталин родился и провел ранние годы.

Место, где родился Сталин, оставлено так, как и выглядело раньше, только закрыто огромным шатром для защиты от непогоды. Верх этого шатра сделан из цветного стекла. Сталин родился в крошечном одноэтажном домике, построенном из оштукатуренных камней, с двумя комнатами и верандой по всему фасаду. И все же семья Сталина была так бедна, что все теснились в половине дома, в одной комнате. Через дверь протянут шнур, но каждый может заглянуть внутрь, увидеть кровать, небольшой платяной шкаф, маленький стол, самовар, кривую лампу. В этой комнате семья жила, готовила еду и спала. Шатер из цветного стекла опирается на квадратные золотистые мраморные колонны. Все это сооружение находится в большом розовом цветнике. За цветником расположен музей

Сталина, где представлено все, что только можно было найти из предметов, связанных с его детством и юностью, — ранние фотографии, картины обо всем, что он делал, полицейские фотографии, сделанные, когда он был арестован. В то время он был очень красивым парнем с дикими горящими глазами. На стене — огромная карта, где отмечены его перемещения, тюрьмы, где он был заключен, и места его ссылки в Сибири. Здесь же его книги, бумаги и передовые статьи, которые он писал для маленьких газет. Его жизнь была последовательной — с самого начала он повел линию, которую продолжает по сей день.

Во всей истории нет человека, кого бы так почитали при его жизни. В этом отношении можно разве что вспомнить Августа Цезаря, но мы сомневаемся, имел ли Август Цезарь при жизни такой престиж, поклонение и богоподобную власть над народом, какой обладает Сталин. То, что говорит Сталин, является для народа истиной, даже если это противоречит естественным законам. Его родина уже превратилась в место паломничества. Люди, посещавшие музей, пока мы там были, переговаривались шепотом и ходили на цыпочках. В тот день ответственной по музею была очень хорошенькая молодая девушка, и после прочитанной лекции она пошла в сад, срезала розы и преподнесла каждому из нас по бутону. Все тщательно спрятали цветы, чтобы сберечь их как сокровище в память о святом месте. Нет, во всей истории мы не знаем ничего, что можно было бы с этим сравнить.

Если Сталин при жизни обладает такой властью, то чем он станет, когда умрет? Во многих речах, которые нам пришлось выслушать в России, ораторы вдруг приводили цитату из Сталина в качестве окончательного доказательства справедливости своей мысли — точь-в-точь, как средневековые схоласты, когда ухватывались за цитату из Аристотеля. В России слово Сталина — истина в последней инстанции, и что бы он ни сказал — никто не возразит. И это непреложный факт, чем бы ни пытались это объяснить — пропагандой, воспитанием, постоянным напоминанием, повсюду присутствующей иконографией. Ощутить это в полной мере можно, когда услышишь, как слышали мы много раз:

— Сталин никогда не ошибался. За всю свою жизнь он не ошибся ни разу.

И человек, который говорит такое, преподносит это не как аргумент, — это неопровержимо, он говорит это, как абсолютную истину вне всяких аргументов.

Мы опять сели в джип, и наш кавалерист повез нас в одну из соседних долин, поскольку мы хотели увидеть знаменитые грузинские виноградники. Мы поехали в узкую долину, и снова по всем склонам стояли крепости, часто встречались маленькие фермы. Виноградники карабкались вверх по горам. Виноград уже начинал поспевать. Здесь были также и сады, в которых росли апельсиновые деревья, яблони, сливы и черешни. Дорога была узкой, каменистой, а местами пересекалась водными потоками. Наш водитель кричал от радости, ему все это очень нравилось. Он наехал с головокружительной скоростью по узким дорогам, и все время наблюдал за нами, чтобы понять, страшно нам или нет — а нам-таки было страшно. Нам приходилось держаться обеими руками, чтобы не вылететь из джипа. Шофер форсировал речушки на такой скорости, что вода каскадом окружала всю машину и забрызгивала нас. Мы ехали вверх через небольшие обработанные долины, разделяемые горными перевалами. На каждом перевале стояли укрепления, где в старые времена крестьяне спасались от нападения.

Наконец мы остановились у скопления домов в горном винограднике, где заранее решили пообедать. Около сотни людей, одетые в лучшие наряды, спокойно стояли, чего-то ожидая. Довольно скоро четверо мужчин вошли в один из домов и вынесли гроб. Вся группа двинулась вверх по склону, по петляющей тропе, неся мертвеца к месту его последнего успокоения высоко на горе. Мы долго еще видели их, — они становились все меньше и меньше, идя по зигзагообразной тропинке к горному кладбищу.

Мы пошли в виноградник и съели чудовищно огромный обед, который захватили с собой, — икру и колбасу, жареное седло барашка, свежие помидоры, вино и черный хлеб. Мы сорвали виноград, который уже годился для еды, и напихались им до отвала. И все это, между прочим, не облегчило состояние наших ослабших желудков. Маленькая долина буйно зеленела, а воздух был восхитительно теплым. Повсюду приятно пахло зеленью. Вскоре мы сели в джип и опять покатили со сногсшибательной скоростью вниз в Гори.

Если в какой-нибудь город Америки приезжает посетитель, то ему показывают Торговую палату, аэродром, новое здание суда, бассейн и арсенал. А приехавшего в Россию везут в музей и парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха есть в любом городе, и мы уже привыкли к ним — скамейки, длинные цветочные клумбы, статуи Сталина и Ленина, каменные скульптурные группы в память о боях, которые происходили в городе во времена революции. Отказ посмотреть местный парк культуры и отдыха будет считаться такой же бестактностью, как если бы отказаться посмотреть на районы новой застройки в американском городке. Несмотря на то, что мы устали после жуткой тряски в джипе и обгорели на солнце оттого, что у нас не было с собой шляп, нам все же пришлось идти в парк культуры и отдыха города Гори.

Мы топали по посыпанным гравием дорожкам, разглядывали цветы и вдруг услышали занятную музыку, которая доносилась из глубины парка. Было похоже, что играют на волынке и ударных. Мы пошли на звук и увидели троих мужчин — двое играли на флейтах, один — на маленьком барабане. И вскоре мы поняли, почему музыка напоминала игру на волынке — флейтисты надували щеки, и когда они переводили дыхание, из-за того, что щеки были надуты, флейта звучала без перерыва. Музыка была первобытной и дикой. Два флейтиста и барабанщик стояли у входа за высоким дощатым забором, и на деревьях вокруг забора гроздьями висели дети и смотрели за ограждение.

Мы были довольны, что оказались в парке, потому что в этот день проходил финал национальных состязаний по грузинской борьбе. Соревнования шли уже три дня, и сегодня должны были определиться чемпионы республики.

Круглый дощатый забор огораживал нечто вроде арены с сиденьями вокруг. Сам борцовский круг был около тридцати пяти футов в диаметре, засыпанный толстым слоем опилок. С одной стороны находился стол судей, а за ним — маленькая раздевалка для участников.

К нам очень гостеприимно отнеслись: освободили место на скамейке и проход, так, чтобы Капа имел возможность фотографировать.

Два флейтиста и барабанщик уселись в первом ряду, затем были вызваны участники. Они были босиком и одеты в странный костюм — короткая холщовая куртка без рукавов, холщовые ремни, короткие трусы. Никакой обуви на них не было.

Каждая пара борцов подходила к судейскому столу, где отмечалась. Потом они занимали свои места по разные стороны круга. Музыканты начали свою дикую мелодию сильным барабанным боем. Соперники подошли друг к другу и сцепились.

Это любопытная борьба. Ее ближайший родственник, как мне кажется, джиу-джитсу. Захваты не допускаются — только за куртку и ремень. Когда соперники схватываются — дело за подножками, переносом веса, чтобы лишить соперника равновесия, бросить на землю и положить на лопатки. Музыка играла на протяжении всей схватки и смолкла только, когда один борец проиграл.

Поединки были недолгими, обычно хватало всего минуты, чтобы один из борцов оказался на земле. Через мгновение к судейскому столу подходила и отмечалась другая пара. Этот спорт требует невероятной скорости, силы и техники. И действительно, некоторые броски были такими яростными и быстрыми, что в итоге человек пролетал по воздуху и приземлялся на спину.

По мере того, как соревнования шли и выбывало все больше и больше участников, публика возбуждалась все сильнее. Но нам пора было уходить. Нужно было успеть на вечерний поезд к Черному морю, а перед этим мы были приглашены на открытие тифлисской оперы. Кроме того, у нашего джипа порвалось сиденье, что создавало трудности в пути, а нам предстояло проехать еще семьдесят километров, прежде чем вообще попытаться послушать оперу. Не ладилось и с подачей горючего, и на обрат-

ном пути мы плелись, то и дело останавливаясь, чтобы продуть бензопровод.

К тому времени, как мы добрались до Тифлиса, мы безумно устали, устали настолько, что отказались идти на открытие оперы. Моей поврежденной коленке здорово досталось в бешеном джипе. Я вообще еле передвигался. Я мечтал часик полежать в горячей воде, чтобы немного размягчить сустав.

На станции, куда мы в конце концов приехали, было душно и полно народу. Мы пошли вдоль длинного переполненного поезда и подошли наконец к нашему вагону, wagon-lit[1] первого класса 1912 года выпуска — счастливые воспоминания. Зеленый бархат сидений был именно такой, как нам помнилось. Мы сразу же узнали и отполированное и промасленное темное дерево, блестящий металл и затхлый запах. Интересно было, где он находился все эти годы. Бельгийцы, выпускавшие эти вагоны так много лет назад, делали их на века. Сорок лет назад это был лучший железнодорожный вагон в мире, он и сейчас удобен, и сейчас в хорошем состоянии. Темное дерево с каждым годом становится все темнее, а зеленый бархат — зеленее. Наследие великолепных и величественных времен.

В поезде было очень жарко, и мы открыли окно нашего купе. Сразу же пришел проводник и, хмуро поглядывая на нас, закрыл окно. Как только он ушел, мы снова открыли окно, но он явно предчувствовал, что мы взбунтуемся. Он тут же вернулся, закрыл окно и хорошенько отчитал нас по-русски, грозя пальцем. Он так из-за окна сердился, что больше мы не осмелились его открыть, хоть и задыхались от духоты. Нам перевели, что проводник предупредил: ночью мы будем проезжать через множество туннелей. Если окно открыто, то паровозный дым попадает в вагон и пачкает зеленую обивку. Мы стали умолять проводника оставить окно открытым, стали говорить, что сами поможем отчистить обивку, но он еще строже погрозил нам пальцем и прочитал еще одну лекцию. Уж если в России правило установлено, то никаких исключений из него нет.

Это напомнило нам историю, которую мы услышали от одного американского военного в Москве. Он рассказал, что во время войны, когда американский самолет, на котором он летел, приземлился в Москве, к нему приставили часового с приказом никого не пускать внутрь. Когда пришло время новым пассажирам сесть в самолет, часовой их не пропустил. Наш человек сказал, что его чуть не пристрелили за попытку пройти, несмотря на его пропуска и удостоверения. В конце концов часового сменили, но приказ остался в силе. Офицер объяснил, что приказ дан и что легче поменять часового, чем приказ. Часовой номер два имел приказ: «Пустить людей в самолет», в то время как часовой номер один имел приказ «Никого не пускать в самолет». Два приказа или замена приказа могут вызвать путаницу. Проще поменять часовых. И еще, вероятно, это лучше для дисциплины. Человек, исполняющий один приказ, делает это четче, чем тот, кто должен выбирать одно решение из двух.

Не было никакого сомнения в том, что проводник и не собирается разрешить нам открыть окно. Пусть мы задохнемся, это дела не меняет. Мы не знали, какое наказание полагается за открытое окно купе во время поездки, но по серьезности, с которой проводник к этому относился, мы решили, что могут дать по меньшей мере лет десять лишения свободы.

Наконец поезд тронулся, и мы стали устраиваться на ночь в нашей пропахшей потом коробке. Но едва поезд отправился, как сразу остановился. Всю ночь он останавливался через каждые две мили. В конце концов мы заснули, обливаясь потом, и нам приснилось, будто нас завалило в угольной шахте.

Мы проснулись очень рано и обнаружили, что находимся в совершенно другой стране, видим абсолютно другие пейзажи. Мы приехали в тропики, где лес тянется прямо к рельсам, где растут бананы, где воздух влажен. Вокруг Тифлиса земля и воздух были сухими.

Маленькие домики недалеко от железной дороги утопали в цветах, а листва была очень густой. На склонах цвели гибискусы, а повсюду виднелись цитрусовые деревья. Это богатейший и очень красивый край. На маленьких полях вдоль путей кукуруза стоит такая же высокая, как в

[1] Wagon-lit — спальный вагон (франц.).

Канзасе, — в некоторых местах вдвое больше человеческого роста, есть также бахчи, где растут дыни. Ранним утром люди выходили на крылечки своих просторных и открытых домов и смотрели на проходящий поезд. Женщины были одеты в яркие платья, как всегда одеваются люди, живущие в тропиках. На них были красные, синие и желтые платки, юбки из яркой узорчатой ткани. Мы проезжали через леса бамбука и гигантских папоротников и через поля высокого табака. Дома стояли на сваях, с крутыми лестницами, ведущими на первый этаж. А под домами в утреннем свете играли дети и собаки.

На холмах густо росли огромные деревья и буйная зелень все закрывала.

Потом мы въехали в район чайных плантаций, чай, по-видимому, самая красивая культура в мире. Низкие кусты рядами простирались на мили вдаль, взбираясь на кромку холмов. Даже в этот ранний час женщины собирали молодые листочки с верхушек чайных кустов, и их пальцы мелькали среди зелени, как маленькие птички.

Мы проснулись очень голодными, что не предвещало ничего хорошего. В поезде было нечего есть. И в самом деле, за все время нашего пребывания в России мы не смогли купить никакой пищи в общественном транспорте. Или вы берете провизию с собой, или едете голодным. Этим объясняется и количество узлов, которые путешественники везут с собой: одна десятая — это одежда и багаж, а девять десятых — еда. Мы снова попытались открыть окно, но впереди были туннели, и нам опять запретили его открывать. Вдалеке намного ниже нас виднелась морская голубизна.

Поезд спустился к берегу Черного моря и шел параллельно ему. Все побережье — гигантский летний курорт. Любой клочок земли занят под большой санаторий или гостиницу, и даже с утра пляжи заполнены купальщиками, ведь это место, куда приезжают отдыхать почти со всего Советского Союза.

Теперь наш поезд, казалось, останавливался через каждые несколько футов. И на всех остановках с поезда сходили люди, которые приехали отдыхать в один из санаториев. Это отдых, к которому стремятся почти все русские рабочие. Это вознаграждение за долгий тяжелый труд; здесь восстанавливается здоровье раненых и больных. Глядя на пейзаж, на спокойное море и теплый воздух, мы поняли, почему люди по всей России все время повторяли нам:

— Подождите, вот увидите Грузию!..

Батуми — очень приятный тропический город, город пляжей и гостиниц и важный порт на Черном море. Это город парков и затененных деревьями улиц — ветер с моря не дает им накалиться.

Местная гостиница «Интурист» была самой роскошной из тех, что мы видели в Советском Союзе. Комнаты были очень приятные, недавно отремонтированные, и в каждом номере был балкон с раздвижными дверями. После ночи, проведенной в вагоне — музейном экспонате, мы мечтательно посмотрели на кровати, но они оказались недоступны нам. Мы едва успели помыться. У нас не хватало времени, а нам предстояло очень много посмотреть.

Днем мы посетили некоторые дома отдыха. Это огромные дворцы среди великолепных садов, и почти все они выходят на море. В подобной ситуации очень опасно быть экспертами. Почти каждый, кто хоть когда-то путешествовал по России, стал экспертом, и почти каждый специалист не согласен с другим специалистом. Нам надо быть очень осторожными в том, что мы говорим об этих домах отдыха. Мы должны повторять только то, что там слышали, и уверены, что даже тогда найдется кто-то, доказывающий обратное.

Первый дом, в котором мы были, выглядел как роскошная гостиница. Вверх с пляжа к нему вела большая лестница, он был окружен высокими деревьями, а огромная веранда выходила прямо на море. Дом принадлежал московскому отделению профсоюза электриков, и все, кто здесь остановился, были электриками. Мы поинтересовались, как они смогли сюда приехать, и нам ответили, что на каждом заводе и в каждом цеху существует комитет, куда входят не только рабочие — представители завода, но и заводской врач. Комитет, рассматривающий кандидатуры тех, кому предстоит отпуск, принимает во внимание многие факторы: и длитель-

ность работы, и физическое состояние, и степень усталости, и, сверх всего прочего то, как человек работал. Если рабочий перенес болезнь и ему требуется долгий отдых, медчасть его заводского комитета направляет его в дом отдыха.

Одна часть этого дома отдыха предназначена для мужчин, другая — для женщин, а третья — для семей, которым на время отпуска предоставляются квартиры. Есть ресторан, игровые и музыкальные комнаты, читальные залы. В одной игровой комнате люди играли в шахматы и шашки; в другой шел быстрый поединок в пинг-понг. Теннисные корты были заполнены игроками и зрителями, а по лестницам шли вереницы людей, возвращавшихся с моря или спускавшихся на пляж. Гостиница имела лодки и рыболовные снасти. Многие просто сидели на стульях и смотрели на море. Здесь были выздоравливающие после болезни и пострадавшие от несчастных случаев на производстве, которых послали поправиться на теплом воздухе Черного моря. В среднем отпуск длится двадцать восемь дней, но в случае болезни пребывание здесь может быть продлено на столько, на сколько посчитает нужным заводской комитет...

Утром шел сильный, но теплый и мягкий дождь. Повернувшись на другой бок, мы заснули опять. Около десяти проглянуло солнце, и за нами пришли — пора ехать на государственную чайную плантацию.

Мы поехали вдоль побережья, потом вверх через расселину в зеленой горе в дальнюю долину, где на мили тянулись темно-зеленые чайные кусты и то здесь, то там виднелись шапки апельсиновых деревьев. Это было очень приятное место и первая государственная ферма, на которой мы побывали.

И опять, мы не можем обобщать, мы рассказываем лишь о том, что видели и что услышали. Государственная ферма управлялась, как американская корпорация. Есть свой управляющий, совет директоров и служащие. Рабочие живут в новых, чистых и приятных жилых домах. У каждой семьи своя квартира, а работающие женщины могут устроить детей в детские ясли. У них такой же статус, как и у людей, работающих на фабриках.

Это была очень большая плантация с собственными школами и собственными оркестрами. Управляющий был деловым человеком, который запросто мог бы руководить филиалом американской компании. Это очень отличалось от колхозов, поскольку в последнем каждый фермер имеет долю с дохода всего коллектива. Здесь же было просто предприятие по выращиванию чая.

Мужчины в основном обрабатывали землю. А чай собирали женщины, потому что их пальцы ловчее. Женщины двигались длинными рядами вдоль борозд; работая, они пели, перекликались и выглядели очень красочно. Капа много раз их сфотографировал. Здесь, как и везде, было много наград за сноровку. Среди работниц была девушка, которая получила медаль как победительница в соревновании по сбору чая, и ее руки летали над чайными кустами с молниеносной быстротой, она собирала свежие зеленые листочки и складывала их в корзину. Темная зелень чайных кустов и цветные женские одежды представляли собой очень красивую картину на склоне холма. У подножия холма стоял грузовик, на котором свежесобранный чай отвозили на фабрику...

Директор фабрики, красивая женщина лет сорока пяти, — выпускница сельскохозяйственной школы. Ее фабрика производит много сортов чая — от лучших, состоящих из маленьких верхних листочков, до плиточного чая, который отправляют в Сибирь. И поскольку чай — самый распространенный напиток среди русских, то чайные плантации и чайные фабрики считаются одной из самых важных отраслей региона.

Когда мы уезжали, директор подарила каждому из нас по большой пачке замечательного продукта фабрики, это был отличный чай. Мы уже давно бросили пить кофе, потому что напиток под названием «кофе» никуда не годился. Мы уже привыкли пить чай, и с этого времени стали сами себе его заваривать на завтрак, и наш был намного лучше того, что мы могли купить...

Пока наша машина мчалась с холмистых склонов вниз к Батуми, снова полил дождь.

Этим вечером мы должны были сесть на поезд, но предполагалось, что до этого мы пойдем в театр. Мы были так измучены едой, вином и впечатлениями, что спектакль не оставил в нас большого следа. Шел «Царь Эдип» на грузинском языке, и мы еле открыли глаза, чтобы разглядеть, что Эдип — красивый мужчина со сверкающим золотым зубом, в ослепительно рыжем парике. Действие происходило на лестнице — вверх и вниз, вверх и вниз. Эдип декламировал текст громко и с выражением. Но к тому времени, как он выколол себе глаза и разорвал на себе окровавленные одежды, наши глаза уже совсем закрылись, но мы с усилием заставили их открыться. Половину всего спектакля зрители смотрели на нас, приезжих американцев. Дело в том, что американцы встречались здесь чуть чаще, чем залетные марсиане, однако мы не могли выглядеть представительно, так как пребывали в полусне. Наш хозяин вывел нас из театра, запихнул сначала в машину, а потом в вагон, мы же все это время вели себя как лунатики. В ту ночь у нас не происходило никаких ссор с проводником по поводу открытых окон. Мы повалились на свои полки и почти мгновенно заснули.

Эти потрясающие грузины нам неровня. Они могли переесть, перепить, перетанцевать и перепеть нас. В них бурлило яростное веселье итальянцев, физическая энергия бургундцев. Все, за что бы они ни брались, они делали с лихостью. Они ничуть не похожи на русских, с которыми мы встречались, и легко понять, почему ими так восхищаются граждане других советских республик. Тропический климат не умаляет их жизнеспособность, а скорей усиливает ее. И ничто не в силах сокрушить их индивидуальность или волю. Многие столетия это пытались сделать завоеватели, царские армии, деспоты или местная знать. Все разбивалось об их волю, и ничто не смогло хоть как-то поколебать ее.

Наш поезд прибыл в Тифлис около одиннадцати часов, и мы спали почти всю дорогу. С трудом одевшись, мы поехали в гостиницу и поспали еще немного. Мы совсем не ели, не выпили даже чашки чая, поскольку до выезда в Москву на следующее утро нам еще кое-что предстояло. Вечером интеллигенция и деятели культуры Тифлиса устраивали прием в нашу честь. И если вам покажется, что мы устанавливали рекорд по обжорству, вы не ошибетесь. Не то что из нашего повествования может создаться впечатление, будто мы постоянно ели, — именно так и было.

Так же как желудок от обилия еды и вин может перестать воспринимать оттенки вкуса блюд и букета вин, так и разум можно затопить впечатлениями, переполнить картинами, но без ощущения цвета и движений. А мы страдали от всего вместе — от переедания, перепивания и избытка увиденного. Говорят, что в незнакомой стране впечатления могут остро и точно восприниматься в течение одного месяца, а после они начинают расплываться и целых пять лет не могут четко выстроиться, поэтому в стране нужно оставаться или месяц, или пять лет.

У нас было чувство, что мы уже остро не воспринимаем окружающее. И в тот вечер мы испытывали некоторый ужас перед ужином с грузинской интеллигенцией. Мы сильно устали и не хотели слушать речи, в особенности интеллектуальные. Нам не хотелось думать об искусстве, политике, экономике, международных отношениях, и самое главное, мы не хотели есть и пить. Нам хотелось лечь в кровать и проспать до отлета самолета. Но грузины были очень добры к нам и так приветливы, что мы знали, что необходимо пойти на прием. Это была единственная официальная просьба, с которой они к нам обратились. И нам следовало бы больше довериться грузинам и их национальному духу, потому что ужин отнюдь не превратился в то, чего мы так боялись.

Наша одежда была в ужасном состоянии. Мы не смогли взять с собой много вещей, это просто невозможно, когда летишь самолетом, и наши брюки не гладились с тех пор, как мы пересекли границу Советского Союза. На пиджаках оставались следы пищи. Рубашки были чистыми, но плохо отутюженными. Мы представляли собой далеко не лучшие образцы элегантной Америки. Но Капа вымыл голову, и этого должно было хватить на нас обоих. Мы счистили с пиджаков, что смогли, надели чистые рубашки и были готовы.

Нас подняли на фуникулере в большой ресторан, находящийся на вершине горы, откуда открывался вид на всю долину. Когда мы поднялись туда, уже наступил вечер, и город под нами сверкал огнями. На фоне черных кавказских вершин отливало золотом вечернее небо.

Это был большой прием. Казалось, что стол был длиной в целую милю. Его накрыли на восемьдесят человек,— здесь были и грузинские танцоры, и певцы, и композиторы, и кинорежиссеры, и поэты, и писатели. Стол был уставлен цветами, красиво накрыт, а улицы сверкали внизу под утесом, как бриллиантовые. Сюда пригласили много красивых певиц и танцовщиц.

Ужин начался, как и все подобные приемы, с официальных речей, но грузинская натура, грузинский дух не могли такого стерпеть, и все это моментально разрушилось. Просто народ этот не формальный, и у них не получается долго держаться напыщенно. Началось пение, пели соло и хором. Стали танцевать. Разливали вино. Капа не совсем грациозно станцевал своего любимого «казачка», но замечательно уже то, что он вообще смог это сделать. Может, сон дал нам второе дыхание, может, немного помогло вино, и прием продлился далеко за полночь. Я помню, как грузинский композитор поднял бокал, засмеялся и сказал:

— К черту политику!

Я помню, как пытался станцевать грузинский танец с красивой женщиной, которая оказалась величайшей грузинской танцовщицей. И, наконец, я помню хоровое пение на улице и то, как милиционер подошел узнать, что поют, и присоединился к хору. Даже Хмарский немного повеселел. Он был таким же чужаком в Грузии, как и мы. Рухнули языковые барьеры, разрушились национальные границы, и отпала всякая надобность в переводчиках.

Мы замечательно провели время, и прием, на который мы шли со страхом и неохотой, оказался превосходным.

На рассвете мы притащились в гостиницу. Ложиться спать не было смысла, потому что самолет должен был отправиться через несколько часов. Мы еле уложили чемоданы, и каким-то образом ехали до аэропорта, но как именно—не узнаем никогда.

Мы добирались до аэропорта, как обычно, в темноте, до восхода солнца. За нами в большой машине приехали хозяева, чтобы проводить нас. Они выглядели не очень свежими, да и мы себя чувствовали не лучшим образом. Прием, длившийся всю ночь, напоследок не прибавил нам энергии. Мы приехали в аэропорт на рассвете с багажом, камерами, пленками и пошли, как всегда, в ресторан выпить чаю и съесть печенья...

В самолете было душно, потому что вентиляция не работала, и к тому же стоял одуряющий запах розового масла. Самолет тяжело поднялся в воздух и стал быстро набирать высоту, чтобы перелететь через Кавказ. На горных хребтах мы видели древние крепости.

Грузия — это волшебный край, и в тот момент, когда вы покинули его, он становится похожим на сон. И люди здесь волшебные. На самом деле, это одно из богатейших и красивейших мест на земле, и эти люди его достойны. Теперь мы прекрасно поняли, почему русские повторяли:

— Пока вы не видели Грузию, вы не видели ничего.

Мы полетели над Черным морем и снова приземлились в Сухуми, но теперь наш экипаж плавать не пошел. Женщины, стоящие рядком и продающие фрукты, были и на этот раз, и мы купили большую коробку персиков, чтобы отвезти их в Москву корреспондентам. Мы специально выбрали твердые, чтобы все они сразу не созрели. Печально лишь то, что они не созрели вовсе. Так и сгнили в том состоянии, в каком мы их купили.

Мы пролетели над цепью Кавказских гор и полетели над бескрайними равнинами. Мы не приземлились в Ростове, а полетели прямо по направлению к Москве. В Москве было уже холодно, потому что зима приближалась очень быстро.

Г-н Хмарский был очень нервным человеком. На этот раз мы его почти что доконали. Даже злой гений Хмарского притомился. В аэропорте все прошло без затруднений. Нас встретили. Машина ждала, и мы добрались до Москвы без всяких проблем. Мы были счастливы увидеть в «Савое» нашу комнату с сумасшедшей обезьяной, безумными козлами и пронзенной рыбой. Крейзи Элла подмигнула и кивнула нам, когда мы поднимались по лестнице к себе в номер, а медвежье чучело встало навытяжку и отдало честь.

Капа залез в ванну со старым английским финансовым докладом, а я заснул, пока он был еще там. Насколько я понимаю, в ванной он провел всю ночь.

Глава 9

Москва пребывала в состоянии лихорадочной деятельности. Многочисленные бригады развешивали на зданиях гигантские плакаты и портреты национальных героев—целыми гектарами. По мостам протянули гирлянды электрических лампочек. Кремлевские стены, башни и даже зубцы стен тоже были украшены лампочками. Каждое общественное здание подсвечивалось прожекторами. На площадях были сооружены танцевальные площадки, а кое-где стояли маленькие киоски, похожие на сказочные русские домики, в которых собирались продавать сладости, мороженое и сувениры. К этому событию выпустили небольшой значок на колодке, и все носили его.

Почти ежечасно прибывали делегации из разных стран. Автобусы и поезда были перегружены народом. Дороги были заполнены ехавшими в город людьми, которые везли не только вещи, но и еду на несколько дней. Они так часто голодали, что старались не рисковать, когда куда-нибудь ехали, и каждый вез несколько буханок хлеба. Кумач, флаги и бумажные цветы украшали дома. На здании каждого Наркомата висели свои панно. Управление метрополитена выставило огромную карту московского метро, а внизу маленький метропоезд ездил взад-вперед. Это собирало толпы, и люди допоздна глазели на него. В город въезжали вагоны и грузовики, нагруженные продовольствием: капустой, дынями, помидорами, огурцами — подарками колхозов городу к восьмисотлетию.

На каждом прохожем была какая-нибудь медаль, лента или орден, напоминающие о войне. В городе кипела деятельность.

Я поехал в бюро «Геральд трибюн» и нашел записку от Суит Джо Ньюмена. Он задержался в Стокгольме и просил меня написать для «Геральд трибюн» статью о праздновании, поскольку он к этому времени приехать не успеет.

Капа безостановочно возился со снимками, критикуя и собственную работу, и качество проявки — абсолютно все. К этому времени у него собралось уже огромное количество негативов, и он часами стоял у окна, просматривая негативы на свет и ужасно ругаясь. Все было неправильно, все было не так.

Мы позвонили в ВОКС г-ну Караганову и попросили его точно узнать, что нам надо сделать, чтобы вывезти пленки из России. Мы думали, что, вероятно, существует какая-то цензура, и хотели узнать заранее, что необходимо будет предъявить. Он уверил нас, что сразу же все выяснит и даст нам знать.

Вечером накануне празднования нас пригласили в Большой театр, но не сказали, что там будет. По какой-то счастливой случайности мы пойти не смогли. Позже узнали, что в течение шести часов были сплошные речи, и никто не мог уйти, потому что в ложе сидели члены правительства. Это одна из самых счастливых случайностей, которая с нами приключилась.

Рестораны и кабаре были забиты людьми, и многие места были зарезервированы для делегатов, которые приехали из других республик Советского Союза и из-за границы, поэтому мы совсем никуда не могли попасть. Между прочим, в тот вечер вообще было трудно поужинать. Город был просто забит народом, люди медленно гуляли по улицам, останавливаясь на площадях, чтобы послушать музыку, а потом плелись дальше. Они смотрели, снова шли и опять глазели. Деревенские жители ходили, широко раскрыв глаза. Некоторые из них никогда раньше не бывали в городе, а такого украшенного огнями города никто не видел вообще. На площадях танцевали, но немного. Большинство людей бродили и смотрели и опять брели, чтобы посмотреть на что-то другое. В музеях было столько народу, что туда невозможно было войти. В театрах—столпотворение. Не было ни единого здания, где не висело бы хоть одно огромное изображение Сталина, а вторым по размеру был портрет Молотова. Еще были большие портреты президентов разных республик и Героев Советского Союза, но те размером поменьше.

Поздно вечером мы пошли в гости к американскому корреспонденту в Москве, который давно живет в России. Он хорошо говорит и читает по-русски и рассказал нам множество историй о трудностях содержания дома в сегодняшней России. Как и в гостиничном обслуживании, многие проблемы возникают из-за неэффективности бюрократической системы — такое количество записей и бухгалтерии делает абсолютно невозможным произвести какой-либо ремонт.

После ужина он снял с полки книгу.

— Я хочу, чтобы вы послушали вот это, — сказал он и стал медленно читать, переводя с русского. Читал он приблизительно следующее, — это не дословная, но достаточно точная запись:

«Русские в Москве очень подозрительно относятся к иностранцам, за которыми постоянно следит тайная полиция. Каждый шаг становится известен, и о нем докладывают в центральный штаб. К каждому иностранцу приставлен агент. Кроме того, русские не принимают иностранцев у себя дома и даже боятся, кажется, с ними разговаривать. Письмо, посланное члену правительства, обычно остается без ответа, на последующие письма тоже не отвечают. Если же человек назойлив, ему говорят, что официальное лицо уехало из города или болеет. Иностранцы с большими трудностями получают разрешение поездить по России, и во время путешествий за ними пристально наблюдают. Из-за этой всеобщей холодности и подозрения приезжающие в Москву иностранцы вынуждены общаться исключительно друг с другом».

Здесь было еще много интересного в этом же роде, и в конце наш друг взглянул на нас и спросил:

— Что вы об этом думаете?

Мы ответили:

— Мы не думаем, что это можно протащить через цензуру.

Он засмеялся.

— Это было написано в 1634 году. Это из книги, которая называется «Путешествие в Московию, Татарию и Персию», написанной Адамом Олеариусом, — сказал он. — А вот послушайте отчет о московской конференции.

Из другой книги он прочитал приблизительно следующее:

«С русскими очень трудно вести дипломатию. Если кто-то предлагает план, они противопоставляют ему другой план. Их дипломаты не ездят по другим странам, и в основном это люди, которые никогда не покидали Россию. На самом деле русский, который жил во Франции, считается французом, а тот, кто жил в Германии, считается немцем, и им на родине не очень-то доверяют.

Русские дипломаты никогда не действуют напрямую. Они никогда не говорят конкретно, а ходят вокруг да около. Слова подбираются, сортируются, меняются местами, и наконец, любая конференция превращается во всеобщую путаницу».

После паузы он сказал:

— А это было написано в 1661 году французским дипломатом Августином, бароном де Майербургом. Такие вещи в подобной ситуации очень успокаивают. Я не думаю, что в некотором отношении Россия очень изменилась. В течение шестисот лет дипломаты из разных стран сходили здесь с ума.

Довольно поздно наш хозяин попытался довезти нас до гостиницы, но на полдороге кончился бензин. Он вышел из машины и остановил первый же автомобиль, быстро поговорил о чем-то по-русски, дал человеку сто рублей, мы сели в машину, и незнакомец довез нас до дому. Мы выяснили, что так можно делать почти всегда. Поздно вечером почти любая машина становится такси по дорогой цене. Это очень удобно, потому что обыкновенных такси практически нет. Обычно таксист выбирает маршрут и набивает в машину народ. Вы должны сказать, куда вам надо, и водитель ответит, едет он в этом направлении или нет. Их работа немного напоминает работу трамваев.

В добавление ко всем украшениям к юбилею было выпущено много новых трамваев, троллейбусов — все это появилось во время празднования на улицах. Автомобильный завод ЗИС выпустил много новых машин, которые почти все обслуживали делегации из зарубежных стран.

Хотя было только 6 сентября, в Москве становилось очень холодно. Наша комната промерзала, но отопление должны были включить не раньше чем через месяц. Когда мы не спали, то расхаживали в пальто. Другие корреспонденты в гостинице «Метрополь» распаковывали свои электронагреватели, спрятанные на лето.

В день празднования Капа уже носился по улицам со своими камерами почти с рассвета. С ним был теперь русский фотограф, который мог облегчить ему передвижение по городу и объяснить, если придется, полицейским, что все в порядке. А на Красной площади к нему приставили милиционера для помощи и предотвращения неприятностей. Он фотографировал здания, выставки, толпы, лица, группы гуляющих людей и был настолько счастлив, насколько это было возможно во время работы.

На тротуарах многих улиц были устроены небольшие кафе — одно прямо напротив нашей гостиницы — два маленьких столика, накрытые белыми скатертями, вазы с цветами, большой самовар и застекленный прилавок с небольшими бутербродами с сыром и колбасой, банки с соленьями, груши и яблоки — все для продажи.

День стоял ясный и холодный. По улицам шествовали слоны из зоопарка, а перед ними шли клоуны. На этот день не намечалось никакого военного парада, но на стадионе должно было состояться большое шоу, куда мы днем и отправились.

Это было массовое выступление заводских рабочих в ярких костюмах. Они маршировали на поле и делали гимнастические упражнения, разные фигуры. Были состязания в беге для женщин и мужчин, толкание ядра и волейбол. А еще показали прекрасно выдрессированных лошадей, которые танцевали вальс, польку, кланялись и делали пируэты.

Здесь находилось какое-то важное правительственное лицо, но кто бы он ни был, мы его не видели, потому что правительственная ложа была как раз на нашей стороне стадиона. Мы почти что установили рекорд: за все время, что мы были в России, мы не увидели ни одного высокопоставленного чиновника. Сталин, который отдыхал на Черном море, на торжество не приехал.

Шоу на стадионе длилось весь день. Здесь прошло и соревнование велосипедистов, и гонки мотоциклов, и, наконец, выступление, которое требовало большой подготовки. По круговой дороге ехала вереница мотоциклов. Впереди сидел мотоциклист, а сзади на каждом мотоцикле стояла девушка в облегающем костюме и держала огромный красный флаг, поэтому когда мотоцикл разгонялся до полной скорости, большой флаг развевался. Кавалькада проехала по кругу стадиона дважды.

Мы покинули стадион «Динамо», поскольку мне еще надо было написать статью в «Трибюн» для Джо Ньюмена, а Капе — снова отправиться на улицы, чтобы немножко пощелкать. На полпути у нас лопнула шина, и нам пришлось пойти пешком. Капа затерялся в толпе, и увидел я его очень нескоро. А я наконец добрался до бюро «Трибюн», написал свой материал и отправил цензору.

Вечером мы обедали с Арагонами, которые остановились в гостинице «Националь». У них была комната с балконом, который выходил на огромную площадь перед Кремлем. Отсюда мы наблюдали почти постоянные вспышки салюта и весь вечер слышали артиллерийские залпы. Площадь была одной сплошной массой народа. Наверное, миллионы людей двигались здесь по кругу, как в водовороте. В центре площади стояло возвышение, гд выступали ораторы, играла музыка, где танцевали и пели. Единственное место, где мы еще видели такое скопление народа, — на Таймс-сквер во время празднования Нового года.

Была уже поздняя ночь, когда мы еле пробились сквозь толпу обратно в гостиницу. Но еще многие сотни тысяч людей бродили по улицам, глядели на огни и электрические панно.

Я пошел спать, а Капа отложил в сторону сотни своих катушек с пленкой, достал негативы и, когда я лег спать, все еще просматривал их на свет, отчаянно ругаясь, что все сделано плохо. Он обнаружил, что одна из камер, которую он все время использовал, немного засвечивала пленку, и подумал, что все его пленки, вероятно, испорчены. Это не сделало его счастливым человеком, и я так пожалел его, что решил не задавать ему завтра утром ни одного интеллектуального вопроса.

У нас уже оставалось очень мало времени, но мы еще многое хотели бы сделать. Например, встретиться с русскими писателями, которых, когда мы только приехали, не было в городе — кто на Черном море, кто в Ленинграде, кто за городом. Еще мы хотели сходить в театр, на балет, посетить балетную школу. Капе нужно было сделать много снимков. Каждый день или через день мы звонили в ВОКС и спрашивали, прояснилось ли что с нашими снимками, поскольку это стало уже нас беспокоить. Мы не могли получить никакой информации о том, что нам придется делать с фотографиями, но знали, что необходимо будет писать какое-то заявление. К нам не поступало никакой информации, за исключением того, что вопрос решается. А тем временем ящики в нашей комнате наполнялись кассетами и лентами проявленной пленки...

Москва вступала в зиму. Открывались театры, должны были начаться балетные представления, в магазинах стали продавать толстую, подбитую ватой, одежду и войлочную обувь специально для зимы. На улицах стали появляться дети в шапках-ушанках и с меховыми воротниками на пальто из плотной ткани. В американском посольстве электрики деятельно меняли проводку во всем здании. Прошлой зимой проводка перегорела, и без привычных электронагревателей всему посольскому составу пришлось работать в пальто.

Мы были приглашены на ужин в дом, где жили пятеро молодых американских офицеров из военного атташата. Это был очень славный ужин, но живут они здесь не очень хорошо, потому что даже более, чем другие, ограничены в передвижениях, да и вести себя должны осторожнее других. Я допускаю, что за русским военным атташе в Америке тоже пристально следят. Перед их домом стоит милиционер в форме, и всякий раз, когда они выходят из дому, их сопровождают невидимые преследователи.

Мы сели ужинать с американскими офицерами в приятном доме и ели американскую еду: баранью ногу с зеленым горошком, вкусный суп, салат, мелкое печенье и черный кофе. И мы подумали, как четыреста лет назад, может, в таком же, как этот, доме сидели над своим портвейном британские и французские офицеры в красных с золотом мундирах, в то время как снаружи перед воротами их охранял русский стражник со шлемом на голове и пикой в руке. Все это, кажется, не очень изменилось с тех пор.

Мы, как и все туристы, съездили в маленький городок Клин, который находится в семидесяти километрах от Москвы, чтобы посетить дом Чайковского. Этот красивый дом стоит в большом саду. В нижних этажах сейчас расположена библиотека, архив музыкальных рукописей и музей. Но верхний этаж, где композитор жил, оставлен, как и раньше. В его спальне все так же, как и было при хозяине: рядом с узкой железной кроватью висит широкий халат, около самого окна — небольшой письменный стол. В углу — богато украшенный туалетный столик и задрапированное кашмирским платком зеркало, подаренное ему поклонницей, на нем все еще стоит флакон со средством для укрепления волос. И гостиная с большим фортепиано, единственным, которое у него было, тоже не изменилась. В вазочке на его письменном столе стоят маленькие сигары, трубки и огрызки карандашей. На стенах висят семейные фотографии, а на маленькой застекленной веранде, где он пил чай, — чистый лист нотной бумаги. Хранителем музея является его племянник — красивый, уже пожилой человек.

Он сказал:

— Мы хотим в доме Чайковского все сделать так, чтобы казалось, будто он только что вышел погулять и скоро вернется.

Этот старик живет в основном в прошлом. Он говорил о музыкальных гигантах так, словно все они живы, — о Мусоргском, о Римском-Корсакове, о Чайковском и об остальных из этой великой группы. И действительно, в доме очень чувствовалось присутствие композитора. Фортепиано настраивается, и раз в году на нем играют. Играет на нем самый лучший пианист, а музыку записывают на пленку. Племянник, г-н Чайковский, сыграл немного для нас.

В библиотеке мы посмотрели рукописи. Ноты нацарапаны на бумаге, с большой поспешностью пересекают нотные линейки, а целые куски просто перечеркнуты. На некоторых страницах оставлено только восемь тактов, остальное же вычеркнуто карандашом. После мы взглянули на рукописи других композиторов — аккуратно написаны чернилами, ни одна нота не зачеркнута. Но Чайковский писал так, как будто каждый день, каждая нота могли оказаться последними. Он спешил записать свою музыку.

Позже мы сели в саду со стариком поговорить о современных композиторах, и он с грустью сказал:

— Люди компетентные — да; хорошие ремесленники — да; честные и интеллигентные — да; но не гении, не гении. — И посмотрел на сад, где каждый день, зимой и летом, гулял Чайковский, закончив работу.

В этот приятный дом пришли немцы и сделали из него гараж, а в саду танки разместили. Но племянник успел до прихода немцев убрать ценные рукописи в библиотеку, спрятал картины и даже фортепиано. А теперь все возвращено — это необыкновенное место, куда часто приезжают люди. Из окна домика хранителя послышались звуки фортепиано — фальшиво играл ребенок, и странное и страстное одиночество безумного маленького человечка, жившего исключительно для музыки, наполнило сад.

У нас оставалось очень мало времени. Мы были издерганы. Мы бросались от одного к другому, стараясь увидеть все за несколько последних дней. Мы посетили Московский университет, и студенты были похожи на наших. Они собирались в залах, смеялись, носились из класса в класс. Они ходили парами, юноша и девушка, как ходят и наши. Во время войны в университет попали бомбы, но студенты восстановили его, пока шла война, поэтому он не закрывался.

Начались балетные спектакли, и мы ходили их смотреть почти каждый вечер — это был самый замечательный балет, который мы только видели. Спектакль начинался в 7.30 и продолжался до начала двенадцатого. В нем принимало участие огромное количество действующих лиц. Коммерческий театр не может себе позволить содержать такой балет. Исполнение, выучку, декорации и музыку нужно субсидировать, иначе они не могут существовать. Окупить подобную постановку продажей билетов просто невозможно.

А еще мы пошли в Московский художественный театр на пьесу Симонова «Русский вопрос». Может, мы допустили ошибку, посмотрев эту пьесу, может это был не лучший спектакль. На наш взгляд, она была переиграна, слишком многозначительна, нереальна и стилизована...

Симонов является, без сомнения, сегодня самым популярным писателем в Советском Союзе. Его стихи все читают и знают наизусть. Его военные репортажи читали так же, как репортажи Эрни Пайла в Америке. А сам Симонов очень милый человек. Он пригласил нас к себе в загородный дом — комфортабельный маленький домик посреди большого сада...

Он и его жена были милы и добры. Они нам очень понравились. Как и у всех профессионалов, то, что мы раскритиковали пьесу, не вызвало у него чувства, что его лично оскорбили. А потом мы метали дротики, танцевали и пели. В Москву мы вернулись очень поздно.

Москва все еще была в состоянии беспокойной деятельности, ведь до того, как пойдут дожди, необходимо снять все эти огромные портреты, флаги и полотнища, иначе потекла бы краска. Они должны были понадобиться снова на празднование тридцатой годовщины Октябрьской революции. Это знаменательный год праздников для Москвы. На зданиях, Кремле и мостах лампочки были оставлены, поскольку дождь им повредить не мог, и потом, на седьмое ноября, они будут опять включены.

Мы хотели посмотреть внутреннее убранство Кремля, это всякому интересно, нам даже хотелось пофотографировать там, и, наконец, получили разрешение на посещение, однако снимать внутри Кремля было запрещено. Ни фотографировать, ни проносить камеры. У нас было не специальное посещение, а обыкновенная туристическая экскурсия. Однако это было то, что нужно. Нашим гидом был снова г-н Хмарский, и очень странно, что и сам Хмарский никогда не был внутри Кремля — разрешение не так легко получить.

Мы подошли к длинной мощеной дороге. У входа стояли солдаты. У нас спросили имена, тщательно проверили пропуска, потом зазвенел звонок, и в сопровождении людей в форме нас провели через ворота. Мы пошли не на ту сторону, где расположены государственные учреждения, а вышли на большую площадь, миновали древние соборы и через музеи попали в гигантский дворец, в котором жило много царей, начиная с Ивана Грозного. Мы побывали в крошечной спальне, где спал Иван, в маленьких комнатках с задергивающимися занавесками, в царских часовнях. Все

очень красиво, странио, древне н сохраняется в том виде, в каком было раньше. Мы видели музей, где выставлены доспехи, металлическая посуда, оружие, фарфоровые сервизы, костюмы и царские подарки — все, собранное за пятьсот лет, хранится здесь. Мы видели огромные короны, усыпанные бриллиантами и изумрудами, большие сани Екатерины Великой. Мы видели меховые одежды и удивительное оружие бояр. Здесь же и подарки, присланные царям из других королевских домов, — огромная серебряная собака от королевы Елизаветы, подарки Екатерине от Фридриха — изделия из немецкого серебра и фарфора и памятное оружие, все эти невероятные аксессуары монархии. После посещения царских покоев нам стало ясно, что для королевской семьи плохой вкус не только не является нежелательным, он просто необходим.

Мы видели расписной зал воинов Ивана, куда не разрешалось входить ни одной женщине. Мы прошли целые мили по царским лестницам и заглянули в огромные зеркальные залы. И мы видели апартаменты, где жил с большим неудобством последний царь с семьей, — комнаты, перегруженные мебелью, безделушками, мрачным полированным деревом. Ребенок, которому приходится расти и жить среди этой чудовищной коллекции абсурда, может превратиться в определенный тип взрослого. Легче представить себе характер царевичей после того, как вообразишь, что за жизнь у них была среди всего этого хлама. Если маленький царевич хотел ружье, мог ли он получить винтовку двадцать второго калибра? Нет, ему дали бы маленький серебряный мушкетон ручной работы с инкрустацией из слоновой кости и драгоценными камнями — анахронизм двадцатого века. И он не мог охотиться на зайцев, его усадили бы на лужайке, и к нему подогняли бы лебедей, в которых он стрелял.

У нас настолько испортилось настроение за два часа в этом царском жилье, что весь день мы не могли прийти в себя. А если всю жизнь тут провести! Во всяком случае, мы рады тому, что побывали там, но больше никого из нас туда и силой не затащить. Самое мрачное место в мире. Проходя по этим залам и лестницам, нетрудно себе представить, как легко решиться здесь на убийство, как отец мог убить сына, а сын — отца и как реальная жизнь за пределами дворца становилась такой отдаленной, что казалась несуществующей. Из дворцовых окон мы видели город за стенами Кремля, и могли себе представить, что чувствовали по отношению к городу заключенные во дворце монархи. Прямо под нами на Красной площади стояло большое мраморное возвышение, где обычно рубили головы подданным, скорее всего из страха перед ними. Мы спустились по длинной наклонной дороге и, чувствуя облегчение, вышли через хорошо охраняемые ворота.

Мы сбежали из этого места в бюро «Геральд трибюн» в гостинице «Метрополь», схватили Суит Джо Ньюмена и отправились в кабаре, заказали большой обед и четыреста граммов водки. Но еще не скоро мы оправились от чувства, которое осталось у нас от посещения Кремля.

Мы не видели государственных учреждений, которые расположены на другой стороне. Сюда никогда не водят туристов, мы не знаем, как все это выглядит, видели только крыши зданий за стеной. Но нам сказали, что там обитает целая община. Здесь находятся квартиры некоторых высших государствнных чиновников и обслуживающего персонала, ремонтных бригад и охраны — все расположено за стенами Кремля. Однако Сталин, как нам сказали, в Кремле не живет. но у него где-то здесь есть квартира, хотя никто не знает, где она, и никто не стремится узнать. Говорят, что теперь большую часть времени он проводит на Черном море, там, где всегда лето.

Один из американских корреспондентов рассказал, что однажды видел, как Сталина везли по улицам и что он сидел на боковом сиденье, довольно неловко откинувшись назад, и выглядел при этом очень неестественно.

— Я все время думал, — сказал он, — был ли это сам Сталин, или чучело. Он выглядел весьма ненатурально.

Каждое утро Капа перебирал свои пленки, и почти ежедневно мы звонили в ВОКС, чтобы спросить, как мы сможем вывезти пленки, но нам отвечали, что вопрос прорабатывается и чтобы мы не волновались. Но мы волновались, потому что наслушались всяких историй о том, как фотопленки конфискуют и что ни одну не разрешают вывезти. Мы слышали об

этом, и, мне кажется, подсознательно этому верили. С другой стороны, г-н Караганов из ВОКСа еще ни разу нас не подводил и ни разу не сказал нам неправду. Поэтому мы полагались на него.

Теперь нас приглашал на ужин московский Союз писателей, и это беспокоило нас, поскольку там должна была быть вся интеллигенция, все писатели — те, кого Сталин называл «инженерами русской души». Перспектива ужасала нас.

Наше путешествие почти закончилось, и мы чувствовали некоторую напряженность. Мы не знали, есть ли у нас все то, за чем мы сюда приехали. С другой стороны — всего не осмотреть. Языковые трудности доводили нас до безумия. Мы общались со многими русскими, но получили ли мы ответы на те вопросы, которые действительно нас интересовали? Мы были очень близки к этому. Я записывал все — разговоры, детали, даже сообщения о погоде, чтобы выбрать потом необходимое. Пока мы еще сами не понимали, что у нас в руках. Мы не знали ничего такого, о чем вопили американские газеты, — военные приготовления русских, атомные исследования, рабский труд, политическое надувательство, которым занимается Кремль, — подобной информации у нас не было. Действительно, мы видели множество немецких пленных за работой по расчистке развалин, которые сотворила их же армия, но нам эти работы не показались несправедливыми. Да и сами пленные не выглядели недокормленными и очень измученными. Но фактов у нас, конечно, не было. Если и велись крупные военные приготовления, мы их не видели. Солдат действительно было много. С другой стороны, мы не шпионить приехали.

Напоследок мы старались увидеть в Москве все, что можно. Мы бегали по школам, разговаривали с деловыми женщинами, актрисами, студентами. Мы ходили в магазины с большими очередями. Вывешивался список грампластннок, тут же выстраивалась очередь, и пластинки распродавались за несколько часов. То же происходило, когда в продажу поступала новая книга. Нам показалось, что даже за те два месяца, что мы здесь были, люди стали лучше одеваться, а московские газеты объявили о снижении цен на хлеб, овощи, картофель и некоторые ткани. В магазинах все время было столпотворение, покупали буквально все, что предлагалось. Русская экономика, которая почти полностью производила военную продукцию, теперь постепенно переходила на мирную, и народ, который был лишен потребительских товаров — как необходимых, так и предметов роскоши, — теперь стоял за ними в магазинах. Когда завозили мороженое — выстраивалась очередь на много кварталов. Продавца мороженого моментально окружали, и его товар распродавался так быстро, что он не успевал брать деньги. Русские любят мороженое, и его всегда недостает.

Ежедневно Капа наводил справки о фотоснимках. К этому времени у него уже было четыре тысячи негативов, и своим волнением он довел себя почти до истощения. Каждый день нам отвечали, что все будет хорошо, что решение этого вопроса уже близко.

Ужин, на который нас пригласили московские писатели, проходил в грузинском ресторане. Там было около тридцати писателей и официальных лиц Союза, и среди них — Симонов и Илья Эренбург. К этому времени я уже совсем не мог пить водку. Мой организм взбунтовался против нее. Но сухие грузинские вина были прекрасны. У каждого сорта был свой номер. Мы узнали, что номер шестьдесят — это крепленое красное, а номер тридцать — легкое белое. Мы нашли, что нам подходит номер сорок пять — сухое, легкое красное вино с замечательным букетом, и мы все время заказывали его. Еще было сравнительно неплохое сухое шампанское. В ресторане играл грузинский оркестр и выступали танцовщики, а еда — такая же, как в Грузии, и, по нашему мнению, самая вкусная в России.

Мы были одеты в лучшие костюмы, которые выглядели довольно неряшливо и потрепанно. На самом деле, это был просто позор, и Суит-Лане было за нас даже немного стыдно. У нас не было вечерних костюмов. Честно говоря, в тех кругах, где мы вращались, мы никогда не видели вечерних костюмов. Может, они есть у дипломатов, не знаем.

Речи за этим застольем были длинными и сложными. Большинство приглашенных знали, помимо русского, другие языкн — английский, французский или немецкий. Они выразили надежду, что нам понравилась поездка по их стране. Они надеялись также, что мы собрали необходимую ин-

формацию, за которой приехали. Они снова и снова пили за наше здоровье. Мы ответили, что приехали не инспектировать политическую систему, а посмотреть на простых русских людей, и что мы их видели и надеемся, что сможем объективно сказать правду обо всем. Эренбург встал и сказал, что если нам удастся это сделать, они будут просто в восторге. Человек, который сидел с краю стола, встал потом и заявил, что существует несколько видов правды, и что мы должны предложить такую правду, которая способствовала бы развитию добрых отношений между русским и американским народами.

Тут и началась битва. Вскочил Эренбург и произнес яростную речь. Он заявил, что указывать писателю, что писать,— оскорбление. Он сказал, что если у писателя репутация правдивого человека, то он не нуждается ни в каких советах. Он погрозил своему коллеге и обратил внимание на его плохие манеры. Эренбурга мгновенно поддержал Симонов и выступил против первого оратора, который пытался хоть как-то отбиться. Г-н Хмарский попытался произнести речь, но спор продолжался, и Хмарского не слушали. Нам всегда внушали, что партийная линия настолько непоколебима, что среди писателей не может быть никаких расхождений. Атмосфера этого ужина показала нам, что это совсем не так. Г-н Караганов произнес примирительную речь, и все улеглось.

То, что я не пил водку, а заменил ее на вино, сильно успокоило мой желудок, хотя меня, может, и посчитали слабаком, зато я был слабаком на пути к выздоровлению. Просто водка со мной не ужилась. Ужин завершился на хорошей ноте около одиннадцати вечера. Никто больше не рискнул советовать, что нам следует писать...

Мы должны были уезжать в воскресенье утром. Вечером в пятницу мы пошли в Большой театр на балет. Когда мы вернулись, раздался неожиданный телефонный звонок. Это был Караганов из ВОКСа. Наконец-то он получил указание из Министерства иностранных дел! Пленки необходимо было проявить и каждую внимательно просмотреть прежде, чем их можно будет вывезти из страны. Он мог бы выделить целую группу специалистов, чтобы их проявить,—три тысячи снимков. Интересно, как это можно было бы сделать в такое короткое время? Никто же не знал, что пленки уже проявлены. Капа упаковал все свои негативы, и рано поутру за ними пришел человек. Капа промаялся целый день. Он шагал взад-вперед по комнате и кудахтал, как клуша, которая потеряла цыплят. Он строил планы—из страны он не выедет, пока ему не вернут пленки. Он откажется от билета. Он не согласится, чтобы ему прислали пленки позже. Он ворчал и ходил по комнате. Он дважды или трижды вымыл голову, но совсем забыл принять ванну. Он мог бы родить ребенка при затрате даже половины сил и страданий. Мои записи никто не попросил. Да и попросили бы, никто бы их не прочитал. Я сам с трудом разбираю свой почерк.

Весь день мы ходили по гостям, щедро раздавая обещания прислать разным людям разные необходимые вещи. Мы думаем, что Суит-Джо было грустно расставаться с нами. Мы таскали у него сигареты и книги, носили его одежду, пользовались его мылом и туалетной бумагой, надругались над его скудным запасом виски, всячески злоупотребляли его гостеприимством, и все-таки, мы думаем, он сожалел, что мы уезжаем.

Половину времени Капа составлял планы контрреволюции на тот случай, если что-нибудь случится с его пленками, в оставшееся время обдумывал варианты самоубийства. Его интересовало, сможет ли он сам себе отрубить голову на предназначенном для этого месте на Красной площади. В тот вечер у нас был довольно грустный ужин в «Гранд-отеле». Музыка играла громче обычного, а барменша, которую мы прозвали мисс Сейчас, была неповоротливей обычного.

Было еще темно, когда мы проснулись, чтобы ехать в последний раз в аэропорт. И последний раз мы сели под портретом Сталина, и нам показалось, что он сатирически посмеивается над своими медалями. Мы выпили наш дежурный чай, и Капу начало трясти. А потом пришел человек и передал в его собственные руки коробку. Это была коробка из плотного картона, перевязанная веревкой, а на узлах были маленькие свинцовые печати. Ему нельзя было распечатывать коробку прежде, чем мы минуем Киев, нашу последнюю, перед Прагой, остановку.

Нас провожали Караганов, Хмарский, Суит-Лана и Суит Джо Ньюмен.

Наш багаж был намного легче, чем раньше, потому что мы раздали все лишнее — костюмы, пиджаки, камеры, все оставшиеся вспышки и неотснятые пленки. Мы залезли в самолет и заняли свои места. До Киева было четыре часа лета. Капа держал коробку в руках, но открыть не смел. Если сломать печати, ее не пропустят. Он прикинул на руке, сколько она весит.

— Легкая,— жалким голосом произнес он.— Там лишь половина пленок.

Я предположил:

— Может, они туда камней наложили, а пленок там и вовсе нет.

Он потряс коробку.

— Похоже, что это пленки,— сказал он.

— А может, старые газеты?—спросил я.

— А ты — сукин сын,— заметил он. И стал спорить сам с собой.

— Что они хотели изъять? Ведь там же нет ничего плохого.

— Может, им просто не нравится, как Капа снимает,—предположил я.

Самолет летел над огромными равнинами, лесами, полями и серебристой извилистой речкой. День был прекрасным, и низко над землей висела голубая осенняя дымка. Стюардесса отнесла экипажу лимонад, вернулась и откупорила бутылку себе.

В полдень мы приземлились в Киеве. Таможенник весьма поверхностно осмотрел наш багаж, но коробку с пленками схватил. Он был явно предупрежден. Таможенник разрезал веревки,—Капа все время смотрел на него, как овца перед закланием. Потом таможенник улыбнулся, пожал нам руки, вышел, дверь закрылась, и заработали моторы. Когда Капа вскрывал коробку, у него тряслись руки. Вроде бы все пленки были на месте. Он улыбнулся, откинулся назад и заснул прежде, чем самолет поднялся в воздух. Кое-какие негативы забрали, но немного. Они вынули пленки, на которых было много видов сверху, также исчезла фотография безумной девочки из Сталинграда и снимки пленных, но не взяли ничего, что нам казалось важным. Фермы и лица, фотографии русских детей — все это было здесь, именно за этим мы сюда и ехали.

Самолет пересек границу, в первой половине дня мы приземлились в Праге, и мне пришлось будить Капу.

Ну вот и все. Это о том, за чем мы поехали. Мы увидели, как и предполагали, что русские люди—тоже люди, и, как и все остальные, они очень хорошие. Те, с кем мы встречались, ненавидят войну, они стремятся к тому, чего хотят все: жить хорошо, в безопасности и мире.

Мы знаем, что этот дневник не удовлетворит никого. Левые скажут, что он антирусский, правые—что он прорусский. Конечно, эти записки несколько поверхностны, а как же иначе? Мы не делаем никаких выводов, кроме того, что русские люди такие же, как и все другие люди на земле. Безусловно, найдутся среди них плохие, но хороших намного больше.

Перевод с английского Е. Рождественской.

Ярослав Голованов

КАТАСТРОФА

(ИЗ ХРОНИКИ «КОРОЛЕВ»)

6

У всякого человека есть своя история, а в истории свои критические моменты: и о человеке можно безошибочно судить только смотря по тому, как он действовал и каким является в эти моменты... И чем выше человек, тем история его грандиознее, критические моменты ужаснее, а выход из них торжественнее и поразительнее.

Виссарион Белинский.

В июне 1970 года, отвечая на мой запрос, учреждение, имеющее отношение к магаданским местам заключения, сообщило, что из этих мест Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, уроженец города Житомира, убыл в распоряжение УВД Приморского крайисполкома во Владивосток 23 декабря 1939 года. Эту дату подтвердила и заведующая архивом отдела исправительно-трудовых учреждений управления внутренних дел Магаданского исполкома Исаева: «С личным делом убыл в гор. Владивосток из гор. Магадана 23 декабря 1939 года». «Из своего жизненного опыта,— добавляет она,— я знаю, что когда я с семьей прибыла в Магадан 7 декабря 1952 года, Охотское море было не замерзшим и только недалеко от бухты Нагаева нас встретил ледокол».

Однажды на космодроме Королев заболел гриппом и лежал в своем домике. Его пришли навестить несколько сотрудников. Среди них — баллистик, бывший аспирант Королева в МВТУ имени Баумана, работавший в его ОКБ,— Михаил Сергеевич Флорианский. Он рассказывает:

— Королев встретил нас необыкновенно радушно: «Деточка (так он иногда называл Нину Ивановну) прислала мне конфет, сейчас я вас чаем угощу»,— встал с дивана, начал сервировать стол.

В тот вечер сидели мы у Королева допоздна, и совершенно неожиданно для всех он начал рассказывать о годах своей тюремной жизни. В частности, запомнил я такой эпизод.

«Я едва шел в Магадан, сил уже не было,— вспоминал Сергей Павлович.— Но не знаю, как теперь, а в те годы там была традиция: у колодцев оставляли буханку черного хлеба. Я подошел, увидел и зажмурил глаза. Понял: если открою и буханки нет, значит, и меня, считай, нет, я погиб. Открыл глаза — буханка лежит. Эта буханка спасла мне жизнь...»

Не думаю, что Сергей Павлович фантазировал. Очевидно, была эта спасительная буханка. Но как понять: «Я едва шел в Магадан»? В декабре из Мальдяка в Магадан? Но ведь это около 600 километров, а в том состоянии предельного истощения Сергей Павлович и шестидесяти не прошел бы, очень быстро бы замерз, ведь от Мальдяка до Оймякона — полюса холода Северного полушария, ближе, чем до Магадана. Добирался Королев в Магадан, конечно, только на машине, и не один день, а с конвоиром непременно, и не в одиночку, а, безусловно, с этапом — одного его никто бы не повез. Может быть, именно задержка с формированием этапа и привела к тому, что он опоздал на последний пароход.

Это опять-таки утверждение самого Сергея Павловича. Королев не раз рассказывал, что после освобождения из лагеря он опоздал на последний пароход, идущий из Магадана во Владивосток, и добавлял, что это знак судьбы, потому что пароход этот затонул.

В ту пору на линии бухта Нагаева—Вторая Речка работали теплоходы «Кулу», «Джурма», «Индигирка», «Дальстрой», «Ежов» [1], которые занимались транспортировкой заключенных. Королев имел в виду «Индигирку». Загрузив в трюмы 1064 зека, которых отправляли из бухты Нагаева на пересуд, «Индигирка» 13 декабря 1939 года в штормовом проливе Лаперуза сбилась с курса и села на камни у берегов японского острова Хоккайдо. В трюм хлынула вода, но начальник конвоя запретил открыть люки, обрекая людей на верную гибель. Погибли и два члена экипажа. Остальных моряков и конвой японские спасатели сняли с «Индигирки» и помогли им вернуться во Владивосток. Капитан Лапшин был расстрелян. Начальник конвоя получил восемь лет тюрьмы. Японцам сказали, что в трюмах были рыбаки. Спасатели извлекли трупы погибших и похоронили на берегу японского острова.

Так судьба спасла Королева. Вскоре после ухода «Индигирки» ему удалось на каком-то маленьком суденышке добраться до Владивостока, откуда он был отправлен в Хабаровск...

Силы его ушли в песок золотой реки Берелех. Изнурительная работа на прииске, нервотрепка с пароходами, многодневное плавание по замерзшему морю, голод и цинга — все это привело к тому, что в Хабаровск доставили уже полутруп: Королев потерял четырнадцать зубов, опух и едва мог передвигаться. Он был настолько плох, что начальник пересылки отпустил его без конвоира к докторше. Эта женщина приняла необыкновенно сердечное участие в судьбе полуживого, никому не известного зека, уже занесенного своими товарищами в роковой список тех, кому не выкарабкаться. Она отмыла и перевязала язвы на его ногах, накормила, снабдила витаминами и лекарствами. На следующий день послала в тюрьму два таза с сырой капустой и свеклой — это было лучшее лекарство от цинги.

Королев не раз собирался поехать в Хабаровск, чтобы разыскать свою спасительницу, но всякий раз что-то мешало. Двоюродный дядя Королева, Александр Николаевич Лазаренко, узнав эту историю уже после смерти Сергея Павловича, попробовал в конце 60-х годов с помощью хабаровских комсомольцев-следопытов разыскать докторшу. Найти ее было очень трудно, поскольку на месте пересыльной тюрьмы и барака, где она жила, вырос новый микрорайон, и старожилов просто не существовало. Удалось только установить, что фамилия ее — Днепровская. Вскоре после начала войны она уехала из Хабаровска, а куда — никто не знает.

Чем ближе был дом, тем яснее становилось Королеву, что слова начальника лагеря Мальдяк о возвращении в Москву истолковал он превратно. Возвращение еще не означало освобождения. Вырвавшись с прииска, Королев перестал быть лагерным зеком, но не зеком вообще. И даже больше того,— по мере приближения к столице все менее и менее ощущал он себя человеком вольным. Ни сам он, ни даже многоопытные, со стажем, зеки в пересылках никак не могли понять и объяснить ему его нынешний юридический статус. Если человек был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР, а пленум то-

---

Начало см. «Знамя» № 1 за 1990 год.

[1] Теплоход «Ежов» сначала именовался «Дзержинский», потом «Ягода», потом «Ежов», затем снова «Дзержинский». Над ним втихомолку потешалось все Приморье, а Советское правительство выплачивало за каждое переименование огромные деньги международному морскому регистру.

го же Верховного суда СССР приговор этот отменил, то человека вроде бы должны освободить. Или нет? Еще теплилась детская, наивная и прекрасная надежда, что конвоир сдаст его в Москве, доставит, как ценную бандероль, а после уж, удостоверившись, что это действительно он, его отпустят. Понимал, что все это прекраснодушие от слабости, от тоски по свободе, по дому, по дочке, от почти насмерть замороженной Колымой, но все-таки оставшейся живой и отогревающейся сейчас в нем мечты о продолжении его долгожданной работы. Понимал, что нельзя в его положении ни во что хорошее верить, но верить-то хотелось!

На дальних подступах к Ярославскому вокзалу ждал его черный воронок. А когда вышел из него, ничего и спрашивать не надо было — сразу узнал внутренний двор Бутырки, с которой расстался он семнадцать месяцев назад.

Зловещая слава Бутырской тюрьмы, одной из самых известных в России, мешает взглянуть объективно на замечательный архитектурный памятник. В XVIII веке на месте этом квартировал Бутырский драгунский полк, передавший свое имя «тюремному замку», построенному по указу императрицы Екатерины II великим русским зодчим Матвеем Федоровичем Казаковым. Казакову было 33 года — макушка жизни, энергия била через край, и замок получился славнейший. Но в отличие от других загородных замков, например, Петровского, им же поставленного на Тверском тракте, Бутырский был именно тюремным замком, со всеми вытекающими отсюда особенностями функциональной архитектуры. И в этой работе угадывается талант незаурядный, ибо так все продумал Казаков, что, начиная с 1771 года, когда появился здесь первый узник, до наших дней, когда историческое здание стыдливо прикрыто безликой новостройкой, ни одному злодею не удавалось покинуть темницу по своей воле. Бутырка помнит Емельяна Пугачева, которого привезли сюда в клетке перед казнью, и многих других исторических личностей, включая таких замечательных революционеров, как Кржижановский и Дзержинский, а коротко говоря, памятные доски с фамилиями знаменитых узников могли бы впритык закрыть весь фасад. Сюда приходил Толстой, когда писал «Воскресение», а в 1920 году для политзаключенных здесь пел Шаляпин.

В дни, когда Сергей Павлович вновь оказался в знаменитой тюрьме, Федор Иванович петь политическим уже не смог бы не только потому, что его не было в живых, во и потому, что в Москве не существовало зала, способного вместить всех бутырских «политических». Камера № 66, куда препроводили Королева, была рассчитана на трех человек, но ввиду перенаселения тюрьмы в ней некоторое время могло находиться и пять, а то и шесть человек. Маленькая комнатушка со сводчатым белым потолком, с которого спускалась тусклая сиротская лампочка. Стены крашены грубой масляной краской, мерзкий цвет которой было бы затруднительно назвать. Можно только определить его, как «темный». Коричневый с белыми квадратиками кафель был очень хорош, крепок, не трескался и даже не покрывался серой паутинкой от многолетнего шарканья расшнурованных арестантских ботинок.

У стены койки шли в два яруса, а под окном, забранным в «намордник», так что никак нельзя было разглядеть, куда же оно выходит,— только внизу. Наглухо привинченные стол и скамейка. Параша в углу. Дверь с «кормушкой». Предельный тюремный аскетизм. Ничего лишнего, все точно так, как надо. Убери хоть одну деталь, и уже не тюрьма, уже пещера...

Я сидел в этой пустой камере, соображая, что могло измениться здесь за последние полвека. Цвет стен? Парашу сменил унитаз. И лампочка та давно перегорела. А стол вполне мог и не меняться. Может быть, за этим столом и писал зек Королев письмо товарищу Сталину...

Сергей Павлович провел здесь всю весну. В РНИИ он ждал ареста. После ареста ждал следствия. После следствия — суда. Теперь, когда приговор его был отменен, он не знал, чего надо ждать. Когда у человека отнимают будущее, ему ничего не остается, как жить прошлым,— ведь чем-то надо жить. Все чаще возвращается Сергей Павлович в мыслях своих к ракетоплану. Следователи на Лубянке утверждали, что ракетоплан сожжен. Неужели правда, неужели у кого-то поднялась рука уничтожить РП-318?!

Ракетоплан был цел и невредим.

После ареста Королева в РНИИ все гадали: кто следующий? О том, что в делах арестованных назывались фамилии Победоносцева и Шварца, в институте не знали, а поскольку последним арестовали Королева, следующим должен быть Арвид Палло. Он был правой рукой Королева на стенде, он испытывал двигатель «врага народа» Глушко. (Щетинкова в расчет опять не брали по болезни.) Быть может, Палло и арестовали бы, но он взял отпуск и, никому ничего не сказав, уехал с Сашей Косятовым к нему в деревню. Газет не читали, радио не слушали, занимались только рыбалкой и грибной охотой, стараясь не думать о том, что с ними будет, когда они вернутся в РНИИ. Отпуск иссяк, они вернулись, время шло, а Палло не арестовывали. И тогда он начал потихоньку работать. Идея ракетоплана увлекла Арвида Владимировича, слишком много времени и сил он ей отдал и бросать было обидно. Группу Королева после его ареста расформировали. Палло подумал и пошел к Слонимеру с предложением продолжить работы по ракетоплану. Слонимер подумал и согласился: ведь это и было конкретным исправлением последствий вредительства!

Двигатель ОРМ-65, предназначавшийся для ракетоплана, был еще сырой, его пробовали дорабатывать, но известно: мачеха не мать,— Глушко не было, а, значит, никто душою за двигатель этот не болел. Да и побаивались его: несинхронность поступления в камеру компонентов топлива, которую долго пытались устранить, постоянно грозила взрывом.

После ареста Глушко главным специалистом по жидкостным двигателям стал Леонид Степанович Душкин. К этому времени он разочаровался в жидком кислороде как в окислителе и перешел на азотную кислоту, то есть начал заниматься тем же, чем занимался Глушко, но это было тоже уже не «вредительство», а «исправление последствий вредительства»,— Слонимер придумал замечательную палочку-выручалочку. Душкин взялся за двигатель для ракетоплана и двигатель такой сделал. Назывался двигатель РДА-1-150: он развивал тягу в 150 килограммов.

Осенью возобновились и начатые Королевым еще в июле 1937 года огневые испытания ракеты 212. Только теперь ведущим по этой ракете был не Борис Викторович Раушенбах, а Александр Николаевич Дедов. Наверное, это было поощрение за подпись его под актом техэкспертизы и опять-таки давалась возможность на деле показать свое рвение в ликвидации «последствий вредительства». 8 декабря Костиков, возглавлявший специальную комиссию, подписал решение о допуске ракеты 212 к летным испытаниям. В январе и марте 1939 года 212-я дважды летала на полигоне. В полетах проверялся не только двигатель, но и новая автоматика стабилизации полета. Через много лет Раушенбах вспоминал:

— В первом полете процесс управления протекал нормально, было видно, что автомат стабилизации хорошо справляется с порывами ветра. К сожалению, полет прервало неожиданное раскрытие парашюта, предназначенного для спуска ракеты в конце участка планирования. Второй полет был неудачным, по-видимому, из-за поломки автомата стабилизации. Дело в том, что разгонная катапульта не обеспечивала плавного разгона, вследствие чего ракета испытывала большие ударные и вибрационные нагрузки, а автоматы стабилизации не проходили соответствующих испытаний и их работа, очевидно, могла нарушаться при разгоне...

Как бы там ни было, а Андрей Григорьевич Костиков был доволен главным результатом испытаний: без Королева ракеты пускать можно, и летают они не хуже, чем при Королеве. Теперь то же самое требовалось доказать и с ра-

кетопланом. Поэтому Костиков поддержал инициативу Палло, когда тот предложил продолжить работы, а когда встал вопрос о переводе для этой цели в НИИ-3 Щербакова, тоже не стал возражать.

Алексей Яковлевич Щербаков был человеком энергичным и увлекающимся. С Королевым они познакомились в 1934 году на стратосферной конференции в Ленинграде и с той поры не теряли друг друга из вида. Щербаков работал в Харькове заместителем главного конструктора Калинина. Королев интересовался работами Щербакова прежде всего потому, что тот пробовал запускать планеры на большие высоты. Когда он узнал, что в одном таком полете летчик Владимир Федоров забрался на 12 105 метров, он не выдержал и поехал к Щербакову. Сидели долго, спорили, в общем, познакомились уже по-настоящему. Щербаков очень расстроился, узнав, что Королев — «враг народа», совместная работа его привлекала. Поэтому, когда в конце 1938 года Палло и Душкин попросили его помочь с ракетопланом, он согласился не раздумывая. Требовалось подработать хвостовое оперение, чтобы исключить всякую возможность пожара от раскаленной струи двигателя, а главное — найти толкового летчика, который бы тоже заинтересовался такой фантастической работой и не боялся огненного горшка под хвостом. Щербаков вспомнил о Федорове. Владимир Павлович съездил в РНИИ, посмотрел, как гоняют на стенде РДА-1-150: грохот, жар, пламя, дым коромыслом,— ему понравилось!

Тринадцатый ребенок в семье лесного сторожа, Володя Федоров пас коров, когда впервые в жизни увидел летящий самолет. Забыть это он не смог всю жизнь.

Крестьянствовал, потом работал слесарем на протезном заводе, а самолет этот все летел у него перед глазами. Когда узнал о наборе в Московскую областную школу планеристов, чуть ли не бегом побежал на Первомайскую, где размещалась школа. Обожал все новое. После того, как забрался с планером на высоту двенадцать километров, его спросили: «Ну как?» Ответил просто: «Работать трудно. Нужна герметичная кабина...»

РП-318 — это было дело как раз по нему. Федоров родился чуть-чуть не вовремя. Появись он на свет лет на 15—20 позднее, можно быть уверенным, что он стал бы космонавтом [1].

Весь 1939 год Арвид Палло, Лев Иконников, Алексей Щербаков и пришедшие с ним Наум Старосельский и Владимир Федоров «доводили до ума» ракетоплан Королева. Только в конце зимы стало возможно попробовать его «в деле».

Первые испытания проходили на маленьком подмосковном аэродроме в последний день февраля 1940 года при ясном небе и ярком солнце, редком в такую пору. Сам ракетоплан взлететь не мог, поднимал его летчик Николай Фиксон на Р-5. В буксировщик забрались Щербаков с Палло. Непонятно, как им удалось разместиться в задней кабине, да еще с киноаппаратом.

Вот буксировщик тихонько порулил по снежному полю, выбрал слабину буксира... Полетели! Фиксон сделал широкий круг, плавно поднялся километра на три. Сейчас Федоров будет отцепляться.

Они летели как раз над аэродромом. Наверняка там сейчас все задрали головы, ждут: полетит самостоятельно эта огненная штуковина или не полетит?

Федоров отцепился!

Щербаков вспоминает:

— Фиксон тут же делает энергичный вираж и пристраивается к ракетоплану метрах в ста слева.

Из донесения Федорова:

«После отцепки на планировании установил направление полета и на скорости 80 км/час, выждав приближение самолета Р-5, наблюдавшего за мной, начал включать двигатель...»

Щербаков вспоминает:

— Мы видим все, что происходит дальше: и рыжий факел пламени, ра-

[1] Владимир Павлович Федоров в 28 лет погиб на испытаниях самолета Ильюшина ДВ-3.

спустившийся, как яркий цветок, за хвостом ракетоплана, и энергичное нарастание его скорости, и спокойный, красивый переход в набор высоты...

Из донесения Федорова:

«...Включение двигателя произвел на высоте 2600 м, после чего был слышен ровный, не резкий шум... Примерно на 5—6-й секунде после включения двигателя скорость планера выросла с 80 до 140 км/час... После этого я установил режим полета с набором высоты и держал его до конца работы двигателя. За это время ракетоплан набрал 300 метров...»

Щербаков вспоминает:

— Ракетоплан быстро ушел от нас с набором высоты. Все попытки продолжать наши наблюдения не увенчались успехом. Несмотря на максимальное увеличение оборотов мотора, самолет безнадежно отстал от ракетоплана.

Из донесения Федорова:

«На всем протяжении работы двигателя никакого влияния на управляемость ракетоплана замечено не было. Планер вел себя нормально... вибраций не ощущалось... Расчет и посадка происходили нормально».

Щербаков вспоминает:

— С включением двигателя ракетоплан летал еще три раза. Испытания приостановились из-за недостатка горючего. А в общем, он был никому не нужен. У авиапрома своих дел было невпроворот, наркомат оборонной промышленности, в ведении которого находился НИИ-3, тоже нами не интересовался, это была для него тематика побочная. У ракетоплана не было хозяина, он стоял под открытым небом и тихо гнил. А потом началась война и тут уж всем было не до ракетоплана...

Значение РП-318 в жизни его конструктора, в истории авиации и ракетной техники надо не преувеличивать и не преуменьшать. Действительно, ракетоплан Королева был первым в нашей стране пилотируемым летательным аппаратом, использующим для своего движения силу реактивной струи. Но, с другой стороны, даже если исключить то, что успех был относительный — двигатель оказался хуже, чем думали, тяги в 150 килограммов он не набрал, от силы 90,— но даже если все это в расчет не принимать, все равно РП-318 — тупиковая ветвь авиационной техники. Вскоре, в начале войны, на ней появится еще один отросток — ракетный перехватчик БИ. И у нас, и в других странах еще будут делаться попытки скрестить жидкостный ракетный двигатель с самолетом, но жизнестойких гибридов получить не удастся. ЖРД не прижился в авиации и прижиться не мог, потому что сразу натыкался на алогизм: зачем же возить с собой окислитель, если сам летательный аппарат купается в окислителе — кислороде окружающей его атмосферы. Двигатель этот нужен там, где атмосферы нет, нужен не авиации, а космонавтике. Поэтому не совсем верно называть, как это делают иногда, РП-318 предком реактивных самолетов наших дней [1]. Скорее это предок «Шаттла», «Бурана» и всех других космических аппаратов многоразового использования, которым предстоит накрепко привязать к нашей жизни околоземное пространство в XXI веке.

У ракетоплана была трудная и печальная судьба. Как и у его конструктора в те годы. Ракетоплан погиб. Конструктор выжил. Вспоминая о полете РП-318, гирдовец И. А. Меркулов писал, что полет этот мог состояться на два года раньше, а отсрочка произошла «по организационным причинам». Ну, назвать их «организационными» вряд ли правильно. Биограф Королева П. Т. Асташенков более точен: «По независящим от самого конструктора обстоятельствам он не присутствовал на летных испытаниях...» В то время, когда летчик Федоров включил двигатель ракетоплана, вагон, в котором этапировался его конструктор, приближался к Москве. Обстоятельства действительно от него не зависели.

[1] Например, такие опытные авторы, как Е. И. Рябчиков и А. С. Магид, в книге «Становление», посвященной началу творческой деятельности А. Н. Туполева (Изд-во «Знание», 1978 год), пишут: «Его (Королева — **Я. Г.**) «реактивный планер» стал предтечей всех реактивных самолетов». Но ведь это не так! РП-318 не оказал существенного влияния на появление и развитие реактивной авиации.

Не только присутствовать на испытаниях, но просто выйти из вагона он не мог. Через день он услышит:

— Королев! На выход с вещами!

Пройдет много лет, и Королев соберет в своем доме в Останкино друзей. Охрана особняка, отпирая калитку, будет пытливо рассматривать гостей академика. Кто-то вспомнит об этом среди дружеского застолья, и Сергей Павлович скажет с улыбкой:

— Вы знаете, никак не могу отделаться от мысли, что они в любой момент могут зайти ко мне в дом и крикнуть: «Королев! А ну, падло, собирайся с вещами!..»

7

Восемь лет — это не маленькая часть человеческой жизни.

Михаил Зощенко.

Весной 1940 года самым большим тружеником в НКВД был Валентин Александрович Кравченко — начальник 4-го специального отдела, занимающегося организацией шарашек. Это было действительно совсем непростое дело. Надо было продумать всю структуру, установить, какие люди действительно нужны, разыскать их в необозримой россыпи островов архипелага ГУЛАГ, доставить в Москву, рассортировать по специальностям, создать условия для работы.

Непосредственный начальник Валентина Александровича — Амаяк Захарович Кобулов, выдающийся мастер заплечных дел, правая рука Лаврентия Павловича, вместе с ним потом и расстрелянный, занимал в то время кресло начальника экономического управления НКВД. Он совсем измучил бедного Кравченко, требуя от него ежедневных подробных докладов, и сам почти ежедневно докладывал о ходе дел Берии. А Берия докладывал Сталину. На каждом докладе надо иметь какой-то фактик, маленький козырь, спросит — а ты тут же и выложил, без тени бахвальства, скромно, как будто все само собой разумеется. Берия в отличие от Ежова, который всякий раз мчался к Сталину с разными приятными, по его мнению, для вождя пустяками, никогда не торопился. Он ждал, когда Сталин сам вызовет его. Одно это невольно создавало впечатление предельной загруженности, постоянной сверхмерной занятости Лаврентия Павловича. А если уж он докладывал, то всегда безошибочно улавливал настроение Сталина и точно знал, когда, что и сколько надо говорить. Настроение надо было именно уловить, его нельзя было заранее вычислить, предсказать, ибо Сталин был непредсказуем, переходы от ярости к добродушию, точнее от желания карать к желанию миловать — не подчинялись никаким законам логики и здравого смысла. Берия понимал, что не следует льстить Сталину, убеждая его, будто сделанное есть прямое воплощение его идей,— так, он видел, поступали многие. Это грубо. Кроме того, у Сталина была отличная память, и он никогда не забывал, что действительно принадлежит ему, а что приписывается льстецами. Как это ни покажется странным, несмотря на то, что Сталин действительно многие годы тщательно возводил пирамиду своего культа, в ближайшем кругу — да нет, какие они соратники,— в кругу ближайших слуг, он очень бдительно относился к лести. Льстить было нужно, но очень осторожно.

В равной степени не следовало и представлять сделанное итогом собственной инициативы, ибо ничто так мгновенно не настораживало Сталина, как всякое проявление самостоятельности. Нет, любой доклад должен был показать реальный итог собственных усилий в результате частного приложения общих, глобальных идей Сталина в конкретных условиях. Но и при этом не следовало делать это грубо, как делали, скажем, военные: «Руководствуясь высказанными вами пожеланиями...» Не надо. Надо, чтобы Сталин сам увидел, что его пожеланиями постоянно руководствуются. Именно так, выбрав удобный момент, Берия получил сталинское благословение на шараги.

Теперь настала пора быстрых и решительных действий. Теперь надо заставить всех этих спецов работать с утроенной энергией. Берия прямо сказал Туполеву:

— Давайте договоримся, Андрей Николаевич: самолет в воздух, а вы все — по домам!

— А не думаете ли вы, что, и находясь дома, можно делать самолеты? — нахмурившись спросил Туполев.

— Можно! Можно, но опасно. Вы не представляете себе, какое на улицах движение, автобус может задавить.— Лаврентий Павлович был человек тонкого юмора. Но Туполев почему-то не улыбнулся.

Предназначенных для шараг заключенных надо было немного приодеть и откормить, поскольку многие из них ни для какой работы не годились, особенно колымские, норильские и доходяги с архангельских лесоповалов. Впрочем, поговори с зеками, и непременно отыщется неизвестный ранее, еще более глубокий ад, и предела — самого страшного места — определить нельзя.

Буквально на следующий день после прибытия Королева в Москву Ксения Максимилиановна получила записку, в которой он просил прислать ему башмаки, носки и два носовых платка. Крепких башмаков не нашли, отчим послал свои. И Ксана, и Мария Николаевна, и старики Винцентини ликовали: выпускают! Мария Николаевна каждый день ходила в приемную НКВД, где вопросы ее вызывали искреннее удивление:

— Как не пришел? Ну, значит, сегодня придет...

А на следующий день снова:

— Неужели не пришел? Ну, имейте терпение...

Была Мария Николаевна и у заместителя главного военного прокурора Афанасьева, и у помощника главного военного прокурора по спецделам Осипенко, и все просили чуть-чуть подождать, не волноваться. 19 июня Осипенко сказал даже ласково:

— Следствие закончено. Не тревожьтесь, идите спокойно домой, о судьбе сына я вам напишу...

Верили! Столько раз обманутые, продолжали верить! Доверчивость — родимое пятно порядочных людей. И представить себе не могли, что уже вовсю реализуется грандиозный план строительства великой рабской системы, что для осуществления этого плана, кроме башмаков и носовых платков, всем этим зекам-интеллектуалам — и тем, кто еще не был осужден, и тем, кому прежние приговоры отменили,— кроме башмаков, им еще «срок» нужен.

Только в середине июля все тот же безукоризненно вежливый дежурный в приемной НКВД с серьезным и даже чуть скорбным выражением лица объяснил Марии Николаевне, что прежний приговор ее сыну действительно отменен, но... Но он вновь осужден Особым совещанием НКВД на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.

— Понимаете,— с интеллигентной вкрадчивостью объяснил он,— главное, что теперь он не лишен прав!

Мария Николаевна посмотрела ему в глаза и спросила:

— А зачем нужны права человеку, который сидит в тюрьме?

— О, вы многого не понимаете!.. Так нельзя говорить,— кричал вдогонку ей вежливый дежурный...

Королева возили на Лубянку, несколько дней просидел он во внутренней тюрьме, допрашивали. Можно даже сказать, не допрашивали, а расспрашивали, и пальцем никто не тронул. То, что мечтал он сделать на суде, он сделал теперь: в деталях объяснил всю абсурдность предъявляемых ему обвинений. И с ним не спорили! Не перебивали, не одергивали! А если и задавали вопросы, то никаких ловушек он в них не видел. Ну теперь-то все разъяснилось, теперь-то законность восторжествует!

2 июня Королев пишет записку прокурору Осипенко, просит вызвать его для беседы. Никто не вызывает. Через неделю пишет Главному прокурору СССР Панкратьеву: «...прошу Вас вызвать меня для беседы с Вами, или с лицом по Вашему указанию... Убедительно прошу Вас не отказать в моей просьбе».

В просьбе отказали: никто его не вызвал и на этот раз. А зачем вызывать? Ведь дело-то уже сделано, обвинительное заключение в экономическом управлении уже сочинили.

Всего ждал он: новой канители, крючкотворства, казуистики, нелепостей — всего, но только не этого приговора! Осудили безвинного человека, и как! Исподтишка, заочно, даже посмотреть на него не захотели. Угадывалась во всем этом какая-то знакомая по лагерю блатная хамская трусость: пришли и, в глаза не глядя, сунули под нос вот эту бумагу, в которой, кроме имени и дат, не было ни слова правды.

«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по след. делу № 19908
по обвинению Королева
Сергея Павловича по ст. ст. 58—7; 58—11 УК РСФСР

28 июня 1938 года НКВД СССР за привадлежность к троцкистской, вредительской организации, действовавшей в научно-исследовательском институте № 3 (НКБ СССР) [1], был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института Королев Сергей Павлович.

В процессе следствия Королев признал себя виновным в том, что в троцкистско-вредительскую организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института № 3 Лангемаком (осужден).

В процессе следствия по делу Лангемака он специально о Королеве допрошен не был и об участии последнего в антисоветской организации показал, что знал об этом со слов Клейменова — бывшего директора НИИ-3 (осужден). (л. д. 41)

По заданию антисоветской организации Королев вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения (л. д. 21—35, 53—55, 66—67, 238—239).

Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осужден к 10-ти годам тюремного заключения.

13 июня 1939 г. Пленум Верховного Суда СССР приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР отменил, а следственное дело по обвинению Королева было передано на новое расследование (см. отдельную папку судебного производства).

В процессе повторного следствия Королев показал, что данные им показания на следствии в 1938 году не соответствуют действительности и являются ложными (л. д. 153—156).

Однако имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными Королев изобличается в том, что:

В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды.

Зная заранее, что основные части этой торпеды — приборы с фотоэлементами для управления торпеды и наведения ее на цель — не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи, Королев с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2 вариантах.

В результате этого испытания четырех построенных Королевым торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л. д. 250—251).

В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л. д. 23—24, 256).

[1] К этому времени бывший РНИИ снова сменил «хозяина» и стал подчиняться Народному комиссариату боеприпасов

Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л. д. 21, 54, 255).

На основании изложенного

ОБВИНЯЕТСЯ

Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный, до ареста — инженер НИИ-3 НКБ СССР, в том, что:

являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т. е. в преступлениях ст. ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР.

Виновным себя признал, но впоследствии от своих показаний отказался.

Изобличается показаниями: Клейменова, Лангемака, Глушко, показаниями свидетелей: Смирнова, Рохмачева, Косятова, Шитова, Ефремова, Букина, Душкина [1] и актами экспертных комиссий.

Дело по обвинению Королева направить в Прокуратуру Союза ССР по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 28 мая 1940 года в г. Москве.

Следователь следчасти ГЭУ НКВД СССР мл. лейтенант госбезопасности Рябов.

Пом. нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР ст. лейтенант госбезопасности Либенсон.

«Согласен». Нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР майор госбезопасности Влодзимирский.

«Утверждаю». Зам. нач. главного экономического управления НКВД СССР майор государственной безопасности Наседкин.

26 мая 1940 г. [2]».

На первой странице размашисто, небрежно, толстым черным карандашом: «8 лет ИТЛ. 10/VII-40». И закорючка-подпись.

Приговор 1940 года был для Королева во сто крат суровее приговора 1938 года. Когда ранним июньским утром везли его с Конюшковской на Лубянку, стало страшно: тюрьма! Но это была абстрактная тюрьма, и думал он тогда прежде всего о з а т о ч е н и и, не ведая о физических и душевных муках, его ожидающих, о постоянных невыносимых унижениях человеческого достоинства, о хамском произволе блатных, о синей баланде, желтых сталагмитах промерзших сортиров, о мошке, вшах, холоде, голоде... Теперь само понятие «тюрьма» было наполнено для него совсем другим, душу леденящим смыслом. Теперь он знал Колыму, знал: это не заточение, это — смерть.

В 38-м он быстро понял: виновен или не виновен, все равно осудят. Но теперь, если разобрались, если вызвали с края света и отменили приговор, как же теперь-то можно осудить?! И зачем тогда весь этот дьявольский фарс? Начали убивать и убили бы. Но ведь не убили! Он жив! А раз так, надо бороться. Прежде всего надо написать Сталину. Не жаловаться, не просить помилования. Просто объяснить, что совершается ошибка государственная. В конце концов дело совсем не в нем. Работа, которую он начал, важнее его жизни, ибо она способна сохранить жизнь тысячам людей. Сталин не может не понять, какой вред приносит этот приговор обороноспособности страны, его страны, державы Сталина! Надо писать Сталину...

[1] 11 августа 1956 года в связи с заявлением С. П. Королева в Главную военную прокуратуру полковник Терехов подал протест в Военную коллегию Верховного суда СССР, в котором называются фамилии почти по тому же списку, но говорится прямо противоположное:

«Допрошенные в 1939 году (почему в 39-м, не совсем ясно. Возможно, это ошибка.— Я. Г.) работники НИИ-3 в качестве свидетелей: Рохмачев Н. В., Косятов А. С., Шитов Д. А., Ефремов А. П., Букин В. А., Душкин Л. С., Колянова М. П., Дедов А. Н., никаких показаний о контрреволюционной деятельности Королева не дали». Можно допустить, что все эти свидетельские показания были настолько общи, невнятны и расплывчаты, что могли трактоваться и так и эдак.

[2] Как мог майор Наседкин утвердить 26 мая то, что было составлено 28 мая,— одна из загадок этого дела.

Королев не знал, что вопрос согласован. Берия снова выбрал удобный момент и получил от Сталина разрешение на заочное рассмотрение дел оборонных специалистов. Он очень толково и ясно объяснил вождю, что вина каждого из арестованных бесспорно доказана в процессе следствия, а вызывать всех их на суд нецелесообразно, поскольку это только отвлекло бы их от работы, сбило мысли с нужного направления. Но Королев не зная, как Лаврентий Павлович заботится о нем, и решил написать Сталину.

Заявление это — интереснейший документ эпохи и, несмотря на немалый объем, заслуживает того, чтобы привести его целиком.

«г. Москва. ЦК ВКП(б) Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Королева Сергея Павловича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Советские самолеты должны иметь превосходство над любым возможным противником по своим летно-тактическим качествам. Главнейшие из них — скорость, скороподъемность и высота полета. Сейчас в авиации повсеместно создалось положение, при котором самолеты нападения почти не уступают по качеству самолетам-истребителям, а также и другим средствам обороны. Это дает возможность нападения воздушному противнику на большинство объектов внутри страны. Это подтверждает в опыт последних войн. Только решающее превосходство в воздухе по скорости, скороподъемности и высоте полета м. б. надежным средством защиты. Это условие необходимо и для успеха наступательных действий авиации и в настоящее время зачастую предопределяет успешный исход всей кампании в целом. Обычная винтомоторная авиация в силу самого принципа своего действия (двигатель внутреннего сгорания, гребной винт — пропеллер) уже не может дать нужного превосходства самолетам обороны над им же подобными самолетами нападения. В этом отношении обычная авиация стоит почти у своего предела, а все ее средства, как-то: наддув, винт переменного шага, парогазодвигатели или турбины и пр.— все это полумеры, а не выход из создавшегося кризиса.

Выход только один — ракетные самолеты, идея которых была предложена Циолковским. Только ракетные самолеты могут дать преимущество над лучшими винтомоторными самолетами, а именно: по скорости в 1,5—2 раза и более; по скороподъемности в 8—10 раз и более; по высоте полета в 1,5 раза и более, а также по своей неуязвимости, мощности поднимаемого вооружения и т. д. Для ракетных самолетов область огромных скоростей и высот есть не препятствие в работе, а фактор благоприятный в силу самого принципа действия ракет, в отличие от винтомоторных самолетов, областью которых являются относительно малые скорости и высоты полета. Значение ракетных самолетов, особенно сейчас, исключительно и огромно. За рубежом уже 15—20 лет во всех крупных странах интенсивно ведутся работы над ракетами вооружения, а в основном — над созданием ракетного самолета, чего, однако, до 1938 года достигнуто с успехом нигде не было (в Германии — Оберт, Зенгер, Тиллинг, Оппель и др., во Франции — Руа, Бреге, Девильер и др., в Италии — Крокко и др., в США — Годдар и др. и т. д.). В Советском Союзе работы над ракетными самолетами производились мною фактически с 1935 года в НИИ № 3-НКОП. Аналогичных работ никем и нигде в СССР не велось. До моего ареста (28 июня 1938 года) за 3,5 года работы были осуществлены несколько типов небольших ракет (до 150 кг весом) разных моделей и агрегатов и произведены сотни их испытаний на стендах и в полете. Был разработан ряд вопросов методики и теории ракетного полета и издан в печати и пр. Впервые в технике в 1938 году с успехом были произведены основные испытания небольшого ракетного самолета (весом 700 кг). Испытания его в полете были с успехом закончены в апреле 1940 года, что я узнал из акта технической экспертизы. Из сказанного видно, что, несмотря на очень малый срок моей работы над проблемой ракетного полета и ее общеизвестные огромные технические трудности, сложность, новизну, особую секретность и отсюда — полное отсутствие литературы, зарубежного опыта, консультаций и пр., несмотря на все это, кое-что было сделано, правильное начало было положено.

Целью и мечтой моей жизни было создание впервые для СССР столь мощного оружия, как ракетные самолеты. Повторяю: значение этих работ исключительно и огромно. Однако все эти годы я лично и мои работы подвергались систематической и жестокой травле, всячески задерживались и т. п. ныне арестованным руководством НИИ-3 — Клейменовым, Лангемаком и группой лиц: Костиков (сейчас зам. дир. НИИ-3), Душкин и др. Они по году задерживали мои производственные заказы (212), увольняли моих сотрудников или их принуждали к уходу (Волков, Власов, Дрязгов и др.), распускали обо мне слухи и клевету на партсобраниях (Костиков), исключали меня без причин и вывы из сочувствующих ВКП(б), публично вывели из совета ОСО и многое другое. Обстановка была просто невыносимая, о чем я писал, например, 19 апреля 1938 г. в Октябрьский райком ВКП(б). Они же ввели в заблуждение органы НКВД, и 27 июня 1938 года я был арестован. Клейменов, Лангемак и Глушко дали клеветнические показания о моей якобы принадлежности к антисоветской организации. Это гнусная ложь, и это видно хотя бы из следующего: конкретных фактов нет, да и не может быть; Клейменов и Лангемак взаимно ссылаются о том, что якобы один слышал от другого, при этом в разное время и т. п. Выдаваемые ими за акты вредительства с моей стороны: сдача заказа на ракеты в авиатехникум в 34 г., задержки в ракете 217 и высотной ракете, даже сами по себе, если разобраться, никак не могут быть истолкованы, как вредительство. Кроме того, сдачу заказа в авиатехникум, как легко и проверить, я не производил, ее дали Щетинков и Стеняев. Над высотной ракетой я вообще не работал, а объект 217 по своему объему ничтожно мал, да и был выполнен досрочно. Костиков, Душкин и др. никогда не видали в действии объектов моих работ и не знали даже как следует их устройства, но они представили в 38 г. в НКВД лживый «акт», порочащий мою работу и безграмотно искажающий действительность. В 1938 году следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам, добиваясь от меня «признаний». Военная коллегия, не разбирая сколь-либо серьезно моего дела, осудила меня на 10 лет тюрьмы, и я был отправлен на Колыму. В частности, на суде меня обвиняли в разрушении ракетного самолета, чего никогда не было и который эксплуатируется и сейчас, в 1940 году. Но все мои заявления о невиновности и по существу обвинений оказались безрезультатны. Сейчас я понимаю, что клеветавшие на меня лица старались с вредительской целью сорвать мои работы над ракетными самолетами. Уже более года как отменен приговор и 28/V с. г. окончено повторное следствие, причем: моими показаниями и повторной экспертизой от 25/V 40 г. опровергнуты обвинения и клеветнические показания на меня, но повторное следствие не встало на путь объективного разбора моего дела, а, наоборот, всячески его замазывает и прикрывает юридическими крючками, а именно: эксперты Душкин, Дедов, Калянова используются вновь, как свидетели (что незаконно), мне не предоставлено дачи объяснений по их показаниям, или очных ставок и пр. Свидетели с моей стороны не допрошены, я не допрошен подробно по показаниям арестованных и пр. и, наконец, мне снова предъявлено обвинение по ст. 58 п.п. 7 и 11, что явно неправильно и нелепо. Третий год скитаюсь я по тюрьмам от Москвы до бухты Нагаева и обратно, но все еще не вижу конца. Все еще меня топят буквально в ложке воды, зачем-то стараются представить вредителем и пр.

Я все еще оторван от моих работ, которые, как я теперь увидел при повторном следствии, отстают до уровня 1938 года. Это недопустимо, а мое личное положение так отвратительно и ужасно, что я вынужден просить у Вас заступничества и помощи. Я прошу назначить новое объективное следствие по моему делу. Я могу доказать мою невиновность и хочу продолжать работу над ракетными самолетами для обороны СССР.

С. Королев».

13 июля 1940 г.

Все есть в этом письме. Прежде всего невероятный заряд энергии и несгибаемая вера в свое дело. Кремлевскому владыке бутырский острожник читает целую лекцию о путях развития авиации. Досада, злость на людей, оклеветавших его, жгучая боль от несправедливости мучительной и многолетней — тоже тут. Обида его велика, и сам он тоже несдержан, не везде справедлив. Но, опять-таки, не это главное. Главное: дайте работать, дело отстает, подчеркивает: «Это недопустимо!»

Если бы Сталин читал такие письма, взгляд его, надо думать, задержался бы на послании Королева. Потому задержался бы, что сам вид этого документа необычен. Трудно поверить, но все заявление Королев уместил на одном (!) листке, вырванном из ученической тетради по арифметике. От самого верха до нижнего предела, без полей, с двух сторон в каждой клеточке листка — бисером ясные, четкие буквы, словно выцарапанные иглой. На расстоянии вытянутой руки листок этот уже не воспринимается как рукопись, а кажется просто клочком какой-то фиолетовой рябенькой бумаги. Когда поставят памятник жертвам «культа личности» и организуют музей,— а его непременно организуют! — письмо это должно экспонироваться в главной витрине.

Есть и второй, точно такой же листок, слово в слово повторяющий первый. Он написан в тот же день на точно такой же тетрадной страничке. Только адресат другой: Берия. Почти нет разночтений и с третьим экземпляром, написанным через десять дней и адресованным Прокурору СССР Панкратьеву. Сталина и Берию он просит назначить новое объективное следствие, Панкратьева — отменить приговор. Он понимает теперь: пройдет буквально несколько дней, сколотят новый этап, засунут в теплушку и отвезут обратно на Вторую Речку. И тогда — зима и смерть. «Прошу Вас задержать исполнение решения Особого совещания, само решение отменить, а дело мое снова передать на объективное расследование...»,— эти слова в своем письме Сергей Павлович подчеркивает. Впервые в противовес допрошенным свидетелям он просит вызвать других свидетелей: профессора Пышнова, профессора Юрьева, инженера Дрязгова, а также экспертов Щетинкова и Кисенко, просит очные ставки. «Я могу доказать свою полную невиновность и прошу дать мне эту возможность»,— пишет Королев. Но возможность эту ему не дали. Нет, не отказали. Просто никакого ответа на все эти послания не было.

13 сентября Королев написал новое заявление: «Прокурору Союза ССР из Бутырской тюрьмы, камера 66». Уже не просит ни следствие новое назначить, ни приговор отменить. Одна просьба: «вызвать меня для личных переговоров».

И на этот раз тоже никто его ни для каких переговоров не вызывал, но бывают же совпадения. Именно 13 сентября, когда Королев писал свое заявление в камере № 66 Бутырской тюрьмы, судьба его была, наконец, решена,— Кобулов вынес постановление: «Осужденного Королева как специалиста — авиационного конструктора, подавшего заявление с предложением об использовании, перевести в Особое техническое бюро при НКВД СССР».

8

Особенно много времени уделял товарищ Сталин воспитанию конструкторов.

Александр Яковлев,
авиаконструктор.

Авиация — это не ракетная техника, авиация — дело серьезное. В 38-м на Лубянке следователь говорил Королеву: «Занимались бы делом и строили бы самолеты. Ракеты-то, наверное, для покушения на вождя?..»

А раз авиация — дело серьезное, то и сажать авиационных специалистов начали раньше ракетчиков, и посадили многих.

Туполева взяли 21 октября 1937 года прямо в рабочем кабинете,— пришли и увели. По делу Туполева проходило более двадцати человек, и все дали показания, что Туполев — враг народа. Кроме основного — организации «русско-фашистской партии»,— Туполеву «липили» связь с профессорами-кадетами, высланными за границу, вредительство при подготовке рекордных перелетов Громова, внедрение порочной американской технологии, срыв сроков строительства новых корпусов ЦАГИ и несовершенство всех самолетов, созданных в его КБ, даже тех, которые всем авиационным миром признавались вершиной современной конструкторской мысли. Туполева не били,— подержали немного «на конвейере», что для него, человека тучного, было особенно мучительно. А потом применили прием древний, как мир, хорошо выверенный и почти всегда срабатывающий: сказали, что, если не «признается», семье конец,— жену в лагерь, сына и дочку в детские дома. Через неделю после ареста он во всем «признался», а через полтора месяца, на новом допросе, добавил еще, что повинен в срыве перелета Леваневского через полюс в Америку в 1935 году [1] и его гибели в 37-м, а также в шпионаже в пользу Франции аж с 1924 года. Сказал, что в 1935 году он лично передал в Париже шпионские сведения министру авиации Франции Денену. Удивительно, как бдительным следователям не пришло в голову: а почему, собственно, шпионские сведения надо передавать министру, когда для этого существует масса опытных агентов «Сюрте Женераль».

Туполев долго сидел в Бутырках, никто его никуда не вызывал, о нем словно забыли. Он прибрасывал в уме новый бомбардировщик, объяснял своим сокамерникам, что в его жизнь вторглось нечто мистическое: надо же, статья 58-я, камера в Бутырке № 58, и новый самолет, если соблюдать нумерацию, будет АНТ-58! Однако почему же его мурыжат и что там они замышляют?

Следствие закончилось в апреле 1938 года, но суда не было, а стало быть, и этапировать его было нельзя. Андрей Николаевич не знал, что следователь его — лейтенант Есипенко — вовсе не забыл о нем и сам вынужден был объяснять своему начальству, что «дело с обвинительным заключением находилось без движения до разрешения вопроса об использовании Туполева на работе в Особом Конструкторском Бюро».

«Разрешение вопроса» приближалось. К этому времени относится как раз организация шараги в Болшево — подмосковном дачном поселке. Впрочем, шарагой в чистом виде она не была, как не была тюрьмой и пересылкой,— это был своеобразный гибрид, выведенный лубянскими «селекционерами», который точнее всего можно назвать мозговым отстойником или интеллектуальным сепаратором. Сюда свозили зеков-оборонщиков из всех тюрем и лагерей Советского Союза. В просторном спальном бараке с чистым полом и ласковыми голландскими печками, словно в огромной шкатулке, накапливались невероятные национальные сокровища: смелые идеи, дерзкие проекты, конструкторские озарения, немыслимые изобретения. В бараке сидели люди, большинство из которых в своей области были лидерами мирового масштаба: теоретики и конструкторы пушек, танков, самолетов, боевых кораблей. Артиллерист Евгений Александрович Беркалов, автор «формулы Беркалова», по которой во всем мире рассчитывались орудия, создатель тяжелой артиллерии русского флота, бывший полковник царской армии. Ему было около семидесяти — крепкий, жизнерадостный старик с абсолютно ясной головой.

Летчик и авиаконструктор Роберт Бартини, за всю свою жизнь он не создал ни одной тривиальной серой машины. Биография его годилась для приключенческого романа. Во время первой мировой войны сидел в плену во Владивостоке. Вернулся в Италию. В 1921-м Бартини, сын барона Лодовико ди Бартини — государственного секретаря Итальянского королевства,— вступил в коммунистическую партию. Попал в тюрьму. Бежал из тюрьмы и приехал в Советский Союз, чтобы бороться с фашизмом. Над ним грустно подшучивали:

— Ты здорово выгадал, Роберт: убежал из одной тюрьмы и прибежал в другую...

— Конечно, выгадал! — кричал он с истинно итальянским темпераментом.— Муссолини дал мне двадцать лет, а Сталин только десять!

[1] Незначительная неисправность, по мнению некоторых специалистов, не представлявшая серьезной опасности, встревожила Леваневского, и он повернул назад.

В Болшево сидел выдающийся механик Некрасов, один из лучших наших корабелов латыш Гоинкис, конструктор подводных лодок Кассациер, ведущий специалист по авиационному вооружению Надашкевич, изобретатель ныряющего катера Бреджинский, главный конструктор самолетов БОК-15, предназначавшихся для рекордного перелета вокруг земного шара, Чижевский, крупнейший технолог автопрома Иванов, главный конструктор Харьковского авиационного КБ Неман, первым в нашей стране построивший самолет с убирающимися шасси, и многие другие светлые умы. Все это напоминало бы Александрию времен Птолемеев, где, по словам дерзкого странствующего философа, «откармливают легионы книжных червей ручных, что ведут бесконечные споры в птичнике муз», но в Александрии у Птолемеев не было зоны, вертухаев на вышках по углам и глухого забора вокруг бараков. Впрочем, и самих бараков в Александрии тоже не было. Но «бесконечные споры в птичнике муз» были! Вырвавшиеся из камер, рудников, с лесоповалов, голодные, избитые, больные люди попали пусть в тюрьму, но тюрьму, где досыта кормили, где спали на простынях, где не было воров, отнимающих валенки, конвоиров, тычущих в спину прикладом, а главное — не было тачек, коробов, бутар, лопат, пил, топоров, не было этого смертельного изнурения, когда их заставляли делать то, что они никогда не делали, не умели и не в состоянии были делать.

Ошеломление, которое испытывали вновь прибывшие в Болшево, быстро сменялось бурным взрывом эйфории и энтузиазма. Не меньше, чем от голода физического, настрадались эти люди от голода интеллектуального. Многие были знакомы еще на воле, большинство слышало друг о друге, но если даже не слышало,— понимало, что все здесь собравшиеся — люди одного круга, что тут возможен долгожданный разговор по душам, а главное — что тебя поймут, если ты будешь говорить о деле. Не о «Деле», в которое подшивали протоколы после мордобоя, а о Деле, которому они были преданы всегда и мысли о котором не могли истребить ни рудники, ни лесоповалы. Конечно, и в Болшево были «стукачи», не могли не быть,— это привело бы к нарушению системы,— но плевать им было на стукачей! Они не говорили о политике, у них была масса гораздо более интересных тем для обсуждения. И более того: так, как они разговаривали здесь, они не могли говорить на воле. Там, разделенные глухими заборами специализированной секретности, они не имели права на такое общение. Титул «врага народа» освобождал их теперь от всех обязательств и расписок, хранящихся в 1-м отделе. Тайн не существовало! Собираясь группками, они по многу часов что-то обсуждали, рисовали, чертили пальцем в воздухе и понимали, читали эти невидимые чертежи; схватив карандашный огрызок, тут же что-то считали, восклицали, радостно тыча в грудь друг другу клочки бумаги с формулами.

— А если мою пушку поставить на ваш танк, вы представляете?!

— Есть такой масляный насос! Уже года два, как мы его сделали! Точно под ваши расходы...

— Надо зализать вот это ребро вашей рубки, как мы сделали на ГАНТ-8 [1], и скорость лодки наверняка возрастет...

— Эта тяга работает на срез, и, уверяю, сварка здесь лучше клепки...

— Да все очень просто! Смотрите, выкидываем нервюру, она вам абсолютно тут не нужна, только вес нагоняет, и нужное место освобождается!..

Это были минуты высокого наслаждения, потому что в эти минуты они не ощущали себя рабами, в них воскрешались люди. Вчерашняя забота о пайке хлеба уступала гордой формуле Рене Декарта: «Я мыслю, следовательно я существую».

Королев еще сидел в Новочеркасской тюрьме, впереди был этап к берегам Тихого океана, и Мальдяк, и обратный путь, когда в феврале 1939 года Андрея Николаевича Туполева привезли в Болшево. В засаленном, грязном макинтоше и кепочке — так его увезли из Наркомтяжпрома осенью 37-го — выглядел он странновато. Прижимал к себе «сидор» с пайкой черного хлеба и не-

[1] Торпедный катер КБ Туполева, очевидно, тогда — лучший в мире. К моменту ареста конструктора уже проходил испытания в Севастополе.

сколькими кусочками сахара. Расставаться с этими сокровищами не хотел, пока его не убедили, что кормят тут сытно и вволю. Из уважения к авиационному патриарху (а патриарху только что исполнилось пятьдесят) ему отвели койку у печки. Туполев уселся на ней в излюбленной своей позе — подвернув под себя ногу в шерстяном носке, огляделся и спросил:

— Так. Замечательно. А работают-то у вас где?

В Болшеве было три барака: спальня и помещения охраны, столовая с кухней и КБ — рабочий барак. Там энергично разворачивался Бартини. Вместе с Сергеем Егером — недавним сотрудником Ильюшина [1] — они задумали какой-то фантастический самолет и уже сделали эскизный проект. Туполев долго разглядывал чертежи, ворчливо спрашивал: «А это еще зачем?» — и черкал коричневым карандашом. В тот же день он заявил Кутепову, что работать начнет при одном условии: он должен убедиться, что жена его на свободе.

Григорий Яковлевич Кутепов, главный начальник Болшевской шараги, делал головокружительную карьеру. Еще с декабря 1929 года в Бутырской тюрьме существовало КБВТ — Конструкторское бюро «Внутренняя тюрьма» — во главе с Поликарповым и Григоровичем, в ту же зиму переведенное в ангары Ходынского аэродрома и названное ЦКБ-39-ОГПУ. Кутепов трудился на этом аэродроме слесарем-электриком, но подлинное свое призвание нашел он в работе с зеками. Новый талант электрика был замечен, и через десять лет Гришка Кутепов — так называли его все авиационники — вознесся до начальника вновь организованной шараги. В конструировании самолетов Кутепов ничего не понимал, но кто такой Туполев — знал и сообразил, что просто отмахнуться от ультиматума Андрея Николаевича нельзя. Он доложил по начальству.

Жена Туполева Юлия Николаевна была арестована через неделю после того, как Андрея Николаевича увезли на Лубянку. Ее допрашивали шесть раз, добиваясь признания в антисоветской деятельности мужа, никаких показаний она не дала, и с конца апреля 1939 года вызывать на допросы ее перестали. Туполеву передали записку, в которой она его успокаивала, но Берия обманул: освободили ее только в ноябре.

Изголодавшийся по работе Туполев обрушил на своих коллег целую россыпь замечательных идей. Он предложил делать новый бомбардировщик — скоростной, пикирующий, небольшой, двухмоторный, с экипажем не более трех человек,— мобильный самолет мобильной войны. Работа закипела и продвигалась очень быстро: специалисты собрались классные. Но однажды после очередной поездки в Москву к начальству Туполев вернулся раздраженный и на следующий день его снова повезли на Лубянку вместе с Егером, Френкелем и всеми чертежами будущего самолета. К ночи они не вернулись. И на следующее утро их не было. По шараге поползли слухи.

Вкусив «сладкой жизни» Болшева, зеки смертельно боялись возвращения на каторгу. Косой взгляд Гришки, небрежно брошенное им слово, просто по неграмотности приобретающее двоякий смысл, малейшие изменения режима, снабжения, питания и всего прочего сразу всех настораживали. А тут уехали — и нет! Ужели теперь разгонят и впереди этап?! Оказывается, тройку зеков с чертежами принимал Давыдов — новый начальник всех шараг, сменивший Кравченко. Идея бомбардировщика ему понравилась, и он предупредил, что завтра их примет Берия, которому Туполев должен все подробно объяснить. Для «удобства» обратно в Болшево их не повезли, а развели на ночь по одиночкам внутренней тюрьмы. Сам визит так описал со слов Туполева в своих воспоминаниях один из его ближайших соратников, Леонид Львович Кербер [2].

«Прием у Берия, в его огромном кабинете, выходившем окнами на площадь, был помпезным. На столе разостланы чертежи. У конца, который в сторону «ближайшего помощника и лучшего друга» главного вождя, сидит Туполев,

[1] Когда жена Сергея Михайловича Егера после его ареста спросила у Ильюшина, который бывал в их доме, не знает ли он что-нибудь о судьбе Сергея Михайловича, Ильюшин ответил сухо: «Я вообще таких не знаю...» Пишу это не для того, чтобы бросить тень на имя выдающегося советского конструктора, но лишь потому, чтобы дать долгожданное право памяти нашей воздать каждому сообразно не только уму его и таланту, но чести и доброте.

[2] Журнал «Изобретатель и рационализатор» №№ 3—7, 1988 год.

рядом с ним офицер, напротив — Давыдов. Поодаль, у стены, между двумя офицерами — Егер и Френкель. Выслушав Туполева, «ближайший» произнес: «Ваши предложения я рассказал товарищу Сталину. Он согласился с моим мнением, что нам сейчас нужен не такой самолет, а высотный, дальний, четырехмоторный пикирующий бомбардировщик, назовем его ПБ-4. Мы не собираемся наносить булавочные уколы,— он неодобрительно указал пальцем на чертеж АНТ-58,— нет, мы будем громить зверя в его берлоге.— Обращаясь к Давыдову: — Примите меры,— кивок в сторону заключенных,— чтобы они через месяц подготовили предложения. Все!»

Трудно даже вообразить себе ярость Туполева — человека страстей необузданных. Кто больше понимает в самолетах, он или Берия?! Кому нужна эта четырехмоторная тихоходная махина при нынешнем потолке зенитной артиллерии?! Постепенно он успокоился, подумал, поговорил со своей «гвардией» и решил, что, взяв за основу АНТ-42[1], сделать эту летающую мишень для зенитчиков можно, но делать ее все-таки не нужно.

— Жорж! — крикнул он Френкелю.— Бери бумагу, будем писать объяснительную!

В записке доказывалось, что конструировать четырехмоторный бомбардировщик нецелесообразно, потому что он уже сделан, и надо просто наладить его производство. А нужен небольшой, массовый, маневренный пикирующий бомбардировщик. Гарантировать те тактико-технические показатели, какие от него, Туполева, требуют для четырехмоторной громадины, он не может, а для АНТ-58 может и гарантирует.

Туполев умер в 1972 году, мне довелось лишь однажды говорить с ним, расспросить обо всей этой эпопее я его не успел. Да и не уверен, что он стал бы рассказывать — к пишущей братии Андрей Николаевич был очень строг, на просьбы часто отвечал резкими отказами. Поэтому вынужден снова прибегнуть к помощи Леонида Львовича Кербера:

«Через месяц Туполева отвезли на Лубянку одного. На этот раз он пропадал три дня, и мы изрядно за него поволновались, а вернувшись, рассказал:

— Мой доклад вызвал у Берия раздражение. Когда я закончил, он взглянул на меня откровенно злобно. Видимо, про ПБ-4 он наговорил Сталину достаточно много, а может быть, и убедил его. Меня это удивило, из прошлого я вынес впечатление, что Сталин в авиации если и не разбирается как конструктор, то все же имеет здравый смысл и точку зрения. Берия сказал, что они разберутся. Сутки я волновался в одиночке, затем был вызван вновь. «Так вот, мы с товарищем Сталиным еще раз ознакомились с материалами. Решение таково: сейчас, и срочно, делать двухмоторный. Как только кончите, приступите к ПБ-4, он нам очень нужен». Затем между нами состоялся такой диалог:

Берия: Какая у вас скорость?

Я: Шестьсот.

Берия: Мало, надо семьсот! Какая дальность?

Я: Две тысячи километров.

Берия: Не годится, надо три тысячи! Какая нагрузка?

Я: Три тонны.

Он: Мало, надо четыре. Все! — И обращаясь к Давыдову:

— Поручите военным составить требования к двухмоторному пикировщику. Параметры, заявленные гражданином Туполевым, уточните в духе моих указаний».

Позднее Туполев объяснил своим коллегам, что идея ПБ-4 была не только порочна с технической и военно-тактической точек зрения, но и грозила арестованным конструкторам гибельными последствиями. Самолет, придуманный Берией, военные скорее всего не приняли бы, а их отказ был бы равносилен новому обвинению во вредительстве, и кто знает, чем бы окончилась эта история для авторов отвергнутого проекта. Но теперь все страхи были позади, и работа возобновилась с прежним рвением. Один из ее эпизодов завершал недолгую, но славную историю болшевской шарашки.

[1] Другие обозначения этого самолета ТБ-6 и Пе-8. Создан в 1934—1936 годах.

Туполев решил построить макет будущего бомбардировщика в натуральную величину прямо в зоне, под открытым небом. Сергей Егер чертил шпангоуты на фанере, Саша Алимов, бортмеханик с 39-го авиазавода, выпиливал и сбивал всю конструкцию. Туполев и сам с удовольствием приходил помогать. Скоро макет был готов. Но тут прибежал Кутепов и потребовал немедленно макет разобрать. Остряки пустили слух, что Гришка боится, как бы зеки не совершили побег с помощью макета, но скоро выяснилось, что военные летчики увидели сверху лежащий в лесу самолет, решили, что он сел на вынужденную и товарищей надо спасать! Как был погашен благородный порыв летчиков, неизвестно, макет накрыли огромным брезентом, а всей болшевской шараге скоро пришел конец. К этому времени московские металлурги выполнили ответственнейшее задание Лаврентия Павловича — изготовили огромное количество железных решеток, которыми изнутри, чтобы не портить импозантного фасада, одели все окна здания ЦАГИ на углу улицы Радио и Салтыковской набережной[1] речки Яузы. В этом здании размещался КОСОС — руководимый Туполевым Конструкторский отдел сектора Опытного строительства ЦАГИ, а также завод № 156, воплощавший в металле задуманное там. Отныне зарешеченное учреждение именовалось Центральным конструкторским бюро № 29 НКВД. Болшево — отстойник, разноязычный Вавилон, ЦКБ-29 — это уже большая, настоящая, в данном случае авиационная шарага.

Появление Туполева в ЦАГИ произвело впечатление разорвавшейся бомбы: ходили упорные слухи, что Андрей Николаевич расстрелян. Он вернулся на родное пепелище, но именно на пепелище: конструкторское бюро было просто разгромлено НКВД.

Еще в Болшеве Туполев заявил, что конструирование самолетов — дело коллективное и, для того чтобы выполнить то, что от него требуют, ему нужны специалисты.

— Какого черта вы упрекаете меня в медлительности,— раздраженно, в своей обычной небрежно-грубоватой манере говорил он Давыдову.— А с кем я работаю? В КБ приходят люди разных специальностей, чаще не способные отличить крыло от хвостового оперения. А инженеров-авиационников разбросали по всей стране... Вам какие самолеты нужны: из говна или из металла?

Слух о шарашке гулял по ГУЛАГу, зеки сюда стремились, и к туполевскому порогу подчас действительно прибивало людей случайных, никакого отношения к авиации не имеющих. Так в ЦКБ-29 оказались бывший начальник Ленинградской Электротехнической академии Константин Полищук, математик и физик Юрий Румер, звукооператор Виктор Сахаров, дипломник Станкостроительного института Игорь Бабин, изобретатель и разведчик, человек фантастической биографии Лев Термен. Это были люди талантливые, как говорится, все хватающие на лету, но сразу заменить специалистов они не могли.

Кутепов подумал, посоветовался на Лубянке и предложил Туполеву составить списки нужных людей. Списки составлять было опасно: в них могли оказаться вольные, и Туполев боялся упрятать их за решетку. Постепенно, опросив товарищей, встречавших в тюрьмах своих коллег, Туполев списки все-таки составил, и в Болшево, а потом и на яузскую набережную стали стекаться авиаарестанты.

Списков Туполева я не видел, но, думаю, они сохранились: такие документы не выбрасывают, они лежат в каком-нибудь архиве, ждут своего часа. Не знаю, был ли в этих списках Сергей Павлович Королев. Весьма вероятно, что был. Ведь планеризм давно ввел его в мир авиации. Газеты и журналы писали о нем как о молодом талантливом авиаконструкторе. Да и увлечение ракетной техникой корнями шло из авиации. Пленники Болшева могли встретиться с Сергеем Павловичем в Бутырке в 38-м году, и в 40-м, и в пересылках. Если колымская легенда об Усачеве верна, то и он, возможно, рассказал Андрею Николаевичу о Королеве, поскольку точно известно, что Михаил Александрович Уса-

[1] Ныне набережная академика Туполева.

чев работал в шараге у Туполева. Да и сам Туполев мог вспомнить о своем дипломнике, ведь и десяти лет не прошло с того времени, как он консультировал дипломный проект Королева — авиетку СК-4. Впрочем, это все неважно. Был ли Королев в списке Туполева или не был, но Кобулов постановление подписал, и в сентябре 1940 года Сергей Павлович был доставлен в ЦКБ-29-НКВД.

Такое пережить надо. В спальнях кровати с наволочками и простынками. И в спальню не входят вертухаи, спальня — заповедник зеков. И в спальне ночью тушат свет: уже два года, если не считать теплушек, не спал он в темноте. И душ! И в столовой скатерти, салфетки, хлеб лежит горкой и тарелки глубокие и мелкие, и ложки, вилки, ножи, и какао, и кто-то сердито выговаривает подавальщице, что какао остыло! Такое пережить надо!

Вновь прибывшие первый день не работали. Надо было, чтобы они немного пришли в себя, уяснили новые правила, поняли, что таскать из столовой и прятать под подушку хлеб не следует. На другой день новичка определяли в одно из конструкторских бюро, составляющих ЦКБ-29: кроме группы Туполева, самой многочисленной и сильной, здесь работали группы Петлякова, Мясищева, а позднее и Томашевича.

Раньше всех в ЦКБ перебрался со своими людьми Владимир Михайлович Петляков. Арестовали его через неделю после Туполева, и в конце мая 1940 года Военная коллегия Верховного суда заочно определила ему десять лет лагерей, пятилетнее поражение в правах и конфискацию всего имущества. Однако после вынесения этого приговора заключенным Петляков числился меньше двух месяцев. Дело было так. Петляков и его группа начали работать над двухмоторным высотным скоростным истребителем-перехватчиком. Очень быстро такой истребитель был создан, и в апреле 1940 года летчик-испытатель Петр Стефановский уже летал на нем, а 1 мая проект 100, «сотка» — так называлась новая машина — уже участвовала в Первомайском параде на Красной площади. Стефановский сделал эффектную горку над Мавзолеем, впопыхах забыв убрать шасси. Если бы створки шасси не выдержали воздушного напора, оторвались и спланировали на Красную площадь, и Стефановского, и Петлякова, думаю, расстреляли бы в тот же день: трудно было бы вообразить более очевидное покушение на вождя. Но створки выдержали!

Однако тут выяснилось, что истребитель, хоть и неплох и сделан в рекордно короткий срок, армии не очень-то и нужен, поскольку функции его может выполнить МиГ-3, первый вариант которого тоже полетел в апреле 1940 года. К августу его испытания были закончены, новый истребитель участвовал в авиационном празднике в Тушине и очень понравился Сталину. Сразу было принято решение о его серийном выпуске. Но и до полета в Тушине всем было ясно, что «сотка» не нужна. Подобно сказочному Ивану, которого царь-самодур вымучивает невыполнимыми поручениями, Петляков получил новое, поистине «сказочное» задание: за полтора месяца переделать истребитель в бомбардировщик. И переделал! И, что самое удивительное, получилась очень неплохая машина — всем известный Пе-2, один из основных наших бомбардировщиков во время войны. Серийное производство его началось уже 23 июня 1940 года, а 25 июля Петлякова освободили вместе с группой его помощников.

Дальше судьба-индейка распорядилась так. В 1941 году Петляков получает за бомбардировщик Сталинскую премию, после начала войны работает в Казани, организует массовый выпуск своих самолетов. В январе 1942 года его вызвали в Москву. Он полетел на одном из Пе-2, который перегоняли на фронт. Под Арзамасом самолет загорелся и упал. Так нелепо погиб действительно в самом расцвете сил этот талантливый авиаконструктор.

Когда Королева привезли на улицу Радио, первый «выпуск» состоялся — Петляков и его товарищи работали в ЦКБ-29 уже вольными, ночевать ездили домой. Вместе с Петляковым был непонятно почему (к Пе-2 он никакого отношения не имел) освобожден и Владимир Михайлович Мясищев — «Вольдемар»,

как звал его Туполев, «Боярин» — такое прозвище было у него в шараге. Мясищев возглавлял второе КБ, которое проектировало дальний высотный бомбардировщик — проект 102. К нему и был определен Королев. Мясищев поручил ему сделать бомбовые люки. Сделал быстро и хорошо: створки уходили вовнутрь, не портили аэродинамику. Но потом работа разладилась. Мясищев был человек не легкий. В отличие от добродушной грубости Туполева «Боярин» иногда резко язвил, мог поранить больно, обидно. Королев — сам не сахар, да и от тюремной жизни он еще не отошел. Они сцепились. Королева перевели в КБ Туполева, в группу фюзеляжа.

Почти все, кто был в то время рядом с Королевым, отмечают его постоянную угрюмость, глубокую подавленность и предельно пессимистический взгляд на будущее. «Хлопнут нас всех, братцы, без некролога» — вот слова, наиболее характерные для Королева 1940 года.

Многим авиационникам срок дали прямо в ЦКБ — приехал человек с Лубянки, вызывал по одному, предъявлял постановление и велел расписаться. Все получали «по стандарту» — десять лет и пять лет поражения в правах. Исключение составляли Туполев, которому дали 15 лет, и вооруженец Борис Сергеевич Вахмистров, получивший, непонятно почему, 5 лет (опять эти поиски логики!). Человек с Лубянки забрал расписки и уехал, жизнь пошла своим чередом, абсолютно ничего не изменилось — что был приговор, что не было его.

Существует шуточное определение, что пессимист — это хорошо информированный оптимист. На фоне своих товарищей по несчастью Королев выглядел (и был!) пессимистом потому, что он гораздо лучше их был осведомлен о лагерном быте. Многие зеки ЦКБ вообще не знали, что такое этап, лагерь. Королев никак не мог прийти в себя после второго приговора, в рай ЦКБ он не верил, был убежден, что сладкая жизнь в любой момент может кончиться, а когда слышал, что, вот, сделают самолет и всех отпустят,— криво улыбаясь, наставлял розовых оптимистов:

— Поймите, никто не застрахован от разных qui pro quo[1] Фемиды. Глаза-то у нее завязаны, возьмет и ошибется, сегодня решаешь дифференциальные уравнения, а завтра Колыма...

Мысль о неотвратимости Колымы преследовала его постоянно.

Вообще в шараге существовало довольно четкое деление на пессимистов и оптимистов. Кроме Королева, к пессимистам относился, например, физик Карл Сциллард. Периоды спокойной работы сменялись у него ни с того ни с сего вспышками мадьярского гнева, он не находил себе места, метался и, наконец, дождавшись отбоя, затихал, уткнувшись лицом в подушку. Он был убежден, что все изменения их существования могут происходить только в худшую сторону.

Воинственно мрачным был и Петр Александрович Вальтер, туполевский аэродинамик, член-корреспондент Академии наук. Сухонький, маленький, в старомодном пенсне, он, задрав кверху бородку, все время спорил с молодежью, которая наградила его за агрессивность прозвищем «тигромедведь», хотя Вальтер категорически не был похож на тигра, а на медведя — тем более. Судьба этого выдающегося ученого трагична. Милость Берии по причинам непонятным постоянно обходила его во время разных локальных амнистий, и Петр Александрович так и умер в тюрьме — в Таганрогской шараге — уже после войны.

Напротив, безусловным оптимистом был, например, Александр Васильевич Надашкевич — едва ли не лучший в стране специалист по авиационному вооружению, бонвиван, жизнелюбия которого не могли поколебать ни КБ «Внутренняя тюрьма» в 1929 году, ни ЦКБ-29 в 1939-м.

— Уверяю вас, ничего с нами не будет,— убеждал он маловеров.— Мы умеем делать хорошие самолеты, а самолеты им нужны, и нас не расстреляют.

Надашкевич ошибался. Очень многих ответственных работников авиапрома расстреляли в 1938 году еще до организации шарашек. Среди них Николай Ми-

[1] Путаница, недоразумение (латинск.).

хайлович Харламов, директор ЦАГИ; Василий Иванович Чекалов, начальник 8-го отдела ЦАГИ; Евгений Михайлович Фурманов, заместитель начальника отдела подготовки кадров ЦАГИ; Кирилл Александрович Инюшин, заместитель начальника планово-технического отдела завода № 156; Израиль Эммануилович Марьямов, директор завода № 24; Георгий Никитович Королев, директор завода № 26; Андрей Макарович Метло, начальник 2-го отдела 1-го Главного управления НКОП, и другие ни в чем не повинные люди, которые умели делать хорошие самолеты.

Наверное было бы неправильно объяснять пессимизм Королева только новым приговором. Мне кажется, есть и другие причины, и одна из них — жажда ясности. Биография Сергея Павловича постоянно демонстрирует эту острейшую его потребность. Он любил знать. С той поры, когда в нежинском доме бабушки он спрашивал молоденькую учительницу Лидочку Гринфельд, которая читала ему басни Крылова: «А что значит «вещуньина»?»,— с тех младых лет крепло в нем постоянное желание разобраться во всем окружающем, понять ход событий, ясно представлять себе продолжение своей жизни. Он всегда знал, что надо делать, и смело планировал свое будущее. Тюрьма лишила его не только движения в пространстве, но и движения во времени. Неопределенность существования угнетала не меньше, чем условия этого существования. И избавиться от этой неопределенности он не мог, ибо не понимал ее механизма. Королев долго наблюдал тюремные правила шараги. Многие из них, какими бы дикими они ни казались с первого взгляда, можно было объяснить. Ну, скажем, запрещалось иметь часы. Вообще нигде никаких часов не было. Дико? Но все-таки можно понять: нельзя согласовать время побега. Есть приемы, которые позволяют использовать часы как компас (что особенно актуально в Москве!). Тут хоть видимость какой-то работы мысли. Или замена фамилий конструкторов во всей технической документации личными номерами. И это можно понять. Номер вместо фамилии — давнее тюремное правило. Сталин всегда подавлял человеческую личность; иметь свое лицо разрешалось только нескольким десяткам людей — тоненькой пленке из писателей, музыкантов, актеров, летчиков, ученых, ударников, спортсменов, прикрывавшей огромную безликую массу народа. Один человек должен отличаться от другого не больше, чем одна от другой отличаются цифры.

Но существовали вопросы, которые зеки часто задавали себе и ответы на которые не находили. Почему, например, Берия вообще возродил шараги? Надашкевич прав: нужны хорошие самолеты. И другое есть объяснение: Берии требуется доказать эффективность своей системы.

Но зачем тогда простыни и какао? Ведь они конструировали бы самолеты лишь за право их конструировать, за счастье сменить тачку на кульман, за то, что рядом с тобой спит член-корреспондент Академии наук, а не «вор в законе». Конечно, нельзя строить самолеты, если постоянно думаешь о куске хлеба. Но если мыслить в этом направлении и признать зависимость итогов творчества от условий жизни творца, то почему же вообще не освободить?! Хорошо, давайте следовать их логике и считать, что Петляков сделал хороший самолет не потому, что не может сделать плохой, а потому, что хочет получить свободу. Но по такой логике получается, что теперь, находясь на свободе, Петляков вообще перестанет делать самолеты! Как понять этот извращенный ход мыслей? Размышляя с зеками на эти темы, Королев старался выйти из того духовного кризиса, который он переживал даже не с момента своего ареста, а раньше, с тех пор, как расстреляли Тухачевского, как посадили Клейменова и Лангемака. Реставрация души шла медленно, но шла. На берегах Берелеха его сгибали и замораживали, на берегах Яузы он выпрямлялся и оттаивал.

Вновь повторю: для Королева работа была важнее свободы, а условия работы в его положении тут были идеальные. Конструкторские бюро не запирались на ночь, приходи, когда хочешь, и работай. Если надо пройти на опытное производство (завод № 156 — ЗОК — завод опытных конструкций ЦАГИ находился на той же территории), из «паровозного депо» — помещения для конвойных — вызывался сопровождающий «попка» (он же вертухай, он же «тягач», он же «свечка». Туполев дал свое название: «Лутонька с вышки». Почему «Лутонька» — не объяснял). Неподалеку от «паровозного депо» располагался кабинет Кутепова и его заместителей: Ямалутдинова — «руководителя» Петлякова, Устинова — «руководителя» Мясищева и Балашова — «руководителя» Туполева.

Пожалуй, терпимее всего заключенные относились к Минуле Садриевичу Ямалутдинову. Каким-то образом этот умный и хитрый мужик дал всем почувствовать, что он отлично понимает, что они — никакие не враги народа, но он будет делать вид, будто они враги. И еще: он не разбирается в технических вопросах совершенно, но будет делать вид, будто разбирается. Такой молчаливый договор всех устраивал.

«Паровозное депо», кабинеты «руководителей» и другие административные помещения занимали три первых этажа. Выше начиналось собственно конструкторское бюро. Стол Королева стоял в «аквариуме» — большом двухэтажном зале с огромными окнами, выходящими во внутренний двор ЦАГИ. «Аквариум» был набит битком — там работало больше сотни человек, в основном «каркасники», то есть проектировщики фюзеляжа, крыльев, оперения. Вооруженцы, специалисты по электрооборудованию и разной другой самолетной начинке располагались в маленьких комнатах неподалеку от «аквариума» и на других этажах. ЦКБ-29 было могучей организацией — наверное, крупнейшим авиаконструкторским бюро страны, в нем работало не менее восьмисот сотрудников. Зеки составляли лишь небольшую — около сотни,— но важнейшую часть, поскольку это был мозг ЦКБ. Отличить зека от вольных на работе было довольно трудно. Зеки выглядели пообшарпаннее, но и вольные одеты были скромно. Разглядывая «аквариум» долго, внимательный наблюдатель заметил бы только, что зеки как бы молчаливее: к ним не обращались ни с какими разговорами, с работой не связанными.

Выше конструкторского бюро размещалась тюрьма, то есть спальни зеков. Было четыре спальни, каждая примерно человек на тридцать. Заселялись они вначале хаотично, «по мере поступления контингента», потом перераспределялись: пожилые — к пожилым, молодежь — к молодежи. В каждой спальне был назначенный «руководством» староста. Самая большая спальня — «Дубовый зал» — называлась спальней Алимова,— он был старостой. Здесь жили Туполев и его ближайшие сотрудники: Базенков, Егер, Кербер, Рогов, Надашкевич, Вигдорчик, Бонин и другие.

Королев жил в спальне Склянского. Иосиф Маркович Склянский, в прошлом ведущий инженер по электрооборудованию завода № 22, на беду свою был не только членом «русско-фашистской партии», но и родным братом Эфроима Марковича Склянского — правой руки Троцкого. Эфроим Маркович был определен Сталиным на дипломатическую службу и утонул в каком-то глухом озере при загадочных обстоятельствах. В спальне соседями Королева были Дмитрий Марков — арестован у Поликарпова, Туполев сделал его начальником бригады оперения; Тимофей Сапрыкин — в прошлом автогонщик, а после перелома ног — начальник бригады шасси (что, конечно, вызывало шуточки); старый летчик и конструктор Вячеслав Павлович Невдачин, который летал над Одессой раньше, чем десятилетний Сережа там поселился, а с 20-х годов работал с Поликарповым. Не то чтобы Королев соседей своих сторонился, но первым с ними в разговор никогда не вступал. Когда спрашивали, отвечал вежливо, но дружбы не возникало. Королев трудно сходился с людьми, а здесь еще, конечно, тюрьма виновата. Как заметил в XVII веке английский богослов Томас Фуллер, не может быть дружбы там, где нет свободы.

Рядом с кроватью Сергея Павловича, как и у других зеков, стояла «персональная» тумбочка, в которой, к его великому удивлению, ни разу не сделали «шмона». Вообще обхождение с зеками было самое вежливое, называли на «вы», а уж о зуботычинах и подавно забыли. После Бутырки, не говоря уже о Колыме, правила для зеков выглядели пределом тюремного либерализма. Заключенным ЦКБ запрещалось посылать с вольными записки домой и получать через них письма из дома. Вообще какое-либо внеслужебное, к делу не относящееся

общение с ними преследовалось. Вольным за такие дела угрожал арест. Запрещалось иметь в спальне ножи — они были только у старост. Каралось пьянство. Спиртного не давали, а за потребление одеколона из тюремного ларька можно угодить в карцер Бутырок, поскольку своего карцера в ЦКБ не предусмотрели. Но к карцеру прибегали крайне редко — зеки были очень дисциплинированными.— Гришка объяснил популярно: если что не так — сразу в лагерь.

На крыше был «обезьянник» — обнесенная решеткой площадка, действительно похожая на вольеру зоопарка. Там гуляли и разглядывали Москву. Королеву рассказывали, что 1 мая из «обезьянника» была видна летящая над Красной площадью «сотка» и Петляков даже закричал: «Шасси! Он не убрал шасси!..»

В «обезьяннике» вечерком хорошо было посидеть, покурить. Папиросы выдавали бесплатно с тех пор, как однажды, после очередного совещания в кабинете Берии, Туполев стал собирать коробки и пачки, лежавшие на столе, и рассовывать их по карманам. Берия спросил, в чем дело?

— Мало того, что кормят паршиво, курить моим ребятам нечего!

Берия тут же вызвал какого-то хозяйственника и приказал снабжать ЦКБ папиросами и организовать питание на ресторанном уровне.

Кутепов — делать нечего, с а м приказал! — устроил опрос: кто что курит? Модные папиросы «Герцеговина-флор» (Сталин крошил их в трубку) заказали Туполев (для представительства, Андрей Николаевич не курил) и Алимов (из молодого пижонства). Профессор Некрасов предпочитал «Казбек», остальные — демократический «Беломор».

С ресторанным питанием оказалось сложнее. Гришка был в панике:

— Где же я вам возьму ресторанного повара?!

— Да хотя бы в «Национале»,— спокойно парировал Туполев.— Что вам стоит арестовать шеф-повара — и сюда!

Поднималась шарага в семь часов, умывались, брились, стелили постели и шли завтракать: каша, масло, кефир, сладкий чай. Потом работали до обеда. С часа до двух — обед: суп, мясо с гарниром, компот, какао,— и снова работа до семи вечера. В восемь ужин: опять какое-нибудь горячее блюдо, кефир, чай,— и свободное время до одиннадцати часов. Если кто-нибудь хотел поработать ночью, приносили бутерброды, кефир, чайник с кипятком и заварку.

В свободное время каждый занимался, чем хотел. Много читали. Был кружок любителей поэзии. Книги шли из Бутырской тюрьмы, библиотека которой, как и библиотека Лубянки, была одной из лучших в Москве, постоянно пополняясь конфискованными собраниями «врагов народа». На некоторых томиках даже можно было обнаружить надписи прежних владельцев: «Радек», «Рыков», «Из книг Бухарина». Устраивали производственные микросоветы. Просто трепались, сплетничали на тюремные темы, любители обсуждали прекрасную половину ЦКБ. Гуляли в «обезьяннике», в жаркие летние вечера поливали там друг друга из пожарного шланга. Однажды окатили Туполева, он так ругался, что слышно было на набережной. Полищук, Бартини и Соколов в свободное время занимались наукой — ставили опыты по электрофорезу, исследовали, как влияет электрическое поле на обтекание конструкций воздушным потоком. Абрам Самойлович Файнштейн до ареста был нашим торгпредом в Италии и сидел не как член «русско-фашистской партии», а как «фашистский шпион». В шарагу он попал, поскольку был, кроме того, еще замечательный химик, специалист по бакелиту и плексигласу. В свободное время он выпиливал отличные расчески, и его звали «Главный конструктор расчесок». Николай Николаевич Бочаров делал скрипки. Молодежь — Паша Буткевич, Игорь Бабин, Виктор Сахаров — соорудила из фанеры гитары, балалайки, мандолину и бубен с плотной калькой вместо кожи. Так возник маленький оркестрик, воистину «надежды маленький оркестрик»... Вечерами играли, пели.

Королев, который с юных лет никогда не был заводилой по части развлечений, и здесь держался в стороне. Замечали, что он что-то пишет, считает на линейке. Вряд ли эта работа касалась бомбардировщика. Никаких записей и набросков того времени не сохранилось. Уверен, что эти его потаенные труды имели отношение к ракетной технике, потому что везде, где была хоть какая-нибудь возможность заниматься ракетной техникой, будь то тюрьма, или курорт, Королев ею занимался.

Константин Ефимович Полищук свидетельствует: «Сергей Павлович все время обдумывал какой-то летательный аппарат, но что это был за аппарат, я не знаю. Я слышал, что он ходил с каким-то предложением к Кутепову». Королев ни с кем не делится, не советуется, расчетов своих не показывает. Отношение к ракетной технике в авиационной среде чаще всего было негативное. Один из зеков однажды прямо сказал Королеву:

— Вы со своими лунными проектами пускали деньги на ветер, вот нас и пересажали за ваши фокусы...

Иногда зекам удавалось убедить «руководство» в необходимости творческих командировок в другие конструкторские бюро, на испытательные станции, полигоны и аэродромы. Вырваться хоть на день из клетки хотелось всем, но случалось это не часто. Арон Рогов и Александр Алимов, например, работавшие над двигателем будущего бомбардировщика, ездили на Центральный аэродром в бокс ЦАГИ, «гоняли» двигатель. Надашкевич, Кербер и Френкель навалились на Туполева: надо съездить на заводы. Туполев сумел договориться с Кутеповым.

Королев никуда не ездил, хотя стремился. Особенно завидовал он Вадиму Успенскому, который однажды попал на полигон и в разговоре обмолвился, что видел испытания ракет. Королев тут же утащил его в укромный уголок:

— Очень прошу, расскажите мне подробно обо всем, что вы там видели...

Успенский рассказал, что видел, как стреляла реактивными снарядами специальная установка, смонтированная на автомашине.

— А еще? — спросил Королев.

— Все...

— Ну, это можно было увидеть и три года назад,— Сергей Павлович был явно разочарован.

В шарашке часто устраивали маленькие собрания, на которых в самой непринужденной обстановке зеки делали доклады, делились планами и идеями. Королев бы, наверное, мог сделать доклад по своей тематике, но упорно отказывался: «Рано, не о чем еще говорить. Работать нужно...»

На доклады других зеков он ходил всегда. Особенно запомнился всем замечательно остроумный и очень интересный доклад Роберта Бартини. Водя пальцем по специально сделанным для доклада графикам, Бартини сказал небрежно:

— Как вы видите, согласно графику, будущий самолет Андрея Николаевича будет иметь скорость не более 585 километров в час.

— Как 585? — взревел Туполев.— 640! Дурак! И графики твои дурацкие!

— Сам дурак!

Началось общее веселье.

Однажды Королев вышел из «аквариума» покурить и глазам не поверил: навстречу шел Петр Флеров.

— Это ты? — тихо спросил Сергей.

— Я! — весело ответил Флеров и обнял его. «Попка» в коридоре крякнул: вольные не только не обнимались с зеками, но даже не здоровались.

С Петром Королев познакомился еще во время учебы в МВТУ, вместе занимались в планерной школе, под навесом старой коновязи на Беговой улице мастерили планеры, ездили на слеты в Коктебель. В «домашнем КБ» Королева Петр был едва ли не самым активным его помощником, но, как ни старался тогда Сергей, переманить друга из авиации в ракетную технику не удалось.

Флеров работал в КБ Яковлева, занимался колесами и тормозами. Туполев вызвал его для консультации. Колеса — это была целая проблема. При убирающихся шасси колеса должны быть как можно меньше. Но где предел?

Флеров стал приходить к Королеву в «аквариум», они подолгу беседовали. Однажды их застукал Кутепов, но и рта не успел открыть, как Флеров, кивнув на Королева, ошарашил его вопросом:

— И долго вы его тут держать будете, товарищ начальник?

За соседним столом кто-то прыснул в кулак. Гришка растерялся, забормотал невнятно:

— Сколько положено, столько и будем...

Флеров заезжал к Ксане и к Марии Николаевне, рассказывал о встречах с Сергеем, отдавал записочки, которые выносил под стелькой башмака.

— А одет-то он хоть прилично? — взволнованно спрашивала Мария Николаевна, словно это было самым главным.

— Очень элегантно, модно,— улыбался Петр,— черный комбинезон и... бутсы.— Хотел сказать: «говнодавы» — так называли эти ботинки в ЦКБ,— но постеснялся...

Очень редко зеков из шарашки возили на свидания с родными в Бутырскую тюрьму. Для всех зеков свидания эти были тягчайшим испытанием. Встречались близкие люди, которые не видели друг друга несколько лет. Встречались буквально на минуты,— что можно тут успеть рассказать и как можно рассказать, если рядом сидит вертухай?! Тюремщики могли воспринимать живых людей, как неодушевленные предметы, но живые-то люди не могли так их воспринимать! И дети! Валентин Петрович Глушко впервые увидел свою дочь на тюремном свидании. Когда Елизавета Михайловна, жена Кербера, войдя в комнату для свиданий, сказала сынишке: «Левушка, поцелуй папу»,— двухлетний мальчик бросился к вертухаю, обнял его за шею... Это было так страшно, спазм горьких, горячих рыданий душил Леонида Львовича...

Пятилетняя Наташа Королева спросила отца:

— Мама говорила, что ты прилетел из командировки на самолете. Но как же ты сумел сесть, тут такой маленький дворик?

— Сесть-то сюда легко, девочка,— весело сказал молодой тюремщик,— улететь отсюда трудно!

Королев отвернулся, чтобы дочка не видела его глаз.

На свидания в Бутырку их возили в обычном автобусе, безо всяких решеток, только стекла на окнах не разрешалось опускать. Свидание начиналось раньше Бутырок, свидание с Москвой, с домами, с людьми на тротуарах, с витринами, с собаками — за окном был мир, столь же реальный для них, сколь реален экранный мир для кинозрителя. Автобус с улицы Радио выползал на улицу Казакова. Инфизкульт. Театр Транспорта. Афиша: «Без вины виноватые»,— это про них. Садовое кольцо, НКПС, люди, ныряющие в портал метро «Красные ворота». Институт Склифософского, Сухаревская площадь, этих башен с эмблемами ВСХВ по углам Первой Мещанской они еще не видели, кинотеатр «Форум», еще афиша: «Светлый путь» — это явно не про них. Третий дом Советов, поворот на Каляевскую, отсюда до Конюшковской он мог бы дойти пешком за полчаса, а вот и дом родной — Бутырка!

Свидания происходили в домике во дворе Бутырок, в маленьких комнатах, где стояли большие столы, по обе стороны которых и рассаживались. А тюремщик — их называли «гувернерами» — в торце, как председатель.

Когда Королев впервые увидел Ксану, он заплакал. Ничего не мог с собой сделать, слезы сами лились. Все спрашивал:

— Ну, как ты? Как Наташка? А мама?

— Я защитила диссертацию...— сказала Ксана.

— О защите говорить тут запрещается,— перебил «гувернер».

Потом Ксана приезжала с Наташей.

Трудно сказать, чего больше было в этих свиданиях: горечи или радости. Перед арестом жили они неладно, в каком-то напряжении, в недобром предчувствии расставания. И вынужденное расставание сохранило, а может быть, и увеличило привкус прошлых размолвок. Беда не приблизила к нему Ксану, наверное, отодвинула еще дальше. Конечно, можно было себя уговаривать: «Весь этот кошмар когда-нибудь кончится, и все наладится...» — уговорить — трудно...

По воскресеньям не работали. Неожиданно из черных репродукторов — они висели во всех спальнях и за потоки изрекаемой лжи зеки нарекли их «плевательницами» — строгий голос объявил о предстоящем важном сообщении. Вскоре появились вертухаи, молча, не обращая внимания на протесты зеков, поснимали все «плевательницы» и унесли. Никто не мог понять, что все это значит. «А вдруг ОН умер?!» — фантастические видения оживали в спальнях. Потом кто-то увидел в окно, как за Яузой ко входу в парк МВО бегут люди. Там на столбах висели большие, похожие на граммофонные трубы репродукторы. Целая толпа людей стояла, задрав головы, слушала. Звуки не долетали до зеков, но по тому, как толпа слушала, все поняли, что передается что-то очень важное. Побежали к руководству с просьбой вернуть репродукторы, но прежде чем их принесли и развесили, нашла дырочку, просочилась все-таки с завода новость короткая и ясная: война!

Все молчали. Но все думали об одном и том же: это смерть. Если «политических» расстреливали в мирные дни, то во время войны живыми их не оставят. Где-то в глубине души теплилась робкая надежда: ведь они создают боевые самолеты, нужные как раз сейчас... (Опять, опять эта надежда на логику! Да при чем здесь логика?! 28 октября 1941 года, когда офицеры фашистского авангарда рассматривали в бинокль Москву, двадцать пять выдающихся военачальников и создателей оружия, ни в чем не повинных людей, были расстреляны под Куйбышевом и Саратовом. Нет такой, пусть даже самой извращенной, логики, которая могла бы это объяснить.)

Что же будет с ними? Они уже привыкли не загадывать свою судьбу. Надо избегать смерти, но нельзя ее бояться. Мысль о собственной безопасности, остро уколовшая их в первые минуты, отодвигалась, расплющивалась огромной, тяжкой, холодной, как камень, думой: «А что же теперь будет со всеми нами?..»

9

Героического энтузиаста поддерживает надежда на будущую и недостоверную милость, а подвергается он действию настоящего и определенного мучения. И как бы ясно он ни видел своего безумства, это, однако, не побуждает его исправиться или хотя бы разочароваться в нем...

Джордано Бруно

Как бы ни были зеки измучены и унижены, как бы ни душила их обида за несправедливые кары, каким бы жаром ненависти к своим палачам ни переполнялись их сердца, они знали, что есть нечто более важное, вне Сталина существующее,— Родина, которую надо защищать. Обитатели шараги на Яузе, политические заключенные, осужденные по 58-й статье, страшнее которой в Уголовном кодексе не было, люди, которым лубянские истязатели с таким усердием доказывали, что они являются убежденными и яростными противниками существующего режима, категорически не могли представить себе Гитлера как своего союзника или спасителя,— только как врага. Когда в 1939 году больному Туполеву принесли газету с фотографией Сталина, Молотова и Риббентропа, он скомкал ее и закричал: «Какая дружба?! Что они там, с ума сошли?!»

Когда в бесконечных спорах представляли они себе полет своего нового бомбардировщика,— он летел над фашистскими позициями, когда чертили секторы обстрела, то в секторах этих они видели «мессершмитты», а в бомбовых прицелах — танки со свастикой.

Самолет 103, он же АНТ-58, он же Ту-2, летчик-испытатель Михаил Александрович Нюхтиков первый раз поднял в воздух 29 января 1941 года. Очень скоро стало ясно, что 103 превосходит Пе-2 и по вооружению, и по бомбовой на-

грузке, а главное — по скорости: опытный образец дал 640 километров в час, за этим бомбардировщиком с трудом могли угнаться истребители. Несмотря на явные достоинства машины, потребовалась ее доработка: оказалось, что высотные моторы, под которые она проектировалась, уже не выпускаются. Замена двигателей повлекла новые переделки. Люди, ожидающие главной награды за свою работу — свободы, нервничали. Рождение Ту-2 было процессом трудным, болезненным, но в конце концов всем стало ясно, что дальше переделывать нельзя, надо налаживать выпуск нового бомбардировщика, нужного фронту.

Завод № 156 на набережной Яузы был заводом опытных конструкций. Сделать тут могли все что угодно, но для серийного выпуска самолетов он был совершенно не приспособлен, расти ему было некуда, да и специалисты нужны были для такого дела совсем другие.

Давным-давно, осенью 1929 года, когда ТБ-1 под гордым именем «Страна Советов» прилетел в Америку, Туполев познакомился там с двумя головастыми инженерами — Александром Сергеевичем Ивановым и Тимофеем Марковичем Геллером, которые учились у Форда автомобильным премудростям. Вернувшись, они строили автогигант в Нижнем Новгороде, получили ордена, Иванов стал главным инженером ГАЗа, а Геллер — начальником цеха: на «Дженерал моторс» он прошел выучку от рабочего до дублера начальника цеха. Потом их посадили. Иванова, впрочем, очень долго не сажали. Арестовали всех руководителей завода, а он все разгуливал на свободе, мучился постоянным ожиданием неотвратимого унижения и даже подумывал, не пойти ли ему самому в НКВД и во всем «сознаться», потому что он совсем перестал спать. Но в конце концов и его посадили. Туполев, узнав об этом, сразу внес их в свои списки,— это были едва ли не лучшие в стране специалисты по серийному поточному производству. Поскольку 156-й завод мог изготовить два, три, ну пять бомбардировщиков, не больше, было принято решение срочно создать новый авиазавод в Омске: перед войной там начали строить небольшое предприятие, на котором планировали собирать сибирские ЗИС-5 из московских деталей и автоприцепы.

ЦКБ-29-НКВД свое существование закончило: 13 июля 1941 года с товарной станции Казанского вокзала ушли три теплушки зеков. Приготовили место и для Андрея Николаевича, но его не было. Волновались, никто не мог объяснить, где Туполев. А Туполев вместе с семьей ехал в другом поезде, в купейном вагоне. Через неделю вышел приказ: Андрей Николаевич Туполев 19 июля 1941 года был «по ходатайству НКВД СССР на основании постановления Президиума Верховного Совета Союза ССР от наказания досрочно освобожден со снятием судимости». Вместе с ним освободят Егера, Френкеля, Черемухина, Бонина, Надашкевича, Петрова, Озерова — всего около 20 человек, но тогда они еще числились зеками и занимали положенные им места на нарах в теплушках.

Королев останется зеком: в Омске он узнает, что его фамилии нет в списке освобожденных. Очень многих фамилий не было в этом списке, гораздо более коротком, чем списки Туполева, когда он вытаскивал специалистов из лагерей и тюрем. Слухи о помиловании бродили по ЦКБ с весны. Ждал ли Королев освобождения? А кто же за решеткой не ждет свободы? Конечно, ждал. Но разочарование не было теперь столь острым, как год назад.

Три грязно-бурых товарных вагона с двумя окошечками с обеих сторон, забранными колючкой, то цепляли к какому-то составу, то отцепляли, катились они на восток неспешно «согласно законов военного времени» — этими словами объяснялось тогда все. На остановках у запертых дверей теплушек выставляли часовых. На платформах было много беженцев. Когда они замечали за колючкой человеческие лица, кричали конвоирам: «Убить сволочей! Что вы их кормите, мерзавцев!» — думали, везут пленных немцев.

Трудно было в июле 41-го набрать три вагона немецких пленных...

Однако более всего волновались они не из-за проклятий беженцев и не из-за отсутствия горячей пищи, а из-за того, что не знали, куда их везут и кто

они такие: заключенные, которых этапируют в лагеря, или прежние инженеры шарашки, которые будут продолжать работу на новом месте. Это был вопрос важнейший, Королев лучше других понимал, что от ответа на него, возможно, зависит жизнь. Он выглядывал в оконца, по названиям станций пробовал определить маршрут. «Мамлютка». Где это — Мамлютка? Никто не знал. Пронесся слушок, что вроде бы едем в Омск, но ветераны тут же его отмели: в Омске сроду не было авиазавода. Значит, все-таки лагеря? Но на одном из переездов увидели своих вольных, платформы с зачехленными бескрылыми самолетами и вздохнули наконец облегченно: значит, не этап, значит, эвакуация.

Все как-то сразу повеселели, загомонили, кто-то даже запел. Королев оживленно беседовал с соседями по нарам — Георгием Кореневым и Львом Терменом. Они договаривались втроем делать радиоуправляемую пороховую ракету — бить фашистские танки...

Через восемь дней прибыли в Омск. Поначалу зеков свезли в местную очень грязную и вонючую тюрьму с невероятно свирепыми надзирателями, а через несколько дней разместили в здании школы, переоборудовать которую не успели: ни зоны, ни забора, ни даже решеток на окнах. Такая была толчея и неразбериха, что не то что убежать, можно было просто спокойно уйти.

В Омске 41-го года снова воссоединились почти все зеки болшевского отстойника 39-го. Маленькая подмосковная шарашка выросла, разветвилась, а кое-где покрылась неожиданно распустившимися бутонами свободных спецов. За Иртышом, в Куломзино, на базе авиаремонтных мастерских ГВФ был организован авиазавод № 266, где под недремлющим оком все того же Гришки Кутепова обосновались конструкторские бригады Мясищева, Бартини и Томашевича. Мясищев доводил свою машину — зачатый еще в ЦКБ дальний бомбардировщик. Он никак не склеивался и в серию в конце концов не пошел. Неудачными оказались многочисленные и, как всегда, неожиданные поиски Бартини. Томашевич делал истребитель и параллельно легкий фанерный фронтовой бомбардировщик с двумя маломощными двигателями М-11 по сто лошадиных сил. Эти самолеты в Москве тоже забраковали.

Что касается туполевцев, то в Омске они обнаружили, что «завод № 166» никакой не завод, а несколько маленьких, вовсе не авиационных корпусов, даже под крышу не подведенных. Правда, вокруг была большая зона и несколько сотен зеков — главным образом несчастных рабочих, опоздавших на двадцать минут к табельной доске, и несчастных крестьян, принесших горсть колосков с колхозного поля,— с утра до ночи работали на оборонной стройке.

Оборудования, которое привезли из Москвы, конечно, было недостаточно для массового производства самолетов. Поэтому сюда же, на несуществующий еще завод, были эвакуированы ремонтные авиазаводы из Смоленска и Севастополя и завод из Ленинграда, который специализировался на производстве деревянных самолетов, в том числе знаменитых «кукурузников» У-2. У каждого завода был свой директор, который, естественно, как и подобает директору, хотел командовать. Вот в эту стихию и ринулся Туполев.

От многих замечательных авиаконструкторов Андрея Николаевича всегда отличала забота о дальнейшей судьбе созданного им самолета. Он считал дело сделанным не тогда, когда самолет выдерживал летные испытания, а когда шел в серию. Поэтому Туполев лучше других авиаконструкторов знал производство. И сейчас вся его неизбывная энергия была отдана решению единственной задачи: наладить серийный выпуск Ту-2. Все — и вольные, и заключенные — работали по 16—18 часов в сутки, и работа эта вопреки всем строжайшим инструкциям режима размывала различия между ними, рушила остатки стен отчужденности, которые все-таки существовали на Яузе, но уже не могли сохраниться на Иртыше. Еще неотступно ходили с зеками «попки», но ни в какие разговоры они уже не вмешивались, одергивать не смели. Вообще вся эта охрана быстро выродилась в какой-то грустный фарс. Из тюрьмы молодые зеки ухитрялись бегать по ночам к возлюбленным, а те человек двадцать, которые работали в конструкторском бюро — оно разместилось в центре города в здании паро-

ходства,— ездили из тюрьмы на работу в обычном трамвае в сопровождении одного-двух конвоиров, которые моментально теряли своих подопечных из виду в утренней трамвайной толчее.

Позднее, когда освоились, обжились, подобных курьезов стало еще больше. Константин Ефимович Полищук задержался на заводе — все охранники ушли и забыли о нем. Он долго слонялся и наконец решил идти домой сам. Через проходную его пропустили, а в тюрьму без сопровождающего пускать не хотели, долго пришлось уговаривать. Тем временем на Королева и Купленского — соседа Полищука, уже составляли бумагу, как на «соучастников побега».

Георгий Васильевич Коренев с товарищем получил задание «отстрелять» кабину Ту-2 трофейными немецкими пулеметами. Им выдали четыре пулемета, две тысячи патронов, выделили автомобиль, и они поехали на край аэродрома... с одним конвоиром, вооруженным древней винтовкой.

— Слушай, парень,— крикнул Коренев, установив пулеметы,— ты часом не знаешь, кто кого охраняет?

Огромное количество сильных молодых людей (около сотни туполевских зеков охраняли не менее полутора сотен солдат, не считая охраны всей зоны), так нужных фронту, ие просто отсиживалось в тылу, но в это невероятно тяжелое время не принимало решительно никакого участия ни в каком производстве — ни в промышленном, ни в сельскохозяйственном.

Вслед за зеками прибыли из Москвы и «руководители»: Кутепов, Балашов, Ямалутдинов; они, как и прежде, изображали предельную озабоченность, совались без толку в дела, в которых ничего не понимали. Осаживать их боялись. Даже Туполев предпочитал не связываться с ними. Даже Анатолий Ляпидевский, участник знаменитой челюскинской эпопеи, назначенный директором нового завода, вынужден был считаться с их «указаниями». Он не был большим специалистом-производственником, но отличался неуемной пробивной энергией и смелостью в спорах, подкрепленной Золотой Звездой Героя Советского Союза № 1. Делу Ляпидевский безусловно помог, но когда начался выпуск самолетов, стало ясно, что не всякий храбрый летчик может быть директором авиационного завода, и Ляпидевского сменил Леонид Петрович Соколов, настоящий, крепкий производственник.

А пока Туполев решил, что самый спокойный для НКВД и не губящий дело вариант — сделать начальниками цехов вольных, даже если они не тянут на эту должность, а их заместителями поставить энергичных и работящих зеков.

Королев стал заместителем начальника фюзеляжного цеха по подготовке производства. Непосредственным начальником его был Лев Александрович Италинский — он работал у Туполева на заводе опытных конструкций начальником сборочного цеха. Почему его не посадили, непонятно. Он признался Королеву, что ничего не понимает в серийном производстве: всю жизнь занимался созданием единичных экземпляров опытных машин.

— Я тоже ничего не понимаю,— сказал Королев.— Но надо понимать. Будем учиться.

Учителем Королева стал Тимофей Маркович Геллер, тот самый бывший начальник цеха ГАЗа, который по просьбе Орджоникидзе внедрял в авиапроме штамповку, а после ареста оказался в шарашке Туполева. Сергей Павлович обсуждал с Геллером массу вопросов, начиная с малосерийных свинцово-цинковых штампов, кончая системой Тейлора, благо они с Геллером не только работали вместе, но и жили в одной камере. Впрочем, камерой место их обитания можно было назвать достаточно условно. Если бы не решетки на окнах, забор, окружающий «зону» — двухэтажный каменный дом, двор с дощатым сортиром и умывальником,— то все это вполне могло бы сойти за рабочее общежитие.

Да так оно, очевидно, и намечалось до приезда зеков. Рядом с заводом-новостройкой существовал рабочий поселок имени 10-летия Октября — горсть небольших кирпичных двухэтажных домиков. Два из них и были экспроприированы НКВД. На первом этаже размещались охрана и столовая, на втором жили зеки. В зависимости от размеров комнаты жили втроем, вчетвером, впятером, но

не больше. Отдельные апартаменты — восьмиметровую комнатушку — занимал только Александр Иванович Некрасов.

Некрасов был выдающимся механиком, членом-корреспондентом Академии наук, заместителем начальника ЦАГИ. В 1937 году обрушились на него несчастья: находясь в США, попал он в жестокую автомобильную аварию, сильно покалечился, вскоре после возвращения на Родину был арестован как американский шпион. На следствии его заставили подписать все, что требуется, но потом он от показаний своих отказался «как от вымышленных в результате извращенных методов следствия». Это, впрочем, не помешало приговорить его к «стандартным» для туполевской шараги десяти годам. Среди многочисленных «вредительств», которые приписывались Александру Ивановичу, было одно, ставшее неиссякаемым источником всевозможных шуточных обсуждений и комментариев его молодых коллег по шарашке. Ему инкриминировалась продажа части Поволжья какому-то американскому миллиардеру. Меня всегда восхищала блестящая фантазия Габриеля Гарсиа Маркеса, у которого в романе «Осень патриарха» диктатор продает американцам море, но, как выяснилось, Маркес вторичен. Зеки все время приставали к Некрасову с просьбой уточнить границы проданной территории, выдвигали многочисленные предложения об организации на ней суверенного независимого государства и составляли проекты его конституции. Одинокого, не излечившегося от шока, страдающего провалами памяти Александра Ивановича зеки трогательно опекали, по-сыновьи о нем заботились — Некрасову было 58 лет, но все считали его стариком, наверное, потому, что он был старше Туполева, а все, кто был старше Туполева, причислялись к старикам. Некрасов на завод не ходил, а писал в своей комнатушке большой труд по теории волн, коротая время с Капитолиной — беспородной кошкой, которую он нежно любил. Вечерами он выходил во двор и прогуливал Капитолину. Весной она сбежала, а потом принесла ему четырех котят, которых он наотрез отказался топить, выхаживал их в коробке с ватой, а когда они подросли, разрешил подарить заводским вольным, но при условии, что котята попадут «только в хорошие семьи». Когда во время второй волны «помилования» в 1943 году Некрасова освободили, он стал просить оставить его в тюрьме, объясняя это тем, что он человек одинокий, как ему теперь питаться, совершенно не представляет, «и к тому же у меня ведь Капочка»,— сказал он генералу НКВД. Генерал был шокирован. Узнав, что речь идет о кошке, разрешил амнистировать и кошку. Некрасова с Капитолиной забрал к себе Туполев, и некоторое время он жил в семье Андрея Николаевича [1].

Рядом с некрасовской «одиночкой» была большая комната, в которой размещались Королев, Иванов и Геллер, математик Крутков и инженер Шекунов [2]. О нижегородцах — Иванове и Геллере — я рассказывал, но и два других соседа Королева были людьми замечательными.

Юрий Александрович Крутков, старший в этой компании — ему шел 52-й год,— еще до революции окончил Петербургский университет, с которым он никогда бы не расстался, если бы его не переквалифицировали из профессоров математики в уборщики барака уголовников в одном из Канских лагерей. Крутков был блестящим механиком. Туполев, зная его работы по гироскопам и теории упругости, вытащил его в шарашку и поместил в расчетный отдел. Юрий Александрович был зачислен Андреем Николаевичем в своеобразный «интеллектуальный резерв главного командования» — он призывался тогда, когда разобраться уже никто не мог, как ребе в синагоге, примирял спорщиков и изрекал истину. Крутков был человек ироничный, даже едкий, Кербер называл его «наш

---

[1] Сразу после войны А. И. Некрасов был избран действительным членом Академии наук СССР, получил звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и был удостоен Сталинской премии за научную монографию по теории волн. Он умер в 1957 году.

[2] Документов, в которых было бы указано, с кем в одной комнате жил Королев, я никогда не видел и сомневаюсь, что они существуют. Память людская, как известно, несовершенна. Разные участники описываемых событий называли мне разных соседей Королева в Омске. Я принял за основу рассказ Т. М. Геллера, по общему мнению,— одного из самых близких тогда Королеву людей. Кроме названных им соседей Королева, в рассказах других очевидцев встречаются фамилии конструктора Милославского, технолога Багрия и др.

Вольтер». Эрудит, энциклопедист, Юрий Александрович свободно говорил по-немецки, был блестящим рассказчиком и помнил бесконечное количество веселых и нравоучительных историй, приключившихся с известными учеными: Карпинским, Ольденбургом, Крыловым, Иоффе, которых хорошо знал.

Ирония Круткова уравновешивалась в этой комнате постоянным ровным оптимизмом и добродушием Евграфа Порфирьевича Шекунова, бывшего главного инженера большого московского авиазавода. Призванный в армию накануне первой мировой войны, он служил механиком на аэродроме и на всю жизнь влюбился в самолеты. По военной стезе он не пошел, будучи человеком сугубо штатским, и в армии даже в офицерских погонах вид имел жалко-неуклюжий. Однажды на аэродром приехал Врангель, Шекунов бросился рапортовать, но один сапог застрял в глине, и козырял он генералу «частично обутым».

— А это что за идиот? — рассеянно спросил Врангель, навеки пресекая ратную карьеру Евграфа Порфирьевича.

Веселый нрав чуть не сыграл с Шекуновым в шарашке злую шутку. Чтобы отвязаться от техника, который приставал к нему с вопросами о номере какого-то узла на чертеже, Шекунов небрежно бросил:

— Я не помню номера. Пиши: «Гордиев узел».

Тот написал. «Гордиев узел» долго гулял по ЦКБ, попал в копии, был обнаружен «руководством», которое очень всполошилось, посчитав это актом саботажа, продиктованным вредительским намерением запутать техническую документацию и сорвать тем самым сроки проектирования боевой машины. Серьезность положения усугублялась тем, что «руководству» требовалось объяснять, что такое «гордиев узел». Короче, Шекунов еле отвертелся.

Как у всех веселых людей, редкие вспышки гнева его были сильны и опасны. Некоторые из местных вольных в разговорах между собой называли московских зеков «самураями». Однажды в цехе один инженер позволил себе обратиться так к Шекунову. Евграф Порфирьевич побелел и так рявкнул: «Вон отсюда!» — что окна зазвенели.

Вот в такой любопытной компании оказался в Омске Сергей Павлович. Но общаться им приходилось мало — практически они не жили вместе, а только спали в одной комнате, а жили — на заводе.

После завтрака (кормили день ото дня все хуже) к восьми часам в сопровождении конвоиров уходили на завод. У Королева на заводе был персональный «попка». Он очень раздражал Сергея Павловича, поскольку преследовал его как тень. Работы было много, и постоянно видеть перед собой праздного, да еще делающего тебе замечания человека было действительно тяжело.

Сталин приказал выпустить первый бомбардировщик в декабре, в дальнейшем выпускать одну машину в день. Даже если бы туполевцев эвакуировали на хороший, большой авиазавод с отлаженным производством, это была бы задача невыполнимая — ведь технологически новый бомбардировщик был совсем сырым, никакой оснастки не существовало. А здесь вообще не было завода — ни большого, ни маленького, никакого. Собрать несколько машин из частей, изготовленных в Москве,— это еще не производство. Ни круглосуточная работа, ни угрозы «руководителей», ни их же обещания свободы — ничего изменить не могли.

Несмотря на предельную загруженность, когда никакого свободного времени физически не существовало, Королев не забыл разговора в теплушке о радиоуправляемой ракете. Он ходил с этим предложением к Кутепову, Балашову, писал им докладные записки и в конце концов добился, чтобы ему выделили комнату и двенадцать вольнонаемных, в основном девчонок-чертежниц. Ракету они начали делать втроем, но, увы, работа продолжалась недолго: Коренева перевели в Куломзино, а Термена отозвали в радиошарашку в Свердловск. Так их союз распался. Королев еще больше помрачнел.

И было от чего. В списки освобожденных он не попал. И будет ли другая обещанная амнистия, никто не знает. Самолет Петлякова делали десятки зеков, а освободили — единицы. Точно так же и с туполевцами. Когда будет второй «выпуск»? Три года он отсидел. Впереди еще пять...

Технолог Эсфирь Михайловна Рачевская, с которой работал Королев, не выдержала однажды и спросила:

— Ну почему вы такой мрачный? Не горюйте, вас отпустят...

— Чудес на свете не бывает,— сухо ответил Сергей Павлович.

Впереди еще пять лет, и никто не знает, что это будут за годы. Вот наладят выпуск бомбардировщиков и пошлют на золото. Идут слухи об американской помощи. Он даже видел банку свиной заокеанской тушенки с этикеткой, напечатанной прямо на металле, в которой сразу резал глаз «Y» вместо русского «У». Геллер говорил:

— Я знаю американцев, они никакого бесприбыльного дела никогда не начнут. В этом их сила и их слабость. А за тушенку, я уверен, мы будем платить золотом...

Потребуется золото для американцев, и пошлют на золото.

Теперь они беспрепятственно слушали радио и читали газеты. Сводки становились тревожнее день ото дня. Немцы под Москвой. Александр Сергеевич Иванов, сидя вечером на кровати, размышлял вслух:

— История политических репрессий показывает нам, что в периоды кризисных ситуаций политические противники подлежат ликвидации. Если немцы возьмут Москву, нас расстреляют не потому, плохи мы или хороши, а потому, что существуют законы фронды...

— Никогда немцы не возьмут Москву! — перебивал Шекунов.

— При чем здесь законы фронды? — иронично возражал Крутков.— Никакие эти французские законы для нас не писаны. У нас свои законы. При императрице Анне был у нее кабинет-министр Артемий Петрович Волынский — подонок, палач и вор, в 1740 году предан пытке и казнен. Вот он точно говорил: «Нам, русским, хлеб не надобен. Мы друг друга едим и с того сыты бываем...»

— Да не едим мы друг друга! — не выдержал Королев.— Нас едят!

В архиве Академии наук СССР в фонде Королева хранятся несколько записей, сделанных Сергеем Павловичем в Омске. Это стихи. Стихи разных поэтов, переписанные в маленький блокнот или на листки из ученической тетради. В этих стихах то, чего нет и быть не может ни в каких документах, о чем не может рассказать ни один свидетель тех дней. И комментарии тут излишни.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи.
Любуйся ими и молчи...

Простым карандашом в дешевом блокноте:

Закатилось мое солнце ясное
Уехал мил сердечный друг
За синь море...

Омск, 25.12.41 г.

На листке в клеточку аккуратно переписана главка «Я мертв» из книги американского летчика Джимми Коллинза «Один в бескрайнем небе»:

«Скосит нас беспощадная смерть. Все уйдем туда, откуда нет возврата. Но огонь еще тлеет, и друзья сидят вокруг чаш. Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки, сердце весельем и душу сладкой пищей».

На том же листке:

> «Жить просто — нельзя! Жить надо с увлечением...
> Венец, свинец и достойный конец».

И еще одно стихотворение:

> Когда в глаза твои взгляну,
> Вся скорбь исчезнет, словно сон.
> Когда к устам твоим прильну,
> Мгновенно буду исцелен.

На отдельном листке переписано стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы...»

Очевидцы рассказывают, что в комнате Королева жили Иванов, Геллер, Крутков и Шекунов. А оказывается, там жили еще и Тургенев, и Тютчев, и Гейне, и Олдингтон...

День ото дня становилось холоднее и голоднее. Первая военная зима в Омске была яркая, солнечная, синее чистое небо, громко скрипит под ногами снег на деревянных тротуарах, румянит крепкий мороз — замечательная зима, если при этом тебя согревает пища. А пища не согревала. Зеки получали восемьсот граммов хлеба, двадцать граммов масла, крохотную пайку сахара. Совсем плохо было с куревом. После табачного разгула ЦКБ это особенно чувствовалось. Вольные иногда отсыпали им немного махорки, которую выменивали у наезжавших на рынок казахов на бархат и блестящий шелк. Никто из вольных никакими врагами зеков не считал. Кстати, по нескольким деталям, случайно оброненным фразам Королев понял, что Кутепов, Балашов, Крапивин, который командовал зеками-строителями, тоже не считали их «врагами». Точнее сказать,— именно «считали», поскольку так полагалось считать, но при этом знали, что они никакие не враги. Пожалуй, только самые тупые, зачуханные вертухаи думали иначе.

В отличие от ЦКБ, правила которого всячески препятствовали общению зеков с вольными, здесь этого не было. Да и быть не могло, потому что трудились они рядом, в буквальном смысле плечо к плечу, и, не будь подле зеков конвоиров, отличить их от вольных было бы невозможно. Как-то один парень сказал Королеву: «Ты так вкалываешь, я думал, ты вольняшка...»

Перед Новым годом вольные притащили для зеков несколько бутылок домашнего вина, ватрушек, пирожков — они не то что вкус — запах всего этого уже забыли. А Тимофею Геллеру одна девушка даже галстук подарила.

Девушки, девушки, одна отрада в жизни... Мужчин в городе не было, жизнь у девушек была тоскливая. А зекам даже не любви хотелось, на любовь уже сил не оставалось, а хотелось тепла, чтобы кто-то к тебе прижался, обнял, погладил, зашептал в ухо забытые слова, чтобы кто-то тебя просто п о ж а л е л,— даже самому сильному человеку трудно без этого. И настоящая любовь была, и интрижки, и просто молодое жеребячество — недаром же красавцу Серафиму Купленскому дали прозвище «Совокупленский».

Свиданиям с девушками препятствовало не столько отсутствие мест для уединения, сколько постоянное внимание к твоей персоне конвоира, особенно если конвоир, как у Королева, был персональный. Однако известно, что неразрешимых проблем нет. Способ борьбы с недремлющим тюремным оком предложил Саша Алимов по прозвищу «Слон». (Прозвище это он получил от Туполева еще в Болшеве, когда ухитрился наступить на очки Андрея Николаевича. Александр Петрович показывал мне туполевские строчки 60-х и начала 70-х годов: «Дорогой Слон...».) В гидравлическую систему бомбардировщика заливалась смесь спирта с глицерином. Достать чистый спирт было довольно сложно, а смесь, получившая название «Ликер Ту-2», была доступнее. Непривычному человеку сладкая эта гадость сокрушала желудок, но при регулярном потреблении понос утихал, наступала благостная адаптация. Конвоиры быстро пристрастились к «ликеру» и за четвертинку готовы были оставить своего подопечного на некоторое время без надзора. Все омские зеки, с которыми довелось говорить, в один голос подтверждают: Королева девушки любили. И он их тоже.

Сталин был недоволен Туполевым: требования Верховного Главнокомандующего обеспечить серийное производство Ту-2 не выполнялись. Одной из многих составляющих авторитета «великого вождя» было неукоснительное соблюдение им мудрого правила Наполеона Бонапарта: если есть хотя бы малая вероятность того, что твой приказ может быть не выполнен, отдавать этот приказ не следует. Поняв, что Омск не может давать самолет в день, Сталин перестал интересоваться Ту-2. Это тоже было страшно. Каждый день Кутепов и его подручные просыпались с леденящей мыслью, что сегодня Сталин вспомнит о них и начнется нечто ужасное. Если бы просто разнос, даже тюрьма за невыполнение приказа, но ведь можно было взять круче: саботаж в военное время, а это уж точно к стенке.

Люди завода № 166 в отличие от «руководства» спали спокойно и о карах не думали: они работали изо всех сил. На всю жизнь запомнил Сергей Павлович день, когда собрали они первый «носок» бомбардировщика, и втроем — два вольных, один зек — Лев Италинский, Венедикт Помаржанский и Сергей Королев — несли его примеривать к фюзеляжу. Оказалось, «носок» не стыкуется, и тогда в один день он, Королев, сделал так, что стал стыковаться.

15 февраля 1942 года на Юго-Западном фронте отбили три деревни, на Калининском устроили засаду и перестреляли двести немецких лыжников, под Москвой сбили три фашистских самолета, но, наверное, самая важная победа в день 15 февраля была одержана в тылу, в далеком Омске, когда полетел первый серийный бомбардировщик Ту-2.

Как в ЦКБ, Королев вел в Омске потаенную творческую жизнь: что-то чертит, рисует, считает, пишет; как и в Москве, никому своих записей не показывает. Когда Эсфирь Рачевская спросила Шекунова, почему Королев всегда такой сосредоточенный, Евграф Порфирьевич честно признался:

— Не могу понять! Черт его знает, он чокнутый какой-то. Видите ли, в чем дело, он постоянно о чем-то думает, но о чем — никто не знает...

Королев думал о ракетах. Когда его покинули единомышленники — Коренев и Термен, он продолжал работать в одиночку. Никто в ракеты не верил. Он попробовал однажды показать свои выкладки Италинскому. Тот сказал:

— Сосчитано все верно. Но зачем это?

— Надо слетать на Луну обязательно! — в каком-то запале выдохнул Королев.

В цеху было холодно, градусов восемь, котельная не справлялась. Италинский дышал в ладони, грел руки, не расслышал, спросил рассеянно:

— Куда?

— На Луну.

Лев Александрович молча пожал плечами.

Однажды разговор о ракетах возник в их комнате. Шекунов говорил горячо, убежденно:

— Уверяю вас, ракеты — тупые существа, дрессировке они не поддаются, как не поддаются дрессировке крокодилы. Летать вы их не научите: палка с постоянным смещением центра масс летать устойчиво не может. Я читал о давних попытках применения ракет в армии, но в конце концов во всех странах от них всегда отказывались...

Иванов, интеллигентно потупившись, молчал, потом спросил осторожно:

— Я не совсем понимаю, Сергей Павлович, какую задачу вы собираетесь поставить перед ракетами, которую не могла бы решить авиация?

— Стратосфера. Заатмосферное пространство,— быстро ответил Королев.

— Все ясно. «Стратосфера»! — с издевкой, ни к кому не обращаясь, как бы сам себе, сказал Крутков, лежавший на кровати.— «Заатмосферное пространство»! Чрезвычайно актуально, учитывая последние сводки Совинформбюро,— и демонстративно отвернулся к стене.

Королев пожалел, что вообще затеял этот разговор. И в Болшеве, и на Яузе, и здесь, в Омске, не раз уже убеждался он, что споры эти бесплодны, что обратить в свою веру этих умных, знающих людей, прекрасных инженеров, он не в силах. Поэтому, когда один из петляковцев, приехавший из Казани, рассказал ему, что Глушко — зек по делу РНИИ — организовал там группу и проектирует ракетные двигатели для Пе-2, чтобы облегчить их взлет с маленьких фронтовых аэродромов, Королев никому из соседей ничего не сказал. Но с этого дня он неотступно думал о Глушко и твердо решил во что бы то ни стало добиться перевода в Казань. Дело проворачивалось медленно. После разговора с Королевым непосредственный его «куратор» («Малюта Куратор», как звал его Крутков) Алексей Петрович Балашов долго сносился со своим начальством, а его начальство — со своим, и добро на перевод было получено только к осени 42-го. Вот тогда Королев объявил своим соседям по комнате, что уезжает в Казань.

— Ускорители эти, конечно, не самое интересное дело, но все-таки поближе к ракетам,— объяснил он, быть может, впервые за много месяцев улыбнувшись, словно извиняясь.

— Ты — дурак,— сказал Геллер.— Неужели ты не понимаешь, что сейчас, когда машина пошла на фронт, нас освободят обязательно?! Ты понимаешь, что ты дурак?

— Тимоша, называй меня как хочешь, но я поеду,— все с той же тихой улыбкой кротко ответил Королев.

— Тимофей, оставь его в покое,— отозвался с кровати Крутков.— In magnis voluisse sat est...»[1]

В сентябре 1942 года три первых серийных самолета Ту-2, завершив заводские испытания, улетели на Калининский фронт. Потом бомбардировщики Туполева дрались на Курской дуге, обеспечивали Выборгскую операцию, бомбили Кенигсберг и Берлин. Ту-2 был признан лучшим фронтовым пикировщиком второй мировой войны.

Геллер оказался прав. Не скоро, примерно через год—в сентябре 1943-го,— туполевцев освободили. Не всех, конечно,— группу, как и в первый раз. Заключенный Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, уроженец города Житомира, дело № 795372, узнал об этом уже в Казани.

10

Науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения.

Михаил Ломоносов.

Различия тюремных судеб Глушко и Королева, несмотря на схожесть предъявленных им обвинений, на то, что числились они членами одной вредительской организации, можно объяснить лишь тем, что Валентин Петрович Глушко был арестован на три месяца раньше Сергея Павловича Королева. Похоже, Глушко попал в ту же струю, что и Туполев. Следствие велось неспешно, Глушко писал жалобы, его снова допрашивали, он требовал очных ставок с Клейменовым, Лангемаком и Королевым, а ставок этих никто ему, конечно, не

[1] «В великих делах уже само желание — достаточная заслуга» (латинск.) — строка из «Элегии» Проперция.

давал и дать не мог, поскольку Клейменова и Лангемака давно уже расстреляли, а искать Королева было лень. Обвинение с большим трудом было составлено лишь через два года после ареста Валентина Петровича. В «Заключении» по делу Глушко отмечалось, что его «причастность к контрреволюционной организации основана на показаниях Клейменова, Лангемака и Королева, из показаний которых видно, что Королеву об участии Глушко в организации известно от Лангемака, Лангемаку от Клейменова, а... показания Клейменова не конкретны и из них не видно, от кого ему известно об участии Глушко в организации...» И хотя в совершенно секретной «Повестке» к заседанию Особого совещания и указывалось, что «в настоящий момент уточнить его (Глушко.— **Я. Г.**) вовлечение в троцкистскую организацию не представляется возможным», Особое совещание решило, что можно обойтись и без уточнений, и 15 августа 1939 года приговорило Валентина Петровича к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Но в лагерь Глушко, по счастью, не попал. В Бутырках в камере № 113 он сидел без блатных, в компании людей замечательных: командарм, награжденный тремя орденами Боевого Красного Знамени, посол в Японии, начальник КВЖД, председатель еврейского общества «Азет», будущий академик — выдающийся теплотехник. Последний — Борис Сергеевич Стечкин — был, однако, не только выдающимся теплотехником, но и не менее выдающимся знатоком тюремных дел. В 1936 году, когда Стечкина как бывшего вредителя уволили с авиазавода, его хотел забрать к себе Туполев в 1-й главк Наркомата оборонной промышленности. Стечкин отказался. С помощью Туполева он стал заместителем начальника ЦИАМ — Центрального института авиационного моторостроения. Там его арестовали уже по делу Туполева — в принадлежности его к «фашистско-русской партии» сомнений не было, да и сам он до поры это не отрицал. У Стечкина был редкий нюх опытного зека. Он знал, что надо делать, чтобы ускорить дело, а что — для того, чтобы его притормозить, и когда надо ускорять, а когда притормаживать. Шарашки он учуял раньше других и подсказал Глушко написать заявление, просить использовать как специалиста. И действительно, заявление — редчайший случай! — возымело действие: Глушко перевели на авиазавод в Тушино, а когда он заикнулся, что, мол, не худо было бы привезти из РНИИ его чертежи и документы,— привезли. Более того, он попросил себе в помощь несколько человек — дали! Появился уже некий коллектив, эмбрион будущего ОКБ.

Глушко почувствовал, что лагерей, может быть, удастся избежать, и написал очень толковое предложение об установке ЖРД на самолетах. Не подозревая о существовании в ЦКБ-29 «руководителей», Валентин Петрович тем не менее ясно представлял себе технический уровень будущих читателей своей записки и постарался сделать ее максимально популярной. Он объяснял, что ракетный двигатель позволит бомбардировщикам не только уменьшить разбег при взлете и взять на борт больше бомб, но, если случится, и уйти от преследования вражеских истребителей гораздо проворнее. В боевых условиях неожиданно резкое увеличение скорости всегда даст эффект, будь то атака или отступление.

Записка действительно была очень ясная и понятная, потому что через несколько дней Глушко повезли на Лубянку. На этот раз обхождение было выше всех похвал: только на «вы» и папиросное угощение. Выяснилось, что руководство ВВС выразило свою заинтересованность его предложениями, а НКВД взяло на себя хлопоты по его трудоустройству. Предлагались на выбор: Москва, Ленинград и Казань. Глушко задумался. Разумеется, лучше всего было бы вернуться на свои родные стенды в Лихоборы. Но, во-первых, он не сможет работать под началом доносчика, во-вторых, никто его туда не пошлет, поскольку НИИ-3 никакого отношения к ВВС не имеет. В любой же другой известной ему организации в Москве или в Ленинграде — а знал он их довольно хорошо — он все равно окажется телом инородным, всем мешающим, и отправить его оттуда в лагерь при желании не представит большого труда.

— А что в Казани? — осторожно спросил Глушко.

— Там будет большой авиазавод.

Ага, значит, дело только разворачивается, и в это время гораздо легче добиться независимости и самостоятельности. Впрочем, о какой независимости и самостоятельности может мечтать зек?

— Я хотел бы работать в Казани,— сказал Глушко, и этот ответ его почему-то очень понравился человеку, который с ним разговаривал.

— Правильно! Вы сделали совершенно правильный выбор,— радостно сказал он.

Так и не поняв причин ликования НКВД, Глушко со своими сотрудниками вскоре переехал в татарскую столицу.

Сначала Валентин Петрович планировал установить свой ракетный двигатель на самолете «Сталь-7» Роберта Бартини. Это была замечательная, как всегда, ни на что не похожая машина для перевозок двенадцати пассажиров с невероятной для пассажирских самолетов скоростью: четыреста километров в час. Весной 1937 года после успешных испытаний было решено готовить «Сталь-7» к кругосветному перелету, одновременно Бартини вместе с Ермолаевым начал переделывать этот самолет в бомбардировщик ДБ-240. Не успел: арестовали. Потом бомбардировщик все-таки сделают. Он будет называться Ермолаев-2» — «Ер-2».

(Как тесен мир, никакой романист такого не придумает: молодой, талантливый красавец-генерал Владимир Григорьевич Ермолаев умрет в Сибири во время войны от молниеносного тифа. Он был первым мужем Нины Ивановны — будущей жены Сергея Павловича Королева...)

Одновременно Глушко собирался опробовать двигатель и на истребителе-«сотке» Петлякова, но «сотка» быстро переродилась в пикирующий бомбардировщик, и теперь, когда Петлякова и его КБ перевели в Казань, Глушко понял, что это — перст судьбы: никакие «Сталь-7», тем более несуществующая «сотка», ему не нужны — на казанском заводе начался серийный выпуск Пе-2, вполне подходящей машины для экспериментов с ракетными двигателями. Глушко начинает разработку нескольких двигателей и довольно быстро добивается успеха. Уже в 1941 году его группа создает двигатель РД-1 с тягой в триста килограммов, работавший на тракторном керосине и азотной кислоте. С начала 1942 года он проводит целую серию испытаний на стенде и добивается, что камера не прогорает и через 70 минут после запуска, причем непрерывно двигатель работал 40 минут, пока не опорожнились баки.

Вот обо всем этом и узнал в Омске Королев, узнал и потерял покой.

Валентин Петрович Глушко рассказывал мне, что Королева он хотел вытянуть к себе еще с Колымы, но Туполев перехватил его. В автобиографическом очерке «Рождение мечты и первые шаги» Глушко пишет:

«По моему ходатайству на работу в наше ОКБ был направлен С. П. Королев. Он горячо взялся за руководство разработкой установки наших двигателей на самолетах и проявил в этой работе блеск своего таланта. С 1942 по 1946 годы С. П. Королев был заместителем Главного Конструктора двигателей по летным испытаниям».

Во всех своих статьях и книгах, в редактируемой им энциклопедии «Космонавтика», везде, где возможно, Валентин Петрович непременно подчеркивает: Королев был его заместителем. Наверное, это очень льстило его самолюбию. Но что правда, то правда: Глушко у Королева заместителем не был, а Королев у Глушко был!

Да, был, и был необыкновенно счастлив! Словно истомленный жарой человек, нырнувший в прохладную речку, бросился он в мир своих долгожданных ракет. Теперь он не знал ни выходных дней, ни обеденных перерывов. «Его все называли неугомонным,— вспоминает библиотекарь заводоуправления Лидия Павловна Палеева.— Его жажда знаний удивляла нас. Мы еле успевали подбирать для него необходимые материалы...»

Королева очень интересовали новые разработки Глушко. Он понимал, насколько важно сейчас, в военное время, отработать надежный и мощный ускоритель на жидком топливе. И тем не менее буквально с первых своих дней в Казани начинает он новый этап борьбы за ракетоплан. Очевидно, все эти годы мечта о заатмосферном самолете не оставляла его. Едва оглядевшись и разобравшись, чем конкретно на сегодняшний день располагает Глушко (а располагал тот перспективным, но очень еще сырым двигателем), Королев пишет весьма солидную служебную записку «К вопросу о самолете-перехватчике РП с реактивным двигателем РД-1». Стиль знакомый — сразу берет быка за рога: «Ознакомление с реактивными двигателями показало, что в ближайшее время вполне возможно и необходимо использование этих двигателей на самолетах.

При обеспечении необходимых условий такие самолеты могут быть осуществлены в короткие сроки и с большим эффектом применены в войне против Германии».

Прекрасно понимая ответственность за выполнение оборонных заданий в военное время, Королев тем не менее назначает сам себе сроки невероятно жесткие. «В декабре месяце с. г.,— пишет он 16 декабря! — РД-1 поступает на испытания. В течение 1 квартала 1943 года двигатель будет отрабатываться, после чего он может быть установлен на самолет ориентировочно 1/V — 1/VI 1943 г.». Далее в записке он сжато излагает историю вопроса, рассказывает о своем РП-318, о полете Федорова, дает краткое описание перехватчика, предварительные расчетные данные, оговаривает вооружение (две пушки и пулемет), уточняет особенности производства. В приведенных таблицах, конечно, есть цифры, как говорится, «среднепотолочные». Королев считает, например, что максимальная скорость перехватчика превысит тысячу километров в час («...на основании расчетов с учетом поправки по Берстоу получается 1000 км/час во всех случаях»), не зная, что он переступает тем самым звуковой барьер, предъявляющий особые требования к конструкции самолета. В заключение — опять-таки всесокрушающий королевский напор: «Предлагаемый самолет-перехватчик РП с реактивным двигателем РД-1 является представителем нового класса сверхскоростных высотных истребителей».

Он видит свою машину во всех деталях и пишет о ней, как о чем-то реально существующем: «РП обладает (уже обладает! — **Я. Г.**) исключительно высокими летными и тактическими качествами и мощным вооружением, что при сравнительно большой для реактивных машин продолжительности полета позволит ему решать многие недоступные для винтомоторных самолетов тактические задачи.

РП может (уже может! — **Я. Г.**) догнать и уничтожить любой современный скоростной самолет, летящий на сколь угодно большой высоте и попавший в зону его действия».

Но выдвинутой Королевым идее ракетоплана снова не суждено было осуществиться. Первый раз ее погубил Сталин, посадив конструктора (и еще несколько тысяч конструкторов) в тюрьму. Второй раз — два молодых, очень талантливых инженера, никогда не слышавших ни о РП-318, ни о его создателе.

В КБ авиаконструктора Виктора Федоровича Болховитинова работали Александр Березняк и Алексей Исаев. Березняку пришла в голову мысль создать ракетный самолет. Он поделился ею с Исаевым, и они вместе, никому ничего не сказав, начали проектировать невиданную машину. Это была чистая самодеятельность, через много лет Исаев рассказывал:

— ...Страшно вспомнить, как мало я тогда знал и понимал. Сегодня говорят: «открыватели», «первопроходцы». А мы в потемках шли и набивали здоровенные шишки. Ни специальной литературы, ни методики, ни налаженного эксперимента. Каменный век реактивной авиации. Были мы оба законченные лопухи!..

Работа эта их увлекала, ни о чем другом думать они не могли, и в конце концов однажды вечером поехали домой к Болховитинову и все ему рассказали. Болховитинов посмотрел их расчеты, полистал эскизы и сказал задумчиво:

— Все это может у вас получиться...

Так их самодеятельность была узаконена шефом, но ни в каких планах КБ самолет не значился.

Болховитинов катался в воскресенье на яхте по Клязьминскому водохранилищу и, подойдя к берегу, увидел Исаева, сидящего на мотоцикле.

— Виктор Федорович, война! — крикнул Исаев.

Он посадил шефа на багажник и отвез в наркомат.

В тот день нарком авиационной промышленности Алексей Иванович Шахурин дал команду построить опытный экземпляр самолета БИ за месяц.

Через месяц и десять дней БИ — Березняк и Исаев назвали самолет первыми буквами своих фамилий — выкатили на аэродром. Но двигателя для него не было, да и выбирать тогда особенно не из чего было. Остановились на новом двигателе Душкина—более совершенном, чем тот, который он сделал для РП-318.

— Двигатель выглядел внушительно, а показания имел ерундовые,— вспоминал Исаев.— Расчет был на одну-единственную атаку. Эта атака должна была уничтожить вражескую машину, а затем самолет должен был спланировать на свой аэродром...

Осенью 41-го КБ Болховитинова эвакуировали на Урал. Разместилось оно в Билимбае, на крохотном труболитейном заводике. В Кольцово, туда, где сейчас Свердловский аэропорт, эвакуировали научно-испытательный институт ВВС. Там они и нашли Бахчи — Григория Яковлевича Бахчиванджи,— летчика-испытателя для своего БИ. И 15 мая 1942 года состоялся первый полет. Двигатель работал около минуты, но за это время Бахчи сумел забраться на полторы тысячи метров.

Вскоре в Казани появляется Королев со своими идеями возрождения ракетоплана. У Королева пусть заманчивая, но только идея. У Болховитинова — реальная машина, которая уже летает. Не правильнее ли будет, прежде чем начинать новую работу, посмотреть: а стоит ли игра свеч? На что вообще годна эта штуковина с огненным хвостом?

В подобных скептических рассуждениях чиновников наркомата авиационной промышленности был здравый смысл, тем более что нельзя забывать о времени, предельно неподходящем для опытных разработок: немецкое наступление на юге, начало Сталинградской битвы.

История БИ закончилась трагически: 27 марта 1943 года — в день, который ровно через четверть века, час в час, отнимет у нас Юрия Гагарина,— во время седьмого испытательного полета погиб Георгий Бахчиванджи. Его мужество оценят лишь через сорок лет, посмертно наградив его Золотой Звездой Героя Советского Союза. А тогда решение о постройке 30—40 опытных машин было отменено. Вместо них появилась одна-единственная — БИ-2, и товарищи Георгия — Константин Груздев и Борис Кудрин — еще продолжали какое-то время ее испытания, но разгадать тайну гибели Бахчиванджи так и не смогли. Лишь через годы выяснилось, что сверхскоростной истребитель, очевидно, погиб именно потому, что он сверхскоростной: летчик-инженер Кочетков и другие испытатели обнаружили и изучили явление затягивания самолета в пике на больших скоростях. Думаю, если бы Королев построил свой РП, его ракетоплан ожидала бы та же участь, что и БИ: законы аэродинамики одни для всех. А ведь тогда Сергею Павловичу было еще только тридцать семь лет, и он наверняка полетел бы сам...

Быт в Казани более напоминал шарагу на Яузе, чем омский завод. Королеву сразу бросилась в глаза деталь, неизвестная ему в Омске: светомаскировка. Казань немцы не бомбили. Но зенитки стояли, и все окна в большом здании заводоуправления были перечеркнуты тряпочными крестами: защита от осколков стекла, если ударит воздушная волна.

Здание заводоуправления находилось на стыке двух территорий: авиазавода № 27 и моторного завода № 16, эвакуированного из Воронежа. Группа

Глушко состояла как бы при моторном заводе, но директору завода не подчинялась. У казанских зеков был свой «директор» — Василий Петрович Бекетов, чекист с инженерным дипломом.

Административное здание представляло собой три четырехэтажных корпуса, соединенных трехэтажными перемычками так, что в плане было огромной буквой «Ш». В левой стойке этого «Ш» и размещалось ОКБ. На втором этаже — кабинет Бекетова с приемной, где сидела секретарша, кабинет майора Кобеляцкого (вряд ли надо уточнять, какое прозвище дали ему зеки), маленькая комната, в которой работал Глушко со своим преданным помощником техником Иваном Ивановичем Ивановым и нормировщиком Вольфом. Дальше — большая комната со столами в два ряда, где располагались сотрудники Глушко: Жирицкий, Лист, Беленький, Нужин, Озолин, Агафонов и жена Агафонова. Королев сидел на третьем этаже, как раз над кабинетом Бекетова. Там же — жилые комнаты зеков. В каждой комнате ночевало человек по двадцать. Постельное белье меняли раз в десять дней. В спальнях висели портреты вождей. Никому и в голову не приходило, что коли они «враги народа», которых вожди эти покарали, то портреты — кощунство по отношению к вождям.

Вконец поистрепавшихся зеков приодели — выдали шерстяные, очень дурно сшитые, но добротные, «ноские», как тогда говорили, костюмы и меховые безрукавки — «душегрейки». На единственной известной мне фотографии зека Королева он в пиджаке, под которым видна «душегрейка».

Цех, где изготовлялись ракетные двигатели, размещался на территории 16-го моторного завода. Монтировали их на бомбардировщики уже на 27-м заводе, самолетостроительном. Таким образом, ракетчики трудились на двух территориях. А вообще ракетчики составляли малую часть зеков: ведь сюда еще перед войной из шараги на улице Радио были переведены петляковцы, которых после гибели Владимира Михайловича возглавил Мясищев. Здесь же работала группа моториста Бодля — проектировали поршневые двигатели — и группа Стечкина. (Вновь встретился здесь Глушко со своим бывшим сокамерником. «Ну, что я тебе говорил? — кричал Борис Сергеевич.— Никогда не надо торопиться! Поверь, здесь гораздо уютнее, чем на джезказганских рудниках...»)

Таким образом, шарага на берегах реки Казанки отличалась от шараги на берегах реки Яузы разнообразием решаемых зеками задач. Отличались они и по режиму. Все строгости Яузы в военное время постепенно отмирали. Война сплачивала людей, обнажала всю абсурдность и лицемерность шараг, а значит, и ненужность их тюремных порядков. Весь путь из заводоуправления, где жил и работал Королев, до проходных заводов — налево 27-го, направо — 16-го — не превышал двухсот метров. На этом пути его должен был сопровождать конвоир. Но конвоир был уже совсем иной, чем на Яузе,— штатский, без винтовки, если и был у него пистолет, он его не выставлял, не бахвалился. Вскоре Королева и десять других зеков расконвоировали, выдали пропуска с фотографиями (вот откуда, очевидно, этот снимок в «душегрейке»), по которым они могли ходить на завод и с завода, когда хотели. С конвоиром Королев теперь ездил только на аэродром [1].

Расконвоированный зек — это поддельный свободный человек, фальшивый гражданин страны. Он был свободен, как свободна лошадь, у которой нет табунщика, но лошадь стреноженная. Он не мог, скажем, отправиться в центр города и пойти в кино. Но если кто-нибудь из расконвоированных заболевал, он мог поехать в больницу. Когда к Воронцову приехала жена, он гулял с ней по скверику неподалеку от заводоуправления. В общем, никто не мог определить теперь границ между дозволенным и запрещенным, но все — и вольные, и зеки, и сами вертухаи — видели, что авторитет режима падает день ото дня. Дело дошло до того, что один свободомыслящий конвоир сказал «своему» зеку: «Я вот все думаю: кому и зачем я нужен, кому от меня польза?»

[1] О встрече с зеком Королевым и его конвоиром на казанском аэродроме рассказал в своих книгах «Испытано в небе» и «С человеком на борту» Марк Лазаревич Галлай. Это были первые в нашей стране публикации, из которых проницательный читатель мог понять, что легендарный Главный конструктор находился в заключении.

Во всем этом странном, противоестественном человеческом сообществе ракетчики держались довольно обособленно. В заводской иерархии они были элитой: ракетчиков было мало, работа их была другим малопонятна, но считалась совершенно секретной, чтобы попасть к ним, требовался специальный пропуск,— все это не могло не создать ореола исключительности. В спальнях ореол этот тускнел: ракетчики жили вместе с другими зеками. Старик Пазухин, профессор из института золота, вечно штопающий свои носки, был консультантом по химии. Иван Иванович Сидорин, известный металлург, который помогал Туполеву в строительстве первых наших цельнометаллических самолетов, занимался материаловедением. Николай Романович Воронцов на воле был заместителем начальника ОТК большого завода, а здесь стал начальником цеха сборки ЖРД.

Кровать Королева стояла в одном ряду с кроватями Глушко и Севрука.

Доминик Доминикович Севрук вел в ОКБ испытания двигателей на специальных стендах, пристроенных к цеху № 30 моторного завода трудами Александра Поликарповича Кужмы, которого многие считали авантюристом, потому что всякое внеплановое строительство в 1941 году заведомо было опасной авантюрой. Севрук увлекался автоматикой, стремился приспособить ее в ЖРД везде, где только можно. Экспериментатором он был блестящим, работал быстро, весело и удачливо — такие люди слывут «везунами», и общаться с ними приятно. У Севрука всегда была масса интересных инженерных идей, которые он щедро раздавал, но сам редко к ним возвращался. Некоторые считали его человеком разбросанным — тугодумы часто называют так людей просто талантливых, не желая признавать, что подобная «разбросанность» им самим, увы, недоступна. Севрук еще в 1941 году начал первые испытания ускорителей Глушко, которые особенно заинтересовали Королева.

Теперь, когда идея постройки собственного ракетоплана была отвергнута, Королев сразу решил, что он займется как раз летными испытаниями этих ускорителей. То была живая, творческая работа, по которой он истосковался. Глушко согласился. Королеву выделили техников, слесарей-сборщиков, двух-трех молодых инженеров-прочнистов, и уже в начале января 1943 года «группа № 5»— так называлось подразделение Королева — приступила к работе. Вскоре по согласованию с Мясищевым был выделен серийный бомбардировщик Пе-2 с бортовым номером 15/158, переоборудованием которого и занялся Королев. Позднее для испытательной работы были откомандированы и два летчика, два Саши: Александр Григорьевич Васильченко и Александр Силуянович Пальчиков.

Двигатель работает, самолет серийный — на первый взгляд может показаться, что соединение их в единое целое не представляет серьезной проблемы, но это было совсем непросто. Ведь самолет проектировался без учета того, что на нем будет установлен ЖРД. В организм этого готового, серийного, «взрослого» самолета требовалось теперь как бы вживить новый орган, самой его природой не предусмотренный. Королев искал, где какой узел можно расположить, прибрасывал и так, и эдак, начертил несколько вариантов. Как-то в ОКБ зашел Мясищев, подошел к кульману Королева, долго рассматривал его чертеж. После стычек в Москве они встречались редко и, очевидно, сохранили некоторую неприязнь друг к другу.

— Это никуда не годится,— сказал Мясищев тоном, за который и получил прозвище «Боярин».— Вся ваша система должна быть единым, компактным, самостоятельным агрегатом. А у вас разные узелки разбросаны по всему самолету. Кто же так делает?..

Королев стоял красный. Злился ужасно, но молчал. А что скажешь? Прав «Боярин»! Это был хороший урок, который он надолго запомнил.

Королев всегда работал быстро и с задачей окончательной увязки РД-1 и Пе-2 справился тоже быстро. Но соединить одну железку с другой намного проще, чем соединить деятельность всех людей, стоящих за этими железками. Испытания, за которые теперь отвечал Королев, были самым тесным образом связаны с производством 30-го цеха, с графиком загрузки испытательных стендов, с работой механиков и сборщиков на авиазаводе, наконец, с авиаторами, с теми, кто готовил самолет к испытаниям и летал на нем. Это был маленький, еще довольно примитивный прообраз тех Больших Организационных Систем, которые впоследствии создал «космический» Королев.

Уже первые летные испытания РД-1 быстро выявили его «ахиллесову пяту». Во время полета его требовалось включать и выключать. Выключить — дело нехитрое. А вот включаться он не хотел: не срабатывало электрическое зажигание. Глушко решил вообще от него отказаться, заменить химическим. Так родился двигатель РД-1ХЗ. ХЗ — это химическое зажигание.

Дело не только в том, что барахлило зажигание. Волновала и герметичность: насосы керосина и кислоты сидели на одном валу, компоненты могли смешаться и... И мало ли что может вообще случиться! Стендовые испытания и ответственны, и опасны, но летные — во сто раз ответственнее и опаснее. Пожар в воздухе — это не пожар на стенде, и взрыв там и тут — это разные взрывы. Академик Борис Викторович Раушенбах писал много лет спустя: «Следует обратить внимание на то, что установка жидкостных ракетных двигателей на самолеты требует чрезвычайно высокой степени надежности. Если можно было допустить хотя бы в мыслях взрыв маленькой ракеты, которую запускают из бункера, то допустить, чтобы произошел взрыв на самолете, в котором сидят летчик и экспериментатор (а Королев и сам летал на этих самолетах), было невозможно. И поэтому в военные годы происходит, может быть, невидимая для большинства, но очень важная работа по созданию ракетной системы высочайшей надежности. Это оказалось необходимым впоследствии, когда после войны Сергей Павлович вернулся к прерванной работе по ракетам с жидкостными двигателями».

Предсказать, откуда и что тебе угрожает, в испытательной работе невозможно, иначе она не была бы испытательной. Ну разве можно было предусмотреть, что вот Севрук полетит, а какой-то сумасшедший зенитный расчет начнет его обстреливать? Слава богу, не попали.

При летных испытаниях мог подвести не только двигатель, который испытывался, но и самолет, на котором его испытывали. В 1944 году судьба снова сберегла нам Королева. Молодой инженер Александров упросил однажды Сергея Павловича разрешить ему один испытательный полет. Королев разрешил. И на его глазах у Пе-2 заглох один мотор, он быстро стал терять высоту, выпустил шасси, но до полосы не дотянул, зацепился колесами за крышу какой-то избушки, обломил крыло с бензобаком, дом вспыхнул, как стог сена, однокрылый бомбардировщик протащился на брюхе несколько метров и замер. Когда Королев подбежал, Александров был еще жив, но в тот же день умер. Васильченко, который пилотировал бомбардировщик, повредил позвоночник и ногу, лежал в госпитале, потом опять начал летать.

Судьба Королева сберегала всегда: мог подорваться на мине в Одессе — не подорвался, мог сломать шею на планере в Киеве — не сломал. Судьба убрала его с поста заместителя начальника РНИИ — и его не расстреляли, притормозила на Колыме — и он не утонул на «Индигирке». И в Казани вновь подвела она его к тому краю, за которым уже нет ничего, но дальше не пустила. Случилось это уже перед самым отъездом из Казани. Сохранился документ:

«Приказ № 3 по опытно-конструкторскому бюро специальных двигателей от 8 июня 1945 года.

12 мая 45 года во время опытного высотного полета самолета со спецдвигателем на высоте 7000 метров при включении спецдвигателя произошел взрыв, разрушивший двигатель и повредивший хвостовое оперение самолета. Особо отмечаю четкую и умелую работу экипажа самолета во время аварии, блестяще справившегося со своей задачей в сложной обстановке и благополучно посадившего машину на аэродроме. В связи с этим объявляю благодарность экипажу самолета:

летчику-испытателю капитану Васильченко А. Г.

инженеру-экспериментатору Королеву С. П.

бортмеханику Харламову С. Ф.

Главный конструктор ОКБ В. Глушко»

Есть несколько версий того, что тогда произошло, и почти во всех рассказывается, что Королев был ранен. Расспросить самого Королева об этой истории я не успел. Встретиться с Васильченко и Харламовым тоже не удалось. Александр Григорьевич Васильченко умер раньше Королева — пройдя по всем ступеням риска в своей опасной профессии, он угорел в гараже.

Королев считает работы над ускорителями весьма перспективными. «В ближайшие год-два,— писал он в Казани,— вспомогательные реактивные установки явятся наиболее жизненной формой использования жидкостных ракетных двигателей на их современной стадии развития». Создается впечатление, что казанский опыт заставил Сергея Павловича несколько откорректировать свои планы создания самолета стратосферы. Не беда, если вначале это будет гибрид ракетного и поршневого самолета. По мере совершенствования ракетный будет все более вытеснять поршневой и в конце концов превратится в чистый ракетоплан. Одновременно Королев продолжает те самые свои «потаенные» работы, которые он вел в шараге на Яузе и в Омске (не удивлюсь, если завтра обнаружится, что и на Колыме он их вел). Казанские записи, расчеты и чертежи сохранились. Это уже не самолеты, а «чистые» ракеты, но они мощнее, крупнее тех, которые он проектировал в РНИИ. Можно назвать эти ракеты ракетами второго поколения: длина четыре с половиной метра, заряд двести килограммов. Построены они не будут, но для того, чтобы создать те, которые будут построены, очевидно, надо было пройти через этот этап развития.

Еще более важным, чем для Королева, был казанский период для Глушко. Несмотря на то, что некоторый опыт в ГДЛ и РНИИ уже существовал, работы в Казани были новаторскими, пионерскими. Надо было создавать теорию, сообразно ей вести расчеты, конструировать, строить, испытывать, сравнивать то, что получали, с тем, что надеялись получить, разбираться, почему не получили, и начинать все сначала. В Казани Глушко стал главным конструктором, получил свое Дело, свою производственную базу, свои испытательные стенды. Здесь зародился, пошел в рост коллектив будущего могучего конструкторского бюро ракетного двигателестроения.

С Королевым они были очень непохожи: разные характеры, темпераменты, манеры общения, а в чем-то важном, касающемся Дела, вдруг обнаруживали сходство. Но, наверное, все-таки самым главным из того, что их объединяло тогда, был Указ, в котором фамилии их стояли рядом,— Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1944 года о досрочном освобождении со снятием судимости.

Давно, с весны, гулял по шараге слух об этом Указе, кто-то, где-то, у кого-то даже видел какие-то списки с чьими-то фамилиями. Королев не верил. Не хотел верить. Уж слишком часто разочаровывался. Наверное, что-то внутри перегорело. Он и сам не ожидал, что воспримет долгожданную весть так спокойно.

Лет пятнадцать, а может быть, и двадцать назад, начав разбираться, как и когда Королев вернулся в Москву, я заранее уже составил ответ на эти вопросы. В воображении моем Королев уезжал в Москву на следующий день после объявления амнистии. А может быть, в тот же день. Натыкаясь на даты в документах, на воспоминания очевидцев, из которых явствовало, что и после освобождения он продолжает работать в Казани, поначалу думал, что это какая-то ошибка. «Мой» Королев должен был уехать сразу. Я тогда еще плохо знал его. И воспоминаний моих, воспоминаний эвакуированного в Омск первоклассника, не хватало, чтобы увидеть су[illegible]вую правду взрослой жизни тех лет, жизни «по законам военного времени». В этих законах не было слова «хочу». В этих законах было только слово «надо». Люди, работавшие на оборонных предприятиях, имели не намного больше прав распоряжаться собой, чем зеки. Королев писал Ксении Максимилиановне:

«Сейчас тяжелое время и не время жаловаться, тысячи людей разлучены и, быть может, навсегда. Все это я понимаю, и этим я живу вместе со всеми, но ведь не все уложишь в рамки, в установленный порядок и не прикажешь сердцу замолчать!! Так я лелеял надежду на скорую встречу с тобой и с мамой, но так же нам не везет, и который уже раз. Вот и сейчас все у нас тут неожиданно закончилось, и я сижу и не знаю, что и как дальше будет. Я надеялся, что когда закончу эту работу, то смогу вас повидать, но сейчас все опять изменилось. Куда направят, я не знаю, не исключена возможность, что останемся и здесь, только на другой работе, и значит, все сначала. Но сейчас меня с работы не отпустят, я в этом уверен».

9 августа все освобожденные зеки — их было двадцать девять — справляли новоселье: им отвели целый подъезд шестиэтажного дома № 5 по улице Лядова. Там, на четвертом этаже, получил комнату и Сергей Павлович. Было странно и непривычно спать в комнате одному. Он постепенно осознавал свободу, неторопливо разглядывал мир и видел его совсем другим, несравненно более полным, разнообразным, красочным. Так случается с людьми после тяжелой болезни. Впрочем, это и была тяжелая болезнь, эпидемия Сталина. Королеву повезло: он выжил. Он пишет матери:

«У меня хорошая комната 22 м² с дверью на будущий балкон и двумя окнами, так что вся торцовая наружная стена остеклена. Много света и солнца, так как мое окно смотрит на юг и восток немного. Утром с самого восхода и до полудня, даже больше, все залито ослепительным ярким солнцем. Я не ощущал раньше (до войны) всей прелести того, что нас окружает, а сейчас я знаю цену и лучу солнца, и глотку свежего воздуха, и корке сухого хлеба.

Комната моя «шикарно» обставлена, а именно: кровать со всем необходимым. Стол кухонный, покрытый простыней, 2 табурета, тумбочка и письменный стол, привезенный мною с работы. На окне моя посуда: 3 банки стеклянные и 2 бутылки, кружка и одна чайная ложка. Вот и все мое имущество и хозяйство. Чувствую ваши насмешливые улыбки, да и мне самому смешно. Но я не горюю... Это ведь не главное в жизни, и вообще, все это пустяки».

Он всегда был бессребреником, а из тюрьмы вынес стойкое, на всю жизнь, убеждение в относительной ценности денег, вещей, одежды, удобств. Он ничего не коллекционировал, мало было вещей, которыми он дорожил, а если и дорожил — не за их стоимость. С Колымы он привез алюминиевую кружку и сохранил ее до конца жизни. Душегрейку пришлось выбросить в конце концов, но он не любил менять костюмы, пальто, был равнодушен к моде. В ленинградской комиссионке один раз в жизни купил картину за тридцать рублей и уверял Нину Ивановну, что это Михаил Клодт. Он мог подарить жене дорогую шубу, но после смерти на его сберегательной книжке лежало 16 рублей 24 копейки. Кинозала на даче не было. Потому что дачи тоже не было, хотя могла быть. Несколько последних лет его жизни был большой двухэтажный дом с садом и розарием (подарок правительства), большой черный автомобиль (служебный) и даже персональный большой самолет ИЛ-18 (разумеется, служебный). Но и тогда он твердо знал: «Это ведь не главное в жизни, и вообще, все это пустяки».

Не пустяки для него всегда одно — Дело. Королев не мог уехать из Казани сразу после освобождения, это верно. Но он и не хотел из Казани уезжать. Вывод на первый взгляд парадоксальный, однако если разобраться...

Что он будет делать в Москве? Кто примет на работу вчерашнего зека, не реабилитированного, а лишь прощенного? НИИ-3 в эвакуации. На старой базе занимаются «катюшами». Его тематика, особенно самолетная, от них далека. Да и не надо туда возвращаться, старое ворошить. Чего больше всего хочет Королев в конце лета 1944 года, в дни обретения свободы? Хочет самостоятельности. Хочет иметь свое Дело.

Многое объясняет «Докладная записка», написанная 30 сентября, то есть

через два месяца после освобождения,— «О работах Бюро самолетных реактивных установок при ОКБ-РД на заводе № 16». Заметьте, как уже в заголовке сформулировано: Бюро при ОКБ. В самой записке вновь подчеркивается: «В период 1942—1944 гг. в системе ОКБ 4-го спецотдела НКВД на заводе № 16 находились две самостоятельные группы: КБ-2 — конструкторское бюро реактивных двигателей (Глушко) и группа № 5 — самолетных реактивных установок (Королев)». Он декларирует свою независимость, положение заместителя Глушко его не устраивает. Потом, правда, он вынужден признать: «группа № 5 придана ОКБ-РД на заводе № 16». В докладной перечисляет сделанное за два года и даже рассказывает о всех работах 1932—1938 годов, создавая картину весьма внушительную: «Было выполнено несколько сотен экспериментальных пусков...» Зачем это все он пишет?

Во-первых, чтобы отбиться от новых «хозяев»: «Сейчас группа передана в Моторное КБ, несвойственное по профилю производимых работ. Работники завода № 22 в результате отозваны и используются на других работах. Фактически группа не имеет возможности работать дальше».

Во-вторых, чтобы получить не только юридическую, но и творческую свободу: «В настоящее время было бы своевременным и целесообразным реорганизовать группу в самостоятельное конструкторское бюро на одной из производственных баз в системе главного управления НКВД по реактивной технике».

Он готов остаться в системе НКВД? Да, готов. Королев реально представляет себе расстановку сил в промышленности и понимает, что сейчас, на исходе войны, он никому со своей тематикой не нужен, его не «купят» вместе с его группой ни авиационники, ни вооруженцы. Для того, чтобы продолжать свое дело, он согласен на шарагу, но только на с в о ю шарагу, со своей тематикой. Так, чтобы не он при двигателях, а двигатели при нем. Чем он собирается заниматься?

«Наибольший интерес представляет тема: одномоторный истребитель с бензиновым мотором [и РД] и реактивной установкой по специальной схеме.

Несомненно, что особое значение представляет разработка реактивных автоматически управляемых торпед для поражения весьма удаленных площадей, по типу немецких боевых ракет».

Докладная записка датирована 30 сентября 1944 года. Первая ракета Фау-2 выпущена на Лондон 8 сентября. Вряд ли Королев имеет в виду эту ракету — англичане еще сами толком не разобрались, что на них падает. Скорее он пишет о самолете-снаряде Фау-1. Эти снаряды тоже начали применяться недавно — с 13 июня 1944 года, но он уже в курсе дела, осведомлен о всех новинках! Сосед Королева по дому Николай Сергеевич Шнякин вспоминает: «Появившаяся надежда на организацию собственного ОКБ буквально окрылила его, и он без устали работал, составлял планы работ на будущее».

Поразительный человек! Вчерашний зек требует КБ! Усталый, больной (не раз случались сердечные приступы), драный, нищий (стеклянная банка и чайная ложка — все его богатство), печется о судьбе своего крохотного коллектива. У него нет канцелярской скрепки, чтобы не разлетелись странички докладной записки, он прокалывает их сапожным гвоздиком, а ему нужен стратосферный самолет!

В октябре Королев составляет отчет «Крылатые ракеты». Отчета этого никто с него не спрашивает. Пишет для себя. Подводит итог всему, что успел сделать на воле до 1938 года. Смотрит, откуда надо начинать.

В декабре он завершает эскизный проект ракетной модификации истребителя Лавочкина Ла-5ВИ.

Новый год встречали весело, пили спирт, пели песни: встреча Нового года на свободе — тоже забытое ощущение...

Всю зиму и весну продолжает полеты на Пе-2 с ракетной установкой. К Первомаю в Казанском авиационном институте организована кафедра ракетных двигателей. Глушко стал заведующим кафедрой, Жирицкий — профессором, Королев, Лист, Севрук и Брагин — старшими преподавателями.

Но заняться преподаванием он не успел.

...В тот вечер он пришел домой после полетов усталый, хотел приготовить что-нибудь на ужин, но решил немного отдохнуть, одетый прилег на кровать и уснул. Проснулся, когда было уже темно, от какого-то глухого шума, гула, который проникал в комнату отовсюду — сверху, снизу, сквозь стены, с улицы. Королев вышел в коридор, В квартире никого не было. Открыл дверь на лестничную площадку. Снизу по лестнице огромными прыжками несся незнакомый ему человек с мокрым лицом и невероятно сияющими глазами. Увидев Королева, он закричал: «Победа! Победа!»

Внизу слышен был голос Левитана, и Королев бросился на этот голос.

— ...прекратить военные действия в 23.01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года...

Начала он не слышал, услышал самое главное.

Через шестнадцать лет он опять услышит этот ликующий голос, услышит самое главное:

— ...космический корабль «Восток» с человеком на борту...

Тогда, на лестничной площадке казанского дома, он не мог знать того, что будет через шестнадцать лет. Тогда он знал лишь, что конец войны означает одно: пришло время начинать сначала. Как, где, с кем — не знал, но то, что придется начинать сначала, знал твердо. У него украли шесть лет, шесть лет, когда он был в самой силе. Теперь надо наверстать эти шесть лет. Скоро сорок. Время еще есть. Но надо очень торопиться.

* * *

Остается лишь поблагодарить тех, кто рассказал мне о годах заточения С. П. Королева. Своими знаниями и воспоминаниями со мною поделились десятки людей — знаменитые и безвестные, те, кто жив, и те, кого уже нет. Если хроника выйдет отдельной книгой, назову всех поименно.

Выражаю искреннюю благодарность Дому-музею С. П. Королева в Москве, архиву Академии наук СССР, архиву бывшего РНИИ, госархивам Магаданской области и Приморского края,

а также КГБ и МВД СССР, Военной коллегии Верховного суда СССР, Главной военной прокуратуре, УВД Магаданской области и руководству Бутырской тюрьмы за помощь в моей работе.

Людмила Медведева

ЖЕНЩИНА И АРМИЯ

...сердце мудрого знает и время и устав.
(Екклесиаст)

Военные никогда не занимали моего девического воображения. Хотя мой отец носил форму — полковник, юрист, но семейных друзей-военных почти не было. Правда, из детства проклевывается запомнившаяся картинка: два дяди-генерала, сидя у нас в гостях, с размаху чокаются и взмыкивают на все ноты: «Ам-м-ываем! Ам-м-ываем! А помнишь, как мы тебя ам-м-ывали? А вот в Чите мы ам-м-ывали... А Петров — зажал, не ам-м-ыл!..»

Я кружила вокруг стола, все более завораживаясь магическим словом. А на дне стакана, довершая сказочную атмосферу, испускала лучи таинственная золотая звездочка. И вдруг тускнела, перетекая в золотой дядин рот.

...А все-таки что-то в них есть, в господах офицерах! Вот в ресторане или на вечере отдыха в санатории кавалеры приглашают дам танцевать. Подошел сугубо штатский кавалер, буркнул что-то невразумительное, а то и просто, без предисловий, потянул за предплечье. Но вот подходит военный. Полные достоинства манеры, церемонный наклон головы; и назад проводит, и стул пододвинет.

Форма не только хрестоматийно дисциплинирует. Она защищает от комплексов, которые разрушают изнутри современного мужчину. Она дает шанс. С поговоркой, все же отдающей душком русской безнадеги «За горбатого, но за военного», перекликается чеканный каламбур восточной женщины: «Леу мулязим, леу му лязим» («Или лейтенант, или пошел вон»).

Но форма как олицетворение мужественности предполагает возле себя наличие женственности. Настоящий Ян взыскует настоящей Инь. (По древнекитайской мифологии — это символы мужского и женского начала.)

Армия — один из самых консервативных институтов в современном обществе. Эти стяги, присяги, суд офицерской чести, субординация — много ли изменилось здесь за последние века при всех глобальных событиях и катаклизмах? Армия неохотно отказывается от «старых мехов». Революция сдунула знаки различия с военных мундиров, но ненадолго; они вновь расцвели, пусть постепенно, пусть видоизменившись, но тоже ярко и нарядно, как и когда-то. А сакраментальное для русской (и не только русской) армии число «двадцать пять»? Именно на двадцать пять лет забривали в солдаты, а нынче тот же срок должен прослужить советский офицер. Сравним Уставы царской и советской армий — сильно ли они разнятся? Не слишком, как и кровь воинов, которой написана каждая буква этих Уставов. Примеры такого сходства можно множить и множить, с поправками, конечно, на нравы и времена.

Нельзя сказать, что новое совсем не прививается в армии, но часто оно означает лишь вымороченный слепок со старого, а то и вовсе пародию на него. Не сходны ли многие обязанности нынешних замполитов с функциями дореволюционных полковых священников? Священник (как в идеале и замполит) должен был помогать советом, поддерживать ослабших духом, быть в курсе семейных обстоятельств воинов. Во всяком важном деле у священника брали благословение; замполит тоже «дает благословение» — без его ведома почти ничего

не решается. Полковой священник, как, позднее, и политрук, и замполит, поднимал солдат в атаку, заменяя погибшего командира.

Армия — из наиболее замкнутых сфер даже в самом корпоративном обществе. Понять в ней что-нибудь можно, лишь пребывая внутри нее. Ну вот, допустим, идет вам навстречу военный. Женщина, не имеющая отношения к армии, поймет, вероятно, только одно: идет военный. Мужчина даже сугубо штатский заметит, конечно, гораздо больше. Он подумает: идет офицер, подполковник — даже, возможно, определит: танкист (или юрист). Но вот идет военнослужащий или жена военнослужащего... Еще издалека начинается считывание информации: погоны, нашивки, планки, колодки, значки, качество сукна на шинели, манера носить фуражку, отдавать честь, походка — все важно, все значимо. За две секунды составится столь полное представление о человеке, какое мы, на гражданке, и за месяц не получим о новом знакомом. Для нас, дилетантов, любой генерал кажется, конечно, главнее любого полковника. А кадровый офицер или его жена знают, что звание — это еще не все, и иной генерал из дальнего округа стоит на незримой для нас иерархической лестнице гораздо ниже иного московского полковника.

В армии более, чем в любом другом общественном институте, идет подмена личного, неповторимого жизненного опыта коллективным, идеологически освященным. Судьбы военнослужащих большей частью очень схожи, хотя бы по фабуле, а посему армейское братство, взаимовыручка — реальность, полнокровная реальность.

Те, кому доводилось присутствовать на выпускных балах в военных училищах (в качестве гостей), не могли не заметить какого-то сестринского сходства юных подруг новоиспеченных лейтенантов. Стереотип подруги военного освящен веками. Это некая размытость личностных черт при непременной миловидности. В таком выборе реализуется внутренняя установка быть командиром всегда и в своем доме тоже.

Армия вмещает многое. Передовая научная мысль и обскурантизм, крепость семейных уз и особое армейское жлобство, тяжкий, неблагодарный труд и усердное чинопочитание, бесконечное терпение, привычка к лишениям, рецидивы рыцарства и романтизма, героизм — все сплавилось в этом странном организме, именуемом «Вооруженные Силы СССР».

Общественное мнение — субстанция колеблющаяся и непостоянная. Если принять условно два полюса: с одной стороны, доблестные генералы в хаки, стучащие кулаками о трибуны, а с другой — желеобразные розовые пацифисты, уговаривающие отменить армию вовсе и «взяться за руки, друзья...», то сегодняшнее общественное мнение тяготеет, скорее, к розовому, чем к хаки. Офицеры в больших городах просят разрешения приходить на работу в гражданском и там переодеваться в форму — утренний транспорт сопит доморощенным похмельным пацифизмом. Такого понаслушаешься... Тает даже исконно свойственное нашему человеку почтение к чинам: генералу тыкают в метро:

— Эй, генерал, зарплаты на такси не хватает?

Дамы стыдятся идти в гости или театр со спутником в форме.

Странное дело, народ наш пьяных не обижает, пьяненьких народ жалеет, но не любит почему-то публика подвыпившего офицера! Качают головами добрые поселяне и горожане, перстами осуждающе тычут:

— Ай-я-яй,— говорят,— куда милиция смотрит? Где патруль гуляет?

А пьют военные ничуть не больше штатских, просто они заметней издалека. Таксисты норовят газануть от клиента в форме: по шкале ценностей у таксистов «сапоги», то есть военнослужащие, на одном из последних мест после «шляп» и «чемоданов». У допризывной молодежи и вовсе не остается почтения ни к погонам, ни к летам.

...Крепкий, смелый, уважаемый пациентами и коллегами генерал-майор медицинской службы собрался в командировку. Работяга и аскет, не признающий привилегий, он никогда не пользовался положенной ему машиной без крайней надобности. Он шел в полной форме с небольшим портфелем в руке по длинному подземному переходу, именуемому в просторечии «труба». А в «трубе»

тусовалось десятка полтора отроков и дев невнятной, хотя и явно неформальной ориентации. Тусовались чахло, на исходе кайфа, и потому явление генерала при всех регалиях восприняли как нежданный, счастливый подарок судьбы. Они бросились к нему, закружили, звеня кандалами, в блаженной истоме, то отрываясь для изящного пируэта, то вновь соединяя руки в магическом круге.

— Генерал... генерал...— лепетали они упоенно,— куда же ты, побудь с нами, генерал...

Порой они касались тонкого сукна его шинели, но нежно, но трепетно, дабы генерал не рассеялся, как чудное видение, как разноцветный глюк.

Ужели не нова эта ситуация для армии? Часто ли, в еще недавние времена, встречались офицеры, при каждом удобном случае переодевающиеся в штатское? Но та женщина, что не хотела идти в театр со спутником в форме, оказавшись в поздней электричке, как-то успокаивается, заметив на одной из скамеек дремлющего военного. А благонамеренный горожанин, призывавший патруль, если ему самому угрожают хулиганы, инстинктивно кидается за помощью к проходящему мимо офицеру.

В состоянии сегодняшнего общественного мнения отчасти повинен устойчивый миф: военные много получают. Это давно не соответствует истине, хотя формально зарплата военных по-прежнему выше средней по стране. Но ни накоплений, ни ценностей почти ни у кого нет, разве что удастся послужить за границей, но не всем же удается. При этом у военнослужащих нет суббот, часто и воскресений, зато есть дежурства, наряды, внезапные вызовы по тревоге. Уходя в гости, он оставляет адрес, откуда его могут вызвать в любой момент и на неясный срок — такова служба. И из отпуска, продолжительности которого завидуют многие штатские, его тоже могут вызвать срочной телеграммой, по такой, к примеру, причине: надебоширил подчиненный. И мчится отпускник, порой через тысячи километров, из-за употребленной на другом конце континента бутылки спирта. Так вот, при такой ответственности, такой чудовищной нагрузке, такой несвободе военным мало, крайне мало платят. И будущность тех, кто отдал молодость и лучшие силы армии, смутна и неопределенна.

В среде военных свои обычаи, традиции, неведомые остальным слоям общества, свой метаязык, свои идеалы, надежды, страхи, мораль.

...Когда я опамятовалась однажды после тяжелой операции и осмысленно взглянула на мир, то обнаружила, что пребываю в обширной больничной палате, а вокруг лежат и слоняются семь разновозрастных женщин. Вилась общепалатная беседа, но мой немощный пока голос не мог достойно влиться в ее мерное течение. Он долетал лишь до соседней кровати, и так, по территориальному признаку, я дружила с Олей, говорливой белокурой медсестричкой. Она укрепляла меня медицинскими знаниями, я услаждала ее бытовым мистическим фольклором. Потом одна из сопалатниц, подергав по очереди наши простыни — примета: выписывайтесь следом за мной — покинула нас, а ее постель приняла нашу новую подельницу.

Вся палата с любопытством воззрилась на свежего человека, предвкушая новости и сплетни, но новенькая, едва присев на одеяло, достала вязанье и быстро-быстро замелькала спицами. Молчание длилось довольно долго, а она все посверкивала да позвякивала спицами и переставала сверкать и звякать, лишь когда шуршала пакетом, поправляя свернувшиеся внутри клубки. Я повернулась к своей медсестричке:

— Эта девушка похожа на героиню сказки «Двенадцать лебедей». Ее везут на казнь, а она все вяжет кольчуги из крапивы, потому что если не успеет, то братцы-лебеди не превратятся в принцев...

В тишине мой голос прозвучал непредвиденно зычно. Все рассмеялись, кроме вязальщицы. Она лишь на мгновение подняла равнодушный взор и вновь погрузила его в свою кольчугу. Она была, что называется, «неконтактна» и так и не стала ни с кем знакомиться. И потому я весьма удивилась, обнаружив в тот же вечер, что и она, и моя медсестричка гуляют вместе по коридору. И не просто гуляют, а обняв друг друга за талию и шепчась самым доверительным

образом! Они стали неразлучны, я чувствовала здесь какую-то тайну. На мои чуть обиженные расспросы Оля снисходительно улыбнулась:

— Да ведь наша новенькая — жена лейтенанта! Как и я...

Тогда, в больнице, я поняла, что наткнулась на неизвестный мне доселе пласт бытия моей страны. По какому паролю, тайному знаку эти девочки безошибочно вычислили друг друга в толпе казенных халатов? Что притянуло их — непохожих, неземлячек, неоднокашниц? «Мы — жены лейтенантов...»

КУДА ИГОЛОЧКА, ТУДА И НИТОЧКА, ИЛИ НЕМНОГО О ЖЕНАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

И на юбке кружева, и под юбкой кружева,
Неужели я не буду ах — фицерова жена!

(народная песня)

Я хотя и убегаю женщин, но только не жен и дочерей моих однополчан; их я очень люблю; это прекраснейшие существа в мире! Всегда добры, всегда обязательны, живы, смелы, веселы, любят ездить верхом, гулять, смеяться, танцевать! Нет причуд, нет капризов. О, женщины полковые совсем не то, что женщины всех других состояний! С теми я добровольно и четверти часа не пробыла бы вместе.

(Надежда Дурова. «Кавалерист-девица»).

Блаженны жены, любящие своих мужей! Ну, а нет любви — растворимся в детях, книгах, подругах, тряпках... воздохнем иногда... но живем. Женам военнослужащих без любви к супругу — гибель. Без всепоглощающего чувства к спутнику жизни выдержать т а к у ю жизнь невозможно.

...Ковер югославский с розами. Сервиз «Мадонны»... двенадцать чайных ложечек, серебряных, с позолотой — свадебный мамин подарок... Ведь можешь себе представить — футляр на месте, закрыт на замочек, а ложек нет. Детские вещи, костюм мужнин финский — раза три всего надел, все в форме да в форме...

— Ну, а что железная дорога? Сколько вам компенсировали?

— А нисколько не компенсировали. Мы, конечно, сразу заявили, а нам: «Поезжайте туда, откуда приехали, там и разбирайтесь!» А ехали мы из Киева. Посчитали: дорога туда-обратно, там жить, пока то да се — рублей в пятьсот обойдется поездочка, да еще неизвестно, добьемся ли чего... Махнули рукой, пусть подавятся.

И вздохнула, но не так, чтобы горестно. Легкий она человек, Наташа, жена старшего лейтенанта, веселый.

Они с мужем молоды. Военный городок среди песков Туркмении — их второе место службы, но наверняка не последнее. Офицерская семья переезжает пять, шесть, восемь раз за жизнь. Бывает, что и десять, и пятнадцать. А что такое переезд полноценной семьи с детьми, скарбом, цацками и пецками?

Месяц пакуются вещи, а голова кругом: что брать, что не брать? Выворачиваются шкафы, разверзаются ящики, вещи плодятся и множатся. Вроде и не было в доме почти ничего, откуда что берется? Нет контейнера-пятитонки, дают трехтонку. Значит, нужно еще что-то оставлять, а как же без этого жить? Кое-

что приходится задешево продавать, чтобы на новом месте втридорога купить. Что-то раздаривается или просто выбрасывается.

...Ну, кажется все. Контейнер отправлен, билеты куплены, можно и в путь.

— Слушай, а жалко уезжать — я как-то привыкла.

— Ну вот. Жаловалась, жаловалась, а как ехать, то — привыкла! Вечно ты так. Пошли, такси внизу сигналит.

А на новом месте вас вовсе не ждут с ключами от квартиры или хотя бы комнаты. Если есть гостиница — поселяетесь в гостинице, платя, соответственно, за каждые «сутки проживания». Или бегаете по чужим домам, названивая в чужие звонки: «Комнату не сдадите? Семье военнослужащего?»

Да возьмите ту же Москву, знаменитый Банный переулок, вернее подступы к нему — там всегда, в любую погоду, толчется группка офицеров с плакатами: «Снимем... Порядок гарантируем...» А сколько стоит это «снимем» в большом городе? Те, кому «посчастливилось», знают.

Поздравляю, тем или иным образом, вы все же устроились, на улице не остались. Контейнер ваш еще не пришел, а значит, нет сковородок, одеял, кроватей, теплых вещей. Можно побираться у соседей, можно перебиваться, порой довольно долго, и т а к.

Контейнер прибыл, распишитесь в получении, а внутри — ни ковра югославского с розами, ни почти нового финского костюма, ни ложечек серебряных — маминого подарка...

Проходит полгода, год (иногда гораздо больше), и вы, наконец, получаете собственный «угол». Наконец можно распаковать вещи, расставить их и сразу же переставить — раньше не было ни смысла, ни места. Квартирка, конечно, «за выездом», а значит, нужен ремонт, хотя бы самый примитивный. В городах все более или менее ясно: потычешься в службу быта, на худой конец отловишь дядю Петю в замызганном ватнике (или ковбойке), и вскоре в квартире зависает счастливая суспензия из краски, пыли и лака. А в маленьких гарнизонах? Дяди Пети там не водятся (их не пропускают через КПП), материалов не достать, так что поезжай куда хочешь, хватай что подвернется, возвращайся в обнимку с рулонами обоев и банками водоэмульсионки и сама засучивай рукава. А может, повезет, и у спутника жизни обозначится свободное воскресенье...

А если нет денег, а есть малые детки и, значит, никак не оторваться, то смиряйся и живи так. С треснутой раковиной, с сальными отпечатками чужих голов на обоях, с полосками, зафиксировавшими на дверном косяке стремительный рост неведомого акселерата.

Есть жены военнослужащих, которые живут как бы с постоянным ощущением бренности бытия. Зачем тратить силы на ненадежное, временное пристанище? Вот потом, когда у нас будет с в о е, настоящее, прочное, тогда...

Другой тип жен норовит любыми способами обуютить свое временное жилище; кто знает, сколько придется смотреть на эти стены — будем жить, а не готовиться к жизни!

Но поздно или рано и мечтательницы, и хлопотуньи начинают снова паковать вещи.

— Ты знаешь, а я, пожалуй, привыкла, здесь как-то... тепло хотя бы... и Таньке школа нравится.

— Вечно ты недовольна, а помнишь, как плакала, когда только приехали? Пошли, машина уже ждет.

Как это поется в старинной казачьей песне:

Один-то един молодец — он не плачет,
Тяжелехонько вздыхает,
Про фатерушку добрый молодец вспоминает:
«Ты фатера моя, фатерушка новонаиятая!
Я стоял на тебе, фатерушка, ровно три годочка,
Показалось мне, доброму молодцу, за три часочка».

Наташе, жене старшего лейтенанта, подфартило — у нее есть работа. Она инструктор по культуре в гарнизонном Доме офицеров, то есть она пылит на

газике с агитбригадой, ломает голову, придумывая конкурсы для праздничных концертов, надрывается в телефонную трубку, умоляя не присылать фильмы, прокрученные сто раз по второй общесоюзной телепрограмме.

Другим женам повезло меньше — в небольшом городке все места заняты-перезаняты, на некоторые — очередь. В больших городах, где, казалось бы, должно быть с работой проще, кадровики поднимают от ваших документов враз потяжелевший взгляд: вакансий нет и не предвидится. Ненадежные кадры, эти жены военнослужащих,— сегодня она есть, а завтра «вдруг приказ», и отправляется она вслед за своей иголочкой по бескрайней канве нашей необъятной Родины. Невзирая на повышенные обязательства коллектива и собственный прерываемый трудовой стаж.

Кстати, о стаже. Не набирают они стажа и, как правило, не по своей вине. И поэтому, согласно закону, к концу жизни получают такую пенсию, которая в некоторых странах соответствует прожиточному минимуму канарейки желтой, одомашненной (семейство вьюрковых, отряд воробьиных).

Многие жены военнослужащих жаждут работать. И мало кто понимает, что они у ж е работают, даже если их трудовые книжки покоятся в тумбочке между институтским дипломом и свидетельством о браке. В царской армии у офицеров были денщики, и они вовсе не сидели сложа руки. Теперь денщиков нет, но работа-то никуда не делась. Спрашивается, кто ее выполняет, если у офицера нет свободной минуты? Конечно, жена, в сущности, тоже военнослужащая. У денщиков, кстати, не было при себе детей, а у жен военных, как правило, они есть, со всеми вытекающими проблемами: мест в садиках-ясельках — как и везде, бабушки далеко-далеко...

— Что бы я без мамы делала...— задумчиво качает головой Наташа, жена старшего лейтенанта.— Сколько бы шишек набила без ее советов. Во всем, ты понимаешь, во всем она мне помогала. Помню, первый раз готовилась к отъезду: и так вещи уложу, и эдак. Ничего не получается. Упала я на всю кучу и заревела... А тут, на мое счастье, родители прощаться пришли. Мама — раз-раз, все и уложила, емко, аккуратно. Наловчилась за жизнь, тоже ведь жена офицера.

Я спрашивала многих курсантов и офицеров: характерна ли для нашей армии кастовость? И все с готовностью отвечали мне: «Нет!» Тогда я спрашивала: «А из какой вы семьи?» И, как правило, получала ответ: «Офицерской». То же и с их женами — часто, очень часто они оказывались «военной косточкой». И если на уровне среднего и младшего комсостава шарик в рулетке Гименея нет-нет, да и закатывается в безродное гнездо, то чем ближе к верхушке иерархической военной пирамиды, тем бесспорнее признаки касты. А именно, двух ее основных признаков: наследования профессии и эндогамии, то есть «обычая заключения браков внутри определенной общественной группы, напр. племени, к а с т ы...» Информация из слишком высоких слоев атмосферы сочится крайне скупо, но все, кто имеет отношение к Вооруженным Силам, будут вынуждены признать: за последние четыре десятилетия замкнутость нашей военной верхушки стала почти герметичной. (С ней поспорит, пожалуй, лишь дипломатическая, а вот в высшей партийной иерархии, как ни странно, морганатические браки никогда не были редкостью.)

Жена одного маршала, большая демократка, говаривала друзьям: «Представляете, я выдала дочь за сына п р о с т о г о генерала!»,— и это действительно был некоторый вызов и х общественному мнению...

...Сейчас женское отделение военных переводчиков Военного института доживает последние годы, студенток больше не набирают. Говорят, его основанию сильно посодействовала некая стюардесса, пользовавшаяся безграничным расположением видного военачальника. Трудно теперь установить, зачем ей понадобились все эти хлопоты с институтом, но такая тяга к знаниям, согласитесь, еще больше украшает красивую девушку. Военачальник отлетал свое, а женское отделение военных переводчиков осталось и укрепилось. Оно не только готовило не-

обходимых народу специалистов, но и служило как бы хранилищем геиофонда касты. Дабы избранные дети женились между собой, а «не разливали,— как сказано в Притчах Соломоновых,— источников... по улице, потоков вод — по площадям». Во время сессий на дверях вывешивались списки экзаменующихся студенток с такими звонкими фамилиями, что проходящим мимо курсантам хотелось отдать честь даже этой закрытой двери.

Не будем больше касаться примеров из жизни сильных мира сего, это всегда припахивает сплетней; посмотрим лучше, как формируется кастовость на средних и низких уровнях. А возникает она безотчетно и вовсе не является чем-то предосудительным.

Офицерские жены, вплетая бантики в косицы отроковиц, вплетают в разговоры материнские мечты: «Вот вырастешь большая, выйдешь замуж за офицера...» А войдет в зрелость чадо, ей и объяснять ничего не нужно — как папа с мамой, так и она, в любой толпе видит в первую очередь военных. И вот уже, в полном соответствии с эвклидовой геометрией, прочерчивается кратчайшая, хоть и невидимая, прямая — от глазок офицерской дочки до встречного козырька форменной фуражки. Хотя, конечно, «выйти замуж за капитана» мечтают девушки и сугубо штатского происхождения. (Склонность к ладным военным — один из немногих здоровых атавизмов нашей почти разоренной женственности.) У девчонки из портового города, у медсестрички в госпитале (особенно, если они блондинки с миловидными, слегка расплывшимися чертами) шансов понравиться, может, и не меньше, чем у офицерских дочек, не находящихся в такой волнующей близости от утомленных экзерцициями фуражек. Но если есть выбор, то серьезный молодой курсант или офицер отдаст предпочтение девушке своего круга: «Такая жена лучше понимает...» То есть она с детства привыкла к особому укладу гаризонной жизни, субординации, частой смене климата и знакомых. Она привыкла редко видеть отца, значит, скорее притерпится и к частому отсутствию мужа и вообще ко всему тягостному неустройству в течение большей и лучшей части жизни. Такая жена не будет требовать, чтобы муж назвал точную цифру своего оклада. Он приносит — она берет, так принято в армии, так делала ее мама. Она не обидится, если случайно найдет заначку — «подкожные» освящены традицией, так как у армейских бывают совершенно особые расходы. Такая жена не удивится, а радушно примет зашедшего без приглашения замполита или «инструктора по работе среди семей», поделится своими планами и мечтами, даст отчет об успеваемости детей; она никогда не откажется от поручения, так как знает, что поручение для жены то же самое, что приказ для мужа.

Подтверждения устойчивости тенденции к эндогамии можно встретить в самых неожиданных источниках. Вот розовая книжечка «Московские брачные объявления», издаваемая кооперативом «Альянс», июньский номер. Читаем: «Военнослужащий 26 лет, рост 185, русский, приятной внешности... познакомится с привлекательной, стройной девушкой до 26 лет, доброй, со строгими моральными правилами, с высшим образованием, знакомой с бытом военных, желательно из такой же семьи» (разрядка моя.— Л. М.).

Девушка без военного роду-племени может не понравиться родителям, а в военной среде к мнению родителей прислушиваются чаще (отец не только отец, но и старший по званию), значит, если те считают предполагаемый брак мезальянсом, то дисциплинированные дети еще и еще раз подумают, а потом, может, и ответят: «Так точно!». Но, чтобы не доводить до таких крайностей, дальновидные родители знакомят с кем надо. Нередки случаи, когда папы, расчувствовавшись на мальчишнике, омывают вином и дружеской слезой будущий союз ползающих по манежу грудничков. Родительское влияние есть всегда, хотя оно может быть и не столь прессинговым.

Моя знакомая очень опасалась, что ее муж, полковник старой закалки, оставит дочь незамужней. Он приходил с работы, заглядывал в комнату дочери и, найдя там сокурсников по университету, приступал к правилке:

— Объясните-ка мне свою идеологическую платформу, молодой человек! — обращался он с суровой прямотой к очкарику, изнуренному Шпенглером и Ясперсом.

Очкарик переставал снабжать его дочь книгами.

— Почему вы никогда не потанцуете? — наступал он на мирно беседующую компанию:—Отчего так скучно и бездарно проводите молодые годы? О чем можно так подолгу говорить? Вот мы в ваши годы — как же мы веселились! Мы собирались специально потанцевать; какая-нибудь одна бутылка на всю компанию — и шутим, танцуем, смеемся всю ночь... а утром на работу! А какие песни были... А вы вон даже не споете никогда хором. Может, вы песен не знаете? Давайте, я вас научу! — говорил он и сам затягивал:

«Дочь рудокопа Джанель
Вся извиваясь, как змей,
С матросом Гарри без слов
Танцует танго цветов...»

Общество понемногу перебазировалось в менее музыкальный дом.

Студентка рыдала, она кричала, что ей ломают жизнь, но отец столь неуклонно совершал свои рейды к ее гостям, что, наконец, сумел благополучно их всех отвадить.

Однажды дочь привела в дом своего нового знакомого, курсанта военного училища. Полковник вернулся с работы, поужинал и уселся к телевизору, не делая никаких попыток инспектировать комнату своего чада. Когда гость ушел, дочь недоумено спросила:

— Что же ты не поинтересовался моим визитером?

— А чего интересоваться? — буркнул отец.— Вижу — шинель в прихожей висит.

Вскоре курсант стал его зятем.

Есть некий идеал «боевой подруги», растиражированный печатью и кино.

«...Помощницы в нелегком ратном деле,
Солдаты без мундира и ружья,
По зову сердца мы с мужьями делим
Все тяготы походного житья».

И еще:

«Отважная в битве, горячая в споре,
Правдивая в дружбе, крутая в борьбе,
Сердечная в песне и стойкая в горе,
Советская женщины, слава тебе!»

(К сожалению, я не знаю автора этих строк, могут быть неточности и в цитировании — этот текст я привожу по рукописному сценарию праздничного вечера в Доме офицеров одного из гарнизонов. Привожу не из-за высоких художественных достоинств, а потому, что они, как мне кажется, очень точно зафиксировали квинтэссенцию идеала жены военнослужащего.)

Мы давно привыкли, что реальные люди редко походят на придуманные образы. Но чем больше я общалась с живыми боевыми подругами, тем больше поражалась, как часто они соответствуют идеальным героиням, сочиненным, отснятым, изображенным отечественными творцами!

Почти все, кого я встречала, умели прекрасно готовить, шить, петь хором, вязать, танцевать, все несли общественные нагрузки, выглядели всегда лучшим образом, дети их были вежливы и ухожены, мужья ухожены и благодушны. Жены военнослужащих всем сердцем отзываются на чужую боль, посылают письма в газеты и на радио, переводят деньги во все фонды, и особенно в Детский фонд. В них много чистоты и детскости — ведь их всю жизнь воспитывают. Воспитывают женсоветы, замполиты, инструкторы по работе среди семей и собственные мужья, которых, в свою очередь, тоже воспитывают всю жизнь командиры и замполиты. Если замполиту что-то не нравится в поведении жены военнослужащего, то он так и говорит главе семьи:

— Плохо проводите воспитательную работу в семье!

Детскость возникает, наверное, еще и оттого, что жены все время учатся. Это их обязанность, закрепленная в директивах Министра обороны и начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота: «...Состояние идейно-воспитательной работы с семьями военнослужащих рассматривать на заседаниях военных советов, в партийных и комсомольских организациях, на семинарах и совещаниях командного и политического состава. Политическую учебу членов семей, не работающих на производстве и в воинских частях, организовать в соответствии с директивой Министра обороны...»

Учась, воспитываясь, лепя пельмени, сидя под феном в парикмахерской, проверяя уроки у детей, настоящая боевая подруга всегда ощущает жесткую связь всех своих поступков и движений с будущим своей семьи. Ведь из-за каких порой пустяков ломаются судьбы военнослужащих! Достаточно одного неверного шага, и составится м н е н и е, и судьбоносный ПРИКАЗ, которого ждет и лелеет в мечтах любая семья (хотя и представляют ЕГО себе все по-разному), вдруг застрянет в средних слоях атмосферы и вместо НЕГО всю оставшуюся службу будут приходить обыкновенные, будничные приказания.

Многие офицеры приватно и публично сравнивают свое состояние с положением заключенных. Если у штатских есть пусть призрачная, порой возможность «начать все сначала», перебраться туда, где тебя не знают, сменить профессию, завербоваться в экспедицию или на дальнюю стройку, то у военных, а значит, и у их жен, свобода выбора отсечена, и они должны исходить из предложенной и неоспариваемой данности, то есть приспосабливаться. А «данности» бывают ой какие разные. От многого они зависят.

В небольших гарнизонах тон во многом задает мать-командирша. И те, кто думает, что понятие «мать-командирша» устарело, глубоко заблуждаются. Она жива и крепка, как никогда, бесценная Василиса Егоровна и, как и в екатерининские времена, ничто в гарнизоне не ускользает от ее деятельного внимания. Пушкин запечатлел типаж полнокровный, от времени, социальных и экологических перемен не ветшающий.

(...) — Ну что, Максимыч, все ли благополучно?

— Все, слава Богу, тихо,— отвечал казак,— только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку.— Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. (...)

(А. Пушкин. «Капитанская дочка»)

Василисы Егоровны бывают всякие. Если Василиса Егоровна не зла, да еще и умна, то и вокруг нее группируются такие же теплые, милые жены. И жизнь в таких гарнизонах может пойти просто чудесная. Дорожки чисто выметены, школа отремонтирована, действуют кружки вязания, макраме и икебаны («эти два цветка символизируют Его и Ее, а этот — устанавливаем его чуть в стороне — друга семьи...» — дамы старательно водят ручками в ученических тетрадках: дру-га семь-и...)

Жены часто собираются на кухне у Василисы Егоровны и за чайком сплетают хитроумные интриги: как добиться от мужчин машины для детской экскурсии или набега на дальний магазин, покупки пианино для музыкального класса или приглашения «Театра моды» вместо запланированного ансамбля песни и пляски. Такая Василиса Егоровна славно стрекочет на местном диалекте и призывает остальных жен его изучать; она ладит с окрестным гражданским начальством. В таких городках каждую неделю что-нибудь новенькое в Доме офицеров: то конкурс на лучший пирог (часть пирогов обязательно отнесут в казармы солдатикам), то вечер отдыха «А ну-ка, боевые подруги!» (Покажите жестами, кто вы по профессии... По отрывку отгадайте, какая сказка... Кто лучше всех напишет письмо мужу в командировку?..) Женское общество во главе с хорошей Василисой Егоровной так умягчает нравы, что все со страхом ждут очередной замены — даже с повышением.

Ну, а если Василиса Егоровна... так себе, то и остальные жены подбираются ей под стать. И плывет «плохая» Василиса Егоровна в день завоза в Воен-

торг, а за ней ее адъютантши да порученцы. Долго изучает Василиса Егоровна товар, придирчиво изучает, а что ей торопиться — магазин изнутри на крючок закрыт и надпись снаружи: «Санитарный день». Если завезли, допустим, три китайских термоса с птичкой какаду по зеленому фону, то Василиса Егоровна из них два возьмет. Все, что нужно и не нужно, отберет Василиса Егоровна, а потом крючок на минуточку откинется, и в дверь просеменит следующая партия покупательниц — строго по ранжиру: сначала жена заместителя мужа Василисы Егоровны, потом жены замов зама и так далее. А уж истомившимся супругам младшего комсостава достанутся самые последки. Хорошо еще, что Василиса Егоровна и ее приближенные — дамы дородные, осанистые и размеры им требуются соответственные, а то младшие жены вовсе голы-босы ходили бы.

Ну, а если скопилось много неходовых размеров и другого лежалого товара, то можно организовать праздник на отдаленной точке, где вовсе нет своего магазина. И там под песни и танцы агитбригады сбыть, назвав все это «выездной торговлей».

Идеал жены военнослужащего в принципе моноструктурен, но у него есть... модификации, что ли, принятые в том или ином конкретном гарнизоне. И если ты не совсем органично сливаешься с какой-то модификацией, тогда многое нужно тебе предусмотреть!

— Мам, мне Денис сегодня опять по уху дал... Мам, ну можно я ему хоть разочек двину, один разочек, я тихонечко...

— Вовик, родной, ну потерпи! Ты ведь сильнее, можешь не рассчитать удара. А он ябеда: пожалуется Василисе Егоровне, а Василиса Егоровна Ивану Кузьмичу... Ты, кажется, альбом новый хотел? На́ три рубля, беги в Военторг... можешь и лимонаду купить!

— Не спишь еще? Совсем забыл тебе сказать... Ты все-таки пореже со своей прапорщицей встречайся... мне уже третий человек говорит. А сегодня Иван Кузьмич намекнул: «Что это твоя жена так с женой прапорщика неразлучна?»

— Еще не хватало, мы же соседки.

— Я-то понимаю, а они предположения строят... ты ведь теперь жена майора. Думают, нам от нее ч е г о-т о н а д о.

— Ну что нам может быть от нее надо? Она ведь не в магазине — в котельной работает.

— Вот и думают, что у нас в квартире на пять градусов теплее поэтому. Так что поосторожней.

— Василиса Егоровна, вот этот костюм. Я уже просто вижу его на вас... нет, не этот, на предыдущей странице. Очень благородная линия юбки. Так... калечка у меня пока есть, сегодня же ночью переведу выкройку, и завтра с утра начнем. До майских, думаю, успеем. Какая может быть благодарность!

— Скажешь всем, что у меня разболелся зуб. Нет, «сердце» не говори, скажут, почему одну оставил? Конечно, хочу пойти, но ты же знаешь, что я себе ничего нового не успела. Красное все видели, в горошек — тоже. Все будут в новом, я одна приду в старом, подумают, что вызов. А Василиса подумает, что это я ее так укоряю, мол, я в старом потому, что с ее костюмом неделю провозилась. А эти, из санчасти, подумают, что специально надела старое, чтобы показать, что я в старом лучше, чем они в новом. Ну, иди, иди. Ну что же делать, не мы это придумали, так всегда было, еще твоя мама, помнишь, говорила: «Новый наряд к празднику имеет для жены офицера п о л и т и ч е с к о е значение...» Иди, да не засиживайся, а то скажут: рад-радехонек от больной жены сбежать.

Непросто вместиться в прокрустово ложе идеала, но если точно знать, какой тебя хотят видеть и что именно от тебя ждут, то можно попробовать. Пому-

чаешься, потом притерпишься, а там, глядишь, то ли ложе выросло, то ли сама поуменьшилась — нигде почти и не жмет.

Но вот что поразительно: семьи военнослужащих в массе своей гораздо крепче семей инженеров, врачей, учителей или рабочих. И объяснить эту крепость лишь карьерными соображениями было бы недобросовестно — и времена не те, да и вообще... не так это. Счастливые семьи я встречала в армии гораздо чаще, чем на гражданке.

Мне кажется, что консерватизм, свойственный армии в целом, распространяется и на семейные отношения. И этот самый консерватизм играет здесь самую положительную роль. Настоящий Ян не только ищет настоящую Инь, но и, найдя, обращается с ней в дальнейшем, как с истинной Инь, а не с товарищем, собутыльницей или партнершей по сексу.

Современные мужчины, с космической скоростью теряющие признаки мужественности, перестают ценить и приметы женственности у своих подруг. В армии женственность пока в цене. Причем не обязательно в ее приятных проявлениях. Чисто «мужским» порокам нет прощения в армии: жены офицеров практически не выпивают, крайне редко курят и почти не ругаются. Зато вздорность, ревнивость, погоня за тряпками, транжирство, сплетни — любой недостаток будет оправдан, только бы можно было снисходительно пожать плечами и заметить: «Что поделаешь? Женщины...»

А женщины... Что же, мы ведь по природе своей тоже консервативны, и если есть хоть малейшая возможность поддерживать семейный очаг, мы будем его поддерживать!

ЖЕНЩИНА В ПОГОНАХ (ИЛИ БЕЗ ОНЫХ)

Не умеют женщины в погонах
Под руку с мужчинами ходить.

Софья Петренко.

Во все минувшие времена нас, женщин, отстраняли от ратных дел. На разных наречиях и в разных выражениях мужчины всегда предлагали женщинам примерно одно: «Шествуй, любезная, в дом, озаботься своими делами: тканьем, пряжей займися, приказывай женам домашним дело свое исправлять; а война — мужей озаботит...» (Гомер «Илиада»).

Пока мужчины справлялись со своей кровавой заботой, нам назначалось: смотреть на пыльную дорогу, орошать слезами бобровый рукав, щипать корпию и, наконец, рвать на себе волосы, оплакивая погибших; не возбранялось также рожать новых солдат, чтобы было кого потом снова оплакивать.

Но мы не всегда довольствовались столь жалкой ролью. Время от времени являлись миру великие жены-воительницы и прославляли себя и наш пол в веках.

А впрочем... действительно... не так уж и много было среди нас воительниц — так, щепотка-горсточка, рассеянная по страницам мировой истории, в сравнении с несметными полчищами воинов-мужчин, сомкнутыми шеренгами выступающими из веков. И не тягаться с ними геройством было нашим обыкновением, а виснуть на стременах, удерживая от походов. Наши главные подвиги во время их битв — это подвиги милосердия. Мы перевязывали раны, утешали страдающих, укрепляли умирающих и снова оплакивали погибших.

Так было всегда, но на дворе — конец двадцатого века, и этот самый век порушил, перелопатил не только политические структуры, но и традиционные нравственные ориентиры и ценности. Если во время войны 1812 года Надежда Дурова была единственной женщиной на всем театре военных действий, то уже в самом начале первой мировой пресса описывала десятки случаев, когда переодетые в мужское платье девушки-добровольки бежали на фронт, покинув ошарашенных женихов и безутешных родителей. А к концу войны уже бодро формировались женские отряды (и даже батальоны смерти) в Петрограде, Саратове, Киеве, Ташкенте, Екатеринбурге...

Выпускницы Смольного института в Петербурге и Высших женских курсов во Франции, разночинки, крестьянки и работницы сходились вместе в ударных батальонах с благородной целью защиты Отечества. Их ждал изнурительный труд, всевозможные лишения и опасности. «Пятнадцатичасовые ежедневные занятия для бойцов — единственный способ внушить им суровый воинский дух» — это слова М. Бочкаревой, младшего унтер-офицера 28-го Полоцкого полка, уфимской крестьянки. Во время первой мировой была военной разведчицей, награждена Георгиевским крестом и тремя медалями. Женские военные формирования были детищем трех представительниц прекрасного пола — Бочкаревой, Рычковой и Брусиловой (супруга генерала Брусилова). Батальон Бочкаревой успел принять участие в боях на Западном фронте, понес потери.

Но женское патриотическое движение не успело хорошенько развернуться — революция объявила «мир народам», война закончилась. Обученный и вооруженный 1-й Петроградский женский батальон, готовый к отправке на Румынский фронт, был переброшен на защиту Временного правительства. Женщины-бойцы охотно шли на фронт, но в политическую жизнь вмешиваться не собирались. Вечером 25 октября они выслали парламентера и добровольно сдались революционным солдатам. Хотя женских отрядов было немного, они чрезвычайно раздражали революционных солдат и матросов. Подчас они путали боевые женские дружины с трудовыми, работавшими на выгрузке вагонов, охранявшими заставы, проверявшими провозимые грузы. (Женщины были гораздо надежнее, чем солдаты, которые за бутылку денатурата позволяли везти что угодно и кому угодно.) Такие женские трудовые отряды (их было немного) жили маленькими коммунами, их участницы носили солдатскую форму, были наскоро обучены строю. После революции от расправы спаслись лишь те, кто не успел получить оружие.

Потом была гражданская война, и женщины в ней тоже были. Это отдельная и сложная тема. Скользнем лишь мысленным взором по литературному и кинематографическому ряду: «Гадюка» Толстого, «Чапаев» Фурманова, «Сорок первый» Лавренева, фильм «Комиссар»...

Вторая мировая война уничтожила многие предрассудки. Женщинам, по крайней мере советским, перестали предлагать «заняться тканьем и пряжей» и даже немного посторонились, чтобы дать место в строю более чем восьмистам тысячам дочерей, матерей и сестер. Об их военной доблести, геройских деяниях, жертвенности сказано и написано немало. Есть также особо драгоценные свидетельства, запечатленные самими женщинами, теми самыми, что некогда держали штурвалы и винтовки. Никто не скажет о фронтовичках точнее, правдивее, чем они сами:

«На этом пятачке, в окопчике моем,
Никто меня в бою сменить не может.
Друг автомат, мы здесь с тобой вдвоем.
Слиянье стали с теплой нервной кожей».

(С. Петренко)

Когда пришла Победа, некоторые вышедшие из горнила живыми женщины — кадровые офицеры — остались в структуре армии. И тут стала замечаться странная закономерность. Их вчерашние боевые товарищи-мужчины продолжали поступательное движение по служебной лестнице: получали, согласно способностям и выслуге лет, очередные звания, а у женщин этот процесс почему-то застопорился. Их могли ценить как специалистов, хвалить на собраниях, ставить в пример коллегам-мужчинам, восхищаться их идейно-политическим уровнем. Но почему-то их бесспорные заслуги не вели к увеличению числа звезд на их погонах и тем более к увеличению размеров этих звезд.

Прием девушек в высшие военные училища постепенно прекратился.

...В одной военной академии сосредоточилось довольно много преподавательниц — бывших фронтовичек. Удостоверившись, что о них прочно забыли, они выделили инициативную группу, и эта группа вошла в Высокий кабинет к Высокому лицу. Я не знаю аранжировку их речи, но думаю, что это была одна из первых феминистских претензий в нашем обществе в послевоенное время.

Вскоре сверху скатилось несколько звездочек, но заблестели они на погонах лишь... той самой инициативной группы. Остальные дожили до пенсии в прежних званиях.

Чем больше я узнавала подобных фактов, тем крепче зрела во мне уверенность, что существует стихийный «заговор мужиков». Уступая нам слишком во многом, они инстинктивно мстят любыми доступными средствами. Излюбленный прием: отгородить заповедную зоночку, а при наших попытках приблизиться (хотя бы с чисто научным интересом) они немедленно строятся плечо к плечу, прикрываясь ядовитыми облаками демагогии.

Так, в последние десятилетия они фактически зарезервировали для своего пола все номенклатурные позиции в армейской структуре, объясняя подобное положение расплывчатыми формулировками, вроде: «Армейская служба на командных должностях требует огромного напряжения».

Цифры, как известно, беспристрастны и изогамны. Вот несколько цифр. Среди женщин-офицеров Советской Армии (100%): маршалов — 0%, генералов — 0%, полковников и подполковников — 2%, майоров — 6%, капитанов — 29%, старших лейтенантов — 47%, лейтенантов — 16%. Причем у всех представительниц вышеназванных категорий есть все шансы завершить свою карьеру в нынешней препозиции. (Думаю, что женщины-военнослужащие были бы довольны, если бы их внешность столь же мало подвергалась воздействию лет и испытаний, как их погоны.)

— Бабу? Полковником?! Никогда! — кричал во всеуслышание один генерал, когда ему предложили в качестве кандидатуры на полковничью должность одну мою знакомую (с перспективой присвоения ей этого звания). А она к тому времени уже лет пятнадцать ходила в подполковниках, была видным специалистом-радиоинженером и наидостойнейшим претендентом на упомянутую должность. Были попытки выдвижения ее на другие посты, но... увольняясь через несколько лет в запас, моя знакомая по-прежнему оставалась подполковником.

Те, от кого зависит установление подобных порядков, могут иметь какое угодно *личное* отношение к женской военной службе, но, помилуйте, нельзя же так попирать основные конституционные принципы! В частности, принцип равноправия мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Если есть женщины, желающие служить и имеющие способности к армейской службе, то при условии равноправия они должны иметь возможность к самореализации на этом поприще. И не только на последних ролях, как сейчас.

Сейчас же основная масса военнослужащих женщин — это рядовые, сержанты, прапорщики, мичманы. Работают они медсестрами, санитарками, писарями (это вроде секретарей-делопроизводителей), связистками, завскладами. Их положение в структуре Вооруженных Сил крайне неопределенное: редко повышают в званиях, почти исключена возможность стать офицером, а рост от прапорщика до старшего прапорщика может продолжаться, к примеру, пятнадцать лет. Ведь кроме «положительной аттестации», «высоких деловых, политических и моральных качеств», нужно еще и место в штатном расписании, которое соответствовало бы гипотетическому «очередному званию». А на приличные «соответственные» места, как правило, находятся кандидаты с еще более высокими политическими и моральными качествами, а иначе говоря, мужчины.

Поэтому карьера этой категории военнослужащих женщин еще проблематичней, чем у офицеров, и единственно возможный «рост» — это рост благосостояния, если можно так назвать десятку, которую через год службы, а потом каждые два года пристегивают к зарплате.

Зато они имеют гораздо больше свободы, ибо срок их службы может быть два, три, четыре или шесть лет — по выбору, а когда он истекает, его можно продлить, а можно и уволиться. Но они не спешат увольняться — держат льготы, зарплата, отпуск, обычно тридцати-, а в некоторых суровых для жизни округах и сорокапятисуточный.

Все мы, работающие люди, ждем отпуска, но для военнослужащих отпуск — это событие чрезвычайное, это единственная возможность побыть с семьей, без «всегда начеку», без всегдашней готовности бежать по тревоге неведомо куда и на сколько.

Где лучше служить женщине? В городе или маленьком гарнизоне? В городе больше комфорта и продуктов, но улюлюкают мальчишки, завидя китель на встречной тете, тинэйджеры и великовозрастные дубины не дают прохода с сомнительными комплиментами и несомненным хамством, старушки замирают в апокалипсических предчувствиях, в парикмахерских предлагают «пройти в мужской зал».

В военных городках — все свои, и никто не обращает внимания на твою форму. Зато в одном гарнизоне горячую воду дают один час в день, в другом — вода доходит только до второго этажа, а дом четырехэтажный, в третьем — вода и вовсе привозная (сначала моешь ребенка, потом моешься сама в той же воде, а напоследок все той же водой моешь пол в комнате). В иных северных гарнизонах двенадцать градусов выше нуля в квартире — еще неплохо, если нет грудного ребенка; в среднеазиатских — уговариваешь ребенка не трогать жука: он может оказаться скорпионом, и вздрагиваешь по вечерам: то ли чайник зашипел, то ли заползшая змея. Может по нескольку дней не быть газа, и хорошо, если одновременно не выключится свет. Все эти жизненные нюансы в полной мере касаются и жен — они ведь тут же, а не где-нибудь еще.

Но на самом деле важнее всего, чтобы командиры относились с *пониманием* к женщинам-военнослужащим. (У нас вообще слишком многое зависит от начальника. При одном — благоденствуем, при другом — самоистребляемся, при третьем — «застаиваемся».) Так вот, если командир *понимает*, то женщины... БТР на ходу остановят, горящий план политмероприятий спасут.

Знаю один огромный госпиталь, где начальник *понимает*. Он выхлопотал, чтобы девушки — хоть рядовые, хоть прапорщики — получали вместо формы ее стоимость в дензнаках. К ним никто не цепляется попусту, они не издерганы, многие учатся (в иных местах учиться не разрешают командиры), нерастраченные на строевых занятиях силы они отдают работе, а строятся разве что в очередь в Военторге.

А если «не понимает» основной начальник, допустим, комдив, то следом за ним начинают «не понимать» и начальники рангом помельче.

— Товарищ прапорщик! Почему на вас цветные чулки? Ну-ка, скажите мне, какие чулки положены по форме женщинам-военнослужащим?

— Телесные, товарищ капитан...

— Ответ правильный. Почему не выполняете?

— Рядовой Петрова! Что это у вас в ушах? Вы где — в армии или на дискотеке? А это что на руках — маникюр? Чтоб больше я этого не видел! Идите, служите.

— Я иногда чувствую себя какой-то мебелью... При мне ругаются матом, будто я и не женщина вовсе. С днем Восьмого марта никто не поздравил... А командир нам так и сказал: «Вы не женщины, вы — солдаты, и никаких поблажек не ждите. Я вас сюда не звал, пришли — служите, как все».

ВАС СЮДА НИКТО НЕ ЗВАЛ! — непонимающие командиры произносят эти слова удивительно одинаково, хотя порой находятся за много верст друг от друга.

— Вас сюда никто не звал! — раздельно произносит коротенький капитан прямо в умоляющие глаза.— Идите, становитесь в строй.

И она идет на построение прямо с ребенком. Суббота, садик закрыт, муж в наряде. Забавно выглядит этот строй. «Р-равняйсь! Смирна!» А Пашуне всего три года, он дергает маму за форменную юбку, ноет: «Мам, ну мам... пойдем на качели...» Но мама, как чужая, она застыла, родные мягкие руки прижаты

по швам, и никак их не отдерешь, чтобы повиснуть, ухватиться, увести... Потом мама и вовсе отворачивается и уходит, высоко задирая ноги, вместе с тетей Таней и солдатами. Куда?! Без него? Паша в ужасе, он хнычет, он пытается за ней бежать, но тут большая девочка — дочка тети Тани, берет его за руку:

— Не бойся, они сейчас вернутся, пойдем, а то мы мешаем. Они во-он дотуда дойдут и опять сюда придут.

И она уводит Пашу на газон, где еще несколько детишек ждут своих мам. Они уже не плачут, как Паша, они уже привыкли сидеть здесь. Суббота.

— Товарищ майор, разрешите обратиться. Можно мне сегодня не ехать в «огневой городок»?

— Что так, товарищ старший сержант?

— Я больна...

— Что с вами?

— Понимаете... ну, больна...

— Так что же с вами?

А там, на стрельбище, нужно лежать животом на бетоне. В прошлый раз девушек привезти привезли в «огневой городок», а забрать — забыли. Так пехом шесть километров и топали.

— Проходите, товарищ Сидорова, что вы такая испуганная, у нас в отделе ни разу не были? Я тут поднял ваше личное дело... странные у нас с вами дела получаются... вы понимаете, о чем я говорю?

— Никак нет, товарищ майор.

— Плохо мой предшественник с личным составом работал. Вот тут зафиксировано, что вы в 198... году имели аморальную связь с лейтенантом таким-то. Не отрицаете, товарищ Сидорова?

— Да я... товарищ майор! Это когда было! Я уже четыре года как замужем, у нас ребенок, и вообще...

— Да, товарищ Сидорова, нехорошо у нас с вами получается... И муж, наверное, не знает, и товарищи... правильно я мыслю?

— Да... Вы уж, товарищ майор, не говорите никому, меня здесь со свету сживут, и муж ревнивый...

— Что же нам с вами делать? Да не плачьте, а то войдет кто-нибудь. Ну, ладно, вот что. Муж ведь ваш в командировке сейчас? Значит, так: завтра, в девятнадцать тридцать, я зайду к вам прямо домой. Ну, и в неофициальной обстановке подумаем, как решить этот вопрос. А вы уж пристройте ребенка какой-нибудь подруге, договорились?

— Мне рассказали про девушку, которая покончила с собой. Я не понимаю, как можно это сделать, если у тебя есть своя комната. Приходишь, закрываешь дверь и знаешь, что к тебе никто не войдет... У нас в общежитии комната на троих, я так уже четыре года живу. Но самое ужасное — это ежегодная диспансеризация... Любая твоя болезнь сразу всем известна в гарнизоне. Если кто забеременеет из девчонок — тут уж действительно в пору в петлю. В санчасть не пойдешь, уехать никуда нельзя — начальство не отпустит. Если захочешь родить — сразу с армией прощайся. Отпуск оплатят — и гуляй, куда хочешь, а будешь возникать — закон под нос, там все предусмотрено: «на усмотрение руководства».

— Нет, я не против ФИЗО, но зачем нам силовые упражнения? А потом, после рабочего дня какая зарядка? Вымотанные — сил нет, а дома еще хозяйство, дети.

— А мне кажется, до работы еще хуже. После работы мы хоть домой идем, там помоемся. А если утром, то наломаешься на ФИЗО, а потом прямо на потное тело напяливаешь форму. Мужики — в душ, а для нас-то душа нету...

В этом учебном центре работает более пятидесяти женщин-военнослужащих.

На территории, отгороженной и охраняемой,— множество построек, клуб так даже роскошен, с модерновым кинозалом, библиотекой. Но во всем этом не нашлось места для малости — женского душа и... женского туалета. Посему обычное женское терпение переходит у работающих здесь в настоящий стоицизм. Они стараются как можно меньше есть и пить, в обед бегают домой, а кто далеко живет — ездят порой на такси туда-обратно.

Девушкам не нравится форма. С кителем они, так-сяк, мирятся, но туфли черные, на скошенном каблуке («Парижская коммуна», стоимость 20 р. 70 к.), вызывают протест. Особенную же тоску нагоняют на них те круглые нашлепки, что именуются в армии «беретами» и входят в обязательную форму.

— Они не идут никому. Мы не видели ни одной, кому бы эта гадость была к лицу. А нас ругают, даже если в руках ее несешь. Меня месяц назад остановили на КПП — я на работу шла. Я говорю: «Да вот же он, в руках!» Нет, прогул записали — одета не по форме...

— Я юбку зимой постирала, а она у меня не высохла — юбка-то нам одна выдается, пришлось в гражданском идти. На КПП тормозят, и тоже — прогул. Чуть не уволили. Я уже давно служу, никогда такого не было, это все в последние годы появилось и все ужесточается, ужесточается...

— Ну зачем нам маршировать? Ну пусть время от времени, чтоб не забыли, как это делается, но зачем постоянно? Я вот маленького роста, семеню за своим взводом: они — шаг, я — четыре, они — шаг, я — четыре. Солнце печет, духота невозможная. А командиры в тени стоят, похохатывают... Мне кажется, нас затем и гонят на строевые, чтобы их повеселить.

Всем женщинам-военнослужащим я задавала вопрос:

— Если бы в гражданской организации вы имели те же льготы, деньги и отпуск, остались бы в армии?

От рядовых, сержантов, прапорщиков «да» я услышала три раза (а говорила я примерно со ста женщинами этой категории).

Рядовая Вера была очень довольна, что попала в армию.

— Ты понимаешь, я от природы ленивая, а когда приказ, всю вялость как рукой снимает, армия ведь потачки не даст. Вот, например, ФИЗО. Стала бы я зарядкой сама заниматься? Да ни в жисть! А ведь это нужно, правда? Теперь хочешь не хочешь — беги. Форма мне очень нравится. Ведь сколько у женщин дурацких проблем: сшить, связать, достать, следить за модой — тоска. А надела форму — и ни о чем больше не беспокоишься; я бы ничего другого и не носила. А вообще мне армия еще со школы нравилась. У нас был замечательный военрук. Школа бедная, так он кабинет военного дела сам оборудовал — самый красивый класс во всей школе был. Настоящее оружие нам показывал, фильмы интересные доставал. У меня гражданская оборона самый любимый предмет был.

И у меня есть собственный, пусть небольшой, опыт строевой подготовки. В пионерских лагерях Министерства обороны дети не просто отдыхают, но и понемногу приуготавливаются к своему будущему. Многие пионеры станут впоследствии кадровыми офицерами (наследование профессии), а пионерки — женами офицеров (эндогамия). Я тоже побывала в детстве в таком лагере.

— Нам нужно придумать название нашему отряду,— сказала пионервожатая в первый день.

Мы стали выкрикивать свои предложения, не выходя, впрочем, за рамки пионерских святцев.

— Александр Матросов!

— Олег Кошевой!

Один сопливый мечтатель выдохнул: «Икал!» (Икар).

После этого мы дружно проголосовали за генерала Карбышева, хотя никто из нас не знал, кто он такой. Затем нужно было выбрать отрядную песню, и мы, опять-таки единодушно, выбрали «Барабанщика», которого никто из нас не предлагал, зато у нашей вожатой очень кстати оказался в руках текст с нотами, и мы немедленно приступили к разучиванию нашей любимой песни.

На море мы бывали не часто. Нас разделяли на несколько групп и запускали в воду по очереди минут на пять. Главной задачей нашей пионервожатой, стоявшей на берегу со свистком, было выявление недисциплинированных, то есть тех, кто задержится в море после ее финишного свистка. Нарушители от дальнейшего купания отстранялись и завистливо шмыгали носами под тентом.

Что же делали мы в благословенном тогда еще Крыму, если не купались и не загорали? А вот что. В первую неделю мы готовились к Открытию лагеря. То есть мы все уже приехали, но лагерь еще не был открыт. Нужно было достойно подготовиться, ведь мы прибыли просто детьми, а в Открытии должны были участвовать сплоченным, бодрым пионерским отрядом, опытным в речевках и строевых песнях. Мы строем шли на линейку, на завтрак и сразу же после утреннего какао приступали непосредственно к подготовке к Открытию. Плац был расчерчен разноцветными мелками, и одна линия была нарисована специально для нас. Мы маршировали и маршировали.

— Раз-два?

— Три-четыре!

— Три-четыре?

— Раз-два!

— Кто шагает дружно в ряд? — лукаво кричала вожатая.

— Пи! Анер! Скийнаш! Атряд! — отзывались мы, чеканя шаг дырчатыми сандаликами несерьезных размеров.

Пить хотелось всегда. Мы мусолили хилые травинки, попадавшиеся на маршевом пути, делились секретами борьбы с жаждой: накопить во рту побольше слюны, резко засосать воздух,— получается очень похоже на глоток воды...

«МЫШЛИПАТГРОХАТКАНАНАДЫ» — рубили мы на Открытии, держа равнение на трибуну с руководством лагеря. Трубили горны, мы отдавали салют, какой-то маститый пионер поднимал общелагерный флаг. Поздравительная речь начальника лагеря была о том, какими дисциплинированными должны быть настоящие пионеры и какие наказания ждут нарушителей лагерного режима. Угрозы он подкреплял энергичными примерами, каждый из которых оканчивался рефреном:

— И тогда этот пионер был исключен из лагеря и отправлен в Москву. О его поведении сообщили в школу и его исключили из пионеров.

Закрытие лагеря происходило примерно так же, мы опять долго готовились: маршировали, пели, строились. Правда, никто уже не падал в обморок от теплового удара, как одна девочка на открытии,— привыкли. (Помню: ее несут, а вожатая идет сзади с ее голубой пилоткой.) Некоторые девочки (я в их числе) скулили по ночам от тоски по дому, норовили сачкануть с каких-нибудь мероприятий, считали дни «до дембеля». Но другие, дисциплинированные по природе, упоенно играли в «Зарницу» и грозно выкрикивали на митинге: «Янки, вон из Вьетнама!» Ритм их жизни естественно сливался со строгим режимом лагеря.

Такие девочки, когда подрастут, могут стать настоящим кладом для армии — и в качестве жен, и если наденут форму сами. Ну, а те, кому армейская служба неорганична по строю личности, приживаются тяжко. После ежегодной диспансеризации, обязательной для всех военнослужащих, некоторое число их увольняется из Вооруженных Сил по состоянию здоровья. Среди заболеваний, по которым увольняются женщины, на первом месте стоят психические расстройства. Следом идут опухоли, туберкулез, гинекологические, нервные.

До сих пор речь шла о женщинах-военнослужащих, но в Вооруженных Силах есть и другая категория женщин. Это служащие Советской Армии. Они не имеют званий и погон, их не вызывают по тревоге, они не участвуют в учениях.

Это они протягивают вам ключ от номера в военной гостинице, номерок в гардеробе, чек в кассе «Военторга», тарелку с рассольником в офицерской столовой. Они медики, преподаватели, программисты, диспетчеры. Отличаются ли они от коллег, работающих вне системы Министерства обороны? Отличаются.

Моя родственница, такая вот служащая Советской Армии, вернее, бывшая служащая, ибо уже пять лет как на пенсии. Пять лет минуло, а я все не знаю, что это была за контора, которой отдала она тридцать лет жизни? Молчит. Бровки супятся, губки поджимаются, взгляд прозрачнеет. Это и называется хранить военную тайну.

На работу, помню, она не шла — убегала. Страх в утренних глазах, шатающаяся от недосыпа походка и ее лицо— лицо сомнамбулы.

Для служащей Советской Армии слово «опоздание» — синоним государственному преступлению. И вот она в пути, голодная, пищевод тоскует по горячему чаю, зато с большим запасом времени на случай транспортных поломок, пробок, крушений. Она так ни разу и не опоздала за тридцать лет. Еще пункт — пропуск. Служащим Советской Армии непрестанно угрожают: потеряете пропуск — будут большие осложнения. О пропуске она помнила всегда... В метро, в магазине сумка с ним прижата к груди: отнимете только с жизнью! Едем в автобусе, заболтались, вдруг лицо ее каменеет, взгляд останавливается, и она начинает яростно копаться в сумке. Шуршат свертки, трещит разрываемая бумага, взгляд напрягается... наконец, руки замирают, лицо проясняется.

Болеть в их конторе было не принято. За тридцать лет работы она взяла три или четыре бюллетеня, да и то уже под тихий шелест опускающегося служебного занавеса. Воскресенье, а она — за письменным столом, обложенная стопками классиков марксизма; поднимает тусклый взгляд:

— Завтра политсеминар, мне выступать.

Политзанятия обязательны для всех, кто имеет отношение к армии. У военнослужащих они, понятно, чаще, но и все остальные охватываются. И сейчас матери семейств и даже бабушки дрейфят перед выступлениями, трепещут из-за отсутствия конспектов. Время от времени в системе прокатываются грозные волны сокращений, и тогда, при выборе жертвы, учитывается все.

Женщины — служащие Советской Армии есть и в наших группах войск за границей.

— Я хотела завербоваться куда-нибудь за границу работать, думала, в Германию или Польшу. Пришла в военкомат, а мне говорят: «Сейчас нигде не требуется, только если в Афганистан, хотите, пошлем в Афганистан?» Я тогда дурой была, про Афган ну совсем ничего не знала, спросила про зарплату, про условия. Условия хорошие, я и поехала.

— Как? Ничего не знала про Афган? А газеты ты читала?

— Я вообще-то не очень их читаю... да там ведь и ничего такого не писали... А потом, мне так хотелось уехать куда-нибудь, все равно куда, а что там опасно, нам никто не говорил. Я с мужем тогда только развелась, настроение паршивое, а городок у нас небольшой, каждый день то его, то общих друзей встречаешь. А квартирка у нас маленькая, еще брат с семьей живет, а мне деться некуда. Девчонки говорят: «Завербуйся — чеки привезешь, квартиру купишь!» Никто же не думал, что там убить могут...

Мы сидим в военной гостинице города Ташкента, на дворе — ноябрь 1988 года. Моя новая приятельница хороша собой, только сутула, только подглазья слишком черны да взгляд непокоен. Десять вечера, буфет закрыт, и нигде в округе не достать ни кофе, ни чаю. Поэтому мы курим сигареты «Стюардесса», по одной — вместо кофе, по другой — вместо чая, затем еще по одной — вместо шипучей воды «Буратино». Майя — служащая Советской Армии, она подписала контракт, срок коего истекает через полгода. Из Афганистана она прилетела за товаром для своего магазина, и хотя, пока она здесь, в Ташкенте, ей гораздо меньше платят, ее единственное желание — просидеть тут как можно дольше.

— Ты знаешь, я сейчас даже не столько «духов» боюсь, хотя и их, конечно, тоже, сколько недостачи. Ведь мы как товар получаем? Скорей-скорей. Пока грузят, ты с накладными разбираешься — как проследишь? И на базе могут голову задурить, и солдатики спереть, элементарно. Вот у нас девочка одна поехала, как я, за товаром, привозит — а у нее на четыре тысячи не хватает... грабанули то ли при погрузке, то ли на базе. Начальство ей: «Плати из своего кармана, ты материально ответственная!» А у нее ребенок, без мужа воспитывает, в Афган поехала подработать, на маму оставила. Плачет: «Где мне взять?» А он: «Где хочешь, а то за решетку пойдешь». И отправят...

— Слушай, а много ты там зарабатываешь?

— Оклад — двести пятьдесят чеков, да в Союзе двойной оклад идет на книжку — сто десять чистыми. Считай: сам оклад — 90 рублей, умножь на два, 50 рэ вынимают за чеки, которые в Афганистане платят, ну и налог, вычеты...

— Не густо. Ну, ты хоть купила за речкой что-нибудь?

— Ты понимаешь, я ведь все на отдаленке работаю. К нам товар в последнюю очередь приходит — то, что после начальников, советников и их любовниц остается. Привезу на точку, а торговать почти нечем. Продукты, правда, бывают, но те, кто хочет купить что-нибудь стоящее, на колбасу да печенье денег не тратят. Я сама думала аппаратуру привезти, но она только по спискам, только воинам лучшим. И в Союзе на чеки аппаратуру продают только со справкой, что воевал. Мне одна девочка писала, что, когда вернулась, хотела магнитофон купить, а ей не продали; она тогда написала в другой город знакомому — он инвалид, в одной части с ней был, он приехал и купил на свою справку.

Во втором часу ночи я узнала главную Майину тревогу.

— Они сказали: будешь при выводе войск неликвид в колонне сопровождать. Я говорю: «Может, я лучше по воздуху, а тут встречу?» А они: «Ты материально ответственная, должна быть до конца при матценностях!» И отказаться нельзя — обещают по статье уволить.

Уходя, она сказала:

— Ты фамилию мою нигде не называй, я ведь в Союзе никому не буду говорить, что в Афгане была. Ведь знаешь, как на нас ребята смотрят? «А-а, знаем мы вас, все вы чекистки!»

— Кто?

— Ну, кто за чеки с ребятами спит, богатыми возвращаются.

На прощанье мы выкуриваем еще по одной стюардессине — на сей раз вместо бокала вина. За твое возвращенье, Майя! (Хотя ты вовсе и не Майя.) Вернись невредимой, вернись без недостачи, вернись без статьи в трудовой книжке, вернись поскорей! И... не езди уже, пожалуйста, больше так далеко...

Когда я еще подступалась к теме «Женщина и армия», топталась и примеривалась, то полагала, что наша причастность к ней — это три ипостаси: военнослужащие, служащие и жены. Однако теперь мне ясно, что есть еще одна, это солдатские матери.

Издревле у воинов мать почиталась гораздо выше, чем у пахарей, скотоводов или ремесленников. В армии к солдатским матерям было всегда совершенно особое, трепетное отношение, и истоки его нужно искать в далеких, может, даже языческих временах. И поныне замполит отечески спрашивает солдата: «Ты давно писал матери?» Но никогда не спросит, написал ли тот отцу, хотя и твердо знает, что отец в наличии и здравии (отцы просто не принимаются в расчет). Солдата могут даже отпустить иногда в краткосрочный отпуск, но только чтобы в прошении присутствовало слово «мать». В Шинданде и Кандагаре барды в голубых беретах пели:

...Ты тоскуешь по сыну,
Мама, вытри слезу,
Я домой ведь приеду
И тебя обниму.

В русле этой освященной веками традиции в Вооруженных Силах стали повсеместно проводиться «Слеты солдатских матерей».

...Скуп набор поощрений для «переменного состава», как же вдохновить восемнадцати-двадцатилетних солдатиков на образцовую службу? Придумали: лучшим из лучших — в армии это называется «отличник боевой и политической подготовки» — покажут маму. Мамам оплатят дорогу, гостиницу, подарят значки и цветы, а потом в Доме офицеров будет их грандиозное чествование — с духовым оркестром, играющим в фойе, с буфетом, фотовыставкой и выставкой «Образцов одежды и норм довольствия военнослужащих»

В одном из крупных гарнизонов недавно проходил такой слет. Нелегкая, должно быть, была задача у замполитов и командиров — выбрать из тысяч матерей самых что ни на есть. Долго водили замполиты и командиры карандашами по спискам кандидаток, вычеркивая, вставляя и опять вычеркивая фамилии. Требовалось, чтобы не только сын был отличником, но и сама мать дышала добротностью, социалистической надежностью, чтобы профессии матерей были разнообразные, благозвучные и всем понятные; чтобы были представлены самые отдаленные уголки нашей многонациональной Родины.

Но вот звучат фанфары: «Слушайте все!»

На сцену выходят два воина: пограничник и танкист.

1-й воин: — У нас сегодня праздник в этом зале:
Проходит слет солдатских матерей,
Которых мы с любовью ожидали,
Чтоб встретить хлебом-солью у дверей.

2-й воин: — Имя тебе — солдатская мать.
Слезы и боль твою разделяя,
Знаю, что трудно сына ждать,
Но верю я в твою силу, родная!

Потом матерей поздравляют командиры частей, где служат их сыновья, работники искусств поют, пляшут и декламируют. Но самое главное — впереди.

ВЕДУЩАЯ: Прошу вас, дорогие мамы, подняться на сцену.

— Где вы работаете? Хотелось бы вам увидеть сына?

ВЕДУЩАЯ: Ну как, товарищ командир? Поможем осуществить материнскую мечту?

КОМАНДИР: Конечно!

ВЕДУЩАЯ: Поистине говорят, что слово командира — Закон.
Встречайте, мамы, своих сыновей!

(Звучит фонограмма песни «Мы желаем счастья вам!». Прибывшие на слет солдаты и матросы выходят на сцену. Встреча.)

ВЕДУЩАЯ: Ну, что же, товарищи воины, согласно приказу вы на время поступаете в распоряжение своих матерей.

В этом сценарии предусмотрено все, даже Ответное слово матери. Сначала, конечно, про «различные языки»:

— Все мы говорим на разных языках, но нас объединяет то, что мы матери защитников Родины... Спасибо командованию за то...

Под звуки фонограммы матери увозят своих сыновей в краткосрочный отпуск. Ну, а всем остальным, не попавшим в число званых и избранных, каково? Понятно, воины сами виноваты: зачем они не отличники боевой и политической подготовки, ну, а матери? Позволю себе еще раз процитировать сценарий «слета»: «И у какой матери не всколыхнется душа, не вздрогнет сердце, когда...» Правильно, у любой и вздрогнет, и всколыхнется, так почему одним — «Мы желаем счастья...», а другим...

Все матери, все солдатские.

В армии началось новое солидное сокращение. И, как показывает опыт (например, сравнительно недавнего «хрущевского» сокращения), первыми под него попадут военнослужащие-женщины, так сказать: Ladies First (сначала дамы). Что ж, женщинам не привыкать быть пропущенными вперед — их пропускают на всем протяжении мировой истории: от времен, когда в пещерах водились саблезубые тигры, до дней сегодняшних, когда на мировых дорогах встречаются пластиковые бомбы. Но, несмотря на личные драмы и даже трагедии, женщины примирятся со всем, лишь бы уменьшалась угроза новой войны. Ибо они не только прапорщики, лейтенанты или жены лейтенантов, а в первую очередь солдатские матери. Или просто м а т е р и.

А. А. Кокошин,
член-корреспондент АН СССР;
В. Н. Лобов,
генерал армии, доктор военных наук

ПРЕДВИДЕНИЕ

(ГЕНЕРАЛ СВЕЧИН ОБ ЭВОЛЮЦИИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА)

Годы 20-е и начало 30-х были временем бурного развития общественной мысли, в том числе военно-политической и военно-стратегической. Разнообразные военно-стратегические исследования приводили к смелым выводам и глубоким обобщениям, многие военно-научные работы отличались глубиной суждений, высоким профессионализмом и компетентностью. Ничто не мешало свободному обмену мнениями, участники дискуссий чувствовали себя раскованно и при этом считали, что им отнюдь не принадлежит право на абсолютную истину — такого впоследствии уже не бывало.

Острейшие дискуссии вызывали труды профессора Военной академии РККА А. А. Свечина — главы целой школы стратегической мысли.

Короткая справка. Александр Андреевич Свечин родился в 1878 году в Екатеринославле (ныне Днепропетровск) в семье генерала. Закончил артиллерийское училище, Академию Генштаба. Был командиром роты, офицером штаба армейского корпуса. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов. До 1914 года служил в Главном штабе, Генеральном штабе. В первую мировую войну — офицер для поручений при начальнике штаба Верховного Главнокомандующего, затем командир стрелкового полка, дивизии, начальник штаба 5-й армии. В 1916 году присвоено звание «генерал-майор».

После Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти. В Красной Армии — начальник дивизии, военрук Смоленского района, начальник Всероглавштаба, преподаватель Академии Генштаба. Председатель Военно-исторической комиссии по исследованию опыта первой мировой войны. С 1927 года — заместитель главного руководителя военных академий РККА по стратегии, с 1936-го — помощник начальника кафедры военной истории Академии Генштаба. В 1935 году присвоено воинское звание «комдив».

В 1938 году уволен из РККА и арестован. Относительно дальнейшей судьбы А. А. Свечина сведения противоречивы.

Из характеристики, подписанной в 1924 году комиссаром и помощником начальника Военной академии РККА, видным партийным и государственным деятелем Р. А. Муклевичем:

«В настоящем учебном году ведет кафедру истории военного искусства (главрук) и фактически руководит кафедрой стратегии на старшем и младшем курсах.

Всесторонне образованный военный специалист. Имеет огромный опыт (японской и империалистической войн) на самых различных должностях (от работы в Ставке до командира полка). Весьма талантливый человек, остроумный профессор, Свечин является ценнейшим профессором в Военной академии. Его занятия по стратегии, благодаря неизменной оригинальности замысла, всегда простого и остроумного, являлись в настоящем учебном году одним из больших

достижений на старшем курсе (прикладные занятия по стратегии — отчетная работа комкора).

...Парадоксальный по своей натуре, чрезвычайно ядовитый в общежитии, он не упускает случая подпустить шпильку по всякому поводу.

Однако работает чрезвычайно плодотворно.

Монархист, конечно, по своим убеждениям, он, будучи трезвым политиком, учел обстановку и приспособился. Но не так топорно, как Зайончковский («сочувствует коммунистической партии»), и не так слащаво, как Верховский, а с достоинством, с чувством критического отношения к политическим вопросам, из коих по каждому у него имеется свое мнение, которое он выражает. Особенно ценен как борец против рутинерства и консерватизма своих товарищей по старой армии (нынешних преподавателей академии), слабые стороны которых он знает лучше кого бы то ни было.

Свечин — самый выдающийся профессор академии».

В характеристике по крайней мере одно прегрешение против истины: монархистом А. А. Свечин не был — об этом убедительно свидетельствуют его научные труды.

Можно смело утверждать, что никто из наших военных теоретиков того времени не мог сравниться с А. А. Свечиным в анализе военно-политических проблем и вопросов стратегии. А. А. Свечин не был марксистом, однако в своих работах он подчеркивал важность диалектического метода, формулировал, как правило, принципиально важные материалистические концепции и проводил их с большей последовательностью, чем иные из его оппонентов, клявшихся в верности марксизму. Высочайшим авторитетом для него был В. И. Ленин, на высказывания которого он не раз ссылался, отмечал, что в Ленине как политике непреклонная воля в движении к фундаментальным целям социализма сочетается с гибкостью, способностью к политическому маневрированию в соответствии с требованиями изменяющейся обстановки. Эти качества, считал он, необходимы и стратегам, военному командованию.

А. А. Свечин был одним из немногих советских военных теоретиков, глубоко, конкретно разобравшихся в идеях К. Клаузевица, труд которого «О войне» столь высоко оценили Ф. Энгельс и В. И. Ленин. Жесткие схемы, прямая назидательность, дидактика в научных исследованиях и в изложении их результатов, все более утверждавшиеся с конца 20-х годов, были для него неприемлемы. Творческий многовариантный подход А. А. Свечина к проблемам стратегии не встречал понимания у значительной части командного состава РККА, не обладавшей культурой мысли и не стремившейся пополнять свои знания.

А. А. Свечин — автор многочисленных интересных и не утративших свое значение научных работ («История военного искусства», «Война в горах: тактическое исследование по опыту русско-японской войны», «Стратегия», «Стратегия XX в. на I этапе», «Эволюция военного искусства» и др.), рассмотреть которые в рамках одной статьи не представляется возможным. Остановимся на трех темах.

1. ПОЛИТИКА И ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

В 20-е годы были широко известны взгляды тех крупных западных военачальников и военных теоретиков, которые ратовали за автономию военной стратегии от политики, модифицируя на свой лад известную формулу Клаузевица и даже объявляя ее устаревшей. Неоднозначно воспринимали эти взгляды видные командиры Красной Армии, в том числе М. Н. Тухачевский. Защищая формулу Клаузевица, А. А. Свечин детально проанализировал воззрения выступавших против «засилия политики» деятелей — фельдмаршала Х. К. Мольтке-старшего, фельдмаршалов Э. Людендорфа и П. Гинденбурга, весьма популярного в то время французского военного теоретика Леваля.

По Левалю, войну следует рассматривать изолированно, как гигантскую дуэль двух наций, отмечал А. А. Свечин. Правители должны специализироваться в политике, генералы — в стратегии. Политика имеет отношение к войне лишь постольку, поскольку в мирное время определяет, какие жертвы должен принести народ для организации вооруженных сил. Во время войны политика не должна затрагивать военных замыслов. Обсуждение стратегии с политиками вызывает анемию, утрату воли и энергии. Политика — это опиум для стратегии, она ведет к бессилию. Политика нанизывает заблуждения, ошибки, уклонения, подрывает решимость, сбивает с пути, заставляет нервничать. Политик, понимающий что-нибудь в военном деле,— химера, считает Леваль. В то же время нельзя отвлекать полководца от его прямого дела вопросами политики.

Таким воззрениям А. А. Свечин противопоставляет воззрения Бисмарка, который писал: «Задача главного командования — уничтожение неприятельских боевых сил; цель войны — завоевать мир, отвечающий условиям политики, которой держится государство. Установление и ограничение целей, которых надо достигнуть войной, представление в этом отношении советов монарху в течение войны, как и до нее,— задача политики; методы разрешения этой политической задачи не могут не влиять на ведение войны».

А. А. Свечин не просто опровергает взгляды тех, кто не признавал превосходства политики над стратегией. Он объясняет причины, по которым стратегия может стремиться выйти из подчинения политике и даже превратить политику в свою прислужницу: «Утверждение о господстве политики над стратегией, по нашему мнению, имеет всемирно-исторический характер. Оно не подлежит никакому сомнению, когда творцом политики является юный класс, который идет к широкому будущему и историческое здоровье которого отражается и в форме преследуемой им здоровой политики. Но оно всегда вызывает сомнения в тех государствах, которые представляют организационное господство уже отживающего класса, который находится в положении исторической обороны, режим которого подгнил и который вынужден вести нездоровую политику, жертвовать интересами целого для сохранения своего господства. И в этом случае нездоровая политика неизбежно продолжается нездоровой стратегией. Довольно понятными поэтому являются протесты буржуазных военных писателей, особенно французских, находившихся под впечатлением гибельного влияния гнилой политики второй империи на стратегию. Стратегия, естественно, стремится эмансипироваться от плохой политики; но без политики, в безвоздушном пространстве, стратегия существовать не может: она обречена расплачиваться за все грехи политики».

Полемизируя с зарубежными и советскими сторонниками автономии военной стратегии, ссылающимися на то, что стратегии приходится расплачиваться за ошибки в политике, А. А. Свечин писал: «ошибочная политика приносит и в военном деле столь же печальные плоды, как и в любой другой области». Но при этом «нельзя смешивать протест против ошибок политики с отказом признать за политикой права и обязанности определить руководство войной в его основных чертах».

В то же время А. А. Свечин неоднократно повторял, что и политические решения следует сообразовывать со стратегией, с военными возможностями, что политик должен внимательно прислушиваться к мнениям военных профессионалов, знать, как работает военная машина, каков военно-мобилизационный механизм государства и т. п. «Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией... Политик, видящий политическую цель для военных действий, должен отдавать себе отчет, что достижимо для стратегии при имеющихся у нее средствах и как политика может повлиять на изменение обстановки в лучшую или худшую сторону. Стратегия является одним из важнейших орудий политики; политика и в мирное время в значительной степени должна основывать свои расчеты на военных возможностях дружественных и враждебных государств». Эта мысль особенно очевидна, если обратиться к трагическим событиям войны с Финляндией в 1939—1940 годах и в первый период Великой Отечественной войны. То, что Сталин и его ближайшее окружение недостаточно понимали военно-стратегические и оперативные вопросы, в 1941 и 1942 годах значительно усугубляло и без того тяжелое положение Красной Армии. К разработке и принятию решений в первые месяцы войны Сталин не привлекал в должной мере Генеральный штаб, военных профессионалов.

В современных условиях, когда тезис о том, что война не может служить рациональным средством политики (по крайней мере во взаимоотношениях США — СССР, ОВД — НАТО), получает признание, высшее государственное и политическое руководство тем более должно знать теорию и практику военной стратегии, реализацию военным механизмом принятых политикой решений. Ведь такие решения на стыке политики и военного дела могут привести и самым роковым, необратимым последствиям. Особенно, как представляется, следует знать реальные возможности систем и средств управления — своих и противника — связи и разведки, системы предупреждения о ракетном нападении. Понимать основные военно-стратегические вопросы должна и широкая общественность, так что гласность необходима и здесь. Иначе политика не сможет осуществлять реальный, а не декларативный контроль над военной стратегией, не будет соответствия между политической и военно-технической составляющими военной доктрины государства.

2. ХАРАКТЕР БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ

А. А. Свечин дал конкретные военно-политические прогнозы характера будущей войны. Так, в 1926 году он пришел к выводу, что в этой войне первой жертвой Германии станет Польша. Систему международных отношений, сложившуюся в Европе после первой мировой войны, он считал весьма нестабильной, соответствовавшей, по его мнению, прежде всего замыслам французской политики. «Мышление французской внешней политики веками, со времен Ришелье, воспитывалось на создании в Европе таких условий раздробленности, чересполосицы и необороноспособности. В результате работы французской политики, идеи которой вылились в Версальском «мирном» договоре, вся середина Европы — Германия, Польша, Чехо-Словакия и т. д. поставлена в условия, исключающие оборону и позиционность. Вассалы Франции искусно поставлены в положение белки, долженствующей вертеть колесо милитаризма. Искусство французской политики заключается в умышленном творчестве неустойчивых положений. Отсюда недолговечность «творчества»... Польша еще будет иметь возможность обдумать, как ей следует благодарить Францию за подарок Данцигского коридора, который обеспечивает Польше первенство по отношению к германскому удару». А. А. Свечин писал, что мир вступил в переходную эпоху, когда не только Европа, но и весь Земной шар начинает обрисовываться как «совершенно новый стратегический ландшафт», когда военное искусство во многих школах переходит к новым методам и приемам ведения войны и в обстановке назревающих социальных потрясений приобретает новые формы.

Взгляды А. А. Свечина на характер будущей войны формировались и были обнародованы преимущественно в 1925—1926 годы — менее чем на половине пути между двумя мировыми войнами. Многие советские военные теоретики в то время полагали, что все войны, которые предстоят СССР, будут революционными и поэтому стратегия Красной Армии должна быть только наступательной. Влиятельная группа в руководящем командном составе Красной Армии, переоценивая опыт гражданской войны, особенно ее наступательных операций, рассматривала будущую войну с точки зрения этих операций. О том, что гражданская война состояла не из одних только победных наступлений Красной Армии, предпочитали не вспоминать. Все явственнее обнаруживались перекос в идеологическую сторону, подмена строгого военно-политического анализа пропагандистскими лозунгами. Многие военные постоянно твердили, что Советскому

государству как государству передового революционного класса по самой его природе свойственна только наступательная «стратегия сокрушения». Здесь, кстати, сходные позиции занимали М. Н. Тухачевский и К. Е. Ворошилов, конфликтовавшие по многим другим вопросам военного дела, строительства Красной Армии и Красного Флота.

Часть командного состава РККА и ученых, занимавшихся военно-политическими проблемами, полагала, что тыл капиталистических стран будет столь же непрочен, как тыл белых правительств в годы гражданской войны, и потому Красная Армия после первых же ударов станет наступать так же победоносно, как она наступала в последние периоды гражданской войны.

При этом фактически не принимались во внимание важнейшие уроки заключительного этапа советско-польской войны, когда надежды на восстание польского пролетариата не оправдались, а тыл Западного фронта, наступавшего на Варшаву, становился все более и более непрочным. А. А. Свечин считал Варшавскую операцию Западного фронта прежде всего ошибкой стратегии, которая не соответствовала общей политической и экономической линии партии в 1920 году,— линии, наиболее отчетливо выраженной, по его мнению, в ленинской «Детской болезни «левизны» в коммунизме». М. Н. Тухачевский и его единомышленники категорически не соглашались с А. А. Свечиным, считая, что они были на грани взятия Варшавы и тем самым сокрушения всей версальской системы, поскольку за буржуазной Польшей стояли создатели этой системы — Франция, США, Великобритания. Суждение о том, что Варшавская операция Западного фронта могла бы увенчаться успехом, пережило М. Н. Тухачевского. Так, например, его развил в своих работах 60-х годов видный советский военный теоретик Г. С. Иссерсон. А. А. Свечин не только критиковал действия Егорова и Сталина, фактически нарушивших директиву Главкома С. С. Каменева, но и обратил внимание на недостаточно четкий характер этой директивы и на оперативные ошибки М. Н. Тухачевского и его штаба.

Не исключая вероятности революционного характера будущих войн, А. А. Свечин в то же время считал, что строить на такой идеологической установке политику и военную стратегию опасно, что в этом отношении «опыт истории не слишком утешителен» — он показывает, что переоценка возможностей стратегических наступательных операций может привести к катастрофическим последствиям для наступающего.

Оценка А. А. Свечиным характера будущей войны, основанная на глубоком знании и понимании истории, а не только лишь на недавнем опыте гражданской войны, на учете промышленно-экономических возможностей сторон, в главном оказалась правильной. И локальные вооруженные конфликты с чанкайшистами на КВЖД в 1929 году, с Японией в 1938 и 1939 годах на озере Хасан и реке Халхин-Гол, и советско-финская война 1939—1940 годов, и война с нацистской Германией и ее сателлитами в 1941—1945 годах в основном опровергли оппонентов А. А. Свечина, утверждавших, что он «идет по антисоветской дороге», так как все войны, которые предстоят СССР, будут войнами революционными.

Нацистам и захваченному ими государственному аппарату удалось ультрашовинистскими лозунгами и террором против оппозиции заставить основную массу немецкого народа воевать против Советского Союза, и воевать с весьма высокой степенью военной эффективности. Тыл гитлеровской Германии оставался устойчивым и вплоть до крушения «третьего рейха» полностью контролируемым нацистской государственной машиной.

А. А. Свечин постоянно утверждал, что война будет тяжелой, скорее всего она примет затяжной характер, потребует поэтапной мобилизации огромных ресурсов, напряжения сил всего народа, что нельзя уповать на быстрые успехи, на реализацию идей «стратегии сокрушения», которая позволила бы решить судьбу войны Советского Союза с его главными капиталистическими противниками блестящей серией наступательных операций в короткие сроки.

Исследуя совокупность политических, экономических и военно-технических возможностей сторон, А. А. Свечин пришел к выводу, что в современных условиях, когда сталкиваются мощные государства и их коалиции, войны неизбежно

принимают затяжной характер, при котором формы борьбы, в первую очередь вооруженной, могут быть весьма разнообразны. Термин «стратегия измора», писал он, «отнюдь не отражает принципиально уничтожение живой силы неприятеля, как цели операции, но она видит в этом лишь часть задач вооруженного фронта, а не всю задачу»; «приходится обдумывать не только проектирование усилий, но и их дозировку». При «стратегии измора» могут преследоваться столь же решительные военные и политические цели, как и при «стратегии сокрушения».

С военно-политическими и стратегическими выводами А. А. Свечина о характере будущей войны органично сочетаются его экономико-географические размышления. Он неоднократно пишет, что не исключен захват части территории СССР западным агрессором и потому необходимо учитывать военно-стратегические факторы при строительстве новых промышленных объектов на западе страны. «...Постройка могучих источников электрической энергии — Днепрострой, Свирьстрой,— которым в будущем суждено индустриализовать целые районы, требует не только предварительной технической и экономической, но и компетентной стратегической экспертизы». А. А. Свечин рекомендовал сосредоточить промышленность прежде всего на Урале как наименее уязвимом в будущей войне районе. Особую его тревогу вызывал Ленинград — «Севастополь будущей войны», как он говорил, имея в виду уязвимость Севастополя во время Крымской войны. Предостерегая против дальнейшей концентрации в Ленинграде промышленности и населения, А. А. Свечин писал: «невыгоды стратегического положения Ленинграда усугубляются удаленнем его от источников хлеба и сырья». Первые пятилетки изменили экономическую географию нашей страны. Были созданы Уральская металлургическая база, топливная база на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, заложены индустриальные очаги в Средней Азии. На необходимость размещения заводов в восточных районах страны особо было указано в решениях XVIII съезда партии (1939 год). Тем не менее, когда началась Великая Отечественная война, этого оказалось явно недостаточно, многие решения были приняты слишком поздно. Быстрое продвижение войск нацистской Германии заставило в предельно короткий срок со значительными потерями переместить глубоко в тыл огромное количество промышленных предприятий, оборудования, сырья, эвакуировать население. То, что невозможно было вывезти, взрывали, уничтожали, чтобы не досталось врагу. В числе других объектов были приведены в негодность Днепрогэс и Свирская ГЭС.

В первые три месяца войны пришлось эвакуировать более 1360 только крупных, главным образом военных предприятий. В результате военных потерь, а также эвакуации предприятий валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь 1941 года уменьшилась в 1,1 раза. Производство проката черных металлов сократилось в декабре 1941 года против июня 1941 года в 3,1 раза; проката цветных металлов — в 430 раз; шарикоподшипников, без которых нельзя было выпускать ни самолетов, ни танков, ни артиллерии,— в 21 раз.

Во всех своих основных трудах А. А. Свечин призывал не только государственных и политических руководителей, но и военачальников тщательно учитывать экономические факторы, промышленно-экономические ресурсы сторон, подчеркивая при этом важность оптимального распределения ресурсов, количество которых всегда ограничено между видами вооруженных сил. В частности, он ставил под вопрос целесообразность создания крупного надводного флота для СССР. «Наша армия,— писал А. А. Свечин о вооруженных силах России накануне первой мировой войны,— могла бы сравниться по технике с германской только в случае нашего отказа от постройки линейного флота; последний, в условиях чрезвычайно невыгодного расположения русских портов в глубине оперативных задворок морей, лишенный надлежащего базирования, был обречен на бездействие. Однако после Цусимы и первой революции мы вновь начали строить кораблики, что отвлекло крупную часть сумм, ассигнуемых на оборону, и еще более существенную часть нашей еще более слабой промышленности».

Строительство новейших линейных кораблей для Балтийского и Черноморского флотов в значительной мере, если не решающим образом, определялось желанием восстановить военно-морской престиж Российской империи, утрачен-

ный после русско-японской войны, а не глубокими оперативно-стратегическими соображениями. Дорогостоящие линейные корабли дредноутного типа начали строить для Балтийского (а затем для Черноморского) флота еще тогда, когда не было гораздо более нужных новых крейсеров, эсминцев, подводных лодок.

Аналогично оценивал А. А. Свечин линейный «флот открытого моря», создав который кайзеровская Германия бросила вызов морскому могуществу Великобритании. Он писал, что на германской армии весьма отрицательно сказывалось стремление политического руководства страны подготовить почву для борьбы с Англией и за господство на морях: из сумм, выделяемых бюджетом на военные цели, сухопутные силы получили две трети, а треть шла на создание флота. «Этого умаления средств сухопутная армия Мольтке [старшего] не знала». Здесь взгляды А. А. Свечина совпадали с взглядами М. В. Фрунзе, который был за восстановление флота, но подчеркивал, что масштабы его строительства должны быть строго выверены: «мы даже при самых благоприятных бюджетных условиях ограничимся программой мелких судов оборонительного характера». Этот вывод М. В. Фрунзе обосновывал следующими соображениями: во-первых, «морской флот — оружие очень дорогое», и при общем недостатке средств их лучше употребить на более острые и первоочередные нужды, имеющие определяющее значение для обороны страны; во-вторых, судьба будущей войны будет решаться на континентальных театрах военных действий, и главная задача ВМФ — обеспечение действий сухопутных группировок на приморских направлениях; в-третьих, наши флоты не имеют прямого выхода к крупным водным пространствам. Такого же мнения был и М. Н. Тухачевский, который отмечал, в частности, что в период подготовки к первой мировой войне кайзеровская Германия, преимущественно сухопутная держава, нарушив заветы Бисмарка, допустила кардинальную ошибку: в стремлении сравняться с Великобританией в морском могуществе она ослабила свои сухопутные силы. «Если бы мощь сухопутной германской армии была подготовлена в большем масштабе, а это было вполне возможно, то исход осенней кампании 1914 г. во Франции мог бы окончиться для последней полным крахом, что предрешило бы исход войны».

Линия М. В. Фрунзе в отношении Красного Флота проводилась недолго. Уже в 1937 году была принята обширная кораблестроительная программа, предусматривающая создание дорогостоящих металлоемких линейных кораблей и тяжелых крейсеров, к которым питал пристрастие И. В. Сталин. Проектирование и закладка кораблей велись со все большим размахом в чрезвычайно быстром темпе, особенно после нападения Гитлера на Польшу в сентябре 1939 года. Это потребовало колоссальных расходов на создание военно-морских баз, доков, заводов и т. д. В тот период наращивалось производство всех видов наземного вооружения — пушек, танков и т. д. Не хватало металла и мощностей. Свертывать программу строительства крупных кораблей начали весной 1940 года, а пересмотрели ее в октябре. Теперь стали строить лишь подводные лодки и малые надводные корабли — эсминцы, тральщики и т. д., а недостроенные линкоры так и остались на стапелях. С началом войны обнаружилась острая нехватка тральщиков и тральных средств, специальных десантно-высадочных средств, весьма слабыми оказались корабельные средства ПВО, корабли были недостаточно оснащены радиолокационными и гидроакустическими приборами. Все это вызывало крупные потери от мин и авиации противника. Боевых же столкновений наших линкоров и крейсеров с крупными надводными кораблями противника в ходе войны не было. Так что в самый канун войны бесплодно растратили ресурсы, которые могли бы пойти на укрепление сухопутных сил, да и на более оптимальное развитие самого флота. Идеи М. В. Фрунзе, А. А. Свечина, М. Н. Тухачевского о месте и функциях ВМФ в обеспечении интересов государства весьма актуальны и в наши дни, с учетом, разумеется, всех новых реальностей и возросшей роли ряда океанских акваторий для национальной безопасности СССР.

Говоря о вкладе А. А. Свечина в отечественную военную науку, нельзя умолчать о недостатках, присущих его работам. Так, он отмечал большое значение в будущей войне танков, авиации, автотранспорта, новейших средств свя-

зи, но сравнительно мало занимался изучением их воздействия на стратегию, оперативное искусство и тактику. Вопросам этого воздействия уделили внимание И. П. Уборевич, Я. Я. Алкснис и другие военачальники и специалисты, а также М. Н. Тухачевский, в том числе в своей критике концепций А. А. Свечина, переходящей в необоснованные политические обвинения.

А. А. Свечин считал, что в первую очередь возможность массового применения артиллерии, танков и авиации будет у тех или иных вероятных противников СССР на Западе. Промышленно-экономический и культурный уровень СССР, несмотря на индустриализацию и развитие образования, не позволит в обозримой перспективе сравняться с Западом по оснащенности боевой техникой и способности использовать ее должным образом в стратегическом, оперативном масштабах. А. А. Свечин призывал сделать основной упор на пехоту Красной Армии, оснащение ее надежными и эффективными средствами ближнего боя. В частности, он писал: «было бы грубой ошибкой, жестоким отрывом от реальности забыть о тех огромных девственных просторах, на которых Днепрострой и будущий Нижегородский автомобильный завод являются только крупинками».

Напомним, что эти свои выводы о характере будущей войны А. А. Свечин сделал в 1925—1927 годах. Оппоненты обрушились на него преимущественно в 1931 году — после XVI съезда партии. Этот съезд без какого-либо серьезного обсуждения принял предложения Сталина удвоить и утроить многие и без того напряженные задания пятилетнего плана. Ни одно из них не было выполнено, хотя развитие промышленности (за счет сельского хозяйства, жизненного уровня населения, жесточайших репрессий) значительно ускорилось.

Многое из того, о чем писал А. А. Свечин, отмечая слабости технического оснащения Красной Армии в будущей войне, оказалось справедливым, несмотря на то, что масштабы индустриализации были гораздо значительнее, чем он предполагал, экстраполируя на будущее ход развития во второй половине 20-х годов промышленности, сельского хозяйства и экономики в целом. Красная Армия к началу Великой Отечественной войны оказалась недостаточно обеспеченной важнейшими средствами маневренной войны, наступательных операций — автомобильным транспортом, легким автоматическим оружием, артиллерией на мехтяге, радиосвязью. Даже такие новейшие средства, как средний танк «Т-34» и тяжелый танк «КВ», штурмовики «Ил-2», пикирующие бомбардировщики «Пе-2», не имевшие в то время равных себе в мире, были очень слабо оснащены радиостанциями так же, как и штабы всех уровней. Мало была развита в приграничных районах сеть шоссейных и железных дорог. И хотя самолетов и танков на вооружении РККА к началу гитлеровской агрессии было гораздо больше, чем, по-видимому, мог предположить А. А. Свечин, качество, материально-техническое обеспечение значительной части этой техники не соответствовали предъявляемым военно-политической обстановкой требованиям.

3. НАСТУПЛЕНИЕ И ОБОРОНА

Размышления и выводы А. А. Свечина о соотношении между наступлением и обороной в стратегическом масштабе вытекают из его взглядов на будущую войну, на материальные возможности СССР, на внешнеполитический курс Советского Союза. Большинство его современников основное внимание уделяло стратегическим наступательным действиям. Среди них были и представители старой военной интеллигенции, служившие в Красной Армии, например, А. М. Зайончковский.

О преобладавших вплоть до начала Великой Отечественной войны взглядах свидетельствуют высказывания участников разгрома школы А. А. Свечина. Некто И. Дуплицкий, например, писал: «Если война будет, то мы, конечно, поступим по указанию вождя Красной Армии, который сказал, что мы должны добиться такого положения, чтобы воевать не на своей, а на чужой земле».

А. А. Свечин писал в «Эволюции военного искусства»: «Оборона в стратегии имеет возможность использовать рубежи и глубину театра, что заставляет наступающую сторону противника тратить силы на закрепление пространства и тратить время на его прохождение, а всякий выигрыш во времени — новый плюс для обороны. Обороняющийся жнет и там, где не сеял.., так как наступление часто останавливается фальшивыми данными разведки, ложными страхами, инертностью». Он обращал внимание на высказывания Клаузевица, который признавал оборону для материально более слабой стороны сильнейшей формой ведения войны. Отметив, что идеи Клаузевица упускались из виду даже его наиболее горячими почитателями, он напомнил о трагических последствиях, к которым это привело, особенно в первую мировую войну. Применительно к современным военно-политическим условиям А. А. Свечин не считал ошибкой признание обороны сильнейшей формой ведения войны: «по крайней мере в условиях Европы, не объятой революционным движением. Национальные экономические заборы Европы имеют огромную историческую давность...».

Вопреки обвинениям в уповании лишь на оборону он рассматривал ее в диалектическом единстве с наступлением — как средство обеспечения условий для перехода в эффективное контрнаступление, ведущее к разгрому противника. «...Действенность стратегической контратаки в большинстве случаев в своем размахе сильно превосходит первоначальный удар наступающего. Не видели ли мы во всем течении мировой войны подтверждение глубокой правильности этих взглядов Клаузевица! Не оправдалась ли его мысль полностью в стратегической контратаке Фоша в июле 1918 г., и поляков — в августе 1920 г.?»

Выводы А. А. Свечина подтвердились во многих операциях второй мировой войны, не потеряли значения и в современных условиях — со всеми, разумеется, поправками на развитие военной технологии, новых тактических и оперативных форм ведения боевых действий. Высказывания Клаузевица и Свечина о том, что оборона — наиболее сильная форма боевых действий, актуальны и в свете концепции разумной (оборонительной) достаточности для СССР и Организации Варшавского Договора в целом. Примечательно, что к этим высказываниям все больше обращаются видные военные специалисты, политические и общественные деятели на Западе, стремящиеся откликнуться на выдвинутые Советским Союзом идеи нового мышления в вопросах укрепления международной безопасности.

Стремясь разобраться в истоках непопулярности стратегической обороны, А. А. Свечин писал о такой устойчивой категории военного искусства, как активность: «Весьма часто ошибки, наблюдаемые в постановке цели, несоответствующей имеющимся для нее средствам, объясняются отчасти ложными идеями об активности. Оборона получила малопочетный эпитет «подлой». Все академические курсы перед войной (первой мировой.— **Авт.**) в один голос восхваляли достоинства наступления, активности, захвата инициативы». Однако «истинная активность заключается прежде всего в трезвом взгляде на условия борьбы; надо видеть все, как есть, а не строить обманчивой перспективы. Инициатива может трактоваться как узкое понятие, определяемое исключительно временем,— предупреждение неприятеля, захват почина действий. Однако возможно толковать сохранение в своих руках инициативы и более глубоко, как искусство проводить свою волю в борьбе с неприятелем».

На событиях первой мировой войны А. А. Свечин убедительно показал, что во имя активности, захвата и удержания инициативы крупнейшие военные деятели совершали ошибки, которые в конечном итоге вели к поражениям. В трудах по военной истории и военной стратегии, в служебных записках он на исторических примерах продемонстрировал случаи, когда стратегическая оборона была единственно верным способом разгрома противника, но отвергалась и политическим руководством, и военным командованием, не поддерживалась общественностью. Более того, не раз бывало, что сторонники «решительных действий», наступления, немедленных сражений оставались в фаворе даже после того, как выяснялось, что их действия вели к тяжким поражениям. Корни этого, по-видимому, в сфере социальной психологии, А. А. Свечин иллюстрирует свой вывод примером из истории Пунических войн, говоря о судьбе двух консулов, которые

стояли во главе римской армии, потерпевшей сокрушительное поражение от Ганнибала при Каннах. «...Из двух римских консулов мудрый Павел Эмилий был убит в битве при Каннах, а ответственный за поражение Теренций Варрон спасся бегством с поля сражения, здравствовал потом и оставил многочисленное потомство; каждый вождь, разумно руководящий операцией, может рассчитывать найти в лице своего партнера одного из идейных потомков Теренция Варрона». Как пророчески заключал А. А. Свечин, «племя горе-полководцев неистребимо».

Среди тех, кто придерживался в 20-е годы таких же, как А. А. Свечин, взглядов, можно отметить такую крупную фигуру, как Б. М. Шапошников. В подготовленной в 1923 году записке «Абрис современной стратегии» он, критикуя А. М. Зайончковского, высказался против абсолютизации наступления: «на войне применяются наступление и оборона, и рекомендовать одно наступление не только нельзя, но даже вредно». А. А. Свечин отнюдь не полагал, что стратегическую оборону обеспечат обширные пространства нашей страны, бездорожье и суровые зимы, как это приписывали ему оппоненты. Стратегическая оборона виделась ему прежде всего как совокупность операций, включающих контрудары и контратаки на различных заранее подготовленных рубежах; он предостерегал против упования на возможности, которые предоставляют нам территория, климат. Еще в 1924 году в очерке «Опасные иллюзии» он писал: «Советская власть получила от старого режима сложное наследство, в том числе и ту пуховую перину, которую представляли мысли о бесконечности русской территории, представляющей широкое поле для отступлений, о неуязвимости для внешнего врага политического центра, о русской зиме, которая остановит всякое вторжение»; отмечал, что телеграф, радио, авиация, автомобили, вся современная техника — это «великие пожиратели пространства». Его предвидение полностью подтвердилось на всех фронтах второй мировой войны. Оно тем более справедливо в современных условиях, когда бурное развитие получили средства управления и связи, транспортные средства, средства доставки боеприпасов до целей.

История, отмечал А. А. Свечин, учит, что стратегическое значение столиц впрямую зависит «от напряжения политических страстей». Поэтому в будущей войне, которая, несомненно, примет острейший политический характер, он настойчиво рекомендовал надежно обеспечить в первую очередь защиту Москвы как политического центра Советской России, ибо «решительная партия должна быть сыграна здесь». Великая Отечественная война, начавшаяся в существенно иных условиях, подтвердила особое значение столицы нашего государства в политических и стратегических планах Гитлера. Вермахт развернул наступательные операции сразу по трем стратегическим направлениям, но главный удар наносился в направлении Москвы. Основная же группировка Красной Армии была сосредоточена южнее, образовав после начала войны Юго-Западный фронт. Здесь было почти на треть больше сил и средств, нежели в составе Западного фронта, прикрывавшего Москву.

Одним из последствий разгрома школы А. А. Свечина стало недостаточное внимание советской военной науки накануне Великой Отечественной войны к теории стратегии в целом и стратегии обороны в особенности. Так, в 1935 году в Военной академии имени М. В. Фрунзе на военно-историческом факультете программа предусматривала 32-часовой курс лекций по теории стратегии, однако ни одна лекция не была прочитана. Когда в 1936 году была учреждена Академия Генерального штаба, курс стратегии не вошел в ее программу. Представители высшего командования, как вспоминает Г. С. Иссерсон, уклонялись от чтения лекций по стратегии (кроме М. Н. Тухачевского, который выступил один раз в начале 1937 года по общим проблемам современной войны). Все, относящееся к стратегии, постепенно стало считаться исключительным правом высшего руководства в лице Сталина. Многие концепции, положения, высказанные в 20-х — начале 30-х годов, были объявлены чуждыми, вредительскими. Необоснованные репрессии, которым была подвергнута и без того малочисленная группа военачальников и теоретиков, приостановили развитие стратегической теории.

Последствия оказались роковыми для нас в начале войны. «Известная растерянность, неумение охватить сложную обстановку в целом, принять целесооб-

разное решение в крупном масштабе и подчинить ему весь ход событий были в значительной степени результатом стратегической неориентированности и неподготовленности мыслить крупными категориями стратегического значения...— вспоминал Г. С. Иссерсон.— Быстрое изменение умонастроения военного командования, уже вступившего в смертельную схватку с напавшим врагом, не было обеспечено воспитанием гибкой мысли, не подчиненной никаким декларациям и свободной в принятии оперативных решений, какие оно считало нужным в создавшихся условиях». Прекращение дискуссий по вопросам теории военной стратегии отрицательно сказалось и на развитии оперативного искусства, приоритет в разработке которого принадлежал советской научной школе. «Мы были связаны определенными положениями декларативного характера о наступательном ведении войны, о том, что наша армия будет самой нападающей армией, о том, что мы перенесем военные действия на территорию противника и т. д., и т. п.,— свидетельствует Г. С. Иссерсон.— Эти предложения преподносились сверху как непреложные руководящие директивы нашей военной политики и клались в основу всего военного мышления командного состава. В период культа личности Сталина они приобрели значение закона и не подлежали обсуждению...»

Практически незамеченными остались осуществленные в 1938 году разработки Академии Генерального штаба — впервые за всю историю таких академий — по теме «Армия в обороне». Проповедовавшийся и политическим руководством, и руководством наркомата обороны тезис о превосходстве наступления над обороной оказался препятствием для осмысления этих разработок. Диалектика соотношения обороны и наступления не принималась во внимание.

Идея непременного перенесения войны в самом ее начале на территорию противника укоренилась у государственных руководителей и значительной части высшего военного командования. Не обоснованная ни теоретически, ни анализом конкретной военно-политической обстановки, ни оперативными расчетами, она вытекала прежде всего из идеологических установок. Да и в практическом отношении она отрабатывалась далеко не последовательно, и, разумеется, это особенно отрицательно сказалось на подготовке не только обороны на передовых рубежах, но и в целом театров военных действий в глубине своей территории. Организация и ведение стратегической обороны были одними из самых сложных задач, которые пришлось решать советскому Верховному Главнокомандованию в первые же дни. Великая Отечественная война убедительно показала, что отразить стратегическое наступление хорошо подготовленного противника мимоходом, просто как промежуточную задачу, невозможно — требуются длительные и ожесточенные оборонительные сражения и операции. Если бы их подготовили, то совсем иначе, с учетом оборонительных задач, располагались бы группировки сил и средств, по-иному строилось бы управление и осуществлялось эшелонирование материальных запасов и других мобилизационных ресурсов. Ориентированные на немедленное контрнаступление, переходящее в общее наступление, группировки, не прикрытые глубоко эшелонированной обороной, сами весьма уязвимы для мощных внезапных ударов. Особенно уязвимыми оказались система управления и связь, нарушение которых было едва ли не основным фактором, резко изменившим соотношение реальных боевых возможностей в пользу агрессора. Думается, что в достаточной мере этот фактор не учтен до сих пор.

Ошибки военно-политического, стратегического и оперативного характера привели к тяжким поражениям Красной Армии, миллионным человеческим жертвам, утрате значительной территории и огромных материальных ценностей, в том числе значительной части промышленного потенциала.

В работах по стратегии и оперативному искусству Великой Отечественной войны вплоть до недавних пор рассматривался преимущественно опыт успешных стратегических наступательных операций начиная со второй половины 1943 года. Часто даже не упоминалось о том, что они стали возможны только после серии стратегических оборонительных операций. Вырвать стратегическую инициативу у опаснейшего противника удалось ценой огромных жертв.

Невнимание к первому периоду Великой Отечественной войны с психологической точки зрения понятно. Однако оно столь же вредно, сколь и невнимание в 20-е и 30-е годы к урокам поражений и оборонительных сражений Красной Армии в гражданскую войну. Невнимание это не могло не отразиться на развитии советской военной мысли. Лишь в последнее время, особенно после провозглашения на берлинском заседании Политического консультативного комитета Организации Варшавского Договора в мае 1987 года ее военной доктрины, имеющей сугубо оборонительный характер, положение начинает меняться.

Значительно изменена военно-техническая часть советской военной доктрины (в стратегии, оперативном искусстве). С лета 1987 года объявлено положение о том, что основным способом действий Вооруженных Сил СССР при отражении агрессии будут не наступательные, а оборонительные операции и боевые действия, а также контрнаступление.

Соответствующим образом меняется структура вооруженных сил стран — участниц Варшавского Договора. Эта структура, сложившаяся к моменту Заявления ПКК ОВД о военной доктрине, по словам первого заместителя министра обороны СССР — главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского Договора генерала армии П. Лушева, не вполне отвечала доктринальным требованиям. Для придания вооруженным силам государств — участников Варшавского Договора очевидной оборонительной направленности они сокращаются, изменяются их структура и состав.

Один из главных принципов строительства Советских Вооруженных Сил в современных условиях — принцип разумной оборонной достаточности. Практически это означает придание им ненаступательной структуры; предельное ограничение в их общем составе ударных систем; изменение дислокации в расчете на выполнение строго оборонительных задач; снижение параметров мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, а также объемов военного производства.

Опыт Великой Отечественной войны, освещаемый в значительной мере с перекосами, при всей его несомненной ценности, при всех выдающихся достижениях нашего военного искусства, нередко абсолютизировался. Это мешало полномасштабному учету все новых и новых политических, экономических, научно-технических, оперативно-стратегических факторов, кардинально изменивших после второй мировой войны, пользуясь выражением А. А. Свечина, «стратегический ландшафт». Среди таких факторов прежде всего ядерное оружие, а также эволюция обычных вооружений, иной облик и содержание локальных войн, использование военной силы не только на полях сражений, но и для прямого и опосредованного политического влияния.

Обычные вооружения после второй мировой войны в своем развитии прошли как минимум три этапа, которые как бы пронизывает тенденция к возрастанию роли электронных средств управления, связи и разведки и соответственно средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Успех боевых действий любого масштаба на суше и на море определяется теперь уже завоеванием господства не только в воздухе, но и в эфире. Этот вывод имеет прямое отношение к внешней политике и международным отношениям. Без понимания закономерностей развития военного дела невозможно решать путем переговоров вопросы сокращения вооруженных сил и вооружений, укрепления стратегической стабильности.

Локальным войнам послевоенного периода в нашей политической и военной литературе уделяется недостаточно внимания, а ведь подходить к их опыту при экстраполяции его на будущее и на закономерности военно-политического противостояния между ОВД и НАТО, СССР и США надо весьма осторожно. Исследования историко-политологического, оперативно-стратегического, военно-экономического и научно-технического характера мало объединены, отстает применение методов системного анализа.

Чрезвычайно важно в этом плане всестороннее — в политическом, оперативном, тактическом отношении — изучение войны в Афганистане, совместных действий советских и афганских вооруженных сил на протяжении девяти лет.

То время, когда американская агрессия потерпела поражение во Вьетнаме, ближневосточные войны 1967 и 1973 годов отдалены от нас больше, чем от

участников дискуссий конца 20-х — начала 30-х годов была отдалена советско-польская война. Однако уровень конкретности исследования этих войн, механизма принятия решений, оценки роли наших советников и нашего оружия отстает от научного уровня тех лет. А ведь тогда мы были неизмеримо слабее, уязвимее, да и такими многочисленными кадрами специалистов не располагали.

Не исследованы и вооруженные конфликты послевоенных десятилетий между социалистическими государствами — СССР и КНР, КНР и СРВ. Не сформулированы достаточно четко выводы, рекомендации, которые могли бы полностью исключить такого рода конфликты в будущем.

Следует иметь в виду, что период борьбы за национальное освобождение колониальных и зависимых стран в традиционном представлении в значительной мере завершился. Все больше конфликтов в зоне развивающихся стран, находящихся в стадии формирования своей национальной и многонациональной (многоплеменной) государственности, происходит между ними самими. Масштабы применения военной силы в этой зоне не убывают, а по ряду параметров и растут. Процесс девальвации роли военной силы здесь еще не начался, так что вопрос о справедливых и несправедливых войнах должен во многом решаться по-новому.

Качественно возросший уровень взаимозависимости изменил характер борьбы капиталистических государств за рынки сбыта и источники сырья — он стал иным, чем был не только между двумя мировыми войнами, но и в первые послевоенные десятилетия. Наиболее показательна в этом отношении политика Японии, не обладающей многими видами сырья (начиная с энергоносителей) и существенно уступающей другим капиталистическим государствам в военной мощи.

При оценке военно-политической обстановки в мире мы далеко не в полной мере учитываем, что нынешние буржуазно-демократические режимы в ведущих капиталистических государствах, даже если у власти консервативные правительства, резко отличаются от крайне правых, типа Гитлера или Муссолини, режимов. До сих пор иные наши ученые, оценивая вероятность войны, практически не принимают в расчет ни эти качественные различия, ни то, что итоги второй мировой войны глубоко отразились на общественном сознании в большинстве развитых капиталистических государств. Конечно, это не исключает необходимости постоянно быть в курсе деятельности, масштабов влияния на массы и правительства различных экстремистских группировок и организаций, способных резко изменить политическую, а через нее и военно-политическую обстановку.

Характер военно-политических взаимоотношений между СССР и США, ОВД и НАТО заметно изменился, стала менее напряженной международная обстановка, снизилась непосредственная опасность агрессии, однако угроза войны сохраняется. Следовательно, нужна бдительность, нужно знать, как развиваются вооруженные силы США и НАТО, ряда других государств.

Разумеется, мы не исчерпали все крупные военно-политические проблемы, нуждающиеся в исследовании.

Сейчас, когда эти проблемы теории стратегии, военного искусства в целом, ограничения и сокращения вооруженных сил и вооружений широко обсуждаются, важно рассматривать их в историческом контексте, обращаться к забытым или полузабытым работам советских политологов и военных теоретиков 20-х и начала 30-х годов, значительное место среди которых принадлежит А. А. Свечину.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Жозефина Пастернак

PATIOR*

Когда в 1921 году я покидала Москву для недолгого пребывания в Берлине, меня осыпали целым дождем поручений, просьб и советов. Не помню прощальных слов моих родителей,— все, что они тогда говорили, было стерто болью расставания с ними. Позабыты и просьбы и поручения друзей и знакомых, их я постаралась выполнить как могла лучше, достигнув места назначения. Из всех разговоров вокруг моего близкого отъезда за границу я, конечно, немногое могу вспомнить. Но вот одно из запомнившегося может послужить введением к следующим страницам.

Я имею в виду настоятельный совет моего брата Бориса — будучи за границей, познакомиться с произведениями Марселя Пруста. Брат говорил о книгах, которых в то время нельзя было достать в Москве. Пруст возглавлял этот список.

Первая книга — «A la Recherce du temps perdu» — меня ошеломила. Пруст был откровением. Но то ли я тогда не смогла достать следующий том, или по какой-то иной причине, с тех пор забытой, чтение не продолжилось. Не ранее прошлого года — более чем через сорок лет после того как Борис назвал Пруста величайшим из всех тогда живших писателей — смогла я проникнуть в сущность ошеломляющего прустовского творения. Теперь я читала его книгу за книгой, плененная самим ведением сюжета, неудержимо влекомая вглубь его устремлений и страстей, жадно предвкушая продолжение, пока не дошла до конца. И тут, словно в свою очередь, Пруст побудил меня заговорить о моем брате. Я почувствовала необходимость перечитать его прозу.

Пруст и Пастернак. Два человека. Их жизни? Их любви? Их судьбы? Но ведь они два совершенно различных мира! И все же: книга Пруста была подобна электрической искре, разрядившей напряжение между двумя полюсами творческой яви.

Никакие два человеческие существования не могли быть более несхожи, чем жизни Пруста и Пастернака, ничего общего нельзя найти в их литературных и жизненных устремлениях. Но это — на поверхности явлений. Существует меж ними как бы подпочвенная связь. В глубочайших слоях сознания они вскормлены одной и той же субстанцией. Субстанция эта — особое представление об искусстве, общее им обоим и существенно отличающееся от представлений большинства их собратий по перу.

«Литература, которая довольствуется «описанием вещей», давая слабое очертание их линий, их поверхности — несмотря на свои претензии на реализм,— дальше всего от действительности... ибо она разрывает всякую связь между моим теперешним «я» и прошлым, сущность которых сохраняют эти вещи,— и будущим, к ощущению которого они нас зовут... Час времени — один лишь час — это сосуд, полный запахов, звуков, планов, той или иной погоды. То, что мы зовем реальностью,— некое соотношение между этими ощущениями и теми воспоминаниями, которые нас непроизвольно окружают, соотношение, которое оказывается подавленным, уничтоженным простым кинематографическим видением, тем более удаленным от правды, чем более оно претендует на тождество с ней,— то един-

* Patior, passus sum, pati — терпеть, переносить, страдать (лат.).

ственное соотношение, которое писатель должен отыскать, чтобы навсегда соединить в своей фразе его различные грани» (М. Пруст. «В поисках утраченного времени». Галлимар, т. XV, сс. 35—36).

Пруст порицает реализм не за чрезмерную реалистичность, но за его неспособность в своей чистой описательности, одномерной протяженности воспроизвести многомерный образ реального мира. Каким же путем должен идти художник, чтобы создать то, что Пруст называет истинным искусством?

На страницах двух последних книг своего романа автор дает ответ. Он признается, что всю жизнь пытался, но так и не успел создать такое («единственно живое») искусство. Ряд неожиданных ощущений, в разное время пробуждающих в нас прошлое, принес решение задачи: одновременность ощущений прошедшего и настоящего открыла таинственную дверь в царство истинного искусства.

Конечно, говорит Пруст, невозможно создать целое произведение, опираясь лишь на силу этих драгоценных мимолетных мгновений, мгновений слияния впечатлений прошлого и будущего. И это, возможно, более чем что-либо обозначает различие между поэзией и прозой.

Лично для меня мерилом истинности искусства всегда была его непосредственность — это понятие, как и всякое фундаментальное понятие, трудно определить. Пруст путем длительных рассуждений приходит к разъяснению его: между ощущениями прошедшего и настоящего должна возникнуть связь настолько тесная, что оба ощущения как бы сольются в одно. Иными словами, непосредственность — это и есть полное отсутствие какой-либо преграды между двумя ощущениями, и это идеал, характерный признак творческого вдохновения.

Тогда как романист в добавление к этим недолгим, но незаменимым моментам вынужден заполнять свое произведение более трезво продуманным содержанием, поэт — один лишь поэт — может пренебречь всеми иными способами выражения, кроме тех, какие открываются ему этими «драгоценными, но редкими ощущениями». Этот — и только этот — твердый отказ от чего-либо, стоящего ниже настоящей непосредственности, как ее определяет Пруст, и есть признак истинного поэта. И особенно это характерно для искусства Пастернака.

Невозможно, говорит Пруст, написать большое произведение, основываясь на силе этих вдохновенных моментов. Но в пастернаковском «Детстве Люверс» нет ни единого случая употребления тех общепринятых вспомогательных приемов и форм, которыми обычно пользуются писатели при построении литературного произведения. Будучи великолепной прозой, эта повесть в то же время — чистейшая поэзия. И по самой своей природе, по своему уникальному поэтическому замыслу, «Детство Люверс» было предназначено остаться кратким, хотя чувствуется, что было оно задумано как роман — и было, быть может, началом романа. Позже Пастернак написал его продолжение, или, скорее, несколько последовательных отрывков, но они утрачены. Должны ли они были — и как именно — войти в состав ранних глав — я не знаю: бесполезно было бы судить о том, чего нет.

* * *

Я навсегда сохраню благодарность Прусту за то, что он внушил мне желание вновь перечитать «Живаго». Конечно, и раньше нарастание трагедии, ее покоряющий лиризм невыразимо трогали. Но лишь теперь, когда истерия, поднятая вокруг «Живаго» на Западе, улеглась и раздирающий уши трезвон в прессе, притупляющий все чувства, поутих, мне стала явственна величественная красота книги как целого.

Нервическое возбуждение вокруг личности Лары, посягательства «христологов» на определенные места книги, истолкования символов людьми, глухими к голосу искусства,— все эти и многие другие неприятные явления сопровождали выход романа на Западе.

С пятилетней дистанции, помогающей проверить впечатления, мне стала понятной ошибочность моих суждений о некоторых первых главах, показавшихся более слабыми, чем остальные; неверно было и приписывать немногие казавшие-

ся «непастернаковскими» места влиянию каких-то негативных факторов. Я и теперь больше люблю последующие главы (начиная, быть может, с той, где Юрий заболел тифом), вторую часть книги больше, чем первую (за исключением самых начальных ее сцен, наиболее впечатляющих во всем повествовании), но это уже, конечно, дело вкуса. И все же, думаю, тут не только личные впечатления — чувствуется, что чем дальше автор писал, тем увереннее ощущал он собственную почву под ногами, тем более становился самим собой. Раз замедлив течение действия, он не боится потерять власть над ходом событий: страницы становятся спокойнее и глубже, язык — все поэтичнее. Только теперь смогла я по достоинству оценить благородные пропорции всего произведения: краткость глав, ясность их рисунка, полное отсутствие цветистости, сгущенную манеру письма, мастерство поэта в проведении сцен, постановке ситуаций. Право, только теперь, когда рассеялся тяжелый туман толкований и комментариев, стал виден мне истинный облик романа. Какими же грубыми были наслоения, которыми покрывался он при попытках желающих использовать его в своих целях — политических, философских или религиозных!

А что до Лары... В действительности (если оставить в стороне счастливый, но достаточно случайный стимул, идущий от чтения Пруста) именно беспокойство за то, что изучающие русскую литературу будут смешивать этот центральный образ с другими образами прозы Пастернака, заставило меня написать данные страницы.

* * *

«Можно мне бросить это на пол?» Борис держал в руке билет, нерешительно глядя на меня. «Ну конечно, почему же нет?» — «Здесь так чисто всюду... и на улице. Так опрятно... Я подумал, я думаю, должно быть, это воспрещено...» Мы стояли с ним в большом холле одной из станций берлинской подземной дороги. Вот как это случилось. Летом 1935 года в Мюнхене семья наша получила известие, что в такой-то день Борис пробудет несколько часов в Берлине по дороге в Париж. Родители в это время были у нас, в Мюнхене, и, так как чувствовали они себя не совсем здоровыми и не могли нам сопутствовать, муж мой и я отправились в Берлин одни. Поездку мы совершили ночью, и утром уже были в берлинской квартире родителей. Какой печальной и пустынной выглядела она без них! Спустя немного прибыл и Борис, в такси, с г-ном Бабелем, сопровождавшим его в этой поездке. Господин Бабель скоро ушел, мы должны были встретиться в посольстве позже. Не помню ни первых слов брата, ни приветствия, ни того, как обняли мы все друг друга: все это как бы затмилось странностью его поведения, манер. Он держал себя так, словно какие-то недели, а не двенадцать лет были мы в разлуке. То и дело его одолевали слезы. И одно только желание было у него: спать! Стало ясно, что он в состоянии острой депрессии. Мы опустили занавеси, уложили его на диван. Скоро он крепко заснул. Прошло два часа, три, мало времени оставалось до его отъезда, а мы еще и не говорили... Когда Борис проснулся, он, казалось, был в чуть лучшем состоянии, хотя опять все жаловался на бессонницу, которая, видимо, мучила его последние месяцы. И тогда мы услышали от него следующую историю.

Борис лечился в одном подмосковном санатории. В один из дней раздался телефонный звонок: «Вы едете за границу, на конгресс писателей»,— сказали ему. «Я не поеду,— ответил он,— как я могу, если и по московским улицам ходить не в состоянии? Я болен!» Со всей горячностью, ему свойственной, со всем упрямством больного человека он отказывался двинуться куда бы то ни было из санатория, даже узнав, что решение послать его в Париж принято в Кремле. В конце концов ему пришлось сдаться, и последнее его оправдание, что ему не во что одеться, было снято неким должностным лицом, которое поводило его по московским магазинам, купило ему наспех шляпу, пару рубашек, костюм, не слишком хорошо сидевший, и так далее. «И вот,— закончил Борис,— я должен ехать на этот конгресс, но я неспособен говорить. Как мне в таком состоянии появиться на трибуне?» Почему пожелали, чтобы он принял участие в конгрес-

се, заседания которого уже начались? Должны были быть серьезные причины для столь внезапного решения — спешно послать его туда. Как бы то ни было, звучало все это фантастично.

Мы старались убедить Бориса остаться на ночь в квартире родителей и продолжить поездку утром. Под конец решили ехать в советское посольство и там выяснить, может ли он провести ночь в Берлине.

Мы поехали подземкой, и там-то, указывая на холодный серый пол станции, Борис задал мне вопрос, куда можно деть использованный билет. Было бы, однако, ошибочно приписывать эту скрупулезность в подобной мелочи только натянутым нервам — Борис всегда и во всем отличался доведенной до крайности корректностью. В собственной своей жизни и с собственной своей жизнью он мог поступать как ему заблагорассудится, мог принимать решения под действием мгновения или ставить друзей в тупик неожиданными поступками. Но за пределами собственной жизни он никогда не стал бы ничем нарушать установленный порядок, обычаи общественные или национальные. Ему ненавистна была самая мысль что-то навязывать, чем-то обидеть, одним словом, причинить кому-либо неприятность.

В посольстве мы узнали, что конгресс почти окончен, что моему брату остается ровно столько времени, чтобы успеть появиться там и сказать несколько слов, вероятно, на заключительном заседании; не может, следовательно, даже стоять вопрос о его ночном отдыхе в Берлине. Никакие просьбы моего мужа, никакие ссылки на нервное истощение Бориса не помогли: нас уверили, что нам нет нужды тревожиться, так как ему будет оказано должное внимание.

Из посольства мы направились на Фридрихштрассе, на вокзал, откуда шел поезд в Париж. По дороге, так как до отъезда еще оставалось время, зашли в какую-то гостиницу — видимо, чтобы перекусить. Не помню и названия гостиницы, одной из тех, не имеющих примет, чей зал заполняют случайные посетители. Забыла, когда именно мы расставались с господином Бабелем. Все, что я помню,— это Борис, его лицо, затуманенное печалью, его голос, то жалобный, то вдруг гулко громкий, так напоминающий о старых днях... Муж мой ушел на вокзал что-то уточнить. Мы не замечали ни людей, ни шума вокруг. Борис, наконец, разговорился. Стараясь подавить волнение и сдержать слезы, вновь принявшиеся течь, он стал рассказывать о своих личных трудностях, связанных с его заболеванием и могущих быть не только следствием, но и причиной болезни. Тремя-четырьмя годами раньше он женился во второй раз, на Зинаиде Николаевне Нейгауз.

Вдруг он сказал мне: «Знаешь, это мой долг перед Зиной — я должен о ней написать. Я хочу написать роман... Роман об этой девушке. Прекрасной, совращенной с пути истинного... Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов. Кузен ее, гвардейский офицер, водит ее туда. Она, конечно, не в силах противиться. Она была так юна, так несказанно притягательна...»

Мы сидели около часа, предоставленные самим себе, но вряд ли можно было бы назвать это беседою. Говорил один Борис, иногда задавая какой-нибудь вопрос о родителях, о нас всех. Но я понимала, что ответов он не воспринимает. И не спрашивала его о наших друзьях, оставшихся в России. Я видела, что ему тягостно всякое напоминание о повседневности. Мы оба были поглощены теперешним его состоянием и планами его будущей работы.

Я не верила ушам своим. Тот ли это человек, которого я знала,— единственный, возвышавшийся высоко над всем банальным и тривиальным, над любыми легкими путями в искусстве, над всякой дешевкой,— и этот человек, забыв теперь свойственные ему строгие принципы, собирается посвятить свою неподражаемую прозу столь мелкому, столь заурядному сюжету. Он, конечно, никогда не сможет написать чего-либо вроде тех сентиментальных повестей, какие процветали на рубеже столетия. Понятно, нужно лишь подождать — и посмотрим, как он с этим справится — сюжет, по правде говоря, не так уж важен.

Но чем больше я вглядывалась и вслушивалась в слова Бориса, тем сильней становилась боль расставанья с чем-то бесконечно дорогим. Да, я так глубоко любила эту его единственность, ни с кем не сопоставимую правдивость, чистоту его поэтического видения, его нежелание, неспособность идти на уступки в искусстве.

Теперь, мысленно обращаясь назад, я вижу, что 1935 год действительно должен был стать поворотным пунктом в его жизни. Его поэзию называли иногда эгоцентричной. Я не хотела бы следовать этому определению, хотя и возникает впечатление, что поэт испытывал большее единение с природой, нежели с людьми.

В «Последнем лете»[1] Пастернак говорит о человечности и поэтической красоте проститутки Саши, о почти платоническом отношении к ней героя повести Сережи, а также о его менее платоническом, но очень чистом чувстве к миссис Арильд, которая, хотя и по-иному, чем Саша, была жертвой существовавшего общественного порядка.

Я не стану цитировать здесь эту чудесную прозу, должна только отметить, что в ней целиком выражена особенность собственного поведения Пастернака в подобных положениях — сострадание, доходящее до физической боли, полная сочувствия симпатия, часто следовавшая за этим действенная помощь. И в то же время явственна непреднамеренная, неосознаваемая, быть может, оторванность от повседневной жизни, ее забот и трудностей, полное подчинение ее искусству, затмевающему самую действительность, которой оно, однако, питалось.

Нервное расстройство — обычный признак внутренней перестройки, симптом надвигающихся неладов с жизнью. Болезнь моего брата была такого же порядка. Ему должно было сделать выбор, и он его сделал. Ему предстояло теперь любить человечество не как составную часть природы, но в лице отдельных человеческих судеб, каждая из которых требует серьезного внимания. Он должен предоставить свое искусство служению им, не спрашивая себя, пострадает ли от этого своеобразие его творчества или нет. Решение писать о своей жене, делая ее центральным лицом повествования (что в дальнейшем получило развитие в романе «Доктор Живаго»), могло быть одним из первых шагов в этом направлении.

Все это было от меня, конечно, сокрыто в тот день, когда мы с братом сидели в зале гостиницы недалеко от вокзала; я поняла лишь, что Борис переживает незавершившийся, быть может, процесс глубокой внутренней перестройки.

Федя вернулся, мы пошли на вокзал.

Все, чем был наполнен этот последний час, выпало из памяти. До момента, когда г-н Бабель и Борис, занимавшие места в спальном вагоне, показались у окна вагона. Г-н Бабель отошел в другой конец купе, давая возможность Борису поговорить с нами. Стараясь поднять настроение моего брата, Федя бросил ему весело: «И не забудь в Мюнхен на обратном пути заехать! Родители будут ждать тебя!»

— Как я могу показаться им в таком виде! Быть может, приеду в будущем году — повидать их...

Поезд тронулся. Задыхаясь от слез, я старалась вобрать в себя его лицо, облик, то, как он стоял у окна уходящего поезда, не зная, что больше не увижу его никогда.

— Ложись в постель скорее! — крикнул ему Федя, хотя был еще ранний вечер. И тогда в последний раз услышала я любимый голос:

— Да... если бы только я мог уснуть...

* * *

Это было весной 1917 года в предвечерний час в столовой нашей московской квартиры на Волхонке.

Мы с братом то присаживались на диван, то прогуливались от окна до голландской печки в дальнем углу комнаты и обратно. Мы разговаривали,— быть может, разговор начался с предстоящих выборов,— о нашей великой бескровной революции, как мы, русские, называли тогда мартовские дни 1917 года.

Постепенно разговор перешел на другие темы. Я сказала, что для меня не-

[1] Так по-английски называется «Повесть» 1929 года.

представимо, чтобы революция, которая, бесспорно, может служить основным двигателем повествования в прозе, могла бы сама по себе стать источником поэзии. Вдохновения, естественно, надо искать в другом, в более устоявшихся слоях человеческого опыта. Состояние революции в противоположность строю устойчивому по самой своей природе должно быть свободно от любых привязанностей, быть трезвым, ничем не обремененным, готовым к восприятию новых явлений и в силу этого еще не наполненным никаким внутренним содержанием. Оно может способствовать развитию деятельности, красноречия, быть может, мысли, но не искусства. Искусство возникает вместе с языком сердца и, в свою очередь, связано с миром детства, окружающей человека природы, традициями. Новизна же по сути поэзии не близка. И так далее и тому подобное.

Борис от всего сердца согласился со мною:

— Да, да, это так, конечно! То, что устоялось, что нас окружало, наше прошлое со всеми своими сложностями пробуждало поэтическое чувство и давало рост искусству.

И тут как бы в связи с нашим разговором Борис заговорил о женской красоте. Я изумилась — так это было неожиданно. Он сказал:

— Существуют два типа красоты — благородная, невызывающая — и совсем другая, обладающая неотразимо влекущей силой. Между этими двумя типами — коренное различие, они взаимно исключают друг друга и определяют будущее женщины с самого начала.

Я не запомнила точно слов брата, но знаю, что определение одного типа как «благородного» не означало, что второй тип неблагороден, или агрессивен, или в каком-то отношении ниже первого. Оба обладают своими достоинствами и должны иметь свои недостатки. Борис не говорил ни о достоинствах, ни о недостатках — только о красоте и различении ее типов. В его голосе слышался тот особый призвук волнения и печали, который появлялся у него, когда он говорил со мной о самых близких его сердцу вещах.

* * *

Когда я впервые читала «Живаго» и дошла до главы «Девочка из другого круга», я, как мне показалось, узнала тот взволнованный голос брата. Мне подумалось, что, вводя в повествование Лару как девушку другого круга, автор лишь в очень малой степени имел в виду ее происхождение. Он подразумевал здесь не столько разницу двух социальных кругов, сколько различие двух видов красоты.

В красоте Лары — предопределенность ее будущего, ее судьбы. Я отметила авторское суждение о героине: «Лара была самым чистым существом на свете». Словно теперь, годы спустя, он добавил слова, которые забыл сказать в тот весенний вечер 1917 года. Другой тип красоты не означает менее чистый.

Читая дальше, я вспомнила еще и другое. Да, точно! Молодая девушка, полная жизни, трепетных сил, невинная, доверчивая и щедрая, неотразимо очаровательная — молодая девушка под вуалью в отдельных кабинетах ресторанов — так голосом, прерывистым от волнения, говорил мне брат в наше короткое свидание в Берлине в 1935 году о своей второй жене.

Конечно, Лара не просто слепок своего прототипа, жены поэта Зины — некоторые черты других женщин, возможно, близкого друга автора, запечатлелись в ее образе.

Толстой однажды сказал о главной героине «Войны и мира»: «Я взял Таню, перемешал ее с Соней [1] и вышла Наташа».

И Пруст: «...Нет ни одного персонажа, под именем которого автор не мог бы подписать шестидесяти имен лиц, виденных им в жизни».

И даже если образ героя представляется нам как нечто исключительное, мы вправе утверждать это относительно любого автора, ибо он в своем произведении «смешивает» характерные черты разных людей, меняя и комбинируя их.

[1] Соня — жена Толстого; Таня — его свояченица (авт.).

Конечно, Лара не жена поэта, как и соблазнитель Комаровский не кто-то из его знакомых, как и Юра не сам автор, хотя, бесспорно, ему конгениален.

* * *

Два разговора с братом возвратили меня к размышлениям о его героине. Один, в 1935 году, относится к самому зарождению в его сознании первоначального образа Лары. Другой, в 1917-м, тоже был достаточно значительным, поскольку через несколько десятилетий он как автор все еще держался старого своего взгляда на два типа женской красоты и судьбы. Ибо именно это, я думаю, он имел в виду под словами «из другого круга»: не одну лишь разницу происхождения и среды. Он вообще никогда не подчеркивал значение социальных различий между лицами из рабочей среды, буржуазии и интеллигенции. В главе, о которой идет речь, подчеркивается «инакость» Лары — ее красоты и судьбы. Мы должны иметь в виду это и помнить, по крайней мере я так думаю. Потому-то из боязни, что будущие толкователи смешают в одну кучу разнородные впечатления и переживания поэта, я восстанавливаю здесь отрывки тех наших бесед. Я хотела бы предостеречь их от мысли, что образ Лары носит черты Жени Люверс или что Женя Люверс — портрет Лары в детстве.

Сомерсет Моэм сказал однажды (в «Дон Фернандо»): «Красота — это точка, и когда вы ее ставите, вам остается только начать новую фразу». Цитата взята мною из контекста, говорящего о смене искусства эпохи Ренессанса искусством барокко. Моэм замечает, что смена стилей в искусстве, исходящая из новых умонастроений, явление «весьма естественное, ибо человеку свойственно желание перемены и даже совершенство может утомить».

Фраза «Красота — это точка, предел» — лучшее из всего, что когда-либо было сказано на эту тему. Она может с полным основанием быть отнесена к раннему прозаическому произведению Пастернака «Детство Люверс». Это неоконченная повесть, но она столь совершенна, столь прекрасна, что действительно лишь понятие предела может быть ее должной оценкой.

* * *

Повесть была написана в 1918 году. Роман «Живаго» подготовлен к публикации около 1955-го. В этот временной промежуток было напечатано несколько отрывков из утраченной рукописи — ранние варианты романа, которые исследователям, изучающим русскую литературу, хотелось бы считать «этим» романом.

Отрывки, повести и наброски этого периода явственно разделяются на две группы: написанные до середины 30-х годов и позже. Первую группу характеризует уникальная поэтическая проникновенность, присущая раннему Пастернаку. Вторая — обнаруживает новое понимание автором принципов распределения, распорядка, конструирования материала. Он нащупывает новые методы, озабочен постановкой отдельных сцен, введением моментов действия.

В мичиганском издании пастернаковской «короткой прозы» (на русском языке) рядом напечатаны два отрывка, датированные один 1918-м, другой — 1938-м годами. Первый, «Безлюбье»,— типичный пример ранней прозы Пастернака, он лиричен по самой своей сути, он — следствие первого знакомства с Уралом. Как фрагмент он, естественно, выглядит частью чего-то более крупного. Мы знаем, что со времен «Детства Люверс» Пастернак мечтал написать роман, но в «Безлюбье» нет ни намека, ни какой бы то ни было возможной связи с композицией «Живаго».

Но в «Уезде в тылу» (написанном в 1938 году), представляющем в отношении литературной композиции как бы наметку типичных ситуаций «Живаго», девичья фамилия героини оказывается Люверс! Отчего Пастернак дал ей имя героини своей ранней повести? А отчего Пушкин назвал героя «Медного всадника» именем Онегина? Пушкин дает читателю такое объяснение:

В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой.
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно. С ним давно
Мое перо, к тому же, дружно...

Но серьезно говоря, почему Пастернак дал своей новой героине имя прежней? Быть может, он еще был одержим старыми воспоминаниями, образом девочки, которую ему хотелось представить теперь взрослой, молодой женщиной? Тот факт, что варианты конца 30-х годов не были включены в окончательную редакцию, только свидетельствует, что автор был ими недоволен и отбросил их; в «Живаго» нет никаких следов, которые бы остались от Жени, кроме того факта, что она и Лара родились на Урале. Интересно и заслуживает внимания то, что все имена действующих лиц «Уезда в тылу» сохранены в «Живаго», кроме фамилии Жени и ее мужа, который в «Живаго» стал Антиповым.

В 1938 году, когда Пастернак писал этот отрывок, он еще не знал Ольгу Ивинскую. Ее личность и некоторые стороны ее жизни существенно повлияли на создание образа Лары. В 1938 году, еще сохраняя в памяти облик девочки, становящейся женщиной, Пастернак мог мысленно строить повествование вокруг героини своей ранней повести, но в середине сороковых годов, когда перед ним уже вырисовывались очертания нового романа, ему должно было стать ясно, что для роли, какую ей предстояло там играть, она подходила меньше всего. И он расстался со старой мечтой ради нового образа — Лары, прототипом и первоначальной вдохновительницей которого была жена автора Зина и который был позже дополнен чертами его друга Ивинской.

Теории, идентифицирующие двух этих героинь, Женю и Лару, не подтверждаются, а скорее опровергаются некоторыми текстуальными указаниями.

Такова, к примеру, тема матери и дочери, так сильно звучащая в «Люверс» и целиком отсутствующая в романе: «Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. **Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть.** Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые».

Можно ли представить себе подобное чувство тождества с матерью у Лары, «девушки с ясным умом и легким характером», мать которой была совсем иной, смешной и вульгарной, как рисуют ее следующие строки: «Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие».

И вот другой пример несходства Лары с Женей:

«Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз».

Возможно ли, чтобы Женя притворялась застенчивой, она, которая была застенчива от природы? Или чтобы она кокетничала и опускала стыдливо глаза,— она, чьей особенностью было смотреть прямо в лицо всему и всем? Исключая, конечно, случаи, когда врожденная робость и скромность ей этого не позволяли, но здесь нет и намека на притворство. Обе девушки одного возраста (Жене — четырнадцать, Ларе — шестнадцать), и хотя через два года первая из них была бы взрослее, думается, что воздействие на нее первого любовного романа, даже с опытным соблазнителем, вызвало бы более бурную реакцию и иного характера, чем это было у Лары.

Но что гадать? В конце концов меня занимает сущность этих двух книг, их ведущие темы. И ввиду того, что они могут быть заслонены неуместным уподоблением двух героинь друг другу, нужно сделать очевидным их разительное несходство.

Ценность «Детства Люверс» как произведения искусства пропала бы, если его рассматривать как некое вступление к «Живаго», и роман не выигрывает, если рассматривать раннюю повесть как его начало.

* * *

Простота и четкость стиля, драматизм и полное слияние с читателем в отдельные моменты позволяют мне сравнивать «Доктора Живаго» с произведениями эпическими. Хотя, как сказал бы Пруст, это приближение аналитическое, «прямолинейное». Оно не соответствует неотразимой непосредственности романа, сравнимой с одной только музыкой.

Первые строки первой главы как вступительные звуки симфонии, которые предвосхищают дальнейшую композицию.

«Шли и шли и пели «Вечную память»... Прохожие пропускали шествие... Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго».

По-русски фамилия здесь звучит как винительный падеж существительного «живой» (старославянская его форма).

Я не хочу сказать, что автор намеревался «нагрузить» начало романа символами, но читатель не может избавиться от впечатления, что кого-то хоронят заживо; так с самого начала и как бы без авторского ведома (что делает ассоциации более значительными) нам становится ясен основной мотив произведения. Ведущая же тема, проходящая через всю книгу,— глубокое постижение жизни. Это постоянно возвращающаяся музыкальная мелодия книги, это сущность Лариной роли и Юриной философии, религиозных воззрений автора и его христианского кредо.

Одна из самых важных особенностей книги, определивших ее замысел, исходит из сходства и различия между Юрой и Ларой.

«Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья... Ах, вот это, это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло!»

Насколько же значительны различия и в какой степени они преобладают над сходством? Фактически между ними было мало общего, они родственны душевно, но различны по характеру. Они были разными, как могут быть разными члены одной семьи, принадлежащие все же к одному роду.

И эта разница между Юрой и Ларой вновь приводила меня к различию двух типов женской красоты, о которых говорил брат. Его концепция, на мой взгляд, одинаково приложима к различиям и в судьбах, характерах как мужчин, так и женщин.

Существеннейшая разница между ними заключается в том, что один тип постоянно формируется жизнью, другой, временами безуспешно, старается воздействовать на жизнь. Эти черты могут, конечно, перемешиваться, перекрывать друг друга. Но я имею в виду основную тенденцию.

Меняться под воздействием жизни — основная черта Юрия. На всем протяжении его жизни он показан как человек, который почти не принимает решений. Не возражает он и против решений других, менее всего тех, кого любит. Он принимает их, как ребенок, не спорящий со своими родителями, принимает их подарки наравне с наставлениями.

Анна Ивановна предлагает ему руку Тони, и в результате получается счастливый брак; во время войны его призывают в армию, в которую он не пошел добровольцем, как Антипов, и он не выказывает никакого протеста; семья Громеко решает уехать на Урал, и хотя по некоторым внутренним причинам Юрий решительно противился этому, он скоро уступает желанию жены и тестя. Он не принадлежит никакой политической партии, но, похищенный партизанами, внутренне оставаясь верным врожденному чувству лояльности, не противится своим

похитителям. Его покладистость не есть, однако, ни душевная слабость, ни трусость. Он просто следует тому, что требует от него жизнь. Но он способен отстаивать свою позицию перед лицом опасности или в ситуациях, где речь идет о личной чести или убеждениях, когда он убегает от партизан или отвергает искусительное предложение Комаровского.

Его полная покорность жизни и ее законам, быть может, лучше всего выражена в этой его исповеди:

«Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Как бы мне хотелось говорить с тобой без этого дурацкого пафоса! Но ведь у нас действительно нет выбора. Называй ее как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери...

...Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом войн и восстаний, ты когда-то под мирным небом детства так же поднялась у ее начала.

Ты тогда ночью, гимназисткой последних классов в форме кофейного цвета... была совершенно тою же, как сейчас, и так же ошеломляюще хороша.

...Я ...понял: эта щупленькая худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печалью... Все мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь».

Что до Лары, то «она была самым чистым существом на свете», как говорит о ней автор. Она была тверда и решительна:

«Она приняла внезапное решение, которое перевернуло всю ее жизнь». Или несколько позже она «решает» отмстить за себя Комаровскому — стрелять в него — и стреляет, но не попадает. Или еще: ей нравится мальчик Антипов, она знает, что он обожает ее, и:

«Я... сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть... мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним».

Конечно же, у Юры и Лары полное сходство в одном: они оба безразличны к материальным благам, их не привлекают ни теоретические, ни риторические построения. Они внутренне от природы свободны и щедры. Но как отличается излучение электричества от претерпевания его разрядов! Как велика разница между тем, чтобы воздействовать на жизнь или подвергаться ее воздействию! Сила Лариного влияния на Юру делает ее подчас неким подобием самой жизни — жизни, которую Юра никогда не может предать. Мне иногда кажется, что настоящим героем романа является жизнь, а Лара — только воплощение ее. Страсть героя рождена состраданием, щемящей нежностью и жалостью к «непохожести», к облику Магдалины, как он ее воспринял в ее триединстве красоты-женщины-жизни, порабощенной, униженной, оскорбленной, непонятной... Мучительное чувство жалости могло быть утолено только в полном слиянии своей судьбы с судьбой «другого» человека.

Если мы по-прежнему хотим продолжать сравнения между первым и последним прозаическими произведениями Пастернака, то заметим, что в последнем роли как бы переставлены. Если «Люверс» — это рассказ о том, как жизнь формировала существо молодой девушки со дней ее детства, то в «Живаго» уже герой является субъектом непрерывных перемен, формируя свое существование в соответствии со скрытым замыслом жизни. Со дней его отрочества в этой работе жизни, формирующей его, принимает участие сначала в качестве некоего далекого образа, а потом и в реальности Лара.

Ненавязчивая красота Жени Люверс была лишь внешним выражением ее страстной и глубоко страдающей, впечатлительной и ранимой души. Все это равно приложимо к характеру Юрия Живаго. Он ее духовный наследник. Наиболее полное выражение его существа может заключаться в одном-единственном, почти непереводимом латинском глаголе «patior».

Как я уже говорила, мне легко представить себе Женю, вовлеченную в любовный роман, подобный Лариному; но совсем не похоже, чтобы она решилась убить соблазнителя. Более правдоподобно было бы ее желание излить свои страдания в очищающем художественном творчестве, в поэзии.

Юрий Живаго — прирожденный поэт, как и автор; в добавление к другим значениям этого слова «patior» включает психофизиологическое состояние человека, который делает все свое существование почвой для поэзии.

Любящий, любимый, страдающий, источник страдания, вдохновенный, источник вдохновения — это все противостоящие, но не противоречащие состояния Юрия, поэта, и Лары, его жизни.

У меня не было возможности хотя бы мельком отметить некоторых других крупных персонажей романа, таких, как Веденяпин, Гордон или Сима. Что до сводного брата Юры Евграфа, он действительно принадлежит самой ткани повествования. Из соображений художественных или по каким-либо иным причинам он только намечен пунктиром, как фигура второго плана, хотя само его существование и поступки играют важную роль и в фабуле романа и в судьбе главного героя. Одна из последних и самых волнующих сцен всей книги та, где Лара обращается к своему возлюбленному словно к живому. В безудержности Лариной жалобы в последний раз звучит пронизывающая книгу мелодия, подобно элегии.

«Казалось, именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем...

Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение... она шатаясь отошла от гроба... К гробу подошли мужчины и подняли его на трех полотенцах. Начался вынос».

Похороны Живаго. Вновь, как и в первой главе трагедии, происходит погребение Живаго, «живого человека». Смерть тела, бессмертие духа; вера автора в вечную жизнь и в памяти любящих мужчины и женщины, и в самой сути движения истории, в бесконечном продолжении земного существования в других.

Впервые опубликовано на английском языке в журнале London Magazine. Sept. 1964. Vol. 4. №, 6. Русский перевод Е. КУНИНОЙ.

Борис Пастернак

«НЕСВОБОДА ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЯ»

ИЗ ПИСЕМ

Публикуемые ниже письма Бориса Пастернака взяты из книги его переписки с родителями н сестрами, иоторую подготовила к печати недавно скончавшаяся Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер. Письма хранятся в Оксфорде, частично в собраннн Жозефины Пастернак, частично у дочери Лидии, Анн Пастернак-Слейтер, которым принадлежат все права на их публикацию. Мы выражаем им благодарность за предоставленные тексты.

Письма подобраны с тем, чтобы служить некоторым комментарием и добавлением к статье Жозефины Пастернак. Они рисуют удивительную близость брата и сестры в 1920-е годы, родство их интересов и литературных привязанностей. Несколько писем 1930-х годов к родителям приоткрывают тот перелом сознания и художественных устремлений Бориса Пастернака, который сделал автора «Детства Люверс» автором «Доктора Живаго».

Евгений ПАСТЕРНАК

Весна 1924 г.[1]

Дорогие Федя и Жоня!

Теперь и вы стали большими и взрослыми. Мы как-нибудь приедем к вам, когда вас дома не будет и спросим у горничной, дома ли gnädige Frau. Велите тогда ей провести нас по дому, у вас, наверное, будет тихо, светло, много цветов и рояль в углу. Так как вы оба сущие ангелы, то вы, конечно, не будете так звереть друг на друга, как это у нас с Женей случается, — обстоятельство, лишающее ваш тихий брак в теплом климате при раскрытых окнах признака **настоящих** уз. Что ж это вы выдумали и как это направленье называется? Да ведь вы почти независимыми будете? И путешествовать? И все повторится? И может быть у вас где-нибудь под диваном можно Молоди [2] обнаружить? И Пречистенку [3]? И Гастона с орешками [4]? Как это удивительно, что все эти десятилетья где-то (как тикающие часы) жнла и сохранялась неизменная, свойственная семье меланхолическая нежность, временами казавшаяся серою, как Шура [5], и она все сберегла и все под ее неощутимым призором сохранилось. И теперь все это у вас. И далекое, далекое детство, Мясницкая [6], Мансбах [7], Pichon, Варсонофьевский переулок, все лета со всеми дачами, скарлатина, Пречистенка, война, Уфа [8], революция, октябрьские бои и окопы, немецкое посольство [9], железный занавес блокады, голод и холод, папа в куцавейке, польский коридор [10]. — И все это опять сошлось и больше всего, если не сказать — все — у вас, Феди и Жоня. И папа и мама у вас и их миры (там-то и теплилась все сберегшая нежность), и Лида, и скоро Шура будет, и не случайно, что не будет меня. Ах, не сбереглю меня ничто, и все, что я отдал, уже не вернется ко мне. Нет музыки и не будет, может еще быть поэзия (Люверс), но не должно быть и ее, потому что надо существовать, а никак не ее требует современность, и придется мне импровизацию словесную также оставить, как и фортепьянную. Это печально. Это та печаль, которою была окаймлена долголетняя нежность все сохранившая, и вот выразить ее на деле, в судьбе, пришлось мне. Но не думайте, что я тут в каком-то особо плохом положении или терзаюсь миражем, призрачными страданьями. В таком положении и Андрей Белый, и многие еще, и веку не до того, что называлось литературой. Со всем жаром, на какой только способен, поздравляю вас. Крепко-крепко обнимаю вас обоих и целую.

Пишу в субботу на Страстной. Все убрали и Шура с Женей стелют скатерти и расставляют кулич и пасху, яйца, ветчину. Какие глупости! А кулич с пасхой от Эйнема, кот. теперь называется Красный Октябрь. А на дворе снег, густой, густой. Я почти плачу, пиша вам.

---

[1] Пнсьмо написано к свадьбе Жозефины и Федора Пастернаков, которая состоялась 2 апреля 1924 года.

[2] Молоди — имение под Москвой, недалеко от Подольска, где Л. О. Пастернак с семьей сннмали летом несколько комнат в течение 1913—1917 гг.

[3] Пречистенка — улица в Москве, где жил Федор Карлович Пастернак, теперь ул. Кропоткинская.

[4] Гастон с орешками — шоколадный торт от Эйнема, который покупался по семейным праздннкам.

[5] Шура — брат Александр Леонидович Пастернак (1893—1982) — архитектор. В это время он собнрался ехать в Германию к родителям.

[6] Мясницкая — улнца, где в доме Училища Живописи, Ваяния и Зодчества жили Пастернаки с 1894 по 1911 годы.

[7] Мансбах — гимназия, где учились Жоня и Лида Пастернак.

[8] Уфа — там во время мировой войны был интернирован Федор Карлович Пастернак как австрнйский подданный.

[9] Немецкое посольство. После революции Ф. К. Пастернак работал в иемецком посольстве.

[10] Польский коридор. После Версальского договора от Германии была отторгнута полоса, отделявшая Восточную Пруссию, и передана Польше.

31/X 24

Дорогая Жоничка!

Спасибо за нежное письмо. Не относись только с превеличенной восторженностью к тому, что я пишу. Когда нам с Женей бывает особенно трудно, я с чувством большого облегченья думаю о вас обоих. Меня не перестает радовать то, что Шура пристроился и, кажется, с успехом работает и зарабатывает. Потому что если бы вам было скверно или продолжало быть плохо Шуре, это было бы несравненно хуже, чем когда бывает что-нибудь подобное со мной. В моей жизни бывают только невыносимы нелепейшие и совсем неожиданные шлагбаумы, которые обыкновенно опускаются перед носом в моменты самого легкого и многообещающего разбега. Я пишу тебе как раз в таком полосатом пейзаже и ни словом не обмолвлюсь о нем. Когда пишешь о бедствии в бедственный период, то говоришь не о нем, а о своей удрученности, говорить же о чувстве значит питать его: целый ряд чувств только лишь и разрастается по упоминании илн в выражении. Вот отчего любовь или некоторый род ее так декламационны. Когда я буду по ту сторону этого загражденья, я может быть, вспомню о нем и расскажу. Если бы в моем случае все сводилось к тому, чтобы жить широко и много зарабатывать, этот вопрос был бы давно разрешен и всего менее нам с тобой пришлось бы переписываться издалека. Но я человек наименее **свободный** из нас четверых. Если даже, как в обиходе это называется: «я не знаю, чего хочу», то вот именно, в данных кавычках мне этого знать не полагается во всю жизнь. Под несвободой я разумею несвободу от себя самого, несвободу предназначенья. И все-таки, все-таки все это утрясется и уладится, и как мне всего больше бы хотелось половину дня я буду ходить в лямке большинства (это ничуть не тяжело и мне нравится и меня развлекает), половину же отдавать своему незнанию. По роду моей работы (я участвую в составлении библиографии по Ленину и взял на себя библиографию иностранную) [1] мне приходится читать целыми комплектами лучшие из журналов, выходящие на 3-х языках. Ты даже не представляешь себе, как их много. Там подчас попадаются любопытные вещи. Я врежу́ себе, на них задерживаясь, т. к. я подряжен сдельно и вырабатываю пропорционально количеству и скорости требуемых от меня находок. Любопытные же вещи лежат в стороне от требуемого. Так сегодня я подумал о мамочке, прочитав в каком-то из №№ американского журнала The Forum воспоминанья Станиславского о Рубинштейне, где он очень живо и с большой любовью нарисован. Оказывается, Станиславский в молодости был одним из директоров Русск. Муз. Об-ва и по долгу службы встречал Рубинштейна на вокзале в его наезды из Петербурга в Москву (на симфонические).

Станиславский вспоминает о двух великих людях — о Рубинштейне и Л. Толстом и очень хорошо передает содержанье, заключающееся в этом понятии, трактовкой обеих фигур. Когда у тебя будут время и возможность, почитай непременно следующих авторов. Томаса Харди (T. Hardi), Джозефа Конрада (величайшего современного английск. романиста), Джеймса Джойса (James Joice) и Марселя Пруста. Я сужу об их достоинствах по переводам, неполным и отрывочным, и по тому, что о них говорится в журналах. Особенно интересны Конрад и Пруст. Я бы не писал тебе пока что, когда бы не задушевность твоего письма, требующая немедленного ответа. Если хочешь знать, и пусть тебе это не покажется пустой претензией, то грустнее всего мне потому, что я чувствую, до чего я нужен тебе, и Лиде, и Шуре, и родителям, и в особенности тебе, или скорее твоему изображенью, оставшемуся в Москве, или вашим следам, стертым с паркетов, или той форме неполноты, которую неизбежно приобретали вы, частью по зрелости лет и оторванности от детства, частью же потому, что, живя за границею, вы неглубоко в ней сидите. Словом, помимо служб, сколько бы я их ни накапливал, постоянно остается какая-то сердечная должность и задолженность миру, который вы вправе забыть, если даже и знали его. Я еще не бросил мысли поспеть когда-нибудь на это нужнейшее дежурство, хотя совсем недавно, когда для меня стало установленным фактом, что я вновь за него берусь, все обстоятельства перевернулись и легли плашмя поперек этой естественнейшей и нужнейшей дороги. Не я один нахожусь тут в таком положении. Еще (и значительно) хуже Белому и Кузмину. В существе своем это не ново, и мне бы хотелось отделаться только от того, что есть нового в этой трудности. А этого не опишешь. Как-то осенью писал я Ходасевичу в Шотландию. Теперь он в Сорренто, живет с Горьким. Опыт обоих подсказал им, что у меня недоговорено, и им легко было вообразить себе над чем тут изнемогаешь. Чистосердечно повторяю, что это отнюдь не ново в России и она перестанет быть собою, когда станет замечать и выделять людей не с тем, чтобы медленно их потом удушать и мучить.

[1] Составление библиографии по Ленину.— Осенью и зимой 1924—1925 Пастернак собирал зарубежные высказывания о Ленине для готовившейся библиографии под редакцией И. В. Владиславлева в ГИЗе. Издание не состоялось.

26/I 25

Дорогая Жонюра!

Вчера я ни с того ни с сего пустился Лиде писать письмо. Только что мы с Женей о тебе говорили. Я сел работать. Тихо открывается дверь, из-за плеча протягивается рука Фени (Жениной няни), и твои книги ложатся в лужи, на мостовую, которую я описываю. Что это ты вдруг? Зачем тратилась? Но что и говорить, радостный сюрприз! Спасибо, спасибо. Теперь я никогда не буду тебе писать о книгах. Неужели ты мои слова поняла как намек? «Бродяги» Конрада я не читал. Каприз же Олмейра (Almayer's Folly) есть у меня в переводе. Виноват. Может быть, я все-таки просил тебя прислать? Женя положительно и уверенно это утверждает, и будто бы читала в давнишнем моем письме к тебе. Тогда прости. Но я этого не помню.

30/I Семейное свойство. Начало письма залегло с неопределенной целью на неопределенный срок. Сейчас получено твое. Ты пишешь о предполагаемом приезде. Это было бы замечательно. Только это намеренье надо освободить от глубоких, далеко идущих предпосылок и от сопровождающей его душевной комментации. Отчего тысячи людей без всяких поводов и целей передвигаются по земному шару, ездят, приезжают и уезжают. Мы же всегда нуждаемся в целевом оправлении. Такая поездка — пустейшая прогулка. Чего проще? Если же ты теперь немецкая подданная, то это проще простого. Я убежден, что это будет приезд на время, и во всяком случае ты, не испытав себя и своих чаяний не проверив, ни о чем другом, как о таком налете в гости, не говори и не думай, а то это становится несерьезной мыслью, т. е. такою, которая как бы она ни была бездонна, не осуществится. Не говоря о той радости, которую и мы и ты вместе бы испытали, сойдясь и свидевшись, такая поездка очень много вероятно тебе бы дала. Переезд границы, не сомневаюсь, произвел бы на тебя угнетающее впечатленье. Так было сто лет назад, так будет и через сто. Культуру, — книжку плотно убитую картинками, страницами музыки, философии, городами, Диккенсовскими густотами и прочим — сменят поля, нищие тучи, нищие галки. Ты будешь плакать и будешь одна в купе, очень сером и очень обширном. Проводник на остановках, очень продолжительных и частых, будет громко скидывать охапки дровяных чурок в тамбуре, с площадок будет тянуть холодком и вонью. Но, разумеется, это родина (великая вещь), и в смешанной горечи этих ощущений много волнующего, обогащающего, поучительного. Дом вызовет в твоей душе много сцен и положений, которые, как тебе кажется, у тебя на памяти и которых ты, конечно, не помнишь. Минут пять ты не в состоянии будешь говорить. Потом ты найдешь, что комнаты, освещенье, и тысячи сторон и свойств, не попавших в словарь и не разнесенных по категориям, несоизмеримо мягче, глубже, таинственнее, чем были в твоем предвосхищении. Многое, что может и должно в тебе жить, тут в этот первый день оживет. Если бы я был святым и у меня не было своих желаний, я бы тебе посоветовал приехать на одну неделю. Кроме того, ты увидишь мальчика, и у тебя с домом произойдет то же, что и с родиной. Ты испытаешь полножизненное, т. е. противоречащее себе во всем — ощущенье. Он, новый и неизвестный тебе, чужой мальчик, неизбежно представится тебе естественнейшим средоточьем картины, т. е. не гостем мира, который ты вправе считать своим, а его хозяином. Ты его возненавидишь, т. е. полюбишь с болью, т. е. действительной, а не полагающейся любовью. Говоря кстати, он далеко не таков, каким его изображают в письмах. Он китайчонок, некрасив, похож на меня, иногда — этнографичен. Он очень живой и, вероятно, наделен хорошими задатками (впечатлительностью, переимчивостью). Он рано начинает говорить, но язык ему уже поломали няня (белоруска из черты оседлости) и соседи. Может быть, это мне только кажется. Вместе с тем людей лучше не сыскать. Со стороны Фришманов [1] вообще очень мило и нами совсем незаслуженно, так с ним возиться. Няня же (прислуга Жениной мамы) — свой человек и на нее можно больше положиться, чем на самое Женю. Конечно, не всегда так останется, и со временем всякие изъяны выправятся и восполнятся недочеты. Но это все не к делу. Да, так о тебе. Ты наглотаешься тут драгоценнейших вещей и поедешь назад их переваривать и с них крепнуть. Зачем себя этого лишать. Смешно рассуждать, для чего живет человек. Ясно. Цели призрачны, их ставит вымысел и новый упраздняет. Но как легко и жизни стать призраком! Вот единственная, пожалуй, цель для человека в историческую эру: стараться, чтобы жизнь не стала призрачной; перебивать тенденцию к улетучиванью положеньями, наливающими соком, весом, смыслом. Это положенья — доступнейшие, естественнейшие, никакой в них нет хитрости, ни дерзости, ни риску. Такой рисуется мне твоя поездка, и если Федя и папа с мамой не советуют тебе того же, что и я, я бы назвал их поведенье тупоумным и бесчеловечным, если бы не знал тебя. Несомненно, ты уясняешь себе плохо свою потребность и, верно, еще хуже ее формулируешь. У тебя есть привычка, подымаясь по лестнице пятиэтажного дома, объявлять, что ты подымаешься на шестой. Разумеется, люди пугаются и останавливают тебя на площадке второго, не желая тебя видеть в состоянии свободного полета, между тем как никому никогда не возбраняется ходить и спускаться по лестницам сколько угодно, без всяких уяснений про себя на этот счет и соответствующих деклараций для окружающих. Может быть, это и моя болезнь, и в моем случае дело только тем хуже, что меня никто не останавливает, и вопреки своим словам, расшатывая веру, я никогда не попадаю выше чердака и тогда забрасываю навсегда мысль и о скромнейших подъемах, примирясь с постоянным партером. Отвратительное сравнение, опять сбившее меня в сторону. Ты должна будешь съездить в Ленинград к тете Асе. Вообще — в Петербург. Это изумительный город. Надо в нем побывать и немного пожить, чтобы чувства к родине и мысли о ней разместились в должном порядке и пришли в равновесье, свое, особенное, без петербургских впечатлений недостижимое. Есть обстоятельства, которыми бы ты могла воспользоваться. Если Шура собирается домой, ты могла бы поехать с ним. Может быть, придем в движенье и мы. В виде чистейшего пока мечтанья подумываю я о посылке «внука» с Женею к нашим, а

она, — но об этом еще будет особый разговор с зондированьем почвы, запросами косвенными через Лиду и Шуру, чтобы ответы были свободные и не вынужденные, — она о такой поездке хочет думать только в том случае, если бы оказалось возможным оставить мальчика у мамы и Лиды на полгода, а ей на этот срок поехать учиться в Париж. Если бы это осуществилось, то — весной, — и вот ты могла бы вместе с ними поехать. Однако эти комбинации совершенный вздор. Ты своих планов к ним не приурочивай и на них расчетов не строй. Ах как было бы чудно с тобой тут пожить! Мы часто об этом с Женей мечтали, да, вероятно, и писали тебе. Передаешь ли ты мои поклоны Феде? Он мне ничуть не дальше тебя. В галерее чувств, установившихся с детства, ничего ведь не сместилось. Разговоры разговорами, а элементарные привязанности — это трудно объяснить. Письмо тебе покажется, верно, холодным, потому что я стараюсь писать без прирожденной растрепанности. Я уже благодарил тебя за книги. Теперь спасибо за готовность посылать еще. Спасибо. Пока не надо. Джойса вообще не надо, и Пруста достану здесь. Сейчас произойдет схватка с Женей, она станет задерживать письмо, чтобы приписать от себя, я же лучше отошлю, пусть пишет отдельно, довольно оно лежало. Обнимаю тебя и целую. Твой Боря.

[1] Фришманы — соседи по квартире на Волхонке.

24/VI 27

Дорогая Жоничка!

Цветы эти так и называются — ночною фиалкой, в обиходе, в продаже и одноименной поэме Блока (...И ночная фиалка цветет), и — любкой в русской ботанической номенклатуре. За письмо же о ней, о нас и о себе, горячее спасибо. Я приехал в город и письма ваши оставил себе на третье. Пять часов был в такой гонке и так по-летнему безоблачно и полуденно вспотел (солнце, асфальт, песок, мухи и Охотный), что несколько полосок почтовых марок, лежавших в наружном кармане жилетки, слиплись сплошным пластырем и их пришлось на другое утро распускать в пару над самоваром. Конверт ваш я вскрыл только за Пушкиным, когда в вагоне стало свободнее, легли длинные тени, пахнуло томленым березовым листом и поезд пошел широкими раскатами, облегченно, как дальний. Дорогу эту наши помнят по жизни в Райках, и она ничем не изменилась. Так же мало изменился и папа, и меня страшно волнует и радует его бодрость большого человека с большим зарядом далекобойной породы. Все это, от садовой тачки и грабель в суровой бумаге для Женички, и полоски на лбу, от надвинутой кепки, от толчеи Клязьминской и Тарасовской публики до содержанья вашего письма и обстоятельств его чтенья так типично для всей прожитой нами жизни! Это какая-то константа случайных мимолетностей; с участием природы именно в этом городском сочетаньи, анамнетически повторяющаяся, точно без изменений. Начинает казаться, что это стиль, который взят нами для данного изданья, называемого жизнью на земле. Его выпирающая **случайность** (почему именно **этот**, из возможной тысячи других?), как раз и составляющая его щемящую прелесть, эмпирически неограничима: т. е. сделайся вдруг из поэтов путешественником-географом, и куда-нибудь на Борнео увезешь обязательно и ночную фиалку и звук: Мытищи. Для того, чтобы в гармонии с жизненной логикой и сердцем додумать до конца этот атрибут случайности и его пугающую одинокость и тоскливость (времени было несколько минут, и из всех земных возможностей подобрал, нагнувшись, рядом лежавшую подкову, — а м. б. следовало молниеносно осмотреться и выбрать уж самое стоющее, при такой скоропалительности!); для того, говорю я, чтобы оценить по справедливости этот оттенок планетарного ротозейства, надо, конечно, как-то, все равно как, жить и пользоваться идеей бессмертия. Из ее поправок к этому ощущенью, главный корректив тот, что времени, по ее утвержденью, — бесконечно много, и как ни случаен твой стиль, он — **первый и последний**, попавшийся для тебя под солнцем, но ни первый, ни последний в живом ряду — или точнее и честнее, в какой-то обывательской парафразе Канта, даже и обсужденье его тревожности требует и приносит с собой, в виде **переживаемой** предпосылки, смену этих стилей, из которых один — твоя случайность

на земле. Я некстати вдался в эту метафизику. Когда-нибудь для этого набора пяти-шести краеугольных чувствований будут изобретены знаки вроде рукопожатья или поцелуя. Тогда, в этой далекой приблизительности намека, допускающей индивидуализацию по каждому случаю и для каждого лица, они не будут извращаться до степени притупленно схоластического нонсенса, как в словесном, догматизованном выраженьи. Натолкнула же на эти темы м. б. папина похвала моей «мудрости», как он сказал. М. б. я инстинктивно набиваюсь на ее повторенье. Конечно, я шучу, но есть и другая, нешуточная сторона в его наблюденьи, и м. б. она косвенно заставила меня «высказаться на эту тему».

Я не постарел, но я и более, чем постарел. Мне не кажется, что я буду жить достаточно долго, как того бы хотелось мне. Но не только из этого чувства — причину приведу ниже, — я в сознании, в душевном своем хозяйстве, без вниманья к биологической подоплеке повел и стал чувствовать себя так, точно нахожусь в **заключительном** возрасте. Главная причина та, что только под таким видом можно жить в России в наше время, не кривя душой, не мотая попусту, а то и с безобразными катастрофами (при совершенной безрезультатности) запальчиво-личностного, творческого огня средневозрастной зрелости, предельно и заслуженно свободолюбивой. Этого предмета мне не хочется размазывать. Сказанным ограничусь.

Дорогая Жоничка, сейчас я штурмую тебя целым отрядом просьб. Ни одна из них нисколько не существенна. Все они — с жиру, удовлетворенья не требуют, и родились под влияньем Женичкина соседства: капризы его и сейчас стоят у меня в ушах. Представь, нигде здесь нельзя достать приличной и легкой почт. бумаги. При оказии не пришлешь ли мне 2—3 блока вашего берлинского образца (Titan кажется? изображен Геркулес). Мне бы хотелось иметь последнюю кн. Rilke — Duineser Elegien. Также не вышло ли хорошей монографии о Rilke (с биограф. матерьялом). Нет ли у тебя возможности справиться у кого ниб. знающего? Был, кажется, такой № Querschnitt'a, кот. либо весь был посвящен его памяти, либо же, во всяком случае это я знаю, была там статья Paul Valéry о нем. Не достанешь ли ты журнала? — Но опять повторяю, блажь, и только при случае, если мимо пройдешь и из витрины в глаза вскочит.

Мне очень бы хотелось знать побольше и поподробнее о жизни и работе Лидочки. Папа обмолвился вскользь, что она в Эссене. Но этого мало и тем интереснее узнать, надолго ли она там, что именно делает, одна ли или со знакомыми, служба ли это, или поехала посмотреть и поучиться. Если позволяет срок ее пребыванья, сообщи, пожалуйста, ее адрес. Прости за несколько безжизненное письмо, сажался совсем не за такое. Обнимаю тебя и Федю.

Твой Боря.

Папе и маме напишу в следующий раз. Вообще — торопился, писав: у Жени сломался зуб и она едет короновать свои обломки в город.

13/VII/27

Дорогая Жонюра.

Жаркий летний полдень. Встали, как часто в последнее время, в 7-мом часу. После чаю с Женечкой отправились в лес за соседнюю деревню. Он — на обрыве, место называется Маланьина гора. Сейчас пора покоса, ты догадываешься, чем дышет ветер. Тем лесом дорога со станции, и этим утром по ней должна была пройти ожидавшаяся из города Маргарита Вильям[1]. Мы пошли по ягоды. Помнишь свое младенчество? Вызови его в памяти, и ты вживе увидишь Женичку с корзиночкой на руке и со страстью в глазах, тонущего на корточках в густой сочной траве, глушащей пни и кочки на этой полосе прошлогодней лесной порубки. А в ней, не менее милые тебе, — крупные зернистые рубины измлевшей от зрелости земляники. Мы были так поглощены сбором, что в двадцати шагах от тропки, по которой пронесли мне пачку залежавшихся в городе сюрпризов, — и твой подарок и письмо в их числе — прозевали Маргариту, точно ее не бывало, да и бесследно пропали для нее. Правда — холмист и густ этот ягодник, а густой березняк, в котором все это происходит, так ослеплен солнцем, что нет материи и краски, которая бы в этот час не показалось частью его горящей зелени. Ты его видишь? Он замер в упругой белизне берез и водянистых переливах молодой, словно отечной дубовой

листвы, самой светлой в этом, синевой облитом, бесподобном море. Мы идем босиком, ступая прямо на круглые, теплые лапы греющихся на дорожке теней. Она вдруг круто заворотами сгущающейся зарослью, как сквозь ночь, бежит книзу, и там река. Ольха так низко свесилась к ней, что прямо с корней лежит на своем собственном отраженьи. Это лесное зеркало в полном ее обладаньи, под нее тут только нырнуть, но никак не подплыть. — Дома — твое письмо и блок, письмо от Цветаевой, июльский №. журн. The London Mercury. И первой, тотчас же отвечаю тебе и начинаю с предложенья, прямо связанного с последним. Пока у тебя родители, достань, прошу тебя, этот номер. Думаю, тебе нет надобности выписывать, верно, сможешь достать в библиотеке. Итак это: The London Mercury, July 1927, vol. XVI, № 93. Прочти и, если будет время, устно переведи им статью: The present state of Russian Letters [2]. Это доставит им радость, тебе же и особое удовольствие. У тебя есть свое мненье о многом высказанном, и ты сравнишь его с мненьем автора. Да и радость папы и мамы будет тебе приятна. Но мне, понятно, журнала не надо, он — моя собственность. Почт. бумагу, как видишь получил. Она только чуть-чуть смялась. Громадное тебе спасибо за нее. Еще больше благодарю за обещанные книги. Если книжка Insel Ferlag'а посв. Rilke, о которой ты говоришь, есть Das Inselschiff, April, 1927.VIII.2, то мне ее не надо, ее мне давно прислал в подарок Ernst, за что во время я его и поблагодарил. Orplid'а лучше не читать. Что за позор! Письма из Тулы ведь и в оригинале ни на что не похожи. Зачем их было переводить! Свои же письма напрасно ты называешь каракулями. Я их люблю и всегда читаю с интересом и волненьем. Поцелуй Федю и всех наших. Лиде писал недавно. С вами ли она. Что делать после статей, подобных этой английской! Я могу работать, и хочу, и полон надежд, но как исключителен режим, в котором это удается. Тогда земляники втроем собирать нельзя.

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша с расплющенной блесной.
Тугие капли в сонных рыльцах свечек.

О них и речь, холодным сосняком
Задоренных, до мушки в каждой мочке
Они живут, селясь особняком,
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай
И день захлопывает свой гербарий,
Пускаются они озорничать
В порядочном кругу Иван-да-Марьи.

Зовут их любкой. Александр Блок,
Сестра, жена и сын — ночной фиалкой.
Зову и я зимой, когда далек
От истины, и мне ее не жалко.

Дальше еще хуже. Обрываю.
Обнимаю тебя
Твой Боря.

P. S. Ты часто спрашивала о Жениной матери, и, конечно, тебе не отвечали. Она с сыном и другой дочерью на днях переехала на дачу по Каз. ж. д. Она чувствует себя хорошо, речь вполне и давно вернулась к ней, но по-прежнему она прикована к кровати и вряд ли скоро будет владеть ногами. У Жени и Марг. Вильям к тебе просьба: вложи 2 листика пластыря кукироль в письмо. Речь именно о пластыре.

Если прилагаемый набросок я отделаю, то посвящу его тебе. Прости за глупую идиотическую сырость, в которой его тебе сейчас забрасываю.

---

[1] Ирина Николаевна Вильям — невеста, а затем жена А. Л. Пастернака. Рита и Коля Вильямы — ее сестра и брат, Маргарита Николаевна и Николай Николаевич, автор книги воспоминаний «О Пастернаке» («Советский писатель», 1988).

[2] Статья «Современное состояние Русской литературы» Д. П. Святополк-Мирского содержит высокую оценку творчества Пастернака.

15.VII.30

Дорогая Жоничка!

Мне давно следовало успокоить тебя насчет своего здоровья и сказать, как крепко я тебя люблю и как глупо было с моей стороны так тебя пугать и расстраивать. Что же помешало мне? Лучше не говорить о причинах, так они второстепенны. Зато это запоздание застает меня совершенно оправившимся и отдохнувшим. И, верно, это к обоюдной выгоде скажется на письме. Вот одна только неприятность. Тебе, верно, уже известно, что из сугубой осторожности Горький отказал мне в поддержке [1], и это равносильно полному крушенью соответствующих надежд. Ну что ж, примиримся, оно, может быть, и к лучшему. В исходе очень трудной зимы, изобиловавшей разными разочарованьями и утратами (один Маяковский чего стоит!), Москва весной к началу ремонтного сезона приняла совершенно бредовой вид. Как это всегда с нами бывает, довольно безропотно преодолевая очень крупные затрудненья, я разнервничался от двух-трех сущих пустяков. Особенно я обозлился на экзематозную дрянь, высыпавшую у меня на губе, и, как казалось, без намеренья когда-нибудь это место покинуть. — Но теперь все это прошло. — Я тут с двадцатых чисел июня. При мне была твоя L'âme enchantée, которую я с первого же дня стал глотать том за томом. Когда я кончил четвертый том, меня точно разлучили с большим и захватывающим миром, присутствие которого стало для меня необходимостью. И мне страшно скучно без него. Собственно две последние книжки составляют один том, — третий. Нынешним летом R. Rolland пишет или уже написал пятую книжку (IV-й том). Ведь ты в Швейцарии? Вот тебе на всякий случай его адрес: M-r Romain Rolland, Villa Olga Villeneuve (Vaud) Suisse. Я его тебе не навязываю, но и не скрываю, п. ч. что бы ты ни сделала, у тебя не может быть движенья, которое бы не было лучше и свежее моего. А по ряду счастливых случайностей у меня есть ничем не заслуженное право думать о письме к нему, и даже настолько близкое, что если я им не воспользуюсь, получится неловкость. Право это — сплошной конфуз. Я его ничем не заслужил. Одна моя знакомая М. Кудашева, одаренная французская поэтесса и очень, очень хороший человек, — ближайший друг, и м. б. даже больше — R. Rolland. Она по матери французженка, москвичка, всегда живет в Москве, и в давнишней переписке с ним. На днях она поехала к нему в гости. М. пр. у ней были опасенья, что швейцарцы не выдадут ей въездной визы, и на этот случай предполагалось, что они встретятся во Фрейбурге. И вот, зная о вас от меня, она заблаговременно попросила меня о помощи. Могло так статься, что, Федя, тебе пришлось бы хлопотать о близком Rolland человеке. Так вот, эта Кудашева по доброте своей рассказывала что-то обо мне Rolland, а кроме того я значусь в списке современных русских имен, — обстоятельство еще более случайное, п. ч. совершенно устарелое, ничем не обновляемое, и, за давностью — тягостное и ложное. — Но несколько слов об Ирпене. Тут зимняя дача; дом, как в Райках [2], три комнаты с террасой, между светлыми, высокими комнатами настоящие стены. Короче, и не преувеличивая, это в сравненьи с моей московской обстановкой — настоящий дворец. Большой сад. К моему приезду все отцвело. Аисты, журавли, иволги, удоды. При мысли, что отсюда придется скоро уезжать, меня охватывает страх. Я навсегда бы тут остался. С первого же дня взялся за работу. Наблюденья еще более огорчительные, чем над плотностью стен и числом комнат: охватываю вдесятеро шире, успеваю качественно и количественно раз в двадцать больше. Пугаюсь сравненья потому, что это облегченье — недолговечное. Дорогая Жоничка, я опять к тебе с просьбой о книгах. Но читать R. Rolland было таким наслажденьем! И в городе я бы его себе позволить не мог. Пришли мне сюда, если можешь, но тогда — не откладывая, два тома Пруста, — 1-й и 3-й; второй, «A l'ombre des jeunes filles en fleurs» у меня есть. Мне же надо: Marcel Proust. «A la recherche du temps perdu», tome I, «Du coté de chez Swann и tome II, «Le coté de Germantes». До сих пор я боялся читать Пруста, так это по всему близко мне. Теперь я вижу, что мне нечего терять, т. е. незачем себя блюсти и дорожиться. Прусту не на что уже влиять во мне. Но ты помни, что письмо мое — веселое, и просительное, а не грустное. Дорогой Федя! Крепко целую тебя и люблю. Однажды мы гуляли с тобой по Kurfürstenstrasse. Ты мне про все рассказывал.

Таким тебя помню. Как давно все это было! Адр. Ирпень, Киевск. окр. Ю. З. ж. д. Пушкинская, 13, мне.

---

[1] Горький отказал Пастернаку в его просьбе помочь ему поехать в Германию для свидания с родителями. См. письмо Горького середины июня 1930 года («Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», том LXIV № 3, с. 281.

[2] Райки — имение Н. В. Путяты по Северной железной дороге. Там проводили лето Пастернаки с 1907 по 1909 годы.

24 ноября 1936

Дорогие мои! Около полутора месяцев у меня лежит папино письмо из Лондона (от 14-го X), рядом с ним два не оконченных ответа. Главное, что требовало в нем ответа, и что я мог сообщить и тогда уже, касается новой квартиры. Деньги я за нее внес, и она вам обеспечена.

Однако этот факт, как он ни приятен, лишен для вас какой бы то ни было обязательности. Он ни в какой мере не должен влиять на ваши решенья. Эти разговоры тянутся так долго, что за это время у вас могло измениться настроенье. Не считайте себя связанными ни мною, ни кем бы то ни было еще. Что из меняющегося и изменившегося за эти месяцы остается неизменным? Что для меня высшей радостью был бы ваш приезд ко мне. Но ни это желанье мое быть с вами, ни имеющаяся про запас квартира, ничто, ничто такое не должно направлять твоих (папа) планов. Ты можешь всем этим воспользоваться, если твое решенье готово, решать же ты должен из тех соображений, что ты ничем никому не обязывался, и слишком много, честно и превосходно поработал на своем веку на светлом и почетном поприще, чтобы иметь право на вполне человеческий и ничем не омраченный покой, там где ты его найдешь, и такой, какого ты пожелаешь. Если это будет у меня, я все для этого сделал, если у Оли в Ленинграде [1], можно будет устроиться и тут, и так далее, вплоть до Лиды и Жони.

В конце концов ты Пепе [2] не продавался и рабом его трескучих фраз не стал. Квартира не должна быть ни поводом для твоей связанности, ни обратно, — твоей отговоркой. Если он надоел тебе, можно без всяких отговорок послать его ко всем чертям.

Ответом на письмо я запаздываю не впервые. Этому безобразью нет имени и извиненья. В отличье от прошлых лет у этого сейчас свои причины, хотя конечно и они не могут служить оправданьем.

Дело в том, что я все еще на даче, где верно и вообще зазимую. В городе я бываю очень редко, не чаще двух раз в месяц, и почта там залеживается в эти сроки. Кроме того перед отправкой этого письма я все собираюсь повидаться с Пепой, а его можно застать только вечерами, и в эту поездку (числа 26-го — 27) я обязательно это свиданье устрою. Так что и письмо это я допишу в городе. Может быть, на Волхонке меня в куче накопившихся писем ждут вести и от вас, и тоже потребуют ответа.

Последнее, особенно в связи с Лидой, очень меня тревожит. Но Бог даст как раз наоборот, меня ждет именно большая радость.

Вот пойми ты человека. Перед каждой поездкой в город волненье мое доходит до крайности. Что-то еще от вас будет? Все ли благополучно у Жени? Казалось бы, это должно было участить мои поездки, и меньше, чем наблюдается, должна была бы залеживаться дома почта, которой я иногда не забираю около месяца. Но наверное что-нибудь подобное бывало и с тобой, и с мамой, так тесно связано это самомучительство с миром, который я от вас получил, с художественной работой. Как трудна она была всегда, как безмерно затруднилась в наш век везде по всей земле. И потому не удивляйся, если, может быть, на продолженье летней переписки о выставке ты не получаешь ответа.

Ах, великая штука история. Читаю я тут 20-ти томный труд Ж. Мишле, Histoire de France. Сейчас занят шестым томом, падающим на страшную эпоху Карла VI и VII, с Жанной д'Арк, и ее осужденьем и сожжением. Мишле страницы за страницами приводит из первоисточников, из Chronice de Charles VI современника и деятеля эпохи, prévôt des marchands Juvénal des Ursins. Где теперь этот Juvénal, кто скажет, а вот я читаю его хронику, которой полтысячи лет, и волосы подымаются дыбом от ужаса. Славен современник, запечатлевший пережитое, пусть и насидевший в тюрьме Tour de Nesle и потому могущий показаться всяким циникам наивным Митрофанушкой. Нет и римского Ювенала, — что это привязался я к ним.

Как раз на этом месте оставалось недописанным письмо, как вдруг приехали вчера сюда на дачу Шура с Ириной и Федюшонком [3], и привезли полученную от вас открытку. Ура, поздравляю вас с новым внуком, а также в первую голову и Лиду с мужем и его родителями. Большая, большая радость, которая кажется мне чудесною, так привык я жить в постоянной тревоге и напряженьи.

Ну вот, новая начинается жизнь на новом месте, а я и Мюнхена не видал, и целых пятнадцать лет вашей жизни мне остались неведомы, — ах как хотел бы я всех вас видеть! Ну чтоб вам задержаться где-нибудь тут, я бы, может быть, перелетел к вам летом за море, — вероятно, одни мечты пустые.

Писали ли Вам уже Оля с тетей Асей? [4] У тети было воспаленье легких, теперь ей лучше. У Оли же произошли серьезнейшие неприятности с выпущенной книгой, она по этому поводу в Москву ездила и я ее видел. Юмористка, никогда не теряет присутствия духа — молодчина! Теперь, после сведений, привезенных Шурой, отправлю письмо, не дожидаясь свиданья с Пепой, пусть сам вам напишет. Крепко обнимаю вас.

Ваш Б.

Я даже не знаю, надо ли торопиться с отправкой картин. Впрочем, что я тут понимаю. Даже Я. З. [5], как большой знаток искусства, лучший тут судья. Но об этом как-нибудь особо.

---

[1] Оля в Ленинграде — О. М. Фрейденберг — двоюродная сестра Б. Пастернака, профессор классической литературы в Ленинградском университете. См. переписку с ней в журнале «Дружба народов» (1988, № 7—10).

[2] Пепа — домашнее имя Бориса Ильича Збарского, особенно активно уговаривавшего Л. О. Пастернака вернуться в Москву.

[3] Федюшонок — сын Александра Леонидовича Пастернака.

[4] тетя Ася — Анна Осиповна Фрейденберг — сестра Л. О. Пастернака.

[5] Я. З. — Яков Захарович Суриц — советский посол в Берлине.

12.II.37.

Дорогие, золотые мои папа и мама! Вас не должно удивлять ни молчанье мое, ни бросающаяся в глаза неплодовитость моя за последние годы, ничто, ничто. Все это объясняется своеобразием нашей жизни, о которой на таком большом расстоянии не рассказать: ах, эти расстоянья!

Благодарю тебя, папа, за большое, живое, молодое твое письмо. Как чудно вы съездили, как я завидую вашей поездке! С некоторыми изменениями это ведь повторенье той, которую вы совершили летом 1908-го, кажется, года, когда папа писал Сибиллу В., и сделал столько цветных рисунков в Антверпене, Брюгге и других городах, полных жизни и движенья, где по приему действительно мгновенье могло показаться остановленным, — замечательных, незабываемых работ. С той поездки вы привезли мне в подарок клавираусцуг Трист. и Изольды, купленный в Лондоне. Мы ждали вас в Райках. Или я путаю, и это было в 909-м? Но все равно: как много произошло с тех пор, как сильно изменилось! И вместо Сибиллы Винсент были вы в гостях у той самой Лиды, которая была тогда маленькой девочкой под присмотром покойной бабушки. И я * по энциклопедической справке оказался связанным с областью, о которой даже тогда не думал, ибо жил музыкой, а не литературой. Кто и когда подведет всему этому итог, и когда наконец я вас увижу. Для меня эти две вещи — реинтеграция пережитого и встреча с вами живым образом связаны и я одного не мыслю без другого.

Спасибо за поздравленья. 29-е я всегда помню, потому что это (29/1) день смерти Пушкина. А в нынешнем году это кроме того и столетняя годовщина его смерти. По этому случаю у нас тут большие и очень шумные торжества. Стыдно, что я в них не принимаю участия. Но в последнее время у меня было несколько недоразумений, т. е. меня не всегда понимают так, как я говорю и думаю. Общих мест я не терплю физически, а говорить что-нибудь свое можно лишь в спокойное время. И если бы не Пушкин, меня возможности превратных толкований не остановили б. Но на

---

* В. Encycl. Britannica (*авт.*).

фоне этого имени всякая шероховатость или обмолвка показались бы мне нестерпимою по отношенью к его памяти пошлостью и неприличьем.

Приближается день Жонина рожденья. Поздравьте и расцелуйте, пожалуйста ее от меня.

С твоим письмом, папа, случилось следующее. Как я писал уже тебе, я редко бываю в городе, редко, значит, забираю и почту. Ты пообещал Шуре сообщить бо́льшие подробности о вашем путешествии в письме ко мне, вот он и сговорился с Волхонкою, что когда оно придет, чтобы ему сообщили, и забрал его себе. Я оставался в неизвестности об этом письме в продолжении 1½ месяцев, пока мне не передала его Женя. Страшно жалко, что я не успел повидать Я. З., а может оно и лучше.

Женя долго, больше месяца болела воспаленьем брюшины, но без гнойного процесса, что было бы совсем ужасно, и очень истощена. Хворает (гриппом) и Женек. Оба они мне вечная растрава, я всегда о них думаю и грущу, особенно тяжело мне без Женечка, но вряд ли, если бы возвращенье не было связано с другими трудностями, ужились бы мы с нею характерами. Бедная она, — такой прекрасный и тонкий человек, но с некоторым вызовом и неуступчивостью в характере, отчего все и случилось. Папа, папа, ведь места нет здорового в моей жизни, а вот живу и буду жить. А что еще впереди!

Одно хорошо, — эта зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу. Но в стихах я всегда хозяин положенья и приблизительно наперед знаю, что выйдет и когда оно выйдет. А тут ничего не могу предвидеть и за прозою никогда не верю в хороший ее исход. Она проклятие мое, и тем сильней всегда меня к ней тянет. А больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост. Вот еще бы только окончательно бросить куренье, хотя теперь я курю не больше 6-ти папирос в день.

Ну как же все-таки все это будет? Где мы увидимся наконец, и когда? Ты чувствуешь, как бессильны эти слова и несостоятельны, т. е. им нет никакой цены, и не может быть веры.

Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. М. б. тогда практическая воля проснется во мне, а с нею и планы, и удача.

А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском[1] я разбил, что же, с таким чувством и сознаньем сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше, т. е. я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще, посмотришь, и здорового во мне или близ меня пока только одно: природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, и неужели эта преданность им такой грех и преступленье, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье, и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет и я живу: верой и грустью; верой и страхом; верой и работой. Не это ли называется надеждой. Ну не сердитесь же на меня. 22.II.37. Письмо опять залежалось (10 дней). Уже Жонино торжество прошло, и теперь время поздравить вас с 48-летьем вашей свадьбы. Скоро и золотая! Живите же в полной крепости и здоровьи на радость нам, дорогие вы мои.

Крепко целую вас всех и без конца обнимаю.

Ваш Боря.

Публикация и комментарий Елены Пастернак

---

[1] На Тверском бульваре, д. 25 жили Евгения Владимировна Пастернак с сыном.

Евгения Кунина

ВОСПОМИНАНИЯ*

Весной 1922 года мы с братом познакомились с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Мы были тогда полудетьми, неправдоподобными домоседами, в которых дух семьи сохранил житейскую и жизненную неискушенность, даже наивность. Мы учились в 1-м МГУ и одновременно в Брюсовском Высшем литературно-художественном институте. Жарко, и притом сообща, воспринимали все, чем интересовались, влюблялись в Андрея Белого, с восхищением слушая его поэму «Первое свидание» в чтении автора, и в Блока, III том собрания сочинений которого только что вышел в первом издании; благоговели перед Валерием Брюсовым, нашим учителем и наставником; дружили с юным поэтом Борисом Лапиным. Конечно, сами писали стихи. Пастернаковская поэзия перевернула для нас землю и небо, заново открылась их прелесть, неповторимость, стремительность их музыкального воплощения.

Случилось это сразу и внезапно. В марте 1922 года к нам впервые пришел в гости Теодор Маркович Левит, до того наш преподаватель и соученик в ВЛХИ (Высшем литературно-художественном институте). Весь вечер он читал стихи Пастернака, нам почти совсем незнакомые. Читал по памяти, одно за другим. Это были стихотворения из книги «Поверх барьеров»: «Баллада», «Скрипка Паганини», «Конькобежцы», «Петербург»... Словно океанские волны вздымались перед нами одна за другой, заливая нас восторгом, захватывая дыхание немыслимой бурей меняющихся, мчащихся ритмов, внезапными столкновениями нежданных и, как стрелы, попадающих в цель образов.

Нам в тот момент было не до автора. Только до этой поэзии было нам дело. И даже не то: нас ничего не интересовало, кроме этой поэзии.

Брату всегда везло на книги. Через несколько дней он принес «Поверх барьеров» (у букинистов тогда возможны были такие находки). Мы без конца читали и перечитывали книгу вслух друг другу, открывали все новые клады с изумлением и восторгом.

С головой Москва, как Китеж,
В светло-голубом пруде...

— звенело в нас, как только начались солнечные дни и снег плыл голубыми лужами.

Вся природа, хотя и городская, но самая настоящая — все было новое, пастернаковское, им как бы созданное заново, через него осознанное. Шла весна. Зачетная сессия в двух вузах висела на волоске. Мы с трудом возвращали себе вменяемость. Но брату посчастливилось купить «Близнеца в тучах», и мы немедленно лишились ее вновь...

В предзакатный весенний час я шла из МГУ в Высший литературно-художественный институт, с Моховой на Поварскую (с проспекта Маркса на улицу

---

* Журнальный вариант. Полностью воспоминания Е. Куниной будут опубликованы в сборнике «Пастернак в воспоминаниях современников» (изд-во «Советский писатель»).

Воровского). На Поварской мне встретилась большая группа наших институтских студентов. Они шли в «Дом печати», на вечер Пастернака. Конечно же, я пошла с ними,— предстояло чудо: услышать стихи Пастернака в чтении автора.

Это и оказалось чудом.

Непередаваемо-особенный голос, глубокий, гудящий, полный какого-то морского гула. Завыванье? Пение? Нет, совсем не то. Но столь музыкальная фразировка, такая напевная и нимало не нарочитая интонация, так органически текущие ритмы, такая полная и захватывающая взволнованность! Чувство, мысль, картины природы, душевных переживаний — все это слитно переливалось через край.

Автор читал стихи из еще не опубликованной книги «Темы и Вариации».

Я забыла обо всем — о зале, о товарищах, о том, что было и что будет.

Но чтение закончилось. И тогда страшная мысль прорвалась в мое восторженное оцепенение: брат! Брат, с которым мы всегда вместе впитывали все впечатления,— и он сейчас не слышал Пастернака, этих его стихов! Невозможно! Недопустимо! Надо, чтобы он услышал... Надо повторить этот вечер! Во что бы то ни стало! И тут я мгновенно вспомнила, что в пользу читальни имени Тургенева предполагалось устройство платных вечеров в ее помещении. А я — друг читальни, бывшая ее работница. Значит...

— Володя,— обращаюсь я к нашему с братом приятелю-соученику, Владимиру Феферу.— Давайте подойдем к Пастернаку, попросим повторить вечер. Вы ведь хотели бы еще раз послушать?

— Давайте, согласен, давайте!

Мы направились к Борису Леонидовичу. Пастернак стоял в фойе, ведя с кем-то оживленный разговор.

Я выжидала чуть поодаль, пользуясь возможностью незаметно смотреть на него.

Не наружность — она для меня сливалась с общим обликом, как и голос и самые стихи, но, быть может, манера держаться — совершенно простая, юношеская, очень непосредственная, нескованная, полная и сердечности, и достоинства — бросалась в глаза и успокаивала.

Мы с Фефером успели услышать фразу Пастернака, указавшего собеседнику на Константина Григорьевича Локса, его друга со студенческих лет: «Вот человек, который научил меня писать прозу». И, наконец, дождавшись своей очереди, подошли.

— Борис Леонидович, у нас к вам просьба. Не можете ли вы повторить этот вечер в пользу Тургеневской читальни, в ее помещении?

— Позвоните мне, пожалуйста, на днях, и мы сговоримся. Вот номер телефона.

Через несколько дней в назначенное нам по телефону время мы с братом, взволнованные и готовые от робости пуститься вспять от самых дверей, стояли у квартиры № 9 на втором этаже дома 14 на Волхонке. От этого дома на углу Антипьевского переулка долго еще оставался жалкий обрубок. Ампутирован был и подъезд, в котором жила семья Пастернаков в то время — Борис Леонидович с молоденькой женой Евгенией Владимировной, художницей, и брат его Александр Леонидович. По сей день мне больно и неловко смотреть на это место, словно встречаешь дорогого человека, которого знал здоровяком, превращенного в калеку.

А тогда дом был как дом. Для нас все же он отличался решительно от всех других домов: в нем жил — нет, обитал Борис Пастернак.

— Звонить? Страшно!

— Звонить... ну да, звонить!

«Может быть, не поздно? Брось, брось!..» — эта строка из «Поверх барьеров» была прервана тут же. Борис Леонидович открывает нам дверь.

С самого начала, с домашнего-раздомашнего, заспанного вида хозяина, впустившего нас,— «у меня не прибрано, пойдемте в комнату брата», с этой его первой фразы исчезло наше парализующее, не дающее ни думать, ни говорить волнение. Просто нам стало хорошо. Разговор быстро вышел за деловые рамки, стал разговором вообще — то пересыпанным шутками, то касающимся очень серьезных вещей.

Только что вышла книга «Сестра моя жизнь», стихи из которой до того ходили в списках.

— Меня хвалят, даже как-то в центр ставят (он сказал это почти грустно), а у меня странное чувство. Будто я их загипнотизировал и вот когда-нибудь обнаружится, что все это не так. Словно доверили кучу денег и вдруг — страх банкротства. Понимаете, чувство какой-то ответственности огромной...

— Как вы можете так думать?! — вспыхиваю я, забыв не только робость, но и сдержанность.— Да я ругаться с вами буду!

Ну, конечно, я не понимала тогда сути его слов, того, что им двигало. Сейчас — понимаю. Мысль об ответственности художника и перед обществом, и перед собственным творчеством, присущая Пастернаку органически, в те дни особенно остро, особенно глубоко волновала его.

Впервые обозначилась тогда и так сразу ярко засияла его слава. Он не купался в ее лучах, не ослеплялся ею. Он принимал на себя ее бремя. И высказать тревожившую его мысль нам — едва знакомым юнцам, возможно, позволило ему сразу определившееся доверие к нашей ничем не замутненной открытости, к нашей бескорыстной к нему любви. А в нем самом били через край горячие ключи душевного и духовного богатства, стремящиеся излиться. Тем же полна была и его поэзия. И таким же завораживающим и чистым было его человеческое обаяние: ничего деланного, ничего наносного, выставленного напоказ. Скорее это была свобода, данная себе, выражать свою сущность со всем ее своеобразием. Он говорил так же не просто, как писал,— потому что мысль его шла путем метафор, часто сложных, неожиданно сменявших одна другую. Видимо, главное было в необычайном своеобразии его мироощущения. И оттого, что естественным самовыражением была для Бориса Пастернака первоначально музыка и только позже стало слово.

«Бушующее обожанье молящихся вышине» — этими двумя строчками из «Поверх барьеров» можно было бы определить наше восторженное состояние. Пока шла весна 1922 года, жажда видеть и слышать Пастернака была чем-то овладевшим нами с первых же посещений его «на дому». Особенно после брошенной им при прощанье фразы: «Да и помимо «Тургеневской» заходите!»

Вечер Пастернака состоялся 13 апреля 1922 года. К нашему удовольствию, зал был переполнен молодежью. Борис Леонидович выступал тогда крайне редко, а имя его среди нашей молодежи уже имело громадную притягательную силу. Стихи из напечатанных и ненапечатанных сборников ходили по рукам, переписываемые друг у друга. И совсем не повредило отсутствие вступительного слова, которое нам так хотелось предоставить Валерию Брюсову — авторитетнейшему тогда арбитру поэтических дел. Как было радостно напоить чаем Бориса Леонидовича тут же, в читальном зале, у столика. И родителей своих мы уговорили прийти и познакомили их с нашим божеством. Услышали от него потом: «Что вы своих родителей мучаете?»

Может быть, эта фраза была отголоском того непонимания поэтического дара сына, с которым собственные родители встретили его уход в поэзию от других его дарований?

— Боря прекрасный музыкант, мог бы хорошо рисовать... Но почему-то пишет стихи! — говорил, недоумевая, Леонид Осипович Пастернак (а я слышала это в передаче Сергея Павловича Боброва, друга молодости Бориса).

Мы продолжали заходить на Волхонку. Ведь и раньше наши беседы делами не ограничивались. О чем говорилось? Мы не записывали — слишком полны были непосредственными впечатлениями, сливая в своем восприятии голос, интонацию, выражение лица. Как это запишешь?.. Но кое-что запомнилось. Хотя бы слова о Жене Люверс, которую мы любили, как самое родное, нам вдруг открытое,

— «Я написал это о человеке, на десять верст к себе не подпускавшем... И оказалось — все правда».

Или: «Моя сестра — не «Сестра моя жизнь», а живая моя сестра — Женя...»

Как жаль, что я не записала и непростительно забыла, что было сказано вслед за именем Женя. Могла ли я знать, каким дорогим станет для меня это имя и его носительница. Что годы спустя мы услышим от того же С. П. Боброва о «Жонечке» как о самой близкой старшему брату и лучше других семейных его понимавшей. «Жонечка была такая прелесть, что в нее даже влюбиться было невозможно»,— говорил Бобров.

Существенно было иное. Пастернаку с нами дружилось весело и легко. Возможно, отдыхалось от собственных сложностей беззаботней, чем с другими. Не этим ли объяснялось радостное: — «А-а, Кунины!» В телефонном его ответе на мои как старшей из нас звонки — «Кунины? Дома, дома, заходите!»

Иногда мы заставали его одного (что было счастьем!), иногда он собирался куда-нибудь, и мы шли его провожать.

Раз, назначив брату свидание у подъезда дома № 14 на Волхонке, я шла из университета Шереметьевским переулком и далее Б. Антипьевским и встретила Бориса Леонидовича, шедшего в обратном направлении. Сказала, что не хочу задерживать. Но он взял меня за локоток и повел обратно, к себе домой. И вдруг, пересекая переулок, я увидела на Волхонке моего брата, медленно вышагивающего за углом и, как мне показалось, уставшего меня дожидаться и решившего идти домой.

— Ах, мой брат уходит! Вон он! — вскрикнула я, бросаясь вперед, вдогонку.

— Да стойте, куда вы,— я его сейчас к вам приведу!

И Борис Леонидович, как мальчишка, кинулся, к моему ужасу и восхищению, во всю прыть наперерез моему брату.

Не помню, вошли ли мы втроем в подъезд и поднялись в квартиру — или ограничились свиданием на улице,— а вот бегущего по-мальчишески Бориса Леонидовича, такого молодого и юношески непосредственного, вижу как запечатленного киносъемкой.

Иногда мы заставали дома их обоих — его и молоденькую жену его — Евгению Владимировну Лурье-Пастернак. Тоненькую, стройную, с прекрасным лбом, нежным, узким овалом лица, черными, откинутыми назад, в прическу, тихим каким-то блеском отливающими густыми волосами. В ней была замедленная грация — и в движениях, и в интонациях мелодического голоса, скорее меццо-сопранового тембра. Она была мила. Нами она, увы, воспринималась тогда преимущественно как помеха к общению с ее мужем. Понимание явилось к нам позже.

И вот — они уехали. За границу! В Берлин, где жили тогда родители Бориса Леонидовича... Надолго?

Это ощущалось нами как личная утрата. Мы даже отважились летом написать ему письмо — он ведь дал нам адрес! Ответа не было.

Но 9 февраля 1923 года мы получили почтовую бандероль: ярко-фиолетовую книжку — «Темы и Вариации», вышедшую только что в Берлине. С надписью, примешавшей к нашему благодарному восторгу чувство горечи за него: «Куниным на добрую память от вовсе не веселого автора».

В 1923—1924-м жизнь нашей семьи круто и сурово изменилась. Брат мой стал тем «невинно осужденным мальчиком», о котором упоминает Борис Леонидович в одном из писем к своей ленинградской кузине и «в хлопотах о котором он дошел до Кремля».

Не дожив до благополучного окончания этих хлопот, умерла на сорок шестом году жизни наша мать. Семья наша, не только ее бесконечно любившая, но буквально жившая ею и материально ею поддерживаемая, пережила нечто сходное с солнечным затмением, пришедшим внезапно и безвозвратно. Затянувшимся навсегда. Меня в этом затмении спасла необходимость немедленно заменить ее. Я ведь после гимназии, хоть и скрепя сердце, рвавшееся к литературе, к филологии, пошла в зубоврачебную школу, которую за шестнадцать лет до того окончила мама.

На следующий же день после смерти матери я приняла первую пациентку...

Благодаря хлопотам Пастернака мой несправедливо осужденный брат был освобожден. При пересмотре дела приговор признали условным, судимость сняли. Борису Леонидовичу эти хлопоты действительно стоили немалых трудов. И семейных неприятностей: годом раньше, 23/IX.1923, у них с Евгенией Владимировной родился сын Женя, и беготня отца семейства по недомашним делам могла выглядеть дома несвоевременной. Да еще когда Борис Леонидович зашел по тому же делу к друзьям, у которых ребенок болел корью, не побоявшись принести заразу домой! «И мне сильно нагорело!» — огорченно и сконфуженно признался он нам.

Но, как и его Лейтенант Шмидт, он имел право сказать: «Сделано большое дело!»

Шли месяцы, вырастая в годы. Мы с братом взрослели. Борис Леонидович, с которым мы продолжали видеться, оставаясь для нас старшим, мог теперь говорить с нами уже не как с полудетьми.

В это время Борис Пастернак писал «Лейтенанта Шмидта» и нам передавал отдельные эпизоды. Помню, с каким оживлением цитировал он и объяснял, как в стремительно перебивающих друг друга ритмах изобразил быстрый спуск Шмидта и присланного за ним матроса по неровностям горы — к бухте, к ожидающей лодке (это было началом восстания на Черноморском флоте).

И в 1926-м от него впервые я услышала отрывки цветаевского «Крысолова». Сонное пробуждение школьника: «Спит сурок, спит медведь... Спать не сметь, не сметь, не сметь!» И сквозь сон бормотанье заученного урока: «Плюс на минус выходит плюс... Цезарь немец... сейчас проснусь!»

Первый разговор о Марине Цветаевой был у Бориса Леонидовича с нами еще летом 1922 года. Только что вышел сборник ее стихов (в изд-ве «Костры») — первый, после дореволюционных. Брат принес мне этот маленький сборник, и мы оба очень горячо его приняли. Это были после известных нам ранних стихи совершенно иной силы и размаха. Мы спросили у Пастернака, читал ли он их.

— Поразительная книга. Я пошел прочесть из нее брату Шуре, но не смог, у меня перехватило горло от волнения. Необычайно!

Теперь — после «Крысолова» и особенно «Поэмы Конца» — Марина уже за границей впервые с головой окунулась в поэзию Пастернака, как он — в ее поэмы, оба были захвачены чувством равноценности («Ты единственный мне равносущ»,— писала Цветаева в письме к Борису Пастернаку). Многое в огромности их дарований сближало их, несмотря на разность, как и музыка стиха, и само отношение к стиху, и бурная динамика его и выражаемого им чувства. Борис Леонидович говорил о Марине с восторгом. И о будущей встрече — вот он завершит все себе намеченное,— «И тогда я поеду к Марине». Как известно, встреча так и не состоялась.

В 1929 году вышла книга «Поверх барьеров» Пастернака, включившая в себя стихи из ранних его книг. Стихи эти он подверг переработке, желая убрать

непонятные места и придавая новому варианту как бы пояснительный характер. На наш взгляд, первоначальный, целостно выплавленный образ стихотворения терялся при переделке. Поэзия частично заменялась рассудочностью, ее живое дыхание как бы прерывалось. И когда Борис Леонидович принес нам в подарок экземпляр только что вышедшего издания и мы услышали в его чтении давно любимые стихи в новом обличье, мы оба были горько обижены за них.

Я, как более экспансивная, не выдержала:

— Борис Леонидович, нельзя переделывать то, что живет уже самостоятельной жизнью. Ну, сделали бы второй вариант, не трогая первого, если вам тот разонравился! Ну, а если сын ваш, Женя, подрастет и вам разонравится цвет его глаз, вы что же, будете ему глаза перекрашивать? А стихи ваши ведь тоже ваше живое творение! Оставили бы их жить и написали бы новую вариацию!

— Нет тем и вариаций. Есть единая тема! — ответил Пастернак.

Вероятно, с возвращением Евгении Владимировны с сыном мы стали больше понимать семейные отношения супругов. Евгения Владимировна перестала для нас быть некоей живой помехой в общении с Борисом Леонидовичем. Но в то же время нам ясно стало, что она недооценивает значительность его как поэта, как личности исключительной, требующей к себе особого внимания, нуждающейся в заботе близких. Кажется, этой заботы он не имел никогда, не считая, конечно, детства. В юности он рано начал вести самостоятельную жизнь. Женитьба же только прибавила ему забот и ответственности, особенно после рождения сына. Безусловно, хозяйственные хлопоты легли и на молодую хозяйку, как легли бы на всякую другую, будь она на ее месте. Но Евгения Владимировна была художница! Талантливая портретистка. И ей, очевидно, вовсе не улыбалось пожертвовать естественным влечением к этому своему призванию, как это сделала когда-то в подобных обстоятельствах мать Бориса, выдающаяся пианистка Розалия Пастернак, став женой большого художника, Леонида Осиповича Пастернака. Евгения Владимировна не поставила интересы своего мужа-поэта «во главу угла» их общей жизни. Главное — не поставила внутренне, душевно.

Осуждать тут нельзя. Собственное призвание оказалось сильнее, чем любовь, чем сознание долга; не родилось понимания несоизмеримости их дарований. Так эти две дороги и не слились воедино. Оба были людьми искусства, оба нуждались в заботе, в освобождении от житейских тягот. И оба страдали.

Примечательно, что первым стихотворением Пастернака о жене-художнице стало «Ирпень»: стихи в «память о людях и лете, о воле, о бегстве из-под кабалы»,— в радости освобождения от московских бытовых и домашних тягот. Именно здесь, в упоении нового и, как прибой, захлестнувшего чувства, Пастернак с любованием дает портрет своей жены — накануне ухода к другой женщине:

Художницы, робкой как сон, крутолобость,
С огромной улыбкой, улыбкой взахлеб,
Улыбкой широкой и круглой как глобус,
Художницы профиль, художницы лоб [1].

В этом эскизе портрета схвачена та милая, особенная привлекательность Евгении Владимировны, которая делала ее схожей с итальянскими мадоннами Кватроченто. Она походила на прототип женских образов Боттичелли. Может быть, ожившее, сдунувшее пыль повседневности лето в Ирпене с новыми дружбами и новым чувством женской красоты оживило и потускневшее внимание к той тонкой прелести, которая привлекла его ранее к Евгении Владимировне.

Проходили годы. Сложные, полные перемен личных, рабочих, семейных.

[1] Строки из стихотворения «Годами когда-нибудь в зале концертной...» цитируются в первоначальной редакции.

Вскоре после войны вся наша семья вернулась в Москву домой. Брат — на работу в редакции журнала «Советская музыка», я — к зубоврачеванию, теперь уже в медицинском учреждении.

Брат мой зашел к Пастернаку впервые после войны на новую квартиру в Лаврушинском переулке, чтобы передать мою лирическую трагедию «Франческа ди Римини». Свидание было коротким, как говорится, на ходу, в прихожей. Тем не менее часа через два Пастернак позвонил. Вот уж не ожидала, что он успел прочитать мою вещь! «Очень хорошо,— сказал он.— Чистота тона, главное — чистота тона».

Не помню, было ли еще что-нибудь сказано. Скорее нет. Может быть, взаимное «Спасибо!», его — за подарок, мое — за отзыв.

В 1949 году я написала стихотворение «Тост», посвященное ему, основанное на образах из его стихов, и послала почтой. Опять, получив, он позвонил и поблагодарил: «Понравилось, и не потому, что мне посвящено. Спасибо!»

В те годы мне писалось, и стихи мои хвалили мои новые друзья, а они в большинстве были люди понимающие. Решилась послать несколько стихотворений Борису Леонидовичу. Хорошо, что он, прочтя их, позвонил. Потому что сказанное им многое мне объяснило — не в моих стихах, а в нем самом. Плохо, что первой и самой, верно, содержательной, потому что самой длинной и метафоричной части его речи я не очень поняла, а не поняв, не запомнила. «Вы меня поняли, Женя?» — спросил он. И я откровенно ответила: нет.

— Очень хорошо, что вы мне так и сказали,— по-старому добрым голосом сказал он.

— Вы хотите сказать, что я дилетант?

— Другие, с меньшими данными, отдаются этому как призванию. Вы этого не сделали. Вот главное, что я хотел сказать.

Это «главное» по отношению к говорившему мне пришлось углублять и расшифровывать годы и годы. Оно значило для него — отдавать всего себя, жертвуя всем, что не на потребу его призванию поэта, творящего мир и не живущего вне своего долга творить. Это было сказано им в стихах, и не раз.

За высоту ж этой звонкой разлуки
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

Особенно в последние годы он отсекал от себя былые привязанности, сужал круг друзей, не отвечал на письма, не посещал — и к себе не звал старых друзей.

Это тоже была преданность призванию, которое теперь обретало иную правоту. Правоту — жертвы жизнью.

Когда-то, когда впервые после революции вышел сборник стихов Андрея Белого, мы с братом подарили его Пастернаку с надписью: «Самому лучшему человеку на свете».

Теперь я полагаю, что мы мало уклонились от истины. Теперь мы написали бы: «Самому замечательному».

29.VIII
1984 г.

МОИ СТИХИ

Тост

Борису Пастернаку

За первую свежесть разлива
Весенних взволнованных рек,
За юности ливень счастливый,
За всеисцеляющий снег,

За жаркие перья гагарок
Над жизни нетающим льдом,
За небо и солнце в подарок
С размаху внесенные в дом,

За детские сказки гардины,
За ширь над высоким окном,
За чудно-косые картины
И музыки щедрый закон,

За то, что сияет жар-птицей,
За гения пламенный знак,
За силу, что в слове таится,
За имя — Борис Пастернак.

1939

●

Я не сажусь и не пишу —
Меня смывает и уносит...
О ритмы, что полета просят,
О, как явленья их прошу!

Тогда — всему преображенье,
Душе доступны чудеса,
И первочудо — вдохновенье
Ей раскрывают небеса.

●

Душа поэзии не терпит
Надменной властности ума —
Она живет в себе сама,
Ее дыханье Небо теплит.

Не так ли ты, благая вера
В Предвечного — высокий стих,
Что малых научает сих
Познанью вне числа и меры?..

●

К. Г. Л.

Все нынешней весной особое.

Б. Пастернак

Вы — прежний: свиток запечатанный,
Разгадываемый молчаливо.
Откуда же то непочатое,
Что делает меня счастливой?

Оно во мне самой скрывается —
Скрывается, но не таится, —
И в письма и в стихи срывается,
И даже Бога не боится.

Но этой буйной лучезарности
Ни стих, ни проза не опишут:
Она не стоит благодарности,
Хоть ею движется и дышит.

О, если б на одно мгновенье
Вам очи ослепило это
За долгою весной осеннею
Расцветшее, как солнце, лето!

Старый Крым

1. Туманное утро

Таинственный туман окутал горы
И нежные одел сады
Буалью белою, в которой
Незримый бисер — капельки воды.

Недвижна тишь. Теплынь густа и тминна.
Так жаждется благого ветерка!
Но только легкий-легкий дух жасмина
Один со мной заговорил пока.

2. Закат

Золотеет над Агармышом,
Обесцвечиваясь посредине...
Кажутся деревья камышом
Некой обезвоженной пустыни.

Мне закат — видением конца.
Холодеет воздух опустелый,
Каменеет небо — как сердца.
Дух природы покидает тело!

●

Нет, я ни за листву весеннюю,
Ни даже за весну пригожую
Не отдала б произнесения
Двух слов простых — «моя хорошая».

О, будь они когда-то сказаны,
О, будь они теперь помыслены,
Вот этой маленькою фразою —
Такой желанной и немыслимой

Была б... Но только в ласке няниной
Припомню, со слезой непрошеной,
Простое теплое звучание
Двух милых слов: «моя хорошая».

Море в Тоолсе

Море, светлый свинец, здесь ты легло полукружьем,
Короткогривые волны белой сверкают каймой.
Море, темный венец! Какой же простор тебе нужен,
Чтобы и ты, наконец, себя ощутило собой?

1972

●

И серебро залива — не серебро, латунь!
И ветер шаловливый — не ветер, а летун!
Он, верно, притомился — ведь сколько дней подряд
Свирепствовал, ярился и сам себе не рад.
Сегодня он порхает, как легкий мотылек,
Небрежно чуть ласкает, чуть шевелит листок.
И в воздухе струится прохладное тепло,
И наш залив сребрится, как тонкое стекло.

Кясму, 1981

●

И день раздумчив, и душа
Как будто ни о чем — о многом
Помысля — по своим дорогам
Плывет тихонько, не спеша...
И суета с нее сошла,
Как временная позолота.
Она, раздумьями дыша,
Как бы в преддверии чего-то,
Плывет без страха и заботы
В забвении земного зла.

Таинственные северные зори

Таинственные северные зори —
Столь долгие, столь полные прощанья!
Как медлит розоватое сиянье,
Как нехотя тускнеют облака.

И вдруг блеснет нежданный луч над морем,
И даль залива озарится светом,
Как будто солнце ласковым приветом
Душе напомнит: милость велика.

———

Федор Абрамов

В ЗАЩИТУ КРИТИКИ

(РЕЧЬ НА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 25—26 ОКТЯБРЯ 1955 ГОДА)

В личном архиве Федора Абрамова сохранился черновой текст его выступления на отчетно-перевыборной партконференции Ленинградского Университета, которая проходила в конце октября 1955 года. Тридцать четыре года прошло с тех пор, а проблемы, о которых говорили на собрании и которых касался Абрамов, остро дебатируются и сегодня, они все еще нуждаются в осмыслении.

Примечательно, что собрание проходило еще до XX съезда партии. А какая смелость в постановке вопросов! Есть, конечно, и элементы наивности, налет понятий и терминологии тех лет, когда еще вина за соаершенные преступления возлагалась на Берия и Абакумова, а не на Сталина.

Федор Абрамов, которому в нынешнем феврале исполнилось бы 70 лет, тогда работал доцентом на кафедре советской литературы филологического факультета ЛГУ, был членом партбюро факультета, одновременно писал свой первый роман «Братья и сестры». К этому времени он уже пережил первую проработочную бурю. В 1954 году он опубликовал в «Новом мире» (№ 4) статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», выступив против лакировочно-идиллического изображения деревни в литературе тех лет. Он ратовал за подлинно правдивое искусство, за воссоздание сложных жизненных конфликтов, неприкрашенных характеров. В той статье Абрамов впервые заявил себя мужественным литератором, он выдвинул кредо, которому следовал всю жизнь: «только правда — прямая и нелицеприятная».

Но тогда его за эту статью вместе с другими авторами «Нового мира» (В. Померанцев, М. Лифшиц, М. Щеглов) причислили к антипартийной группе и «прорабатывали», обвиняли, чуть ли не предавали анафеме и в печати и на многих собраниях — в Университете, Обкоме партии, в Союзе писателей Москвы.

Именно историю с этой статьей он упоминает в публикуемом выступлении.

Очищающую волну в стране после смерти Сталина Федор Абрамов принял восторженно. Он постоянно думал о необходимости коренных изменений не только в системе руководства и экономике, но и в пропаганде, в психологии и мышлении людей. Это отразилось в его дневниковых записях.

«Почему у нас не поднимают значение личности? Не ратуют за развитие индивидуальности? Пора об этом говорить серьезно. Хватит разговоров о коллективизме. Надо воспитывать у человека не только веру в коллектив, но и веру в личность»,— записал он в 1954 году.

Еще в то время он недоумевал, почему одни и те же люди должны всю жизнь находиться на руководящих постах. Он задавал вопрос: почему, например, пять раз подряд избирают в Верховный Совет А. Тарасову.

О докладе Хрущева на февральском пленуме ЦК 1954 года он записал 23 марта: «Радует призыв к правде, к острой критике недостатков. Но вместе с тем доклад поверг меня в уныние. Какой бардак у нас в сельском хозяйстве. На Украине вместо пшеницы стали сеять траву, а на Севере наоборот — пшеницу — так, мол, наука велит... В докладе сказано, что виноваты Госплан, Министерство сельского хозяйства. Конечно, виноваты. Но вот вопрос — почему эти безобразия могли твориться из года в год?»

Размышлял он об этом и в последующие дни и месяцы.

«Шарлатан Лысенко, который до недавнего времени властвовал в биологии, нанес неисчислимые беды сельскому хозяйству.

Почему же это могло случиться? Неужели народ не понимает, что если посеешь траву, так будет трава, а не жито?..

Иногда кажется, что у нас будто только начинается земледелие — до того в забвении многовековой опыт крестьянства. А ведь везде и всюду кричим о преемственности! Нет, это все следствие того, что низы лишены инициативы, самостоятельности. Руководство необходимо, но прочь бюрократический бумажный метод, сковывающий все живое.

Ведь дело иногда доходит до того, что колхознику специальная инструк-

ция разъясняет, что у коровы четыре ноги. Да что там инструкция! Вчера в передовой всерьез утверждается, что зерновой фураж и сочные корма — важное средство подъема животноводства».

Он возмущался, что от народа скрывают правду, доверяют ее только избранным. «Ленин, например, в самую тяжелую годину для молодой республики говорил правду, а мы не можем говорить о наших недостатках в полный голос сейчас. Почему? <...>

Почему постановление ЦК о бюрократизме в советских учреждениях было доведено только до руководящих работников? Разве у нас два устава: один для руководящих, другой для рядовых? <...> Вообще я не понимаю, почему нельзя обсуждать постановления ЦК. <...> Ведь это помогло бы выявить недостатки. А какая бы школа была для коммунистов!»

А вот заметки от 27 мая:

«Зачем все это я записываю? Иной мерзавец, прочитав мои записки, пожалуй, еще скажет: «Ба! Да ему наша действительность не нравится». Так знайте же: я не хочу другой власти, кроме советской власти. Вне ее для меня нет жизни. Я за нее кровь пролил на войне, умирал с голоду. Но я хочу, чтобы у нас меньше было заблуждений, ошибок и произвола.

Я хочу, чтобы русский мужик жил лучше. Я хочу большой советской литературы».

И в 1955 году он продолжал столь же бурно реагировать на происходящее в стране и в Университете. Он с радостью отмечает, что изменяется внешняя политика — «стало больше правды и свободы». И тут же добавляет: «Да, язык на сторону изменился, надо бы изменить и во внутрь. Чего бояться? Такой народ! Да дать ему возможность проявить инициативу — горы своротит. Надо уважать своих людей больше».

Вполне понятно, что он был окрылен, когда в октябре 1955 года на партийном собрании Университета прозвучали чуть ли не впервые за много лет смелые и принципиальные голоса рядовых коммунистов.

25 октября он записал в дневнике:

«Вчера началась отчетно-перевыборная партконференция Университета. Историческая конференция! Поворотный момент в жизни Университета! В ней впервые выявилось то новое, что медленно, но упорно назревало в нашей жизни в последние годы.

Я давно уже тяготился разными собраниями, смотрел на них как на досадную трату времени. И как всегда, собираясь на конференцию, заранее запасся журналами. Но вчера они оказались ненужными. Вчера я впервые за много лет почувствовал необходимость и огромное значение собрания.

Вчера я впервые ощутил силу, ум и энергию коллектива, который не заменит ничто. Есть люди и в наше время! И вчерашнее собрание дает могучий толчок для нового роста людей. <...>

Прения разгорелись жаркие. Критика раздавалась (и это впервые) по адресу всех инстанций, вплоть до ЦК.

— Я считаю,— заявила преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма Пашкевич,— что в ЦК существует неправильная практика отсылать жалобы членов партии для разбора на местах. Объективно — это ограничение критики. И часто получается так, что на местах жалобщика прорабатывают. <...>

— Нынешнее руководство Ленинграда,— заявила коммунистка Коган (с 1926 года в партии),— не удовлетворяет требованиям, которые предъявляет сегодняшняя жизнь. На месте Козлова и других я бы, положив руку на партийное сердце, сказала: не справились, уходим.

Главный упрек, который предъявила Коган и другие Козлову и областному руководству, состоит в том, что они не разобрались в позорном «ленинградском деле», не выявили корни этого дела. <...>

Да, много было сказано о необходимости соблюдать нормы внутрипартийной демократии. <...>

Слушая выступления, нельзя было не задуматься. В жизни происходят знаменательные события. Начинают бить новые роднички, пока еще слабо, но их уже ничем нельзя остановить. Заткнешь в одном месте — прорвутся в другом.

Время рабьего молчания кончилось.

Современный момент характеризуется кризисом старых форм и методов руководства».

На следующий день последовала более горькая запись.

«Надежды не оправдались. Против Пашкевич, Коган и Савельева двинулись проработчики... Политически вредные выступления, дезориентирующие собрание, сбивающие его в неверное русло и т. д.

Передергивали и искажали выступления кто как мог. <...>

На факультете уже призывают к стенографированию лекций Пашкевич. Будто бы есть сигналы студентов. Да, житья ей не будет.

Тяжелое впечатление от второго дня конференции. И все-таки она всех взволновала. Все-таки она отрадное и знаменательное событие в нашей жизни».

Приведенные записи и публикуемая речь Федора Абрамова — не только значительный факт в биографии и становлении личности будущего писателя.

Думается, эти материалы интересны и как документ эпохи обновления, начавшегося в стране более 30 лет назад, как свидетельство столкновения и противоборства и в те времена живых, прогрессивных сил с консервативно-бюрократическими.

Нынешняя партконференция — радостное для меня событие. Вчера, придя домой, я впервые за последние годы мог сказать: сегодня я был на партийном собрании.

Самое ценное в нынешнем собрании — это живая принципиальная критика, стремление рядовых коммунистов осознать свою великую ответственность за события, происходящие в стране.

В этом смысле меня радуют выступления товарищей Пашкевич, Коган и некоторых других. В них есть живая мысль, страстное, заинтересованное отношение к жизни — и это главное. Не со всем, конечно, можно согласиться в этих выступлениях. Нелепо и дико, например, выглядит желание изгнать из Ленинграда «варяг», присланных ЦК. Были допущены некоторые неточности и в других выступлениях. И за это надо критиковать. Но сегодня их уже не критикуют, а судят.

Больше того, наблюдается явная тенденция подменить партийное собрание производственным совещанием. К этому призывал ректор, который требовал свести разговор к повышению производительности труда. На этом еще более определенно настаивал секретарь райкома. Ваше дело заниматься вопросами науки, теми делами, которые непосредственно относятся к вашей парторганизации,— именно таков смысл выступления т. Житченко.

Это верно. Парторганизация Университета должна выполнять решения ЦК, прежде всего заниматься проблемами науки, повышением производительности труда, как сказал ректор. Но ведь для того, чтобы повышать производительность, надо сперва хорошенько разобраться в том, что мешает производительности.

Тов. Житченко явно ограничивает сферу вопросов, касающихся коммунистов. Товарищ Житченко говорил здесь: «Вот до чего дошли товарищи — стали устав партии пересматривать».

Во-первых, никто на устав не покушался, а во-вторых, что плохого, если т. Пашкевич выразила пожелание по поводу форм избрания руководства. Есть у нас специальная комиссия по уставу, почему бы и не направить ее предложение туда, тем более, что наше собрание происходит накануне XX съезда. Нет, т. Пашкевич не нарушает устава. Наоборот, она выполняет требования устава, который обязывает члена партии думать о делах и работе партии.

А вот т. Житченко нарушает, односторонне понимает устав партии. В уставе партии сказано: каждый коммунист должен постоянно изучать теорию марксизма-ленинизма и творчески применять ее в жизни.

Я полагаю, что творчески овладевать марксистско-ленинской теорией, это — не зазубривать цитаты, а думать о жизни, о наших общих делах, о делах в масштабах государства и мира.

А к чему призывает т. Житченко? Заниматься своими производственными делами, а остальное — не ваше дело. Неверно. И если секретарь райкома о жизни не думает, то рядовые коммунисты не могут не думать. Они постоянно сталкиваются с людьми и им приходится давать ответы на многие вопросы.

Наши успехи бесспорны. Но разве мало у нас недостатков и бед? Ежовщина, бериевщина, провалы в сельском хозяйстве, тысячи невинно загубленных людей... Волнует это наш народ? Волнует. Почему честные старые большевики погибли под пытками в советское время?

Неужели не был потрясен т. Житченко, когда он читал предсмертное письмо старого революционера-большевика, безвинно замученного в бериевских застенках?

Да, все это дело рук Берия и Абакумова. Но как могло случиться, что эти

мерзавцы могли долгое время орудовать безнаказанно на наших глазах? К делу Берия приложены три тома резолюций с расстрелами советских людей. Как это могло случиться, как могло случиться, что призывы старого коммуниста, взывающего из застенка о помощи, не дошли до нас?

Как могло случиться, что многие работники МГБ, выходцы из народа, из рабочих и крестьян, дети того же замученного большевика, который завоевал им советскую власть, явились слепым орудием в кровавых лапах Берия?

Тут возникают и возникают вопросы. И одним постановлением, т. Житченко, ничего не сделаешь. Люди долго еще будут говорить об этом. И об этом надо говорить. Но вам все равно: лишь бы на бумаге было гладко, лишь бы протоколы собрания были гладки, а что происходит в душах людей — вам, видно, не важно.

Нет, товарищ Житченко, бумага терпит, да душа не терпит.

Здесь одной кампанией не отделаешься. Тут нужна разъяснительная работа, большая разъяснительная работа, ибо каждый ищет ответа на эти вопросы.

Ищет по-своему ответы и т. Коган. Она не руководящий работник, ей многое неизвестно. Но она пытается ответить в пределах своего опыта и наблюдений.

В самом деле, кто мог явиться орудием в руках Берия? Прежде всего — неопытные, не закаленные молодые кадры. Старого большевика, прошедшего школу революции и гражданской войны, на такое дело не толкнешь. И не случайно, что Берия расправлялся с ними. Не случайно и то, что все оппозиции в партии старались прежде всего овладеть молодежью.

И вполне законная постановка вопроса: все ли у нас правильно в подборе кадров, нет ли у нас нарушения ленинского требования сочетать молодые кадры со старыми опытными работниками? Нет — очень хорошо. Но ты прислушайся, подумай, еще раз подумай.

С ленинградским делом покончено — это верно. Месть и новая перетряска ленинградского аппарата неуместны. Но если Новиков, будучи председателем контрольной комиссии, действительно повинен в смерти невинных коммунистов (я не знаю Новикова), то тут дело ясно: Новикову не место в партийном аппарате. И это не месть, а восстановление элементарной справедливости. Не надо передергивать, не надо делать из выступления т. Коган тех выводов, которые из него не следуют. А то до чего уже дошло. Некоторые пытаются увидеть оппозицию, чуть ли не заговор.

И это, к сожалению, не домысел. Во время перерыва молодой работник Обкома так и восклицал: за ними стоит троцкистская группировка.

На каком основании? Видимо, на том основании, что товарищи Пашкевич и Коган сказали: многих волнует ленинградское дело. Да, многих волнует. Но почему это законное, естественное волнение припечатывать одним убийственным словом: группировка, оппозиция?

Не слишком ли мы часто и легко раздаем ярлыки: враг народа, группировка? Вдумываемся ли мы, что стоит за этими словами?

Я лично никогда не был знаком с Померанцевым, Лифшицем. Но стоило мне опубликовать статью в «Новом мире», как через некоторое время я попал в антиленинскую группировку.

Беда наша в том, что мы привыкли думать штампами и часто всякую критику глушим убийственными ярлыками: оппозиция, враг народа. Не спекулируем ли мы при этом на лучших чувствах наших людей.

Тов. Андрианов сказал сегодня: «Товарищ Алексеев сумел дать правильную политическую оценку выступлений Коган и Пашкевич». А не идет ли выступление т. Алексеева от ограниченности, от привычки думать заученными формулировками и штампами? Не рассуждал ли он так: раз критика молодых работников, значит, противопоставление их старым кадрам, значит, неправильное понимание известного марксистского положения?

Товарищ Житченко назвал выступление т. Пашкевич политически вредным. Что же вредного содержалось в выступлении Пашкевич? Тов. Пашкевич выразила пожелание увидеть Никиту Сергеевича Хрущева в нашем Университете. Что же тут политически вредного? Я понял это только как выражение любви и уважения к Никите Сергеевичу.

Кому как, а мне бы тоже хотелось хоть бы раз в жизни увидеть нашего руководителя. Я, например, много и серьезно мечтал о том, чтобы увидеть когда-нибудь Сталина.

Что тут плохого? А как воспринял это т. Житченко? Как вредное выступление, как посягательство на авторитет товарища Хрущева, как подрыв доверия к нему. Тов. Житченко всерьез доказывал, что Никита Сергеевич проводит большую работу, очень занят и т. д. Надо ли было это делать? Нуждается ли в такой защите руководитель партии? Кто не знает, каким громадным делом ворочает товарищ Хрущев?

Но почему нельзя направить Никите Сергеевичу приглашение посетить Университет? Я думаю, что Никита Сергеевич, не в пример т. Житченко, правильно понял бы и оценил наше приглашение. И очень желательно, чтобы секретарь РК тоже понял эти искренние чувства, идущие от простого человеческого сердца своих коммунистов.

Вместе с тем в выступлении т. Пашкевич было высказано и другое — желание больше видеть членов ЦК на местах. В этом замечании опять-таки нельзя видеть упрек всем членам ЦК. Многие из них, в том числе и Никита Сергеевич, много бывают на местах. Но ведь есть и среди руководящих работников ЦК такие, которые недостаточно общаются с народом. Разве не этот упрек был высказан Президиумом ЦК товарищу Молотову? Так почему мы не должны поддержать эту критику?

Об анкетном подборе кадров. Да, нельзя утверждать, что у нас существует один-единственный метод подбора кадров — по анкете. Но, с другой стороны, разве мало мы доверяем анкете больше, чем живому впечатлению о человеке. Разве во власти гипноза анкеты не находятся многие работники?

В партийной прессе, и в том числе в «Правде» часто раздается критика в адрес партийных работников, которые не хотят видеть за анкетой живого человека. И разве не имеет места этот недостаток в партийной жизни Ленинграда? Имеет. Я мог бы привести немало фактов. Ну, например, прием в Университет.

Еще год или два назад анкета имела в этом деле решающее значение. Юноша или девушка, которые имели несчастье детьми оказаться на оккупированной территории, имели значительно меньше шансов поступить в Университет. Это факт, товарищи, и неопровержимый факт.

А вот вам другой факт, взятый уже непосредственно из практики Обкома. Когда я в 1951 году окончил аспирантуру, мне предложили работать в Обкоме заместителем заведующего отделом искусства и литературы.

Как и полагается, я заполнил анкету. Тов. Иванов, бывший зав. отделом литературы и искусства, анкетой был удовлетворен: из крестьян, фронтовик, окончил аспирантуру. Что еще надо? Но через минуту чело т. Иванова омрачилось. Дело в том, что я сказал, что я недавно женился на женщине, которая была на оккупированной территории.

— Но почему же вы в анкете пишете «холост»?

— Дело в том,— отвечал я,— что жена моя не развелась со старым мужем, и я не могу зарегистрироваться.

Тов. Иванов облегченно вздохнул.

— Ну это нас не касается. Юридически она не жена твоя, а с кем ты там путаешься — это твое личное дело. Об этом можешь не рассказывать. Смотри! Не расскажи об этом т. Казьмину, когда вызовут. Худо тебе будет, Абрамов.

Я все-таки рассказал т. Казьмину. Более того, к графе «семейное положение» я приложил объяснение: юридически не женат, но фактически имею жену. Жена такая-то...

Как и следовало ожидать, меня не взяли в Обком. Я спрашиваю, изменилось ли что-нибудь от того, что я женился? Разве я хуже стал, менее полезен для партии?[1] Допустим, менее полезен. Но ведь на что толкал меня т. Иванов, руководствуясь анкетным подходом к кадрам? На преступление, на явную ложь перед пар-

[1] На полях была приписка: Может быть, исчезли с моих ног шрамы от ран, которыми я записал свою преданность партии?

тией. Было бы чисто в анкете, а с кем ты там живешь — неважно. «Надо быть более скромным в разговоре о своих интимных делах»,— сказал мне т. Иванов.

Но на этом дело не кончилось. В тот же или на следующий день т. Иванов позвонил в партком:

— Присмотритесь к Абрамову. Что это за птица? Чего вы его держите в Университете?

Вот вам результат анкетного подбора кадров. Но и это не все. В ближайшее время меня вызвал к себе т. Попов, работавший тогда зав. отделом науки.

— Хотим тебя привлечь к работе в Обкоме. Парень ты подходящий!

Разумеется, я опять сказал то, что говорил товарищам Иванову и Казьмину. «Рад бы, говорю, в рай, да грехи не пускают».

Тов. Попов, будучи человеком темпераментным, пришел в ярость. Как? Ты связался с женщиной, которая была на оккупированной территории? Ты запятнал свою биографию. Тебе этого партия не простит. Разойдись, пока не поздно. Смотри, Абрамов, с огнем шутишь!

Тов. Попову, разумеется, и в голову не пришло поинтересоваться, кто моя жена, что она за человек. Он привык оценивать человека одним мерилом. Раз не чистая анкета, значит, не чист и ты, значит, и ты прокаженный.

Такую гипнотическую силу имела анкета недавно над работниками Обкома. Что же удивительного, что на местах анкета имела еще большую силу. Мне, например, в то время один товарищ с нашего факультета заявил, что он дал бы отрубить три пальца на любой руке, если бы можно было сделать так, чтобы в его анкете не значилось, что престарелые родители были на оккупированной территории. Почему? Да потому, что товарищ рвался к власти, потому что товарищ понимал, какую силу имеет чистая анкета.

И что же греха таить? За чистой анкетой часто пробирались на высокие посты карьеристы, тупицы, стяжатели. А это приносило громадный вред нашему делу.

Поэтому критические замечания по поводу недостатков в подборе кадров надо воспринимать не как оскорбление по адресу Обкома. Нет, их надо понять правильно. Надо еще раз посмотреть, все ли у нас здесь в порядке. Такой и только такой вывод надо сделать из этих замечаний.

И еще одно: о праве коммунистов на критику руководящих работников партии.

С этой трибуны много было высказано замечаний в адрес т. Козлова. Но как же реагировал на это т. Житченко? Тов. Житченко опять увидел в этом крамолу. Как, сказал он, товарищ Хрущев заявил, что товарищ Козлов обеспечивает руководство области, а вы смеете критиковать его? При нем промышленность процветает, при нем Ленинград приобрел вид красивейшего города в мире.

Пусть так. Мы верим авторитетному заявлению Н. С. Хрущева, мы согласны с тем, что т. Козлов обеспечивает руководство. Но, спрашивается, можем ли мы высказывать свои претензии и пожелания т. Козлову? В уставе партии сказано: каждый член партии имеет право критиковать любого работника партии вплоть до работников ЦК.

Так почему же т. Житченко восстает против критики? Почему он так заботливо оберегает т. Козлова? Не нарушает ли т. Житченко устав партии?

Да, мы согласны, что т. Козлов обеспечивает руководство областью. Мы вовсе не хотим его сбросить. Но значит ли это, что у нас нет к нему претензий? Есть претензии. Мы хотим, чтобы т. Козлов стал еще лучше.

Как бы ни восхвалял т. Житченко товарища Козлова, но одного не скроешь: у т. Козлова нет вкуса к теории, а это для руководителя такого масштаба нетерпимый недостаток. Взять хотя бы последний его доклад на партсобрании Университета. Пока мы не ознакомились со стенограммой пленума ЦК, он еще нас в какой-то мере мог удовлетворить. Обычный, информативный доклад! Но когда мы прочитали стенограммы, неудовлетворенность стала очевидной.

На пленуме ЦК были подняты большие теоретические вопросы, а т. Козлов не счел нужным даже пересказать их. Что это? Недооценка теории или непонимание вопросов теории? И надо ли было сегодня поднимать на щит этот доклад?

Или вот еще один факт. В прошлом году в конце августа проходил пленум Обкома по вопросам идеологической работы в Ленинграде. В заключительном слове т. Козлов минут пятнадцать объяснялся в любви к писателю Кочетову. Не мелкая ли это тема для разговора с той трибуны, откуда на весь мир бросал пламенные слова бессмертный Ленин? И что удивительного, если в выступлениях некоторых товарищей прозвучало противопоставление т. Козлова Ленину и Кирову?

Мы все помним секретаря Обкома т. Малина, который пять раз читал нам на собраниях один и тот же доклад. И мы не хотим, чтобы т. Козлов избрал для себя образцом т. Малина. Мы хотим, чтобы хозяином священного здания Смольного был человек, достойный своих великих предшественников — Ленина и Кирова. Вот почему мы критикуем т. Козлова.

Жизнь, товарищи, идет вперед. Время предъявляет к руководителям новые требования. Руководить сегодня может тот, кто обладает чувством времени, кто понимает коренные требования эпохи, кто знает запросы и чаяния народа и кто преисполнен решимости осуществить их на деле.

Подготовка текста, публикация и вступительная заметка
Л. В. Крутиковой-Абрамовой

Алла Марченко

АЛЬМАНАХИ И ВОКРУГ

— Знаешь ли что? Издай Альманах.
— Как так?
— Вот как: выпроси у наших литераторов по нескольку пьес, кой-что перепечатай сам. Выдумай заглавие, закажи в долг виньетку, да и тисни с богом.

А. Пушкин. Альманашник, 1830-й год.

Год 1988-й, по-видимому, был «макушкой» общежурнального бума; измотанный подписными страстями, ажиотаж поутих, и год следующий, 1989-й, похоже, запомнится нам, его современникам, как год альманахов. Сохранит ли история литературы за ним этот «псевдоним», повторится ли ситуация двадцатых годов прошлого века, о которой Пушкиным сказано: «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах»,— угадывать не хочу. Но то, что именно альманахи вкупе со всевозможными полукоммерческими и вполне коммерческими начинаниями проворнее, чем «государственная» регулярная периодика, реализуют идею движения, понятую как приоритет свободного предпринимательства, бесспорно. И причины на то имеются достаточно веские.

Во-первых, дух времени, смутно, но помававший уверенным и скорым на подъем. Во-вторых, специфика «оптовых» возможностей в данном закоулке нашей культуры. Издательства осторожны и неповоротливы, за исключением разве что «Московского рабочего». Журналы же, самые ухватистые конкуренты альманахов и альманашников, с одной стороны, слишком разборчивы, а с другой — повязаны множеством тайных и явных несвобод: и «вассальной» зависимостью от своего «ведомства» (орган СП СССР, СП РСФСР, ЦК ВЛКСМ и т. д.); и традициями литприличий, негласных, но властных; и столь долгим отсутствием закона о печати, и своей экономической бесправностью. Непостижимо, но факт: известное постановление о некотором повышении гонорарных «вилок-сеток» периодические издания, приносящие Минфину миллионные барыши, не затронуло.

Правда, на текущий момент чисто экономический рычаг работает едва ли в четверть силы: советский литератор все еще крайне дорожит статусом журнального автора. Это и резонанс, и витрина, а следовательно, почти гарантия, что труд многолетний не сгинет в утробе массовых, массами не посещаемых библиотек... А так как принцип Преимущественного Права — нигде, кроме! —для нас, отставших,— все еще заморская диковина, то ничто и не мешает авторам без особых «брезгливостей» одно и то же произведение публиковать одновременно и в журнале и в альманахе.

Сквозь пальцы смотрят на сие нарушение классической законности и «хозяева» свободных изданий. Важно заполучить кассовое имя, а то, что читатель, схвативший, допустим, в суматохе часа пик «Зеркала», придя домой, вместо ожидаемой новинки Татьяны Толстой обнаружит уже читанную в «Новом мире» «Сомнамбулу в тумане», альманашников не смущает.

Не смущают подобного рода накладки и терпеливых читателей — во всяком случае, пока. Пока спрос на книгу превышает предложение...

Один лишь альманах «Пушкинская площадь» солидно пообещал потенциальным покупателям: все, что печатается на его страницах, печатается в п е р в ы е. Хорошо бы, конечно, дать еще и гарантию, что одновременно или «чуть-чуть» позже те же самые вещи, например, блистательно-читабельный «Час короля» Бориса Хазанова[1] или поэма С. Липкина «Техник-лейтенант»[2], не вынырнут в каком-нибудь незаметном, озабоченном проблемою тиража издании, что и произошло, к примеру, со знаменитой прозапоэмой Вен. Ерофеева «Москва — Петушки».

[1] В предисловии к альманаху «Пушкинская площадь» составитель (С. Костырко) сообщает, что опубликованный на Западе «Час короля» принес автору широкую популярность. И это, видимо, не случайно: как и в «Лолите» В. Набокова, в «Часе...» нет ничего специфически «нашенского», того «трудного, чужого, навязчивого», что, по свидетельству В. Аксенова, за границей, как правило, успехом не пользуется.

[2] Поэма написана в 1963 году, почти одновременно с романом В. Гроссмана «Жизнь и судьба» и практически о том же самом.

О том, что «Петушки» опубликует именно «Весть»[1], знала «вся Москва». Знала и ждала, изготовившись к доставанию — и альманаха, и его главной приманки: «Венечки» Ерофеева. Однако параллельно с «Вестью» «Петушки» напечатал тихий журнальчик «Трезвость и культура», несколько подпортив лавровый венок затейщикам многострадального альманаха. Но тут, справедливости ради, надо признать: на заре гласности, когда сама мысль о возможности легального функционирования литературного предприятия, редакционный совет которого взял бы на себя дерзость объявить, что несет единоличную ответственность за содержание своего издания, представлялась куда более невероятной, чем публикация скандально известной повести.

К тому же текст так хорош, так оригинален — вот уж где «великий и могучий» русский язык продемонстрировал свою «витальность», свою гибкость, свою феноменальную способность — «в паденье подниматься до предела»! И тем, кто не ухватил «Весть» и не подписался загодя на «Трезвость и культуру», остается одно: пожалеть, что примеру борцов с русским пьянством не последовали другие предприниматели.

Все это вместе взятое и «унавоживает» отведенные под альманахи участки литературной нивы. «Пьесы» бери где вздумается, издавай где хочешь и на каких угодно условиях. Была бы инициатива, да виньетка, да броское имя, способное заарканить вечно спешащего по неотложным житейским делам покупателя!

Впрочем, на виньетки и прочие оформительские излишества предприятия, основанные на началах скорой и верной прибыли, как правило, особо не тратятся. Зато по части выдумывания заглавий уступают разве что «крестителям» рок-групп: «Весть», «Апрель», «Зеркала», «Лексикон», «Встречный ход», «Слово», «Пушкинская площадь» и т. д. А возле настоящих альманахов легкой стайкой роятся как бы предальманахи: «Камера хранения» — неоклассический квартет ленинградских поэтов, пригретых полукооперативным московским издательством «Прометей»; «Поколение» — литературно-публицистическое приложение к воронежскому «Коммунару»; глядит в альманахи и изданное за счет авторов «трехтомное» собрание сочинений основателей ростовской «заозерной» поэтической школы (от фамилий заозеряне отказались, оставив на обложках лишь имена: Геннадий, Виталий, Игорь).

Однако, присмотревшись к альманашьему выводку повнимательней, замечаешь: далеко не все издания, объявившие себя альманахами, собираются и в дальнейшем существовать в этом вольном статусе. Некоторые явно стремятся стать журналом и, видимо, поэтому копируют типичную для ежемесячников композиционную структуру, правда, в несколько более свободном варианте.

Ну, чем, к примеру, отличается «Слово» (литературный художественный сборник издательства «Современник», составитель С. А. Лыкошин) от «Молодой гвардии», «Москвы» или «Нашего современника»? Ничем, кроме изобилия исторических материалов. Рядовой журнальной книжке такая нагрузка, такой сильный исторический акцент решительно не по объему.

То же с «Апрелем» (издание одноименной группы — неформального объединения в рамках СП СССР). И он почти в открытую демонстрирует полную боевую готовность перейти в иную весовую категорию! И он был бы почти неотличим от любого «левого» ежемесячника, если бы не крен в сторону чистого документа: разоблачительный «коллаж» из статей-речей Ф. Ф. Кузнецова, бывшего первого секретаря Московского отделения СП СССР, ныне директора Института мировой литературы им. Горького, стенограмма предвыборного выступления Б. Н. Ельцина в Доме литераторов, предвыборная же программа А. Д. Сахарова, учредительные «манифесты» группы «Апрель», эстонцы со своими альтернативами... И все это в технике «а-ля прима» — без комментариев и обобщений.

Знаю: «апрельцы» и не искали новой «парадигмы», не интересовали их поиски жанра; иная была у них цель: дать читателям как можно более полный свод политических (в широком смысле слова) материалов. И если бы не издательские — малые — скорости, затормозившие наступление «Апреля» минимум на полгода, это решение — вливать новое вино в старые мехи — можно было только приветствовать: документ, как всякое горячее блюдо, не должен остыть! Но вот беда: не поспело яичко к Христову дню, опередило быстротекущее время «скороходов» «Апреля», подтвердив правоту старого афоризма: нет ничего мертвее вчерашних новостей.

Появись, скажем, цитатный портрет Ф. Ф. Кузнецова хотя бы на полгодика раньше, нам, может, и хватило бы его агитационной, разоблачительной смелости. Ныне же, ставши опытнее самих себя на целых два Съезда народных депутатов, мы уже замечаем: лихость портретиста (Б. Сарнов) обернулась покушением на личность. Да и покушение ли это? Скорее, намек, внятный лишь тем, кто и без подсказки «Апреля» знает, в чем виновен бывший «градоначальник» литературной Москвы. Не в том, что в своих официальных выступлениях, письменных и устных, гибко следовал за генеральной линией Брежнева — Черненко; а в том, что именно в годы его отнюдь не железного «напостовства» Союз писателей из собрания профессионалов потихоньку-полегоньку превратился в

[1] Экспериментальная самостоятельная редакционная группа «Весть» при издательстве «Книжная палата».

скопище воинствующих недопрофессионалов. А чем это кончается в наши-то демократические времена, с ужасающей наглядностью показал прошлогодний, ноябрьский, Пленум СП РСФСР (простым голосованием решил судьбу «Октября» и «Ленинграда»; нарушил, никого не спросясь, Устав СП СССР, дав право ленинградской областной писательской организации («Содружество») увеличивать численность своих рядов за счет авторов с одной публикацией в периодике и т. п.).

С полной журнальной выкладкой, включая огромный, чуть ли не треть номера, отдел критики, вышел на подмостки и новорожденный «Московский вестник». Не тот обещанный москвичам журнал, редактором которого избран В. Гусев, а одноименный альманах, уже вышедший под водительством В. Шугаева (в Совместном предприятии «Вся Москва»).

Сбудутся ли тайные честолюбивые чаяния альманашников пробиться в ряды «большого журнализма»? Или, осмотревшись, они сообразят, что альманах в силу своей независимости и от постоянной прописки и от подписки куда более маневрен, а главное, полнее отвечает духу нашего текучего времени,— не ведает никто, даже сами учредители вольных изданий. А соображать есть что.

Возьмем, к примеру, стихи концептуалистов, метаболистов и вообще сложные (экспериментальные, как их уклончиво называют) тексты. Их адвокаты сокрушаются, что специфическая эта «элитарная» продукция не пользуется благосклонностью в редакциях массовых журналов. Но так ли уж необходима в данном-то случае большая аудитория? Пушкин, как известно, ссылаясь на Мильтона («с меня довольно и малого числа читателей, лишь бы они были достойны понимать меня»), полагал сие бессмысленным. Не уверена, что и сами подзащитные — обделенные вниманием широких читательских кругов литменьшинства — разделяют вполне точку зрения своих адвокатов. Не поленитесь, загляните в 10-й молодежный, номер журнала «Искусство», целиком предоставленный нынешним авангардистам (художникам, поэтам, «кинодéлам»). Да не желают они расставаться с безбрежной, ничем не ограниченной свободой самовыражения. «На сегодняшний день,— констатирует поэтесса Татьяна Щербина,— самиздата больше, чем было».

И то: где, кроме как в самиздате, может появиться сочинение, созданное, скажем, по такому рецепту:

«В «Пространстве»,— пишет Татьяна Щербина, характеризуя одну из собственных «рукодельных» поэтических книг,— совершен выход за рамки какого бы то ни было культурного языка, то есть это не текст. Текст (будь то стихи или картина) настроен на коммуникацию, он должен быть внятен на том культурном языке, на котором он обращается к аудитории. Здесь перо скребет по бумаге 12 страниц всего, что ему скребется (даже нельзя сказать — нравится, хочется, тем более — считается нужным».

Отчасти, видимо, это все-таки подсознательная реакция маргинального сознания, априори и навсегда испуганного необходимостью создать внятный текст. Но это в глубине. А на свету — крепко оседланная эстетическая позиция, полагающая высшей оценкой произведения: издано в одном экземпляре!

«Издано в 1 экз.» — конечно, крайность, рассчитанная на эпатаж, на любопытство западных коллекционеров русских потешек, на любознание и дотошность специалистов по изучению молодежной «авангардной активности».

Однако если смотреть шире, то нельзя не признать: нынешние «читатели стиха» — это не однородная масса, не расплывчатое МЫ пятидесятых годов, а множество группок и групп, и каждая — малое число достойных понимать! Удовлетворить столь дробный и привередливый спрос регулярная периодика не в состоянии. Однако то, что не может позволить себе подписной ежемесячник, вполне могут «соорганизовать» альманахи, если, конечно, альманашники не поддадутся ставшей ныне массовой погоне за баснословными тиражами, а, наоборот, положат за правило гордиться малым числом постоянных и преданных ценителей.

Но это уже гадание о будущем. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем: год альманашной активности.

Размышляя о причинах, слегка, но сдвинувших равнодействующую читательского интереса в направлении от журнала к альманаху, надо, видимо, принять во внимание и следующие обстоятельства.

М. Эпштейн (в интервью, опубликованном в «Литературном обозрении», 1989, № 8), осаждая энтузиазм собеседника, считающего, что в наличии имеется расцвет журнальной культуры, утверждает: никакого расцвета нет, журналы похожи друг на друга:

«При всем разнообразии журнального мира все они существуют как бы в одной парадигме».

Момент истины в рассуждениях М. Эпштейна есть, хотя, на мой взгляд, известное единообразие ежемесячникам придает не столько общность идей, сколько текучесть авторского состава. Печатный орган, в котором по вопросам экономики выступает, скажем, А. Стреляный, мог бы, мне кажется, существовать в иной парадигме с изданием, где тот же отдел ведет, допустим, Н. Шмелев. И не потому, что так уж сильно отличаются их идейные позиции, а потому, что у них разные индивидуальности. Все разное: и жизненный опыт, и образ чувств и мыслей, и стилистика, и темперамент, а в итоге — «разница в выделке вещи». И пока в журналах не сообразят, что журнальная команда должна быть клубной, а не сборносезонной, что удобнее и выгоднее «охотиться» не за рукописью, а

за автором, положение не изменится. Вольноопределяющийся автор, не связанный экономически ни с одной из редакций, так и останется кочевником: сегодня — здесь, завтра — там! Платят-то ему везде одинаково: за погонный метр набора, даже без надбавки за выслугу лет.

В плане этих размышлений любопытен опыт «Московского вестника», решившего выделиться из расчисленного круга единообразных ежемесячников посредством простого сложения (совмещения) противоборствующих литературных сил: пусть, дескать, все цветы произрастают на нашей плюралистической клумбе. Короче, редактор альманаха В. Шугаев не только печатно объявил, что редколлегию не смущают мнения и концепции, вызывающие ее несогласие, но в первом же выпуске напечатал вещи несовместные: исторический очерк Карема Раша «Пречистенка» и «исповесть» Георгия Гачева («Андрей Синявский — Абрам Терц и его роман «Спокойной ночи!»).

И что же? На первом же форуме потенциальных авторов (пленум Российской писательской организации, ноябрь, 1989 г.) схлопотал от Т. Глушковой под бурные аплодисменты зала строгий выговор по «партийной» линии. Не желают чистые рядом с нечистыми, то есть с Гачевым и Синявским, от лица всея Москвы представительствовать! Куда иголка, туда и нитка... И вот уже и ленинградская писательская организация в раскол пошла, область от города отделяется! Свое, мол, заводим: и нравы, и прессу, и финансы. Там, за бугром, ЭТОТ Берлин с ТЕМ Берлином братаются, в гости друг к дружке едут-идут, шампанское распивают, а мы — чашки об пол: разводи нас, и все тут! Совсем по Есенину: «Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода...»

И все-таки ничего фатального в расколе нет. В наших специфических обстоятельствах хорошая ссора предпочтительнее худого, лицемерного мира — комедии единочувствия, какую мы так долго, так вяло и так бездарно играли! И даже то, что борьба идей сплошь и рядом выворачивается изнанкой, то есть борьбой людей — натурально («вижу опасность, но еще не вижу погибели»). Гомо советикус, которого с пеленок до гроба приучали к благообразию, взбунтовался, очухался и требует сатисфакции — за «обезличку». Да, шум и ярость берут верх над здравым смыслом, но ведь «страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии». Судьбоопасны не ссоры и свары, не крайности как таковые, а то, что причиной выбросов злокачественной ярости сплошь и рядом оказывается не суть предмета, а способ его соображения![1]

Ну, кто б из угадчиков совсем недавно мог предположить, что в эпицентре «сталинградской битвы» за журнал «Октябрь» окажется фигура Андрея Донатовича Синявского? И не вообще Синявского во всем объеме жизни и творчества, а самое светлое из его еретических произведений — «Прогулки с Пушкиным», крохотный отрывок из которых опубликовал журнал (№ 4, 1989)?

Приговор Солженицына: страшно и стыдно жить в такой стране, — проглотили, как изюм в шоколаде, не поперхнулись. И от Анатолия Курчаткина, заявившего в «Литгазете», в самый канун открытия «исторического» пленума СП РСФСР: «Мы сделались хамами», — как от мухи отмахнулись. А тут, на пленуме...

Предвижу возражение: и Пушкин, и Синявский — «ширма», предлог, все дело, дескать, в отчалившем от правого берега и уже не управляемом с помощью дистанционного устройства «Октябре». Не без этого. Но и в Синявском тоже: чтобы раскусить сей орешек раздора, мало культуры вообще, элементарного уважения к независимости чуждого мнения мало.

Анатолий Стреляный в аналитических воспоминаниях о временах Хрущева высказал одно замечательное по точности соображение. Оно, уверена, имеет прямое отношение к зигзагам «гражданской» войны в литературе:

«Специалист от любителя отличается тем, что знает историю вопроса, держит в поле зрения все стороны предмета и понимает, как они между собою связаны. Хрущев был любителем до мозга костей. Истории вопроса для него обычно не существовало, видел он обычно одну, от силы две стороны предмета — довольно случайные, но чем-то привлекательные, о целом клубке связей и не подозревал». И далее: «Дело не в его неотесанности. Среди настоящих специалистов бывали и бывают весьма неотесанные персонажи. Хрущев — при его уме, таланте, живости — мог бы, наверное, освоить все, что положено солидному специалисту-агроному (если брать агрономию). Но он был любитель по своей слишком увлекающейся и нетерпеливой натуре. Как можно с одинаковым вниманием всматриваться во все стороны предмета, если вот эта — такая интересная, такая привлекательная, просто чудо!» («Дружба народов», 1988, № 11).

Вот где таится погибель, во всяком случае — прямая опасность погибели!..

Извечно-российское несчастье — **горе от ума** сильно сократило запасы ума, особенно высших алмазных кондиций (ума, который являлся как бы инстинктом, который «схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения», как писал когда-то Петр Чаадаев об Иване Якушкине).

Иных уж нет, а те — далече...

И все-таки, как выяснила гласность, не

[1] Употребляю это понятие в классическом (пушкинском) значении: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следст(венно) к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных».

перевелись и на наших эрозированных суглинках умные!.. И число тех, кто желает думать и размышлять, растет не по дням, а по часам — 30 с лишним миллионов подписчиков на «Аргументы и факты», то есть минимум 60 миллионов читателей — да это же целая Франция!

От того, чем разрешится борьба умов — трагическая схватка любителей со специалистами, — зависит не только судьба Советской федерации, но и «грядущая лета России», которой, как, впрочем, не раз уж бывало, пророки и от Истории, и от Философии, и от Экономики предсказывают «близкоконечные бедствия»!..

А зарубежные наблюдатели смотрят из своего комфортабельного далека, смотрят и удивляются:

«... В России нет центристов! Вещь тем более для западного человека удивительная, что во всех западных демократиях есть очень сильные центристские слои и группировки... Власть там оказывается то у правоцентристских партий, то у левоцентристских и никогда не достается крайним партиям (исключение — фашизм, но это было уже давно). Но чтобы в стране вообще не было центристов...То есть не то чтобы центристов совсем не было. В центре — Горбачев, фигура немаловажная... Но он один — или почти. Он как бы в центре круга, по периферии которого располагаются взаимоисключающие и непримиримые силы: аппарат, отнюдь не спешащий с самоустранением, демократическая интеллигенция, требующая всего и сразу, националисты, известно чего желающие, и популисты, ищущие виновников и отмщения. Упорно стремится Горбачев свести их на общую почву во имя общих интересов и... только теряет на этом популярность. Потому что он ни с кем в стране, где обязательно нужно быть с кем-нибудь. Он стремится быть за всех одновременно, а значит, многие не считают его своим» (Арвид Крон, «Протянем руку «железной руке», «ЛГ», 18.10.89 г.).

Не мне судить, насколько справедливы впечатления зарубежных советологов в отношении к высшим эшелонам власти. Но они, по-моему, достаточно верны применительно и к состоянию общества в целом, и к отражению-портрету этого состояния в зеркале литературы. Истинно центристских сил действительно либо нет совсем, либо они находятся в инкубационном периоде развития; соответственно нет и центристских журналов. Многотиражная же периодика, в крайней степени идеологического напряжения, увеличивает численность своих войск, не считаясь с разницей во вкусах, брезгливостях, мнениях и т. д.

Но разность-то существует! Недаром же с не знающей прецедента поспешностью самосознание общества дробится на неформальные объединения. И каждая из дробей жаждет самоопределения, ищет свое лицо, свой оттенок, а следовательно, свой «штандарт» и свой печатный орган.

Так как же отреагировала независимая пресса на эту ситуацию? Как воспользовалась открывшимися ей (именно ей в первую голову) возможностями?

По-разному.

«Московский вестник», как я уже упоминала, предоставил свой «зал» и свою «сцену» представителям разных «прапартий».

Согласятся ли с этой новацией его покупатели, если альманах, как вроде бы рассчитывают его организаторы, станет первым вневедомственным журналом? Не уверена. Мне, к примеру, почему-то не хочется платить 3 руб. 95 коп. (цена одного выпуска) за входной билет на митинг, который открывает Карем Раш. При всем любопытстве к модификациям «помрачения умов» я физически не в состоянии ежемесячно потреблять плоды помрачения, если их качество снижается до уровня откровений автора Путеводителя по Пречистенке. Скажем, таких:

«Что до Музея изящных искусств, которому кто-то в насмешку дал имя Пушкина (поэт всей своей жизнью дал величайший на Руси пример человека, прошедшего от вольтерьянства к православию, как бы от храма изящных искусств к Храму Христа Спасителя)...»

Или — о Сикстинской Мадонне:

«...мясисто-розовые виртуозные писания возрожденцев».

Или о Москве — как Образе и Принципе:

«Москва прежде всего город военный и воинской славы,— поэтому нигде военный не должен бы себя чувствовать так естественно и уместно, как в Москве. Иностранцам это должно не нравиться. Стало быть, это хорошо для нас. Иноземцу лучше, чтобы вместо твердынь и храмов стояли кабаки, рестораны, снова кабаки, театры с шоу, чтобы он весь день чувствовал подрыгивание в теле, и как можно больше «порно»...

Да помилуйте! — воскликнет в крайней горести бедный населенец Пречистенки, а также Остоженки, а также Хамовников, сама в том районе живу, знаю. Не иностранцам магазины да трактиры нужны, у них и своих предостаточно, а нам, недокормленным, разутым-раздетым, нам и «гостям столицы» — десантникам, набегами на московские прилавки и нас, и себя измотавшим: ни поесть, ни попить, ни присесть нигде... Нам, что же, в живые мощи превращаться, дабы порадовать отрешенными от всего земного схематичными ликами неистребимых «акимов-фанасов», все еще, оказывается, «бредящих» «имперской славой»?

Но неистовый воитель непреклонен: надо же, рядом с Академией им. Фрунзе враги Отечества «назло» всем военным посадили громадную и расплывшуюся фигуру непротивленца и пацифиста Льва Толстого».

Можно бы, конечно, этак деликатненько возразить автору Путеводителя по городу Воинской Славы, что Лев Толстой «расселся» в Хамовниках не назло во-

енным, а по естественному праву, ибо здесь стоял и стоит его Дом — земная его обитель, и место поселения пацифисту не противопоказано: исстари селились в Хамовниках искусные ткачи, поставлявшие ко двору Алексея Михайловича «хаму», то есть бельевое, простынное полотно. И не помешай им активисты «Третьего Рима», глядишь, и наткали бы, как пушкинская девица, его на весь мир!

Однако парадокс в том, что К. Раш, как выяснится через несколько страниц, и сам об этом прекрасно знает. Знает, но таит, бережет до поры как единственный козырь против супостатов, переименовавших Хамовнические улицы... во Фрунзенские. Как такое уразуметь? И Толстому сидеть возле Академии им. Фрунзе — неприлично, и называть примыкающие к академии улицы Фрунзенскими — опять же «кощунственно» (и как, дескать, поднялась рука истребить даже память о мастерах хамовного дела?).

Что это? Легкость в мыслях необыкновенная?

Впавших в «раж» и «транс» апостолов «Третьего Рима», похоже, не могут обуздать даже их ученые совместники по «Тройственному» союзу. Сколько труда неусыпного, сколько любознания истратил Петр Паламарчук (читайте его философско-богословский трактат «Москва, Мосох и Третий Рим» в альманахе «Слово»), чтобы не просто внушить телепатическим способом — на расстоянии,— но и фактами, самолично извлеченными из древних текстов, убедить соратников в том, что:

«Не чуждые Мосох или Рим, ...но созданный Андреем Рублевым образ Троицы символизирует для нас высшее достижение отечественной культуры... Да воззрением на нее... побеждается страх ненавистной розни мира сего»!

И что же? Не внемлют. Не слышат, ибо не р а з у м е ю т, ибо живут и действуют в ином законе, который кто-то из случайных соседей П. Паламарчука по «Слову» остроумно определил как «закон противодействия сложности».

Увы, опасаюсь: не по зубам «истинным патриотам» (термин Вадима Кожинова) и премудрые философические композиции Паламарчука. Им бы — чего попроще. Например, из А. Любомудрова, в том же, кстати, «Слове» для помрачения соотечественников опубликовавшего комикс на тему: «Житие Александра Сергеевича Пушкина». В году 1812-м юный Пушкин завидовал, мол, тем, кто шел умирать за Отечество на поле брани. Затем, уже в возрасте зрелом, дал отпор клеветникам России, за что клеветники его и порешили, превратив в м и ш е н ь д л я в р а г о в р о с с и й с к о г о г о с у д а р с т в а» (разрядка моя.— А. М.).

А вот и финал втиснувшейся в комикс великой жизни: «Высокая мечта юного Пушкина исполнилась: сегодня ясно видно, что на дуэли с французским авантюристом он защищал честь Родины и погиб, отстаивая «России честь»...

На том же уровне объясняют «истинные» и «грозу двенадцатого года». Так, Вл. Левченко печатает в «Слове» же отрывки из своих записных книжек, уверяя, что Наполеон хотел не просто завоевать Россию, но раздавить русский дух, уничтожив все до единого «материальные следы ее прошлого духовного развития», дабы лишить россиян «малейшей возможности к возрождению».

Ты что, неосведомленный читатель, думаешь — неистовый губернатор московский Ростопчин поджег Москву? И Москву, и свой собственный дворец? Что это по инициативе ультрамосквича сгорели и домы, и храмы, и уникальные библиотеки, и подлинник «Слова о Полку Игореве»? Ошибаешься. Все это происки масонов: Наполеон марионетка в их руках! Те же самые силы, та же «проклятая орда», по Левченко, и 14 декабря смастерила, и еще н е м а л о ч е г о...

Какая, однако, удобная, компактная, поразительно простая в обращении азбука париотизма! Заучи с голоса чужого несколько аксиом — и ступай с богом сдавать экзамен на звание Истинного патриота... И среднего образования не надо, четырех классов хватит.

Похоже, что и тут, в «Слове», то есть на территории, контролируемой «Тройственным союзом», намечается раскол. С одной стороны трещины — профессионалы: Петр Паламарчук с уже названным «гуманическим» сочинением, Константин Ковалев («Год в музыке» века минувшего), Владимир Славецкий («Пластмассовая эпоха» и живая целостность поэзии») а по другую — воинствующие непрофессионалы образца Вл. Левченко — А. Любомудров.

До открытой борьбы, правда, еще не дошло, раскол формально не зафиксирован, может быть, даже не осознан вполне, но противостояние умов и в этом стане наметилось, и тут началось дробление. И я, право, не удивлюсь, если вместо следующего выпуска «Слова» возникнут два альманаха, идеологически близкие, но по способу соображения и объяснения понятий все-таки разные.

Что касается «левых» альманахов, то они уже как бы разгруппировались, рассредоточились по интересам-предпочтениям, пусть в первом приближении, и тем не менее.

А. Лаврин, распорядитель альманаха «Зеркала», собрал в своем зазеркалье в основном бывших («задержанных») молодых, т. е. «другую прозу».

Молодежный центр «Стиль» открылся изданием «Встречного хода», отдав предпочтение действительно молодым прозаикам, к тому же пишущим на молодежные темы (С. Василенко, В. Нарбикова).

«Пушкинская площадь» радушно приютила и тех, и других, и третьих — всяких, приготовив любителям российской словесности этакую корзинку, в которой каждый, порывшись и попробовав на

зубок, найдет себе что-нибудь по душе и по вкусу: кому сомнительные экзерсисы Н. Брода, кому «Кармен-сюита» Ан. Гаврилова (этот «Гранатовый браслет» по-совдеповски, на мой взгляд,— классика «другой прозы»).

«Апрель», если иметь в виду его прозу (сильно потесненную публицистикой, но тем не менее присутствующую в альманахе отнюдь не на птичьих правах), сделал ставку на произведения с повышенным содержанием социальной остроты («Зема» А. Терехова, «Современные сказки» А. Злобина).

«Весть», похоже, видит свое предназначение не только в том, чтобы материально-морально помочь редко печатающимся талантам, но прежде всего в том, чтобы обратить внимание литературной общественности на авторов, выпадающих из журнальных ансамблей и по причине несоответствия конъюнктуре, и из-за чрезмерной, недопустимой в многотиражной периодике стилистической сложности текстов («Закудыкина гора» Ю. Стефанова, «Сто дней» А. Давыдова).

Речь, разумеется, идет лишь о ведущей тенденции, ибо и в «Апреле» есть произведения, направлению главного удара не отвечающие, и в «Вести» немало политизированных, открыто социальных вещей — тот же В. Коркия с поэмкой «Сорок сороков».

И тем не менее, когда сравниваешь эти два издания, трудно отделаться от впечатления, что для «апрельцев» куда важнее направление. Во всяком случае, «Апрель» явно апеллирует к «не совсем читателям» (формулировка из статьи Ст. Рассадина о А. Галиче в «Апреле» же). То бишь к подавляющему большинству. «Весть» же решительно развернута именно к читателю, причем к читателю начитанному и даже привередливому. Надеюсь, что и этот встречный ход оправдает себя, что не только «апрельцы», но и «вестники» не останутся без покупателей и без авторов, хотя, если верить А. Латыниной (предоставившей свой Взгляд на ситуацию последних лет «Московскому вестнику»),— литературы (искусства) нигде не видать: сплошная «натуральная школа». С точки зрения критика, это хула, с моей же — похвала если, конечно, товарищи потомки не опротестуют вывод Латыниной как очередную нашенскую похвальбу.

Да что — я! На том, что натуральное направление, образовавшееся под влиянием Гоголя,— живое, действенное, «истинно гуманическое»,— сходились и Добролюбов, и Белинский, и Вал. Майков. Больше того, именно натуральная школа (так в раздражении «обозвал» писателей гоголевского направления Ф. Булгарин) подготовила и почву, и читателей для Толстого и Достоевского...

Да так ли уж бесперспективен нынешний натуральный реализм? Глядите, как широко шагнул двадцатидвухлетний новобранец апрельской команды, автор замечательной повести «Зёма» А. Терехов! Шагнул — и оставил где-то далеко позади и калединский «Стройбат» и «Сто дней до приказа» Ю. Полякова.

Читаешь рассказанную А. Тереховым обыкновенную армейскую историю и с ужасом (не преувеличиваю ничуть!) осознаешь, что дух и обычай 37-го года (в широком, интегрирующем смысле), казалось бы, изгнанный из нашего нынешнего общежития, по крайней мере де-юре, на самом-то деле никуда не исчез, а переместившись в казарму, «расцвел пышным цветом», пользуясь звуконепроницаемостью «закрытой зоны»!..

Прочитайте внимательно сцены из каждодневного быта столичной общевойсковой гауптвахты, особенно «банную», «ватерклозетную» и «ночную». Да ведь это же концлагерь сталинских времен, возведший в высший принцип, в сладчайшее из возможных (для низких натур) удовольствий — удовольствие от унижения человеческого достоинства. А ведь тут в роли униженных не *враги народа*, а дорогие наши мальчишки, и то, что красная цена прегрешениям их, даже в Свете Буквы Устава — копейка, унижающие знают доподлинно. Знают, и тем не менее, подстрекаемые безнаказанностью, дают полную волю инстинкту власти, а он воистину страшен, когда самоутверждается на примитивном, физиологическом уровне.

Впрочем, с настоящей прозой всегда так — она обречена на самопроизвольное, органическое расширение первоначального конкретного смысла-замысла, в силу чего и оказывается умнее, глубже своего сюжета, а порой — и авторского намерения. Да, налицо явный крен, почти перекос в сторону нового, трезвого и жесткого, простого реализма... Но тут уж ничего не поделаешь, ибо, как давно и не нами замечено: «идеи создания органические, их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие». А раз так, то чем настойчивей мы будем прогрессировать в центробежном (от «чистого искусства» убегающем) направлении, тем скорее — по неизбежности обратного толчка — оформится в реальную культурную силу и противоборствующая тотальной политизации искусства центростремительная тенденция. Пока она, правда, существует даже в нашем сознании как не слишком серьезная вероятность, однако все-таки пробивается со своим особым мнением и на страницы центральных газет. Я имею в виду опубликованное в «Советской культуре» (14 октября 1989 г.) выступление Ан. Макарова в «тандеме» с Ю. Соломоновым.

Сегодня все политика,— утверждает Ю. Соломонов:

«Какие политические драмы разыгрываются, каких героев рождает народное движение, каких антигероев оно дарует нам тоже. Какой, к черту, «Спрут» может сравниться с первым Съездом народных депутатов!»

Да нет,— возражает ему Ан. Макаров,— грядет время искусства, ибо «праведная, прогрессивная конъюнктура... не менее пагубна для художников, чем конъюнктура, спущенная в качестве социального заказа для пропаганды небывалых достижений и беспрерывных успехов». И даже так:

«...Может, и не стоит так уж гнаться за злобой дня. Может, пришла пора, да не прозвучит это слишком красиво, заняться поисками гармонии. Той, что так не хватает сейчас нашему дню и озлобившимся, изверившимся сердцам наших современников».

Мое мнение? Оба правы и оба ошибаются! Нравится нам это или нет, но литература всегда была и будет не только «заложницей вечности», но и «пленницей времени».

Рассмотрим, к примеру, большой, размером в малоформатную повесть рассказ самого Ан. Макарова «Колонный зал» (1-й выпуск «Московского вестника»). На мой взгляд, это вообще одна из значительных публикаций прошлого года, и я, честно говоря, не понимаю, как могло случиться, что такую «добычу» упустили ведущие наши журналы, дружно сетующие на отсутствие хорошей современной прозы!

В. Шугаев, как видим, не прозевал,— открыл «Колонным залом» раздел «Рассказы наших дней», что свидетельствует, надеюсь, не об одной лишь редакторской предприимчивости, но еще и об эстетическом чутье на «язык простой и страсти голос благородный»!

Так о чем же этот никуда не спешащий, простой, начисто лишенный «ложной мишуры» рассказ? Вроде бы о том, как некто Орехов, московский пацан, дитя асфальта и подворотен, исхитрившись, пробрался в Колонный зал, чтобы вместе со всей страной проститься с Вождем. О том, как его чуть было не раздавила толпа скорбящих, а он уцелел, спасся, вскарабкавшись на молодую липу — одну из тех, что и ныне украшают главный проспект столицы. Так — по сюжету. А по действительному объему — обо всем, о чем мы сейчас неотвязно думаем. О феномене Сталина. О преданном ему народе. О психологии толпы. О той темной и страшной потенциальной энергии, какую рождает само из себя любое скопление, любая массовая *заединщина*. Рождает и копит, чтобы в единый неуправляемый миг превратиться в силу кинетическую и сокрушить, слепо и дико, все, что попадается на ее пути.

А ведь, похоже, ничем таким ни автор, ни его Подросток не озабочены. Казалось бы, Макаров целиком, без остатка поглощен сугубо художественной задачей: воскресить март 1953-го года во всем правдоподобии страстей и обстоятельств, с поправкой на юный возраст героя, в пространстве его, Орехова, разумения, и тем не менее... И надо же: вспоминаем и узнаем и *тот* март, и себя в *том* марте. Узнаем и соглашаемся: ни в одном из литзеркал, ни на одном литературном дагерротипе столь похожими на самих себя мы себя еще не видали. Даже в видоискателе «Московской улицы» Бориса Ямпольского, ибо на той *режимной* улице ни автору, ни загнанному страхом герою было не до нас. Там мы лишь обтекали страшный Арбат не попадающей в фокус, не разделенной на лица и положения гулкой, но безъязыкой человечьей рекой...

И вот ведь какая штука. Попав на улицу Пушкинскую (место действия рассказа «Колонный зал»), смотрим мы вроде назад, а глядим-видим вперед, ибо прошлое здесь, у Ан. Макарова, словно бы превращается в будущее и, обращаясь к настоящему, предупреждает: люди, будьте бдительны.

Так ли, например, направляема, казалось бы, управляемая лишь разрушительным инстинктом своеволия жестокая и даже мстительная, несмотря на благородство «конечной цели» (пробиться в Колонный зал), толпа?

Вон как ловко ловят свою рыбу подручные высокого и солидного человека в коверкотовом пальто и модной кепке, наверняка сшитой лучшим мастером Столешникова! Орехов по свойственной «гаврошам» неутомимой наблюдательности нарекает высокого — «Червонцем», а мы, естественно, сразу же принимаем его за переодетого агента КГБ. Однако вскоре вместе с Ореховым соображаем, что перед нами скорее мафиози образца середины 50-х.

Одного лишь короткого кивка «Червонца» довольно, чтобы люди его команды быстренько организовали средь бела дня, в битком набитом центре Москвы групповое изнасилование студенток. Это по его, «Червонца», телепатической воле толпа, сгрудившаяся во дворе ореховского дома, втянувшая в себя и отцов семейств, и молодых женщин, вмиг озверев, идет на *таран* закрытых ворот: «Бородатые воины царя Дария целой командой тащили наперевес тяжелый деревянный кол... Мог ли предположить Орехов, что увидит его когда-нибудь наяву?»

Но какую цель преследует «Червонец»? Что ищет во взбаламученном людском море, где все так чудно и страшно смешалось — и черные воды, и светлые? Упоения властью? Тайной, без славы, но властью?

Нет, Анатолий Макаров ни на чем не настаивает. Его метод добычи истины — метод тщательного реализма, исключает подсказки. Это мы сами в силу собственного разумения, соразмерно пространству своего воображения, сопоставляем, сравнивая ТОГО, кто, отцарствовав, лежит в Колонном зале,— с ЭТИМ: в дорогой кепке, с неподвижно скульптурным лицом. А сквозь парный портрет как бы сами засвечивают себя и другие, многие, подобные Лица, вплоть до замелькавшей на наших телеэкранах физиономии некоронованного правителя «Памяти»!..

Уже по одному «Колонному залу» ясно, что, отстаивая идею гармонии, Ан.

Макаров имеет в виду не столько свои, личные амбиции, сколько общие надобности. Ведь литературе даже в самые неблагоприятные для гармонических экспериментов времена необходимы искатели (сыны) гармонии. Для равновесия. Для здорового эстетического «обмена веществ». Да они, кстати, и не переводились даже в тусклые годы застоя. Просто в ту пору — за отсутствием спроса — их никто не замечал. (Были — как не были.)

Впрочем, и ныне «сынам гармонии» не так-то легко найти своего читателя. Возьмите повесть «Закудыкина гора» — никому доселе не известного Юрия Стефанова, разысканного и явленного миру редакционной группой альманаха «Весть». Вот, к примеру, как исполнена здесь одна только фраза, вольно и строго раскинувшаяся почти на полстраницы убористого текста:

«Прадеды ездили в Ригу и Ревель по разным торговым делам — пеньковым, бочарным и хлебным — и там, на досуге, наскучив толкаться по рынкам и спрашивать цены, клянчили у знакомых гансов и фрицев на прочтенье, перевод и многократное переписание трактаты Альверта Великого о камнях и звездах, о знаках зачатия и о том, как узнать, соблюла ли девица свое драгоценное девство, привозили в Змеёвку и Кромы крамольные книги о змиях и землях незнаемых, разбирали творения врача знаменитого Парацельсия о стихийных духах и об эликсире премудрых, в укромных местах сохраняли градусы и уставы баварских и прочных иллюминантов, — надо ж было им хоть изнутри, с исподу иллюминировать свой конопляный мирок, на полсвета растекшийся темным купеческим царством, коль не хватало казны на просвещение извне, — сам черт давно бы сломал в России и роги, и ноги, если б не эта иллюминация потайная, да, кроме того, не пожары, что каждую ночь просвещали их темное царство похлеще Вольтера и Дидерота, — а сих просветителей прадеды не почитали, со справедливостью полагая, что нечего изводить масло, бумагу и время на переводы и многократное переписание пустого дворянского чтива: пускай его Пушкин читает!»...

Наперед знаю: «политики» поморщатся — не ко времени, дескать, такой «изыск». Однако убеждена: и единомышленники найдутся и согласятся со мной — процитированная фраза стоит иного романа.

А между тем у Ю. Стефанова типичная для выходца из «андеграунда» творческая и житейская биография. Родился в Орле в 1939 году. Окончил искусствоведческое отделение истфака МГУ. Переводил Ронсара и Рембо, пьесы Расина и романы старых французов. Работал грузчиком, кочегаром. «Закудыкина гора» написана в 1975-м. Оригинальная проза печатается впервые.

Но как же отличается эта оригинальная проза от того, что делают «*другие*» — даже выправка иная, чем у детей подземелья, — и тех, что все еще дрейфуют на его дне, и тех, что с таким шумом и блеском вырвались из катакомб «андеграунда», вмиг превратившись из вчерашних отверженных в любимцев читающей публики (Е. Попов, Л. Петрушевская, В. Пьецух)! Конечно, и тут, у Ю. Стефанова — «наперекорность официозу» (термин Владимира Потапова, автора интересной статьи о «другой» прозе — «На выходе из андеграунда», «Новый мир», № 10, 1989).

И тут — движение в обход середины, но не низом, как у других, а верхом, и притом без пошлого идеальничанья, без квасной упаковки. Смело, до дерзости, «подпитывает» Юрий Стефанов свое гармоническое ясногласие, свою такую красивую бунинско-тургеневских «кровей» прозу, черпая из, казалось бы, внеположенных ей источников — и из русского «чернокнижья», и из опыта своих французских переводов!

Гибридный цветок удался на удивление — и диковинным окрасом венчика, и гибкостью стебля, а главное, устремленностью Горé. И все это без намека на неоавангардизм — стопроцентная коммуникабельность и внятность:

«Тут даже средь бела дня звезды горят сквозь дыры на ржавых листах, и, зримые плотскому глазу, толпятся пылинки мирового эфира, образуя светоносный столп, подпирающий ветхую кровлю: горнее место!»

Почему эта замечательная повесть, в которой нет ничего криминального, кроме элитарной *выделки*, пролежала без движения в письменном столе автора целых пятнадцать лет? И каким образом Ю. Стефанову удалось в таких обстоятельствах сохранить в своей душе такой свет?

Не правда ли, есть над чем поломать голову?

А может, прав А. Давыдов, автор «записок сумасшедшего» — повести «Сто дней» (опять же — в «Вести»!): «Как, однако, любой миг безвременья открыт верхнему, как бы проколот небесным лучом».

Правда, сделанный А. Давыдовым выбор и сдвиг к «небесной земле» реализован в «Ста днях» посредством прикрепления к иной «борозде», к иной культурной традиции — библейской, причем в самом архаическом варианте. Творческая ориентация на архаику, как бы обходящая стороной европеизированный опыт булгаковской стилизации (в «Мастере...»), придает весьма специфический оттенок и экзальтациям, и видениям заключенного в «психушку» героя повести. Здесь как бы все еще не совсем «ново-заветно»: и строй чувств и мыслей, и фактура. Убогая нищета святой хижины (грубо выструганные ясли, младенец Иисус, похожий не на херувима, а на первозданную «капельку» с лицом, как «печеное яблоко») и резко контрастирующий с

убожеством реалий, опасно балансирующий на грани безвкусицы блеск Божьего Знамения:

«...кракнули небеса, как лопнули по шву, и многоцветный столб, сверкающий всеми сокровищами мира, вмах пробил кровлю. Ребенок взвихрился в блистающем столбе, разбившись сияющими блестками. Оба пастуха пали на колени. А я если не закрыл глаза, то только от ужаса, превышающего все возможное».

Но это уже разница в слове и выделке, в выборе культурного «спонсора», а устремление духа то же, что и в «Закудыкиной горе»: «Горе имеем сердца»...

Мелочи? Копание в изысках стилистики? В данном случае — не мелочи, не детали декора, а знаки пути, недаром же они подобны у Давыдова и Стефанова: ребенок, светоносный столп, кровля и т. д. (Вспомните притчу о рыбке в повести В. Маканина «Один и одна». Рыбка разломана пополам. И эти две неравные, но подобные половинки должны совпасть при встрече единочувственников — людей одного «выводка».) И ежели по таким вещим знакам, вернее, по направлению, на какое они указуют, пройти дальше и левее, то выйдем, похоже, к альманаху «Апрель», к поэме О. Николаевой о святом Августине. И вряд ли это случайность или желание завлечь в свои ряды молодого, но модного автора.

Сосредоточившись на политико-экономических вопросах, особенно в последнее время, мы как-то не то чтобы не заметили, а скорее застигнутые врасплох, не совсем еще сообразили, почему с такой скоростью набирает сторонников «мистическое направление». Лично мне, признаюсь, одинаково чужды как «эмансипаторы миров» — «гонители святого духа мистицизма», так и неистовые его ревнители. А спрос на мистику, управляющий массовым сознанием, еще и пугает — не из огня ли да в полымя?

Однако все это — факт, и притом совершившийся, а значит — отрицанию не подлежит, даже если его появление и кажется «прискорбным».

Тем более, что сей факт смутно-изнутри, «с исподу» «иллюминирует» надежда: а что если разлив мистицизма — лишь вывернутая наизнанку догадка о большей, чем политическая, — о вечной истине: «Горе имеем сердца»?

К тому же отдельные ученые-оптимисты из числа молодых философов с физико-математическим уклоном, то бишь нынешние «чернокнижники» — с цифрами и схемами, доказывающими цикличность «социально-политических климатов», твердо обещают возвращение эпохи разума и восстановление авторитета науки. По всем расчетам, дескать, мы находимся «в преддверии новой аналитической волны, которая реально должна наступить в 90-х годах» [1].

Ох, как хочется поверить в это «чудное открытие»! Ведь иначе: либо — «новая (плохонькая) Голландия» («не доехал и устал и уселся у куста»), либо новая Великая Тьма.

И в последний,
Уже распоследний черед
Я увидел Великую Тьму,
И сказал я, как старец: — ...уже не пойму,
И спросил я, как мальчик в пустынном дому:
Что же делать мне здесь одному?

На этом можно было бы поставить если не точку, то отточие, сообщив постскриптум, что процитированные стихи («Уроки Кармы») принадлежат Геннадию Жукову (ростовчанину, которого, как и Юрия Стефанова, выудила из безвестности все та же внимательная «Весть»), если бы не одна неотвязная мысль. Мысль эта преследовала меня на протяжении всей работы, хотя я вроде бы честно старалась отделаться от нее словами, то есть точной формулировкой. Получалось то слишком жестко, то недостаточно внятно. Из затруднения вывела случайно попавшаяся на глаза газетная заметка; ее автор уже сказал вслух то, о чем я думала:

«Новички, каждый самостоятельно, без учета действий и намерений соседа, пытаются торговать всем, что «близко лежит»... Забывают при этом или просто не хотят знать, что рынок для каждого товара имеет определенную емкость, что он, что называется, не резиновый. Несогласованные, неконтролируемые предложения одного и того же товара приводят к переполнению рынка, падению цен»...

Вполне ли учитывают эту более чем реальную опасность организаторы свободной прессы?

Впрочем, не ошибается и не рискует лишь тот, кто ничего не предпринимает.

---

[1] Тем, кого, как и меня, беспокоит «сон разума», даю журнальный адрес оптимиста: Владимир Петров, «Перестройка: волевое решение или социально-психологическая потребность общества?» (Из блокнота философа. «Радуга», Таллинн, № 9, 1989).

Взыскующие града

Не так-то просто оторваться сегодня от журнальных и газетных страниц, переполненных актуальной и исторической публицистикой, и погрузиться в неспешное чтение книги, повествующей о временах неблизких — в конце прошлого, начале нынешнего века, о жизни затерянного на западе Литвы местечка Мишкине, где так причудливо переплелись судьбы евреев и литовцев, русских и немцев, поляков и цыган. Здесь еще помнят, как объявили крестьянскую волю, как рыскали жандармы по хуторам, охотясь на участников поверженного польского восстания 1863 г., как ссылали в Сибирь тех, кто давал им приют или кружку молока... Сюда же безмятежным весенним днем приходит известие о том, что один из земляков, сын каменотеса Эфраима, стрелял в генерал-губернатора в Вильно.

Аннотация к книге сухо сообщает, что в основу нового романа Григория Кановича «Козленок за два гроша» положена история каменотеса Эфраима Дудака и его четверых детей. Автор повествует о предреволюционных событиях 1905 года в Литве. Роман как бы составляет единый цикл и является своеобразным, не сюжетным, но смысловым продолжением таких произведений, как «Слезы и молитвы дураков», «И нет рабам рая».

Действительно, сквозной сюжет здесь отсутствует, каждый из перечисленных романов — цельный организм, но судьбы многих героев перекрещиваются; читатель встречает знакомых персонажей то в разговорах, то в чьих-то воспоминаниях, то где-то на заднем плане основного действия как будто случайно промелькнет узнаваемое лицо, останавливая внимание, вызывая ряд многозначимых ассоциаций.

Все три книги Григория Кановича написаны в стиле «открытой формы», отсюда и «мнимые случайности», кажущееся нагромождение внутренних монологов, прямой речи, снов, видений. Мастерская «каменная кладка» авторского замысла, главная тема и дополняющие ее мотивы, проводимые порою с настойчивостью навязчивой идеи, ритмически объединяют все разнородные стилистические пласты. А в симфоническом звучании языка — гармонии «ученые» и варварские, грубые и утонченные действуют всей массой, вовлекая в тревожную разноголосицу местечкового жития, силящегося противостоять внешнему миру — глумящемуся, отвергающему, непостижимому в своей враждебности. Миру, грозящему гибелью, равнодушно показывающему человеку тщету всех личных усилий обрести счастье, покой, благополучие.

...А полыхающее слово Погром еще пока тихо тлеет в цепенеющем от предчувствий сознании жителей Мишкине:

> И будешь ты для этого кошмара
> Искать имен и слов, и не найдешь...
> (Хаим Бялик. «Сказание о погроме»).

На этом фоне, как отголосок мечты,— напев об Элизиуме, непорочном детстве — пасхальная **хадгадья**[1] о козленке, повторяемая в забытьи старым Эфраимом и давшая название пока, на мой взгляд, главному роману цикла:

> Козленка, козленка отец мой купил,
> Два гроша, два гроша всего заплатил...

Только и этой непритязательной припевке не суждено просветлить общей трагически-безнадежной атмосферы повествования, потому что тянется сюда из первой книги иной образ — мертвого козленка на руках потерявшего рассудок Семена: козленок погиб от той самой пули, которой Семен сразил и другую невинную жертву — бродячего искателя истины, заступника униженных.

Философия древних пророков, Библии и легенд, претворяющая любое явление реальности в высокую поэзию,— неотъемлемая часть сознания жителей местечка, еврейской общины, спаянной вековыми бедами. В свою очередь, библейская символика позволяет автору придать идейную и художественную значимость самым незатейливым событиям обыденной жизни Мишкине. Отсюда и притчевость повествования, не нарочитая, как это нынче бывает, когда притча становится приемом, а естественная, опирающаяся на общинное, народное миропонимание.

В смене «вечных» вопросов — кто мы? В чем смысл человеческого существования? Где искать нравственные опоры? — меняются от романа к роману жизненные конфликты, не получая разрешения в действительности, чем и объясняется незавершенность многих судеб героев. Не успев привыкнуть, мы теряем их из виду, и уже новые персонажи выходят на авансцену, включаясь в общий хор «взыскующих» справедливости, достойного будущего. Усиливается, углубляется тема, что заявлена была буквально с первых строк романа «Слезы и молитвы дураков» в разговоре рабби Ури со своим любимым учеником:

— Больное время — больные души,— ...возразил учителю Ицик...

— Надо лечить себя,— тихо сказал рабби Ури... Боже праведный, сколько их было — лекарей времени, сколько их прошло по земле и мимо его окна! А чем все кончилось? Кандалами, плахой, безумием. Нет, время неизлечимо. Каждый должен лечить себя и, может, только тогда выздоровеет и время.

Тема «больного», распадающегося времени, времени исторического — кануна революции, обернувшейся казнями, тюрьмами, погромами, распадом семей и шире — родовых связей — становится основной в первых двух книгах цикла. И словно противовес и спасение, пусть и утопическое на тот момент, выдвигается в романе «Козленок за два гроша» емкая метафора времени вечного, хранимого памятью поколений, где живы и благотворящи извечные же, непоколебимые никакими социальными катаклизмами нравственные устои.

Этим двум силовым полям предстоит развиваться на страницах романа как бы параллельно: в мыслях и снах каменотеса Эфраима, схоронившего трех жен, оставленного детьми, в истории сына его Шахны, сбежавшего из дома учиться и после цепи трагических происшествий поступившего служить толмачом в виленскую жандармерию.

«Мир ловил меня, но не поймал» — эта эпитафия философу не смогла бы стать приложимой к умнику Шахне, искренне стремящемуся вникнуть в закономерности жизни, философски осмыслить человеческие отношения, претерпевшему многие муки неутолимой страсти к праведности. Мир «поймал» Шахну, ловушка захлопнулась... Пойдя на компромисс с совестью, он согласился включиться в «механическое правосудие» империи, пусть и с благим желанием облегчить участь несчастных арестованных. Тем самым он невольно, но естественно выпадает из «отцовского времени», исповедующего совсем иные моральные принципы. Хотел быть честным со злом и справа, и слева, а в результате ему предстоит участвовать в допросах собственного брата, революционера, покушавшегося на жизнь генерал-губернатора.

Все дети Эфраима, пусть и по-разному, выбрали пути во враждебном понятиям отца измерении. Дочь сбежала с прохожим, родила где-то вдали ребенка и как живет — Эфраим не ведает. Младший Эзра, красавец и повеса,— скитается с подружкой по городам и местечкам, показывает фокусы, разыгрывает сценки. Старик мучается мыслями об оторвавшихся от родного очага детях, одиночество и смерть стоят на его пороге. Но сколько в нем векового, природного оптимизма, опирающегося на дорогие воспоминания, на убеждения о недаром прожитой жизни, о не до конца исполненном Долге — сохранить семью, род, преодолеть страшное, растлевающее влияние времени.

Писатель не ставил цели наделить фигуру старика каким-то особым символическим значением. Сила и убедительность этого характера в том, что он реален, а верно схваченная реальность бывает, как известно, пророческой...

Узнав о предстоящем суде и неминуемой казни сына, Эфраим вместе с друзьями, такими же бедняками, как он, катит в жалкой телеге Шмуле-водовоза («Ноевом ковчеге черты оседлости») на последнее свидание, чтобы понять, простить, может быть, совершить невозможное — вырвать сына из рук палачей.

Оторвавшихся от Дома и земли детей Эфраима, водовоза Шмуле-Сендера, лесоторговца Маркуса Фрадкина неумолимо подтачивает «жук беспамятства». Как сделать, чтобы он «не так шелестел своими крылышками?» — вот вопрос, не оставляющий старика-каменотеса.

Погрузившись в раздумья о прошлом, в бесконечные монологи и споры с самим собой, он напряженно ищет спасительных решений. И в этом потоке инстинктивного самоанализа с бесстрашной ясностью вырисовывается идея, становящаяся рефреном всего повествования — страдания детей не свидетельствуют ли об абсурдности самого исторического существования? Автор возвращается к коренным, бытийным вопросам, разрешавшимся великими предшественниками, в частности Достоевским...

— Что за время, что за страшное время... все меньше мыслей, все больше пуль, все наглее юнцы, все беспомощнее старцы...

Эфраиму дано откровение, недоступное детям: «Разве может тот, кто другим причиняет боль, спасти мир от греха и порока?» С безнадежностью отверженного вторит ему нищий Авнер, «побирающийся воспоминаниями»: «...самая несправедливая земля — это человек... Человека обетованного нет». И сколько же претерпевает всего «озябший от нужды и безверия» Шахна (а сколько ему еще предстоит!), чтобы в ночных лихорадочных бдениях, барахтаясь в пучине книжной мудрости, вдруг понять: он

Григорий Канович. Козленок за два гроша. Роман. Вильнюс, издательство Вага, 1989.

[1] народная припевка (евр.).

«проворонил человека», «вера должна быть не щитом, не броней, а раной — только прикоснись, и она отзовется чьей-то болью».

Однако такие озарения иадо оплачивать судьбой... А пока — сидит Шахна, жандармский толмач, в одной камере со смертником-братом; катит в Вильно разваливающаяся на ходу повозка со стариками. Не пересеклись еще дороги отцов и детей...

Так что же должно спастись, а что погибнуть?.. Первая часть романа завершается на вопросительной интонации, и автор может быть уверен, что и «слезы и молитвы» его героев не покажутся чужими сегодняшнему читателю. Многие из уроков и проблем этой книги приобрели ныне самое актуальное звучание, ибо мы, как теперь очевидно, пошли путем «детей», изживая во многом, как атавизм, тягу к нравственному совершенству личности, забывая, что мир держится на всеединстве душ, а не на «муравьиной необходимости» (Достоевский).

Но что же скажет Эфраим Дудак своим детям?..

Л. Лаврова

В стиле «ретро»

На алом фоне обложки бурыми буквами, похожими на стекающие капли крови, выведено название: «Борьба за мир». Сейчас в моде стиль «ретро». Извлекаются из забвения историко-культурные раритеты. Говорят, это повышает планку на ценностной шкале. Роман Федора Панферова, одни из самых известных в свое время, удостоенный Сталинской премии за 1948 год и вышедший ныне двухсоттысячным тиражом, переиздан, видимо, с той же целью: иной не приходит иа ум. Для подкрепления нашего доверия к тексту аннотация сообщает: «Роман создан на основе достоверных фактов и непосредственных впечатлений автора». Что ж, прислушаемся к рекомендации и обратимся к фактам и извлеченным из них впечатлениям.

Действие романа происходит в тылу и на фронте Великой Отечественной войны. Моторный завод, нацеленный на оснащение танков, эвакуирован из Москвы на Урал, где заново строится и развертывает производство. Действительно, было такое, ио если бы не отправной посыл, трудно догадаться, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Начав читать, я принялась выписывать места, обращавшие на себя внимание красочностью деталей, мягко говоря, не соответствующих знакомым реалиям. Но очень скоро бросила это бесплодное занятие, убедившись, что пришлось бы перенести к себе в тетрадку по крайней мере половину пятисотстраничного повествования.

Собрав сверх программы четыреста моторов за три дня («это ведь чудесный народ, рабочие»,— сообщает по телефону Сталину директор завода Николай Кораблев), коллектив веселится под оркестры на лужайке по прямому указанию вождя, повелевшего отблагодарить иарод праздником. В самый начальный, трагический период войны «...все — русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, сибиряки и коренные жители Урала — и плясали, и пели свое — родное и буйное».

Тем временем в поселке под названием Красивый построены для рабочих «синие, голубые, белые, розовые» коттеджи, а руководящая верхушка завода «после обхода цехов на заре» собирается на берегу озера: «Придя сюда, разжигали костры, купались, балагурили час-другой; это условно и называлось у них «попьянствовать».

Все бы ничего, да у директора Николая Кораблева осталась на оккупированной территории жена с ребенком. Убегая от наступающего противника, она думает: «Боже, как мы красиво живем». Правда, немного погодя, мысленно обращаясь к мужу, добавляет: «...вот ты когда-то мне говорил: «Самое ужасное на земле — это эксплуатация, безработица». Нет. Самое ужасное — это фашисты».

Приводя эти выдержки из романа, мудрено не соскользнуть к фельетонной интонации. Дальнейшее развитие событий настолько, однако, «перешибает» любую, самую развесистую клюкву, будто автор соревнуется сам с собой в диковинной немыслимости творимого. И становится, ей-богу же, не до смеха.

Николай Кораблев, утомленный тоской и работой, командирован своим внимательным шефом-министром на фронт для поисков семьи, а заодно и для проверки заводских моторов в боевых условиях. Путешествуя по войне на манер Пьера Безухова, на том ее участке, который лишь условно можно считать Курской дугой, он столь же заботливо опекается армейскими высшими чинами: жена командира «в утреннем платье, легком, голубом» регулярно приглашает героя к завтраку, а сам командарм, оторвавшись от любимых занятий — прогулок к пруду и досужих алгебраических вычислений,— охотно посвящает ее в планы предстоящего наступления. Иногда Кораблев оказывается не у дел, и тогда он думает: лекции, что ли, почитать?

Легкие следы давнего знакомства автора с произведениями классической литературы, переработанные незаурядной фантазией, порой все же узнаваемы. Так, денщик бравого комдива, к которому попадает наш путешественник в своих вольных передвижениях по передовой, столь истово печется о желудке своего начальника, сокрушается, если тот вдруг поест «не у себя», что невольно вызывает в памяти образ преданного холопа Савельича из «Капитанской дочки», невесть как попавшего на страницы романа из патриархального XVIII века. Есть тут и народный мудрец — баищик Ермолай: именно ему ведома вся подноготная людей высокого ранга, их человеческой сути. Что же касается «непосредственных впечатлений автора» от поездок на фронт, судите сами. Артиллеристы, скучая, откармливают дикого зайца, который мило скачет по тропинкам, не вызывая прямолинейных ассоциаций насчет добавки к рациону. К чему эта грубость души, когда офицеры трапезничают, расположившись идиллическим пейзанским кругом на траве: «На скатерти блюдо, наполненное супом, белый хлеб, жареная картошка с мясом». Бойцы же, восклицающие: «Умереть — так уж с треском», в ночь перед наступлением располагаются в хатах: «К месту для каждого батальона проведена проволока... Командир роты идет, притрагиваясь к проволоке рукой, а вся рота в молчании за ним». При такой высокой организации иеудивительно, что в эту же ночь у начальника штаба армии появляется возможность утрясти свои сердечные дела и поставить, наконец, точки над «i» в романе с собственной машиинсткой. Правда, потом, когда начнется атака, полковники, майоры, капитаны тоже полезут на бугорок, что им запрещено уставом. Да мало ли что? В данном контексте вряд ли стоит говорить о том, что может и чего не может быть... На шесть километров шесть тысяч орудий. Немецкий «тигр», взятый в плен с помощью плащ-палатки и топора. Рокоссовский, вернее, манекен, названный его именем, вещающий в разгар боя: «Великая это честь быть исполнителем воли партии...» Тут уж явное посягательство на лавры барона Мюнхгаузена.

Но к чему это все сегодня, вправе спросить читатель? Пошто тревожить память автора и придремавших призраков соцреализма? Мало ли других забот нынче на литературном фронте? Кажется, нет возврата назад, в лоно социального рабства, к примитивной идеологической жвачке: ни для писателя, загубившего, подобно Панферову свои способности службистским рвением (начинал-то он самородком. «Брускн» — корявая, темная, яркая книга!), ни уж тем более для читателя, которого нынче на словесной мякине не проведешь, не то что в далекие сороковые годы, когда, питаясь подобными сочинениями, за отсутствием вкуса многие читатели считали их «съедобными». Да, на одном человеческом веку путь к истине проделан огромный. Но так ли уж ои необратим, как страстно нам хочется думать? Сам факт выхода романа «Борьба за мир» в 1989 году — вовсе не невинный, и лестные слова в адрес автора, сказанные в предисловии, предостерегают: погодим убаюкивать себя и упиваться достигнутым.

Галина Медведева

г. ТАРТУ

Федор Паиферов. Борьба за мир. Роман в двух книгах. М., Правда, 1989.

Мыслящие

Теперь уже и не вспомнить, когда именно на страницах газет, да и в обиходе нашей речи возникли слова «диссиденты», «инакомыслящие»... Называли ли так тогда, в начале 1966 года, Синявского и Даниэля? Кажется, еще нет. Может быть, позже, в связи с «делом» Гинзбурга и Галанскова? Не помию. Во всяком случае, лет 15, а то и все 20 в нашем обществе вроде бы существовала эта загадочная категория граждан, которых, как объясняли в газетах, было не так уж много. Между тем потенциальными диссидентами следовало бы признать как минимум всех горожан той недавней поры. Увидел у знакомых «Архипелаг», попросил на пару вечеров прочесть — все, ты диссидент! Брякнул что-то «не то» про памятную интернациональную акцию в августе 1968 года — инакомыслящий! Рассказал в курилке анекдот или даже выслушал просто — тоже причастился к злодейской касте... Но это так, в теории, на деле-то все мы видели незримую грань, до которой было «можно», а за ее пределами — ни-ни. Дома ли, в кругу ли друзей мы более или менее дружно жалели гонимых, а на работе или просто на улице, у газетного стенда с дежурным пасквилем, делали непроницаемые лица, покрепче сводили челюсти, чтобы — не приведи Бог — не выскочило неправиль-

---

Жорес и Рой Медведевы. Ито сумасшедший? Исиусство ниио, №№ 4, 5, 1989.

ное, опасное слово. Да и впрямь, кого же привлечет печальная эпопея: суд, тюрьма, лагерь, а там страшные уголовники, лесоповал — лагерной-то литературы за оттепельные годы мы все успели начитаться.

Горько теперь вспоминать о тех временах. Да, тогдашние правители держали про недовольных лагеря и «психушки», корежили и топтали, как им вздумается, человеческие судьбы, но сами по себе были настолько ничтожны, что сейчас «эпоха» «Целины» и «Малой земли», грандиозных успехов и совсем уж ослепительных планов представляются некоей фантасмагорией. Справедливой пощечиной нашей покорности прозвучали недавно слова из мудрой сказки Фазиля Искандера, что наш страх был «их» гипнозом. В травле «удавами» таких разных людей, как Сахаров и Солженицын, Высоцкий и Галич, Любимов и Тарковский, многих других, мы видели только одно — горькую безысходность протеста. Не многие понимали тогда, что эти бесстрашные люди, вышвырнутые ли за рубеж, сосланные ли, арестованные, загнанные в житейский и творческий тупик, так и остались нравственно непобежденными, несломленными. «Теория» инакомыслия предполагала наличие некоего шаблона мышления, которым и надлежит пользоваться, а коли думаешь как-то иначе, «инако», то и получай заслуженное. Без особого протеста приняв этот стереотип, подавляющая часть нашего общества начисто забыла о другом, проверенном веками делении: на людей мыслящих и не умеющих либо не особенно стремящихся это делать.

У повествования братьев Жореса и Роя Медведевых нет подзаголовка. В редакционной врезке оно названо репортажем, а в послесловии сказано, что по этому «материалу» на «Мосфильме» вскоре начнут создавать сценарий. Эта документальная повесть (так, должно быть, будет вернее) — ярчайшая анатомия борьбы «инакомыслящих» с властью, борьбы, завершившейся пусть частным, локальным, но все же успехом, что было для тех лет случаем редчайшим. Именно этот успех «местного значения» ставит повесть «Кто сумасшедший?» на особое место среди документов, опубликованных в последние годы (об «отлучении» Пастернака от литературы, о «строптивости» Зощенко в известных обстоятельствах, о процессе над Бродским и т. д.).

Фабула повести проста: биолог Жорес Медведев работает над очередной «нетрадиционной» книгой о международном сотрудничестве ученых (явно антисоветская тема!), КГБ и партийные органы проявляют по этому поводу обеспокоенность и недовольство, в итоге 29 мая 1970 года в квартиру ученого врывается милицейско-психиатрическая «группа захвата», которая увозит «диссидента» прямиком в Калужскую психиатрическую больницу. Его брат, друзья и коллеги немедленно начинают борьбу за освобождение ученого, атакуют письмами, а нередко и визитами различные инстанции, вплоть до самых высоких, и наконец 17 июня «правильно мыслящие», явно не ожидавшие столь мощного отпора, отпускают Ж. Медведева восвояси. Вот эти 19 дней борьбы за справедливость, за элементарную законность и составляют основу действия повести-хроники «Кто сумасшедший?».

Читая ее, а потом «прокручивая» в памяти прямо-таки детективный сюжет (думаю, что многих читателей, как и меня, он долго «не отпускал»), не раз задаешь себе вопрос, вынесенный авторами в заглавие. И действительно: нормальны ли работники Обнинского горисполкома (Ж. Медведев несколько лет работал и жил в Обнинске), которые идут на заведомую провокацию, предлагая ученому явиться в Калужский отдел народного образования якобы для обсуждения поведения его сына, а на деле — для подготовки к заточению Ж. Медведева в «психушку»? Нормальны ли сотрудники ОНО, которые и после отказа биолога приехать в Калугу (поскольку фальшивость вызова была очевидной) упорно продолжают выманивать его туда «для беседы»? Нормальны ли, наконец, сами психиатры, обманом залучившие Медведева в обнинский психдиспансер (под предлогом все той же мифической «беседы о сыне») и пытавшиеся его там запереть? Кстати, именно в последнем эпизоде главный герой начинает решительно ломать «сценарий», разработанный явно не в Калуге и не в Обнинске. Оставшись в запертой комнате, он простым садовым ножиком открывает дверь, потом — другую и преспокойно уходит домой.

И вот после этого всемогущий «соперник» делает решительный ход: в квартиру Жореса Медведева врываются несколько милиционеров и психиатров во главе с безымянным майором и главным врачом Калужской психиатрической больницы А. Е. Лифшицем (пусть страна не забывает своих героев!). Отброшена в сторону жена, и вот уже «вольнодумца» с выкрученными руками волокут в санитарный автобус и мчат в Калугу.

Разворачивается далеко не равный поединок. На одной стороне — власть с нескончаемым набором самых разных средств и возможностей, на другой — в общем-то не так уж много людей, не убоявшихся вступиться за «диссидента»: академики А. Сахаров, П. Капица, Б. Астауров, М. Леонтович, В. Энгельгардт, писатели А. Твардовский, В. Каверин, В. Тендряков, В. Дудинцев, В. Лакшин, Д. Гранин, кинорежиссер М. Ромм... Надо бы включить в данный ряд еще и представителей мировой научной общественности, но им-то, скажем прямо, поддержка Ж. Медведева ничем не грозила. А вот Твардовского, Ромма, Каверина и других «прорабатывали» по партийной и общественной линии. Твардовскому даже некий «ответственный работник ЦК КПСС» прямо дал понять, что если бы он не ввязывался в эту историю, то получил бы к 60-летию «совсем другую награду», нежели орден Трудового Красного Знамени. Рассказывают, что Твардовский ответил на это: «Не знал, что Героя у нас дают за трусость».

И снова грустные, очень грустные мысли. Да, десяток-другой наших соотечественников не трусили. Да, Александр Солженицын бесстрашно сказал в письме-обращении к отечественной и мировой общественности: «И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда!». Да, власть в этом случае вдруг отступила (но в других-то не отступала!), а что же вся наша гигантская страна за вычетом этого отважного десятка? Слово самим братьям Медведевым: «Следует, наконец, понять, что такой режим, при котором инакомыслие в политических вопросах не допускается в принципе и преследуется, не может быть достаточно стабильным, нетерпимость является не признаком силы, а признаком слабости... Совершенно недопустимо всякое различие в идеологии и политических взглядах непременно рассматривать как идеологическую диверсию и стремиться не к обсуждению и диалогу, а к подавлению и наказанию... Нет ничего опаснее для общества, чем репрессии против интеллигенции на том лишь основании, что она научена анализировать и осмыслять факты бытия с большой широтой и глубиной и умеет донести выводы до массы людей во имя прогресса. Застой и разложение — неизбежные следствия такой политики». Как говорится: умрите, Рой и Жорес (живите, конечно, долго!), — лучше не напишете! А написано это, заметим, 19 лет назад, в сентябре 1970 года.

Мелькнул в повести-хронике и такой микросюжет: сосед Ж. Медведева по палате, некий Саша, проникнувшись доверием к ученому, вступается за него перед «самой» Г. П. Бондаревой (еще одна героиня!). Результат незамедлителен: «Очень скоро я увидел в окно, что санитар ведет юношу в другой корпус, в самое страшное 7-е отделение». Больше Медведев Сашу не видел. У меня и до этого эпизода вспыхивали ассоциации с романом Кена Кизи, ну а здесь парная тождественность (не литературная, а жизненная) — врача-садистки и несчастного, бесправного юноши — слишком наглядна.

Сколько противоположного и, казалось бы, несовместимого намертво переплелось в трудной и горькой истории нашего народа! Ложь соседствует с правдой, мрак — со светом, палачи и мерзавцы — с великомучениками и страстотерпцами. Но все же и века назад, и сегодня неповоротливую колесницу истории натужно толкают вперед именно те, кто не боится говорить правду, для кого единственное мерило любого их действия — голос совести и разума...

Мыслящие!

Сергей Бурин

Из почты «Знамени»

Уважаемый Григорий Яковлевич!

Обращаемся к Вам по поводу публикующегося в Вашем журнале произведения В. Карпова «Маршал Жуков...».

Мы не хотим касаться литературных достоинств так называемых, как определил сам автор, «мозаик». Для нас важным и крайне прискорбным является то, что в книге содержится материал, явно очерняющий нашего отца. Речь идет о документе, помещенном на стр. 50 журнала «Знамя» № 10 за 1989 г.

Прочитав этот документ, мы были не просто «ошарашены», как пишет о себе Карпов. Мы были в состоянии шока. Думается, что автор, который якобы «некоторое время не мог продолжать работу», мог бы употребить его на установление подлинности столь поразившего его документа.

Мы же не могли ни на минуту поверить, зная прямоту и честность отца, что он мог написать такую бумагу даже из-за «инстинкта самосохранения», как предполагает Карпов. Больше всего нас убеждала в том, что это фальшивка, сама подпись. Бросается в глаза, что она не имеет ничего общего с подлинной его росписью. А также тот факт, что такого рода письмо отпечатано на машинке. Уж это-то могло бы насторожить В. Карпова!

Располагая письмами, относящимися к тем же годам, что и упомянутый документ, мы обратились в Институт военной истории с просьбой помочь в установлении истины. Нам ответили, что подлинность документа «сомнений не вызывает».

Однако, будучи уверенными в своей правоте, мы все же добились проведения экспертизы во ВНИИ судебных экспертиз (копия заключения специалиста прилагается). Думаем, что все это обязан был сделать сам автор, если уж он решился на публикацию документа, бросающего тень на героя его произведения. Добавим, что всего этого могло бы не случиться, если бы В. Карпов нашел возможным ознакомить нас со своей рукописью до начала ее публикации.

Очень надеемся, что в Вашем лице мы найдем понимание и Вы доведете содержание этого письма до В. Карпова и читателей. Нас крайне огорчает, что миллионы читателей в связи с публикацией фальшивки получили искаженное представление о личности Маршала Жукова.

Выражаем уверенность, что Вы, Григорий Яковлевич, примете меры для реабилитации доброго имени отца.

С глубоким уважением

Жуковы
Эра Г.
Элла Г.

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ СССР

Заключение специалиста
Составлено 17 ноября 1989 г.

1157/0100

10 ноября 1989 г. во Всесоюзный НИИ судебных экспертиз МЮ СССР из секретариата Министерства обороны СССР при сопроводительном письме № 201/9/11 от 09.11.89 офицера для поручений Министра обороны СССР полковника В. Бородина с целью проведения почерковедческого исследования поступило

письмо на имя Народного Комиссара обороны СССР тов. Ворошилова, датированное — 26.01.38 г.

На разрешение специалиста поставлен вопрос:

«Жуковым Г. К. или другим лицом выполнена подпись от его имени в письме Народному Комиссару обороны Союза ССР тов. Ворошилову от 26.01.38 г.?»

...При оценке результатов сравнительного исследования было установлено, что отмеченные различающиеся признаки устойчивы, существенны и образуют

совокупность, достаточную для вывода о выполнении данной подписи не самим Жуковым Г. К., а другим лицом.

Отмеченные выше внешнее сходство, совпадения отдельных общих и частных признаков на сделанный вывод не влияют и могут быть (вероятно) объяснены выполнением подписи с подражанием подлинным подписям Жукова Г. К.

ВЫВОД

Подпись от имени Жукова Г. К., расположенная в письме на имя Народного Комиссара обороны СССР тов. Ворошилова от 26 января 1938 г. справа от слов «Член ВКП/б/», выполнена не самим Жуковым Георгием Константиновичем, а другим лицом, вероятно, с подражанием подлинным подписям Жукова Г. К.

Специалист — Л. В. Макарова
(печать)

Главному редактору журнала «Знамя»
Бакланову Г. Я.

Уважаемый Григорий Яковлевич!

Как мне стало известно, на днях была произведена экспертиза графолога, который пришел к заключению, что подпись Жукова под письмом на имя Наркома обороны Ворошилова (о Егорове) не является подлинной.

Если это действительно так, я буду счастлив! Когда мне, в числе многих других документов, дали это письмо (Архив Советской Армии, фонд 33887, опись 3, дело 1048, лист 37), у меня действительно опустились руки, и я долгое время не мог продолжать работу над рукописью.

Затем, высказав все предположения, которые могли смягчить и оправдать этот поступок маршала (они опубликованы в Вашем журнале), я не посчитал возможным утаить официальный документ, поскольку обещал читателям писать правду.

У меня на столе ксерокопии многих документов, написанных и подписанных лично Жуковым. Подписи под ними не всегда идентичны, это часто зависело от настроения маршала и от обстановки, в которой он подписывал документ.

Но, разумеется, я не специалист-графолог и не могу (и не хочу!) опровергать его заключение. И поэтому прошу читателей и родственников маршала понять, что это письмо опубликовано без злого умысла, а мое безграничное уважение и любовь к Георгию Константиновичу, надеюсь, видны и понятны всем из каждой страницы моего повествования.

С уважением — Владимир Карпов
1.12.89 г.

P. S. Что касается фальшивки, я надеюсь, правоохранительные органы расследуют и установят, кто хотел скомпрометировать маршала Жукова этим письмом.

От редакции

Решая вопрос о публикации книги В. Карпова «Маршал Жуков», редакция предварительно отправила рукопись на консультацию специалистам. Были в рукописи вещи, которые нас тревожили, и не в последнюю очередь — это письмо Наркому обороны. Дважды книга была проконсультирована, отмечались отдельные неточности (к сожалению, не все), но приведенные документы сомнения не вызвали, признаны были подлинными.

Не будем строить сейчас догадки, кому, зачем и почему понадобилось в тридцатые годы иметь в архиве про запас это письмо, подписанное за Жукова.

Связать узами взаимно пролитой крови считалось в кровавые эпохи делом обычным и надежным.

Рассказывая в очерке «К биографии Г. Жукова» о выступлении маршала на пленуме ЦК, где решалась судьба антипартийной группировки, К. Симонов свидетельствует:

«...Жуков дошел в своей речи до того места, где он в резкой форме напомнил двум или трем, сидевшим за его спиной в президиуме заседания людям о прямой ответственности, которую они несут за события 1937—1938 годов.

В ответ на это один из тех, кому были адресованы слова Жукова, прервал его, сказав, что время было такое, когда приходилось подписывать некоторые документы, хотел ты этого или не хотел. И сам Жуков хорошо знает это. И если порыться в документах того времени, то, наверное, можно найти среди них такие, на которых стоит и подпись Жукова.

Жуков резко повернулся и ответил:

— Нет, не найдете. Ройтесь! Моей подписи вы там не найдете».

Не многие из тех, кто стоял в те годы на виду и в дальнейшем остался жив, очень не многие, редкие могли бы так сказать о себе, как имел право сказать о себе Георгий Константинович Жуков: «Моей подписи вы там не найдете».

Мы рады, что графологическая экспертиза это подтвердила.

Уважаемые читатели!

В этом номере журнала планировалась и была объявлена публикация из наследия Виктора Некрасова. Но умер академик Сахаров, и мы открываем журнал рубрикой «Уроки А. Д. Сахарова».

Публикация из наследия В. Некрасова переносится на 5-й, майский номер.

Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.

Редколлегия: С. С. АВЕРИНЦЕВ, Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ, (зам. гл. редактора), Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА (отв. секретарь), В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. Я. ЛАКШИН, В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. И. ЧУПРИНИН (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 07.12.89. Подписано к печати 05.01.90. А 03003. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—355 030 экз.) Заказ № 1788. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.